14

Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 8 1988

Анатолий ЖИГУЛИН. «Черные камни». Повесть

А. СТРЕЛЯНЫЙ. «Год личной жизни». Рассказ

Борис ПАСТЕРНАК — Ариадна ЭФРОН. Переписка

Стихи
Владимира КОРНИЛОВА,
Татьяны БЕК,
Алексея ЭЙСНЕРА

Очерки и статьи Марка ГОРЧАКОВА,
Людмилы МЕДВЕДЕВОЙ, Л. ЛАЗАРЕВА

Знамя. 1988. № 7. 1—240.

ISSN 0130-1616



1988

Июль



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга седьмая
ИЮЛЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Александр Грибанов

СТИХОТВОРЕНИЯ

Музыка

Но, видит Бог, есть музыка над нами!
О. Мандельштам.

Что общего у музыки с вещами?
Какая ложь их ставить в общий ряд!
Закон огня — всегда струиться над.
Не родственны сухая ветвь и пламя.

Не в солнце, скрипке или милой даме
Смысл музыки. Пускай со всех эстрад
Притворные гармонии звучат,
Смахнем их в пыль, когда она над нами.

Есть музыка — единственный ответ
На всю тоску суждений и событий.
Нет логики, нет цели, но, простите,
Есть музыка! Есть жизнь, блаженство, свет!
Есть скудный тлен во тьме, соблазне, быте
И музыка, когда спасенья нет.

1987



Бороться за место под солнцем?
Да стоит ли? Сходит загар.
Не лучше ли отколоться,
Покинуть людской базар?

В своем несравненном ритме
Уйти, не сверяя шаг,
В своей особой молитве
Склониться в пустых лесах.

И слышать движенье ветра,
И видеть игру воды
В легком круженьи света,
Скользящего сквозь листы.

И не бояться правды,
Великой правды своей,
Которую больше не надо
Вверять сужденьям людей.

И закалить сознанье,
И бросить сомненья прочь,
И выйти на растерзанье
К толпе, чтобы ей помочь.

1987

Август. Пасмурно

Сосны вверху и рябина внизу,
Легкая примесь березы —
Красное в зелени и на бегу
Ненаступившие слезы.

Сосны возносят стволы к высоте,
Тусклые в сером пространстве.
Что я сумею ответить себе
В этом святом постоянстве?

В этом безумии ясных вещей,
Длящихся неизмеримо,
Что сохраню от заботы моей,
Хлопьев случайного дыма?

Чем я отвечу на этот призыв,
Красный и темно-зеленый,
На раздвигающий сердце прилив
Музыки неопаленной?

1987

Мелодия

Повторяется круг, повторяется в тысячный раз,
Ритм колеблет иглу.
Я кружусь и дрожу, что за музыка будет сейчас,
Без которой умру?

Обороты спешат, продолжает работу мотор.
Жизнь дрожит вдалеке.
Боже мой, все опять! Пощади! До каких еще пор
Солнцу биться в руке?

Боже мой, почему? Неужели нельзя изменить
Вечный трепет и звон?
Понемногу устать, завершиться, смириться, забыть?
Влиться в общий закон?

Ладно, после решу! Начинается новый виток,
Я пока еще жив!
Над застывшим пространством, пронзителен и одинок,
Нарастает мотив.

1987

Звенигород. Ранняя осень

Передо мной поля, река, холмы,
Далекий лес и церковь над обрывом.
Я здесь один. Мне так необходимо
Хотя на миг вдохнуть покой земли,

Прижаться телом к ней и долго, больно
Вбирать в себя ее живую ткань.
Как холодно, как чисто и свободно!
Как нежно солнце! Как тиха печаль!

Как ласково, легко и несомненнс
Любой рубец умеет заживить
Клочок земли под беспредельным небом,
Единственный на свете, может быть!

1977

★

Я странно являлся в мире.
Прости меня, век, за то,
Что у тебя на пире
Я вел себя, как никто.

А хочешь, так мсти. За дело!
Один конец — к тебе в сеть.
В сущности, надоело
В мороз без нужды зеленеть

Омелой, живым просчетом
Непобедимой зимы.
А было же, было что-то:
Семя, росток из тьмы

В острое царство света...
С лёта ворон семья
Видит ли в сером где-то
Зеленый глазок — меня?

1978

★

Добро от зла кто сможет отделить,
Не находя в себе самом опоры?
Но как поверить в силу приговора,
Который всякий волен отменить?

Конечно, можно сбросить все, как шлак,
В пустой отвал, но так шутить опасно,
И человек, поддавшийся соблазну,
Теряет меру в собственных делах.

Не слыша отзвука своим шагам,
Сухим ступням не чувствуя поддержки,
Еще он может сильным быть и дерзким,
Но побежден, и это знает сам.

Вот почему, с нуля опять берясь
За возведенье праведного зданья,
Мы кровь свою вмесить согласны в грязь
В надежде, что окрепнет основанье.

1979

★

Я ожидал, что злая власть вещей
В конце концов падет преодоленной,
А вышло, что чем дальше — горячей
Их утлый жар, подспудно затаенный.

Я не сумел себя преодолеть,
И дерево, лицо, звезда, улыбка
По-юному затягивают в сеть
Земной тоски, натянутой так зыбко

И так всесильно. Следует признать,
Что замысел остаться одиноким,
Чтоб укрепиться, прогорел опять,
И связи с миром чутки и глубоки,
Что очень больно, следует признать.

1979

★

Поэзия — это все же
Не просто игра в слова:
Бывает, жизнь возможна
Лишь там, где она жива —

Не в рифме или размере,
Не в бодрой возне в пыли,
А в трудной, смятенной вере
В жар и холод Земли.

Вечные перепады,
Вечное быть и не быть.
Не в современность надо,
Не в прошлое уходить —

Только в бессмертный шорох
Дерева и травы,
Только в бездонный морок
Солнца и синевы,

Только в сухую муку
Сердца в полночной тьме.
Тогда поймешь по слуху,
Есть ли она в тебе.

1980

☆

Иглы елей оттаяли снова
И живут — это видно на глаз:
Из-под зимнего блеска литого
Прелесть плоти взглянула, светясь.

Панцирь, спасший их ткань от крушенья,
Стек по телу избытком воды,
И пора начинать возрожденье
Среди страшной земной наготы.

1980

☆

По самому краю земной суеты
Пройти, на песке оставляя следы.

Их позже затопчут. Их время потом
Затопит, пуская прибрежье на слом.

И все же случается иногда,
Что раньше, чем хлынут толпа и вода,

На грани бесспорности и пустоты
Окаменеть успевают следы.

1981

☆

Я взял и просто положил
Цветок на камни.
Что он не высох, а ожил,
Конечно, странно.

На чудо разве был расчет...
Но был же! был же!
Когда б он умер в свой черед,
И я б не выжил.

Ни стебля, ни корней. Всё — взлет
К бессмертной тайне.
Поэзия еще живет
Цветком на камне.

1981

Сон

Странный быт без времени и места
Мне приснился среди бела дня:
Старый дом, и ты, моя невеста,
Входишь, опираясь на меня.

Движутся со скрипом половицы.
Где-то скрипки, может быть, в уме.
Жизнь, как мышь, тихонько шевелится.
Осень в окнах. Уж идет к зиме.

Печь трещит. Надежно, прочно, сухо
В этих стенах, каменных извне.
Спицами в углу стучит старуха.
Что там дальше? Или сон во сне?..

Долгие, размеренные годы.
Детский плач и детский смех. Обед,
Мирно ждущий моего прихода.
Мой звонок. Твои шаги в ответ.

Вечная святыня повторений.
Тихое жужжанье внешних дел.
Из забот, размолвок, примирений
Жизнь встает. Ее ли ты хотел?

А детей уже влекут миражи.
Дальний бой уводит сыновей.
Дочки замуж. Мы вдвоем на страже
Очага на много, много дней.

Сколько даст их бог еще? Он знает...
Наконец, настал особый час:
Телеграф поспешно призывает
Всех собраться в предпоследний раз.

Гроб поплыл. Мужчины сняли шапки.
Запах ели и немножко слез.
Вот и ты. В немодной черной шляпке
Семенишь с охапкой зимних роз.

Нос припух и в пудре. Так все зримо,
Что какой же, боже, это сон?
Неужели всё еще любима?
Неужели время не резон?

1981

★

Я душу пополам перегибал,
Свивал ее в клубок и замыкал в овал
В надежде, что она удержит форму,
Которую я принимал за норму,
За вечный негасимый идеал.

Потом я сам свой план не понимал,
Потом его запальчиво менял,
Потом виски ладонями сжимал...

А между тем она приобретала
Живое тело, свойственное ей:
Все жившее во мгле с начала дней
Наперекор влияньям прорастало.

1982

★

Слишком известно,
Куда исчезает душа.
Жизнь неуместна,
Бессмысленна, нехороша.

Слишком понятны
Начало ее и финал.
Скорбный и внятный,
Все голос давно рассказал.

Слишком знакомо
Извечная песня слышна:
Здесь мы не дома,
Придем и уйдем дотемна.

Но неизменно
Сквозь всю эту пену и ложь
Жизни нетленной
Опять проступает чертеж.

1984

★

Еще листва не умерла совсем,
Еще сверкают серьги бересклета,
И осень, сохраняя память лета,
Еще чудесна в яркости своей.

А на опавших листьях седина.
Боль так тиха, но так уже сильна.

В сияньи дней, легко спешащих мимо,
Неумолимый слышится распад.
Над всем живым — предвестием утрат —
Вороний хор гремит непоправимо.

1978

★

И все-таки, наверное, в конце
Мы знаем больше о своем лице,
И это то единственное знанье,
Которое на склоне всех путей
Нам остается из тщеты вещей,
Когда звучит мелодия прощанья.

А блеск небес и белизна берез
Всё так же жгут, и так непостижимы
Состав белил и смертный купорос,
Как будто не стучала на износ
Из года в год сердечная пружина.

1980

Воспоминание о Ленинграде

Я давно в этом городе не был.
Вспоминаю: стояла зима.
На закате белесое небо
Розовело за гранью ума.

Иглы в щеки впивались жестоко
(Невский ветер не гладит в мороз).
Тьма все медлила. Неподалеку,
Засветясь, вырос Кировский мост.

Я вмерзал, шевельнуться не смея,
В эту раму к Ростральным спиной.
Петропавловский шпиль, золотея,
Погибал высоко надо мной.

1981



Перед самым приходом беды
Почему-то мы страх забываем
И надеждам пределов не знаем
Перед самым приходом беды.

Перед самым началом войны
Есть минута такого покоя,
Что смешно и помыслить о бое
Или смерти в начале войны.

Перед самым призывом судьбы
Тишина. Ей дано настояться
И застыть, чтобы стало казаться,
Что не будет уж зова трубы,
Что ее и не нужно, судьбы.

1982

Анатолий Жигулин

ЧЕРНЫЕ КАМНИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Памяти моих друзей
БОРИСА БАТУЕВА и
ВЛАДИМИРА РАДКЕВИЧА

ИСТОКИ СУДЬБЫ

Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года. И нынче сохранился в Больничном переулке родильный дом, где я впервые увидел свет. Теперь улица называется по-другому, а дом цел, и коренные, старые воронежские жители до сей поры называют его вигелевским (по имени дореволюционного владельца Вигеля).

Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. У Раевских был небольшой деревянный дом под Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная). Дом цел до сих пор. Несколько лет назад мы были в нем с матерью.

Дед мой по матери, Митрофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин (дворянство было возвращено потомкам В. Ф. Раевского в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика, приблизительно соответствовала нынешней должности начальника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень образованным человеком, знал несколько языков (немецкий, английский, французский), отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как связист был мобилизован в армию в чине капитана, в соответствии со своим гражданским чином 8-го класса (коллежский асессор), и некоторое время (в 1914—1915 гг.) служил на военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь. Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую службу орденом св. Анны III степени, за участие в боях— орденами св. Станислава III степени с мечами и св. Владимира IV степени с мечами.

Сведения об участии моего деда в гражданской войне долго были противоречивы. Дядя Шура и моя мать уверенно считали, что он служил в Добровольческой армии, тетя Катя утверждала, что—в Красной. Но эта тема, по понятным причинам, была в семье запретной. О том, что старший мой дядя, Борис Митрофанович, служил в Красной Армии, был ранен и награжден, было твердо известно. А вот в отношении деда были споры. Вопрос этот, однако, случайно и с безукоризненной ясностью разрешился в конце 60-х годов в старом, теперь снесенном доме Елисеевых на улице Ильича. (Старшая моя тетка Екатерина Митрофановна Раевская вышла замуж за учителя В. Е. Елисеева.) Было несколько Раевских, и я с женой Ириной и сыном Володей, еще маленьким. Шел общий семейный разговор, и, в частности, затронули вопрос об орденах деда. Дядя Вася

В тексте изменены некоторые фамилии и второстепенные географические названия. *(Здесь и далее примечания автора).*

или дядя Шура — кто-то из них — горячо утверждал, что орденов было четыре:

— Я сам их в руках держал, сам ими играл, было четыре ордена— св. Анны, св. Станислава, св. Владимира и «За Кубанский поход».

— Четвертый был не орден, а знак,—сказала тетя Катя.

И все сошлось на этом знаке. Более точное его название—«За Ледяной поход». Этот знак был утвержден А. И. Деникиным после 1-го Кубанского (или «Ледяного») похода в 1918 году. Мне—нумизмату, а отчасти фералисту, все стало ясно. Знак этот—сравнительно большой лавровый веночек из серебра с мечом посередине—я видел в Белграде или в Париже в нумизматическом магазине. Цена—целое состояние.

В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова (где несколько недель лежал в тифозном бараке) в Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всего анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть и мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился—было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год.

Главою семьи осталась моя бабка Мария Ивановна (урожденная Гаврилова, из духовного сословия). А детей было десять. Тяжкий голод, тяжкое время первой половины двадцатых годов. Семья переехала на улицу Перелёшинскую (дом 17-б). Жили очень бедно. Золотые ордена деда были снесены в торгсин вместе с золотыми нательными крестами и перстнями.

Мать мою как дворянку в институт не приняли (она хотела учиться в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов и поехала работать на станцию Кантемировка. Там она и познакомилась с моим будущим отцом, который работал на почте.

Отец, Жигулин Владимир Федорович, родился в 1902 году в селе Монастырщина Богучарского уезда Воронежской губернии в зажиточной многодетной крестьянской семье. Имели землю и сеяли хлеб, справлялись с урожаем сами, батраков не нанимали.

Дед Федор, по рассказам отца, приехал в Монастырщину из Ельца, вернее из села Большой Верх между Ельцом и Лебедянью, в конце XIX века. Примечательно, что все встреченные мною в жизни однофамильцы происходили оттуда, из того села под Ельцом. Например, в Ялте, в туберкулезном санатории, подходит ко мне официантка и спрашивает:

— Извините, пожалуйста. Моя фамилия тоже Жигулина. Вы случайно не из-под Ельца родом?

— Нет, я родился в Воронеже.

— А отец?

— Отец тоже родился в Воронежской губернии, но дед мой как раз оттуда, из села Большой Верх.

Оказалось даже, что мы дальние родственники.

В начале 20-х годов, пожалуй, даже чуть раньше, отец мой, поссорившись с братьями и сестрами, ушел из дому. Работал почтальоном. Потом служил в Красной Армии связистом, воевал на Кавказе, был ранен. Прекрасно помню фотографию—он в военной форме с тремя кубиками в петлицах.

Члены семьи Жигулиных хлебнули всякого лиха, происходившего со страной. Муж и два сына тети Зины погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Долгие годы, до самой смерти, она получала пенсию за погибших мужа и сыновей. До реформы 1961 года — по 100 рублей, а после реформы—по 10 рублей за каждого. «По десятке за голову!»—мрачно говорил отец.

Года с 27-го родители жили в селе Подгорном Воронежской области, но не в том, что под Воронежем, а в другом—за Лисками, за Сагунами, на юге области. Село Подгорное, по существу,—главная моя родина. Дело в том, что родился я в Воронеже случайно и раньше времени, восьмимесячным. Мать ездила из Подгорного хоронить мою бабку, свою мать, умершую в последние дни 1929 года. От волнений и переживаний матери я и появился на свет раньше. Меня еле-еле выходили.

По рассказам матери и теток, был лютый мороз. Весом я был всего в пять фунтов. Согревали меня бутылками с теплой водой, клали их в колыбель. В Воронеже меня и крестили, но не в церкви, а на дому. Из Петропавловской церкви приглашали священника. До войны эта церковь еще была, а сейчас разрушена, снесена. Крестная моя мать — мамина младшая сестра, тетя Вера. Крестный отец — безвестный какой-то дьячок по фамилии Гусев. Грудным увезли меня в Подгорное, там отец работал уже начальником почты.

О родном моем Подгорном. В стихотворении «Родина» я это село немного «сместил». Оно не вполне донское. В Придонье оно находится — так можно сказать. Дон протекает восточнее, километрах в двадцати пяти, в Белогорье. Через Подгорное же протекает приток Дона — река Россошь, или Сухая Россошь. Луга с желтыми цветочками — широкие-широкие, меловые горы вдали. А через луга — канатная дорога от меловых карьеров к цементному заводу.

А село обыкновенное южнорусское. Белые хаты, соломенные крыши. Или камышовые. В этих местах Воронежской области Великая Россия постепенно переходит в Малую, и в разговорной речи до сей поры равноправны и русский, и украинский языки. Так я и рос первые свои семь лет — слыша и усваивая одновременно два говора. Мне казалось совершенно естественным, что можно говорить, как мама, а можно — как няня Ивановна, как соседские мальчишки из «хохлацких» семей. А были и русские — «кацапские» семьи. Жили дружно, не ссорясь. Когда мы переехали в Воронеж в 1937 году, я удивился тому, что все там говорят одинаково — как мама. Правильное украинское произношение очень помогло мне много лет спустя в сибирских и колымских лагерях, где много было украинцев.

Приличное знание второго богатого славянского языка помогает мне и сейчас — в литературной, поэтической моей работе. А диалектизмы: русские, украинские, белорусские, польские и иные, которые я усвоил в лагерях, в этом вавилонском смешении многих языков! А лагерный, тюремно-лагерный жаргон, вернее жаргоны разных периодов! Сколько слов, каких ни у Даля и нигде не найдешь! В 1954 году в воронежской 020-й колонии я составил большой словарь лагерной и блатной фени. Но при освобождении у меня эти тетради отобрали, решили, что они подходят под параграф, запрещающий «разглашение сведений о местах заключения». Ах, как жаль мне сейчас этих толстых общих тетрадей!.. Там были не просто сухие «переводы» слов, скажем, «канать — идти», а статьи к каждому слову с примерами из «классики» (чаще всего из лагерных песен, анекдотов, шуток и т. п. фольклора) и из разговорной речи с вариантами значений и т. д.

О подгоренском моем детстве. В эти первые, ранние годы жизни, а затем позже, летом 1942 года, в беспризорных скитаниях узнал, увидел я и усвоил, пережил и принял в сердце многие ставшие мне дорогими обычаи и понятия. Да. Жил еще и в селе Александровке в 45-м году, летом и осенью. Отсюда, из этих истоков, родились позже многие мои стихи.

Ал. Михайлов в одной из статей причислил меня к «деревенской лирике». Это верно и неверно. Разрушенная церковь с березой, растущей на кирпичах у самого креста. Поле. Скрип телеги. Бесконечные проселки и тропинки. И «огурцы на привражном суходоле», пожелтевшие в 46-м тяжелом году. Все это дорого моему сердцу. И ракитовые колья плетней, выпускающие побеги, и лебеда, и пчелы в камышовой крыше...

Но я поэт и городской. С 1937 года началась моя городская жизнь. Да, с 1937 года — точно. По стихотворению определил:

Было время демонстраций
И строительных громов,
И горела цифра двадцать
Над фасадами домов.

Да, 1937 год. Ежовщина. И 20-летний юбилей Октября. Значит, осенью 37-го я уже жил в Воронеже на улице Лассаля (так переименовали Перелёшинскую). Сейчас она называется улицей Ольминского. Оказывается, сын богача Александрова (трехэтажный кирпичный дом его стоял в начале улицы) был революционером, и псевдоним его был — Ольминский. А дом красив — с мезонином. И отделяла его усадьбу от уходящей вниз, к реке, улицы Степана Разина высокая каменная стена с тремя красивыми башенками, — как древний замок.

Воронежское детство. Довоенное. О нем у меня есть стихи. Наиболее точное — по выражению чувств, — пожалуй, «Дирижабль». И еще «Металлолом», «Воронеж, детство, половодье...».

Я любил бродить при теплом летнем солнце по сбегающим к Чернавскому мосту тихим, мощенным булыжником улицам. Особенно после дождя. Идти и смотреть под ноги на камни, по которым только что пробежал ручей. Мелкие камешки, огарки антрацита, ржавые гвозди. А вот — позеленевшая медная монета. Большая. Две копейки. 1798 года. Большая буква «П» с римской цифрой «I» под нею. Петр I?.. Позже я узнал, что не Петр, а Павел. Петр I правил раньше.

Первая моя коллекция монет горела во время войны. Но не все пропало. Расплавились лишь мелкие серебряные монеты. Медные монеты и полтинники выдержали огонь, я раскопал и нашел их под грудой кирпича и золы весной 43-го года.

А пришла война вот как. Из черного круглого большого репродуктора объявили о ней. Взрослые почему-то очень заволновались. А я спокойно сидел на верхней ступеньке лестницы, ведущей на большой балкон, на второй этаж дома, где жили Раевские. Первый этаж был кирпичным, а второй — рубленый деревянный — из «чернавского» леса. В конце XIX — начале XX века построили новый железобетонный Чернавский мост. А сосновые и дубовые бревна от старого пошли на постройку домов.

Настроения многих взрослых умных людей в первые дни войны были, как позже стало понятным, странными и даже удивительными. Первые несколько дней войны еще не было сводок Совинформбюро: оно еще не было создано. Печатались какие-то довольно бодрые, но неясные сообщения Генерального штаба Красной Армии: «Особенных изменений на фронтах не произошло» и т. п. Муж моей любимой тети Кати Василий Евлампиевич Елисеев, учитель, директор школы, мало того — уже побывавший в начале 30-х годов на Соловках, недоумевал:

— Почему не сообщается, сколько километров осталось до Берлина?.. А! Катя, я, кажется, догадался: командование хочет сообщить радостную весть о взятии Берлина неожиданно, как сюрприз!

В бой за Родину, в бой за Сталина!
Боевая честь нам дорога.
Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага!

Это мы распевали на уроках пения даже весною 1942 года!

Налеты, воздушные тревоги, аэростаты воздушного заграждения. Стрельба зениток. Новенькие блестящие осколки зенитных снарядов. Бесконечные переводы из одной школы в другую: помещения школ занимали под госпитали. За 1941/42 учебный год я учился по крайней мере в шести-семи разных школах.

Но настоящая, самая злая война пришла неожиданно. В июне 42-го года фронт был еще далеко, где-то за Курском, т. е. километрах в 220 — 250 от Воронежа. Отец лечился в туберкулезном санатории в селе Хреново́м. У него продолжался тяжелейший процесс в обоих легких. А перед войной отец умирал. Ярко и нынче помню: сидит отец на железной койке, нагнувшись над большим эмалированным белым тазом, и изо рта в таз хлещет алая кровь. Мать водила нас (меня и младшего брата Славу) прощаться с отцом. Низкое желтое длинное здание туберкулезной больницы на Студенческой улице напротив мединститута. За стеклом в окне — отец. Лицо белое, как подушка. Еле-еле улыбнулся. Но удалось отца выходить: наложили ему пневмоторакс и слева, и справа, и он выдюжил, поднялся.

2 июля 1942 года тихим-тихим, ранним, молочным летним утром проводила мама меня и брата моего Славу (на полтора года моложе меня) в детский санаторий в селе Чертовицком. Это километрах в 20 — 25 севернее Воронежа — по Задонскому шоссе и направо. Но нас отправили ре-

кой на барже, которую тянул катер-буксир. Много было детей. Плыли долго, часа четыре. Я и прежде (году в 39-м) был в Чертовицком санатории, но один, без Славки. На этот раз семья разделилась на три части: отец в тубсанатории, я с братом в Чертовицах, мать с младшей, двухлетней, сестренкой в Воронеже. Дня через два-три поползли слухи: немцы прорвали фронт.

Мне потом рассказывали, что город зверски бомбили. Жара. Ясное безоблачное небо. Тишина. Только слышно, как трещат горящие дома. Спокойно, строем — один за другим — «юнкерсы» подходят к цели и, даже не пикируя, сбрасывают бомбы на левый берег — на авиационные наши заводы, на завод синтетического каучука, знаменитый СК-2... Двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, сто двадцать самолетов! Стирают город с лица земли. И что обидно, удивительно и странно — ни одна зениточка не выстрелила, ни одна винтовка!

Танковые части, не помню какого генерала, в считанные часы прошли 200 километров и ворвались в Воронеж. Они вошли в город со стороны Семилук по железнодорожному мосту через Дон. Наши саперы не успели его взорвать. А с Чернавским мостом получилось еще хуже. Его заминировали, были начеку. Услышали грохот машин на Петровском спуске и взорвали мост... перед нашими отступающими частями. Им пришлось повернуть назад и, неся тяжелые потери, пробиваться к Задонскому шоссе.

Руководство санатория приняло решение отвезти детей в город к родителям. Маленький санаторский автобус был набит до отказа. Я успел втиснуться, но для Славки уже не было места, а оставить его я не мог и не хотел. Пришлось ждать второго рейса. Не дождавшись, узнали позже: вблизи города в автобус попала бомба, прямое попадание. Там было много детей папиных сослуживцев. Отец узнал о случившемся. Вероятность того, что и мы погибли, была велика.

А мы со Славкой пытались пройти в горящий Воронеж. Но навстречу катилась беспорядочная масса отступающих машин, повозок, бойцов. Мы шли обочиной. Низко летали самолеты. Ясно были видны черные кресты на крыльях. Листовки: «Граждане Воронежа! Доблестная германская армия пришла к вам, чтобы освободить вас от тирании жидов и коммунистов!..»

Раздался необычный, какой-то железный, страшный, густой свист, нарастающий и дикий. Кто-то крикнул:

— Бомба!..

В ужасе бросились мы на землю, на траву под деревьями. Прогрохотал взрыв, ударило волной в уши, сознание померкло, заходила, заколыхалась земля. Мы лежали, обняв друг друга за плечи, держась за корявые корни дуба. Смрадный запах тротила. И тишина. Когда встали, увидели: все вокруг изуродовано. Черные ямы воронок. И всюду — на траве, на деревьях — кровь, земля, куски человеческих тел.

Стоны раненых. Четверых красноармейцев мы положили на телегу — с нами были еще другие дети, была девушка-пионервожатая и еще кто-то из взрослых, видимо, санаторский кучер. Вернулись в санаторий, он был уже пустым. Склад продуктов разграблен. Какие-то люди тащили из санатория даже матрацы, одеяла, кровати. Раненые к утру умерли. Могилу им вырыли (и я тоже копал) в санаторском саду. А ночью мы почти не спали. На юге в полнеба полыхало зарево — горел Воронеж.

На следующий день начались наши скитания. Небольшой группой мы ушли в лес: несколько детей, пионервожатая и чья-то мама (за кем-то она приехала, но вернуться в Воронеж уже не смогла). Шли лесными дорогами, но даже они прочесывались «мессершмиттами». Несколько раз попадали под пулеметный огонь. К вечеру пришли в село Старое Животинное, там ночевали. Рано утром нас переправили на большом черном смоляном баркасе на левый берег реки Воронеж. Заливные луга. Когда шли к лесу открытым лугом, нас снова обстрелял немецкий самолет.

Около месяца мы жили на кордоне Песчаном. Было относительно спокойно. Иногда приходили партизаны. Вот тогда у одного парня я увидел впервые винтовку СВТ. Там наблюдали мы неравный воздушный бой. Несколько «мессеров» атаковали наш истребитель, видимо, И-15. Летчик сбил одну вражескую машину, но и его самолет загорелся. Летчик выпрыгнул, но слишком рано раскрыл парашют. Немцы на наших глазах буквально иссекли летчика из пулеметов.

С кордона Песчаного лесными дорогами мы вышли к железнодорожной линии, к селу и станции Углянец. Путь был нелегким и долгим. Не один день шли мы к Углянцу, а дня три. Ночевали в лесу. У нас были взятые из санатория одеяла. Одно стелили, другим укрывались. Переходили речку Усмань. Несколько лесных кордонов прошли в пути; судя по старым и нынешним планам и картам, мы проходили Плотовской и Тишинский кордоны, затем уже полями вышли к Верхней Хаве...

Отец нашел нас под осень в селе Анна, километрах в ста восточнее Воронежа. Что сталось с матерью и сестренкой, ни ему, ни нам не было известно. Немцы заняли главную часть Воронежа, остановились на выгодных позициях, на правом, высоком берегу реки Воронеж. По реке и проходил фронт. Левобережная (в то время очень небольшая) часть города была буквально стерта с лица земли и простреливалась через луг на много километров — далеко за город.

Только теперь, когда у меня самого вырос сын, я в какой-то мере могу представить себе и страдания моего отца, когда он узнал о разбомбленном автобусе, и радость, когда он нас разыскал. Да, он знал об автобусе, но его не покидала надежда на счастливый случай. Он изъездил за эти месяцы всю неоккупированную часть области, везде спрашивал о двух мальчиках двенадцати- и десятилетнего возраста. В поисках помогали ему работники районных и сельских контор связи.

Областные учреждения (которые успели) эвакуировались в город Борисоглебск. Там организовалось кое-как и областное управление связи, в котором отец работал. Начала выходить малым форматом областная газета «Коммуна». Городок стал центром области. Его тоже нещадно бомбили, особенно узловую станцию — Поворино.

Жили мы сначала в гараже городского отделения связи. Сентябрь был еще теплым. Ходили купаться. В Борисоглебске в одной пойме две реки: Ворона и Хопер. Однажды, когда мы уходили с многолюдного пляжа, налетел «мессер» и начал косить людей из пулеметов. Отец повалил нас со Славкой в какую-то яму и лег на нас сверху, прикрыл собою. Жертв было очень много, но в нас не попало.

25 января 1943 года наши войска вступили в Воронеж. Отход противника прикрывали некоторые немецкие части, а южнее Воронежа — итальянский альпийский корпус. Сейчас лежит передо мной красивая итальянская медаль: выпуклым крупным барельефом на фоне гор изображены солдаты, один со штыком наперевес, другой замахнулся прикладом. Красивая форма. Точны детали — до пуговиц на мундирах. Медаль эту я нашел на поле боя, но не в 43-м, а лет на пять позже. И на том же поле — нашу медаль «За боевые заслуги» и «Железный крест» с датой: 1939, наверное, за Польшу...

О том впечатлении, которое произвел на меня освобожденный Воронеж, я уже писал — и в ранних, и в более поздних стихах. Например, в стихотворении «Больше многих других потрясений...». Город был совершенно пуст и как бы прозрачен — от кирпично-розовых развалин, от белого снега.

Много жителей расстреляли немцы в Песчаном Логу на южной окраине Воронежа. Это наш воронежский Бабий Яр. О Песчаном Логе меньше пишут, меньше известно. Может быть, потому что там зарыто меньше людей?.. Но никто не должен быть забыт!.. Однако я знаю, жизнь, судьба часто бывает несправедлива не только к отдельным людям, но даже к целым городам и народам. Киев отдали без боя, но присвоили звание Город-герой. Через Воронеж восемь месяцев проходила линия фронта, восемь месяцев шли тяжелые, упорные бои. Но Воронеж наградили лишь орденом Великой Отечественной войны. Почему? Наверное, наше областное руководство плохо хлопотало...

Ни одной живой души... Кого не расстреляли — угнали. Неизвестно, что сталось с матерью, с сестрой... И город — как чужой, и нет родного дома. А любовь к родному городу занимала много места в моем детском, потом юношеском сердце. Позже иные боли и потрясения потеснили ее. Но в детстве и ранней юности я любил Воронеж любовью особенной — одухотворенной, щемящей, заинтересованной. Мы гордились своим горо-

дом, его историей, каждым малым его достоинством. Вот почему при встрече с разрушенным, сгоревшим Воронежем боль была такой долгой и неутешной.

То же можно сказать и о нашем доме на улице Лассаля. Больше всего люблю и вспоминаю всю жизнь именно его, хотя наша семья жила там едва ли более пяти-шести лет. Но нет в моей памяти роднее дома, чем тот дом № 17-б. Может, потому, что этого дома давно не существует? Несколько лет после 1942 года мне снилось, что наш сгоревший дом цел. Да и сейчас еще иногда бывают такие сны. В 1943-м я по памяти сделал рисунок нашего дома. Это было в Борисоглебске. Мы еще не знали, что дом сгорел. Рисунок сохранился.

Вместе с домом сгорела библиотека и архив Раевских (нашей ветви семьи Раевских; была еще близкая нам ветвь в Ростове, но она угасла, пропала еще до войны).

Архив выглядел так (в 1939—40-м годах): это были четыре очень большого формата и толщины книги. Но были они не напечатанные, а рукописные. В них были искусно переплетенные чьи-то письма, дневники, воспоминания, разные казенные бумаги с гербами, иногда и рисунки, фотографии, газеты. Переплеты кожаные, но неодинаковые — видно было что переплетали их разные переплетчики в разное время.

На всех томах были оттиснуты золотом слова: «Архив семьи Раевских», а также римские номера томов: I, II, III, IV. Третий или уж, во всяком случае, четвертый был составлен моим дедом. Да, конечно, он и третий том сам составил и переплел. Он знал переплетное дело и любил переплетать книги. Моя мать много раз говорила мне об этом. У него был и переплетный станок, и все такое прочее. В эти тома не успели попасть военные дневники, которые вел он в 1914—1917 годах. Позднее и они сгорели. А дневники деда времен гражданской войны остались в вагоне, в нехитром его багаже. Ордена и документы были, к счастью, в карманах.

И вот не стало архива. А зажгли приречную деревянную часть Воронежа, раскинувшуюся по буграм, спускавшуюся к реке,—увы!—не фашисты, а наши «катюши» с левого берега. Была, конечно, военная необходимость—обнаружить немецкие позиции, хорошо скрытые среди старых деревянных домов и деревьев. Но от этого сердцу не легче.

Помню я и библиотеку: золотистые корешки Брокгауза и Ефрона и другие многие-многие книги. Помню какие-то документы—большие хрустящие листы с орлами, фотографии деда—и в штатской форме, и в военной—со шпагой, с орденами. Когда смотрели снимки, мать иногда шепотом говорила мне:

— Потомственный дворянин... Кавалер орденов святой Анны, святого Владимира с мечами...

Сразу испуганно вмешивалась старшая сестра—тетя Катя:

— Что ты говоришь ребенку! Какой дворянин? Служащий!

Бумаги и снимки эти прятали, боялись дворянского своего происхождения.

Забавные бывали случаи. Помню, тетя Катя рассказывала моей матери сон:

— Ты знаешь, кого я во сне видела—Сталина!..

Мать хладнокровно отвечала:

— Царь снится к войне.

Тетя Катя и вовсе пугалась:

— Что ты, Женя! Разве он царь? Он—вождь!

— Все равно царь!

Как раз в это предвоенное время арестовали мужа тети Веры, самой младшей из сестер, моей крестной матери. Муж тети Веры, Самуил Матвеевич Заблуда, работал в каком-то важном учреждении или на военном заводе. Самуил Матвеевич исчез бесследно. Его убили в 1937 году как польского шпиона. Он был из польской еврейской семьи. Тетку спасла другая фамилия и быстрый отъезд в Москву. К слову сказать, все сестры Раевские, выходя замуж, оставляли себе девичью фамилию. А тетя Вера до сих пор живет одиноко и до сих пор надеется, что каким-нибудь образом Самуил Матвеевич выжил, что он все-таки жив. Мы с Ирой у нее бываем, но редко. Тетя Вера показывает старые фотографии и свои медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть», последнюю юбилейную медаль...

Но я говорил об освобождении Воронежа. Мы написали на листе обгорелого черного железа мелом: «Мама! Жы живы! Наш адрес—Студенческая улица, дом 32, кв. 8. Папа, Толя, Слава». Подобных надписей много было на развалинах — на закопченных, обугленных стенах, на листах железа, на дощечках, если дом сгорел дотла.

А вокруг Воронежа — севернее, западнее, южнее — широко раскинулись поля боев. Мне шел четырнадцатый, Славе—двенадцатый год. С товарищем своим (еще по улице Лассаля, по сгоревшему дому) Юркой Суворовым мы ходили по этим полям.

Разбитый ангар гражданского аэродрома. Взойдешь на взгорок—и насколько хватит взора—поля, плавные спуски к лугам, к Дону, от Семилук до Подгорного—все покрыто трупами. Многие места были минированы, но мы не боялись—ходили. Шла весна 1943 года, едва-едва начинала пробиваться травка, и мины на черной земле становились заметны. Ставили ведь их люди, ставили в спешке, порой под огнем... Я шел впереди, пристально всматриваясь в землю. Убитые были в основном наши, но порядочно было и немцев.

У мальчишек всегда сильна тяга к оружию. Мой Володя в абсолютно мирное время ухитрялся все-таки добывать где-то патроны, порох, делал из трубок пушечки. А уж наша оружейная страсть в сорок третьем году и позже удовлетворена была через край! Бывалые фронтовики удивляются моему знанию стрелкового оружия последней войны. Но ведь солдат мог всю войну пройти с винтовкой или автоматом одной системы. А у нас было все: от легкого, почти игрушечного на вид итальянского карабина до наших противотанковых ружей. У кого-то из ребят я видел даже большущий автомат канадского производства, бог весть как попавший в Воронеж. А наши мосинские трехлинейки и немецкие винтовки фирмы «Маузер»—этого добра было навалом, они валялись всюду, как дрова. ППШ, пулеметы: МГ-35 и наши «дегтяревские»—все было. Но пулеметы, в сущности, нам были не нужны. Вообще было нужно оружие, которое можно скрыть под одеждой. Поэтому из винтовок мы делали обрезы.

Всем хотелось иметь револьвер или пистолет, но они были редкостью и ценились дорого. У меня был немецкий «вальтер» (9 мм) и наган (револьвер с барабаном, называли его еще милиционерским, «легавским»). Наган мне подарил «на всякий случай» дядя Вася (В. М. Раевский), вернувшийся из госпиталя инвалидом. Он был ранен в бою, когда, лежа на земле, окапывался. Пули задели несколько позвонков, пришлось потом долго лежать в госпитале. «Вальтер» я купил на толкучке у барыги за 10 золотых пятерок 1901 года. Он был хорош тем, что был разработан под патрон «парабеллума», а этих патронов было очень много.

Сейчас разыскивают без вести пропавших героев войны. Находят иногда чудом сохранившиеся документы убитых, записки в гильзах и тому подобное. А во время войны (да и несколько лет после нее) десятки тысяч трупов в полях и в лесах вокруг Воронежа лежали незахороненными. Путешествуя по тем местам пешком или на велосипедах, мы, мальчишки, видели это своими глазами. В первые годы после боев легко было различить немцев и русских по шинелям, по оружию, по каскам, по документам. Но железо постепенно подбирали, одежда истлевала. Году в сорок шестом остались одни лишь косточки белые. Но и тогда еще можно было различить останки—по пуговицам. Ржавые железные—наш солдат, белые окислившиеся—немец (алюминиевые были у них пуговицы). К сорок девятому году, когда наконец все разминировали, и этих примет не осталось.

Поле боя между Воронежем и Подгорным мне особенно хорошо известно: каждое лето мы с ребятами ездили через него на велосипедах на Дон—купаться, ловить рыбу. На наших глазах это поле меняло облик. В сорок девятом году останки убитых наконец собрали и захоронили у Задонского шоссе около города в большой братской могиле. Сейчас над могилой памятник погибшим в боях за Воронеж.

Я немало мог бы написать о войне. Но этот материал хоть и годится для стихов, но далеко не всегда. Многое требует прозы. Вот почему несколько неуклюжим получилось стихотворение «Поле боя» (1967). Да, я хорошо помню лица восемнадцати—двадцатилетних мальчишек с вин-

товками, принявших на себя в 1942 году страшный удар — лавину танков на земле и лавину бомб с неба. Промороженные, высушенные ветрами, их тела сохранились еще к весне 1943 года.

После того как Воронеж был освобожден, потянулись долгие недели, а потом месяцы ожидания какой-либо вести о матери и младшей сестренке. Но никаких вестей не было. А ведь они могли погибнуть и под бомбами, и в Песчаном Логу, и где-то там, далеко, куда большинство жителей города угнали немцы.

Стихия смерти бушевала вокруг, но странное дело: мы со Славкой свято и твердо верили, что мать и сестренка найдутся. Мало того, мы отыскивали на развалинах и пепелищах детские игрушки для Валечки. Так звали нашу сестренку в раннем детстве, а вообще-то она Валерия, и сейчас ее зовут Лерой. Имя сменили словно бы для того, чтобы поскорее забылся ужас, который они с матерью пережили.

Росла гора кукол и прочих игрушек для Валечки. Я сделал для нее деревянный кукольный гарнитур: кроватки, стулья, столик, шкаф. Собирали мы для Валечки и цветные обрывки, лоскутки. И кроватка для нее самой нашлась, и детский стульчик. Отец почему-то с печалью смотрел на нашу суету. Особенно когда мы приносили какую-нибудь очень красивую игрушку. Шел июль 1943-го. Разлука и полное безвестие длились уже второй год.

И вдруг отец пришел с работы веселый, радостный, словно пьяный:

— Нашлись, ребята, и наша мать, и наша Валечка! Они в Борисоглебске! Завтра приедут на почтовой машине. Я сейчас по телефону с мамой говорил! Делайте полную уборку в квартире!

Следующим утром я услышал со двора радостный Славкин голос:

— Толя! Мама приехала! С Валечкой!

Я молнией скатился с четвертого этажа по лестничным перилам. У старинных кованых, но всегда открытых ворот стояла мама в каких-то нищенских лохмотьях, в старых галошах на босу ногу, подвязанных веревочками. По щекам ее текли слезы... А у Валечки в руках был запеленутый в тряпку початок кукурузы. Она его баюкала.

Была радость. Но для нас со Славкой она была какой-то будничной. Мы так долго их ждали, что появление их казалось совершенно закономерным. Мы считали, что они не могут погибнуть (так в детстве не верят в смерть!), и они не погибли.

На другой день пошли с матерью и Валечкой в Покровскую церковь. Все церкви в городе, даже полуразрушенные и обгорелые, действовали. Шла служба. И мне запомнились удивительные слова поющего:

— Христолюбивому русскому воинству Красной Армии — победы!

И хор подпевал:

— По-бе-ды!..

И гулко в обожженных стенах и куполах отдавалось:

— По-бе-ды!..

В этой же церкви после службы Валечку крестили. Ей не было еще и трех лет. Священник надел ей на шею бронзовый, довольно большой для ребенка крест. Крестики эти с любовью и старанием изготовлял прямо на церковном дворе сухонький старичок. Материалом служили разрезанные и расправленные тонкостенные гильзы от снарядов малокалиберных пушек. Зубильцем старичок этот, с хохолком седых волос над морщинистым лбом, вырубал заготовки крестов, затем обтачивал их напильником. Здесь же крестики и освящались.

Валечке ее крест очень понравился. Когда пришли домой, она радостно объявила другим детишкам:

— А у меня крест! Мне его дядя-парикмахер подарил в цирке. Он у меня немножечко волос с головы отрезал и побрызгал меня святой водой.

Отец мой был хоть и беспартийным, все же совслужащим, и крещение ребенка могли поставить ему в вину. Под каким-то предлогом крест у Валечки отобрали, но она стала кричать на всю округу:

— Где мой крест?! Отдайте мне мой крест!..

Он и сейчас, этот крестик из снарядной гильзы, хранится у нее среди самых священных реликвий.

...А стихи я начал писать летом сорок пятого года. Это было «продолжение» известной в то время в мальчишеском мире песни:

В Кейптаунском порту
С какао на борту
«Жанетта» оправляла такелаж...

Потом в школе, классе в седьмом, я раза два-три писал сочинения по литературе на вольные темы в стихах. Однажды темой были русские былины, в другой раз — Воронеж, родной город. Обрывки, листы некоторых черновиков случайно сохранились. Я писал на уроках всякого рода шуточные стихи, писал для классной стенгазеты. Но со школами, с ученьем мне не везло. То я пропустил учебный год сорок второго — сорок третьего, то почему-то уже в освобожденном Воронеже классы по-разному переформировывали. Сорок пятый — сорок шестой учебный год тоже был мною пропущен — из-за острого суставного ревматизма. Я простудился осенью победного сорок пятого — жил у тети Кати, которая во время оккупации попала в село Александровку и там учительствовала. Из этой поездки на «студебеккере», из той жизни в бедной послевоенной деревне возникли спустя многие годы такие мои стихотворения, как «Утиные Дворики», «Мельницы», «Еще не все пришли с войны...», «Спугнул я зайца на меже...». Там укрепилась детская моя любовь к полю, к земле, к деревне... А простудился я на обратном пути: был холодный октябрь, а обуви не было. Долго в ожидании попутной машины шел я босиком по мокрому черному холодному грейдеру... Привез в Воронеж полмешка яблок, антоновки. Потом — сильный жар, опухли суставы на ногах и руках. Пять месяцев пролежал в небольшой больнице иа Кольцовской улице...

К слову сказать, Алексей Кольцов — один из очень немногих поэтов, оказавших влияние на ранние, юношеские мои стихи (кроме него С. Есенин, А. Твардовский, К. Симонов). В стихах моих теперешних есть и образные, и музыкальные, и тематические соприкосновения с творчеством А. Кольцова, но есть, разумеется, и реалии, совершенно ему чуждые. Главная моя общность с замечательным моим земляком — это одна общая наша воронежская (да и вообще российская) земля, Родина. Одна и та же печаль и бескрайность воронежских наших лугов и полей... Да что и говорить!.. Эта близость естественна, как сама наша природа, как сама наша из века в век переходящая боль русского сердца.

А деревни Утиные Дворики, этих одиннадцати «мокрых соломенных крыш», давно уже нет. Снесли ее лет десять назад во время укрупнения колхозов. И существует теперь эта деревня только на старых архивных землеустроительных планах да в моих стихах. И даже знака никакого нет. Просто пшеничное поле рядом с новым шоссе от Воронежа на Анну...

Последние два учебных года я учился стабильно — в одной школе, в девятом, а потом в десятом классе «А». И здесь с осени сорок восьмого года начинаются особые страницы моей биографии.

Впрочем, прежде чем приступить к этой нелегкой теме, скажу немного о самом раннем моем знакомстве с литературой, в частности с поэзией.

Когда я еще не умел читать, многое читала вслух — мне и моему брату — моя мать. «Кавказский пленник» Л. Толстого — одно из этих произведений. Я горько рыдал, когда описывались страдания Жилина и Костылина в татарском плену. Одно из первых услышанных мною в жизни стихотворений:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна.
Грустную думу наводит она...

Более сорока лет я помню его наизусть и ношу в своей душе. Мать вообще много знала и много читала нам стихов. В семье хранился ее девичий гимназический альбом, в который были переписаны ее любимые стихотворения. Я очень хорошо помню этот альбом. Перед стихами были рисунки (мать рисовала). Одинокий домик с соломенной крышей в пустом поле. Стога сена. Колодец с журавлем. Косяк улетающих птиц. И снова стихи:

Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая.

А отец рассказывал нам сказки. Вернее, одну и ту же сказку — «Про Илью Муромца и Соловья-разбойника». Диким свистом свистел Соловей-разбойник. Пугался свиста и припадал на передние ноги богатырский конь. А Илья Муромец ругал коня: «Ах ты, волчья сыть! Травяной мешок!..»

Других сказок отец не знал, но и одна эта никогда не надоедала. Совсем недавно эта сказка (или былина?) попалась мне в каком-то сборнике, и я удивился близости текста к тому, который я запомнил в начальные свои годы. А ведь отец мой, по его словам, знал сказку вовсе не по книге, а от своего отца, моего деда (матери своей отец не помнил, она — вторая моя бабка — умерла, когда ему было всего два года). Что еще можно сказать? Сын мой Владимир знает и любит былину об Илье Муромце.

Впервые мои стихи были опубликованы в многотиражке «Революционный страж» (орган политчасти УМВД по Воронежской области) 29 марта 1949 года. Стихотворение было посвящено родному городу и называлось «Два рассвета» («Тебя, Воронеж, помню в сорок третьем...»). 15 мая 1949 года воронежская областная газета «Коммуна» опубликовала мое стихотворение «Пушкинский томик».

В том же, 1949 году я поступил в Воронежский лесохозяйственный институт, на лесохозяйственный факультет. Учиться в школе я любил, хотя часто получал плохие отметки. Нелюбимых предметов у меня не было. Я серьезно раздумывал, на какой из факультетов ВГУ поступить: на филфак или на физмат. Но я очень любил природу, а на выбранном мною факультете было много не только биологических, но и точных наук. Это, видимо, все и решило.

ВИНА

Моим друзьям и товарищам, да и недоброжелателям и врагам, а также моим читателям известно, что я был незаконно репрессирован, был в лагерях в Сибири и на Колыме, затем полностью реабилитирован. Это известно из моих устных рассказов, но более — из моих стихов.

Эти стихи, где все прямо названо своими именами: тюрьма, лагерь, расстрел, охранник, пайка, черный номер на груди, зека и так далее, — имеют свойство освещать своим черным светом и стихи, стоящие рядом, которые без них, освещающих, можно принять за обычные: какая-то беда, какая-то боль, какой-то рудник и т. п. И не только послелагерные стихи, но и моя более поздняя лирика стоят на сибирско-колымском фундаменте.

Часто я слышу вопросы:

— Скажите, а какой все-таки повод был для объявления вас «врагом народа»? Какие конкретно обвинения были вам предъявлены? Была ли хоть малая основа для вашего осуждения? Что именно — стихи, разговоры какие-нибудь?..

Ответить на подобные вопросы кратко очень нелегко. Сотням людей в Воронеже и многим в Москве довольно подробно известно о нашем деле, о так называемом «деле КПМ». Я пишу «о нашем», потому что был осужден не один, а вместе с двадцатью двумя моими товарищами, моими подельниками (подельник — человек, осужденный по одному и тому же делу с кем-либо).

О деле КПМ сохранилось много документов. Это — прежде всего — материалы следствия 1949—1950 гг. — одиннадцать томов, несколько томов переследствия, нового разбора нашего дела в 1953—1954 гг. (В каждом следственном томе, как правило, около 300 листов, исписанных с обеих сторон.) Конечно же, эти и иные материалы[1] ценны для историка, для скрупулезного исследования деятельности КПМ — при всей тенденциозности следствия и вполне естественной в этих условиях фальсификации фактов как с той, так и с другой стороны.

Я скажу лишь самое главное — о духовной сути нашей организации.

[1] Личные дела заключенных, копии наших жалоб на ведение следствия и ответы на них из разных учреждений, различные справки, протоколы обысков, письма из лагерей, наши послелагерные записи и дневники, фотографии и т. п.

В работе мне помогают и мои стихи, сочиненные в тюрьмах и лагерях, а также моя собственная память и устные рассказы-воспоминания о том времени моих близких друзей-подельников, бывших членов КПМ.

КПМ — Коммунистическая партия молодежи, нелегальная молодежная организация с марксистско-ленинской платформой, — была создана в Воронеже в 1947 году учениками 9-го класса мужской средней школы Борисом Батуевым, Юрием Киселевым и Игорем Злотником. Я вступил в КПМ 17 октября 1948 года.

Осенью этого года и началась деятельность КПМ. Было создано Бюро КПМ. В Бюро вошли четверо: Борис Батуев — первый секретарь, я — второй секретарь (или секретарь по агитации и пропаганде), Юрий Киселев — начальник особого отдела, Игорь Злотник — хранитель денежного фонда КПМ. Руководство низовыми группами КПМ в Воронеже и некоторых районах области осуществлялось через Аркадия Чижова и его связных.

В группы входило по нескольку человек — от четырех до восьми. Независимо от численности мы называли эти группы пятерками. Лишь один из группы, ее руководитель — воорг (вожак-организатор), имел связь с Бюро через связного, фамилии которого он не знал. Таким образом, и воорг, и рядовой член КПМ знали лишь нескольких своих товарищей. Эта традиционная, широко известная из литературы, давно проверенная пятерочная структура подпольной организации даже при чудовищном провале (ренегатское письмо одного из руководителей КПМ и полный «раскол» на следствии другого) позволила нам сохранить, уберечь от ареста более двадцати членов КПМ.

Всего же в КПМ, насколько мне известно, было принято более пятидесяти человек, точнее — 53 человека[1]. В то время я знал далеко не всех. Со многими своими товарищами по КПМ я познакомился только после реабилитации. А некоторых и сейчас не знаю.

Осенью 1948 года была утверждена Программа КПМ. Выработали, создали ее три человека, три десятиклассника, решивших посвятить свою жизнь революционному ленинскому преобразованию страны. Борис Батуев, Юрий Киселев и я. Работали мы над этим документом несколько дней в особняке на Никитинской улице (дом № 13) — о нем будет еще речь впереди, — в комнате Бориса Батуева Работали чаще всего вечерами, после школьных занятий. Борис сидел за своим письменным столом под лампой с зеленым абажуром. Писал он перьевой ручкой, фиолетовыми чернилами в обычной 12-листовой школьной тетради с голубой обложкой. Мы с Юрием, сидя рядом, предлагали тот или иной пункт, обсуждали его вместе с Борисом. Наибольшая часть работы пришлась на долю Бориса Батуева: он был более начитан в политической и философской литературе.

КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах п о д л и н н о г о марксистско-ленинского учения.

Программа КПМ имела антисталинскую направленность. Мы выступали против «обожествления» Сталина. (Слово «культ» в отношении Сталина стало употребляться значительно позднее.)

Последний, итоговый пункт гласил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире».

Пожалуй, необходимо сейчас добавить, забегая вперед, что Программа наша существовала в единственном экземпляре и была сожжена Б. Батуевым, когда возникла опасность арестов.

Мне и моим товарищам приходится сейчас слышать и недоверчивые вопросы:

— Как это вы, семнадцатилетние школьники, могли додуматься до такого? Что-то не верится.

Неверящих и сомневающихся я отсылаю к сохранившимся материалам следствия, ко многим оставшимся в живых бывшим членам КПМ, к бывшим нашим следователям. Действительно, на первый взгляд создание и существование такой организации в сталинское время кажется нереальным.

Да, мы были м а л ь ч и ш к и 17—18 л е т. И были страшные годы — 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах

[1] По сведениям одного из членов КПМ, Игоря Струкова, — 63 человека. И. Струков — юрист по образованию, работает адвокатом в Москве.

и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми. Просили милостыню — как водится на великой Руси — Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично.

В роскошный двухэтажный особняк на Никитинской нищих не пускали. В особняке было всего лишь четыре квартиры, примерно по десять комнат каждая. На первом этаже — квартиры второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и первого заместителя председателя Воронежского облисполкома. Двор, участок с гаражом были окружены кирпичною стеною. У ворот — будка, круглосуточный пост спецотдела милиции. С телефоном, как в наше время. Но нас, друзей Бориса Батуева, обычно пропускали, особенно если на посту стоял отец одного из нас — Юрия Киселева — Степан Михайлович Киселев. Пропускали потому, что Борис Батуев был сыном второго секретаря обкома Виктора Павловича Батуева.

В 1946 году Борис Батуев, Василий Туголуков и Юрий Киселев совершили лыжный поход в родную деревню Киселева Хвощеватку. На Бориса картина жизни крестьян-колхозников в этой деревне и в соседних деревнях произвела страшное впечатление. Он увидел лежащих на полу умирающих от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору... Там березы много, и район называется Березовским.

Конечно, в особняке на Никитинской о голоде не говорили да и в каком-то смысле почти и не знали. Боря жил почти как при коммунизме, а мы, его товарищи, и соседи, и соклассники, голодали. Жмых (макуха) был большим лакомством. Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать газетные статьи о счастливой жизни советских людей — рабочих и колхозников. Тогда почему-то особенно часто печатали плакаты с изображением румяных девушек с золотыми хлебными караваями в руках. И часто показывали веселые фильмы о деревне и почему-то именно пиршества, колхозные столы, ломящиеся от яств.

Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью.

Да, мы читали стихи и пели песни о «великом друге и вожде». Но мы слышали от взрослых о раскулачивании, о массовых репрессиях 1937-го и других годов. Нам было известно «Письмо Ленина к съезду», в котором он дал характеристику Сталину. Эта информация, во всяком случае, часть ее шла к нам из семьи Бориса Батуева. Со слов Бориса знали мы и о дутом «ленинградском деле». «Не все спокойно в Датском королевстве» — это было очевидно. Так что не беспричинно, не из пустоты возникла идея создания КПМ. И было д е л о, за которое нас судили. У меня даже стихи об этом есть, написанные в 1961 году. Вот они:

ВИНА

Среди невзгод судьбы тревожной
Уже без боли и тоски
Мне вспоминается таежный
Поселок странный у реки.

Там петухи с зарей не пели,
Но по утрам в любые дни
Ворота громкие скрипели,
На весь поселок тот — одни.

В морозной мгле дымили трубы,
По рельсу били — на развод.
И выходили лесорубы
Нечетким строем из ворот.

Звучало:
«Первая!.. Вторая!..»
Под строгий счет шеренги шли.
И сосны, ругань повторяя,
В тумане прятались вдали...

Немало судеб самых разных
Соединил печальный строй.
Здесь был мальчишка, мой соклассник,
И Брестской крепости герой.

В худых заплатанных бушлатах,
В сугробах, на краю страны —
Здесь было мало виноватых,
Здесь больше было —
Без вины.

Мне нынче видится иною
Картина горестных потерь:
Здесь были люди
С той виною,
Что стала правдою теперь.

Здесь был колхозник,
Виноватый
В том, что, подняв мякины куль,
В «отца народов» ухнул матом
(Тогда не знали слова «культ»)...

Смотри, читатель:
Вьюга злится.
Над зоной фонари горят.
Тряпьем прикрыв худые лица,
Они идут
За рядом — ряд.

А вот и я
В фуражке летней.
Под чей-то плач, под чей-то смех
Иду — худой, двадцатилетний,
И кровью харкаю на снег.

Да, это я.
Я помню твердо
И лай собак в рассветный час,
И номер свой, пятьсот четвертый,
И как по снегу гнали нас.

Как над тайгой
С оттенком крови
Вставала мутная заря...
Вина!..
Я тоже был виновен,
Я арестован был не зря.

Все, что сегодня с боем взято,
С большой трибуны нам дано,
Я слышал в юности когда-то,
Я смутно знал давным-давно.

Вы что, не верите?
Проверьте —
Есть в деле, спрятанном в архив,
Слова — и тех, кто предан смерти,
И тех, кто ныне, к счастью, жив.

О дело судеб невеселых!
О нем — особая глава.
Пока скажу,
Что в протоколах
Хранятся и мои слова.

Быть может, трепетно,
Но ясно
Я тоже знал в той дальней мгле,
Что поклоняются напрасно
Живому богу на земле.

Вина!
Она была, конечно.
Мы были той виной сильны.
Нам, виноватым, было легче,
Чем взятым вовсе без вины.

Я не забыл:
В бригаде БУРа [1]
В одном строю со мной шагал
Тот, кто еще из царских тюрем
По этим сопкам убегал.

Я с ним табак делил, как равный,
Мы рядом шли в метельный свист:
Совсем юнец, студент недавний,
И знавший Ленина чекист...

О люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы,
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Я с вами шел в те злые годы,
И с вами был не страшен мне
Жестокий титул «враг народа»
И черный
Номер
На спине.

Эти стихи в 1962 году я предложил «Новому миру» вместе с другими стихотворениямн на эту же тему. 4 марта 1963 года состоялась моя беседа с А. Т. Твардовскнм об этом цикле. Твардовский не всему поверил в стихотворении «Вина». Сказал, что строки про «живого бога на земле» притянуты задним умом. Не могли, мол, вы знать об этом в «той дальней мгле». Перечеркнул середину стихотворения:

— Это все от лукавого. Ничего вы не могли понимать даже смутно! Что у вас там было? Городскую баню, что ли, хотели взорвать?!

Я возразил, сказал, что он может при желании ознакомиться в архиве с делом КПМ.

Вообще же беседа была большой и интересной — и о стихах, и о пережитом. Но сейчас не место останавливаться на ней. Твардовский предложил опубликовать стихотворение «Вина» без десяти срединных строф [2] под названием «Воспоминание». Я согласился. Цикл стихов был набран, поставлен в номер и... снят цензурой. Стихотворение «Воспоминание» мне удалось впервые опубликовать в моей книге в 1964 году.

Твардовский не мог т о г д а согласиться со мною. Он писал о Сталине:

И кто при нем его не славил,
Не возносил — найдись такой!..

«Таких» было совсем мало, и, однако, такие нашлись.

Здесь важно сказать, что КПМ была не единственной молодежной нелегальной организацией в послевоенные годы. И в других городах было раскрыто несколько подобных организаций. Показательно сходны даже названия: «Кружок марксистской мысли», «Ленинский союз студентов» и т. п. КПМ отличалась от этих небольших (3—5 человек) групп сравнительно большой численностью и четкой организованностью.

Чтобы понять, чем было вызвано появление таких организаций, необ-

---

[1] Барак усиленного режима, тюрьма в лагере.

[2] Одна из срединных строф оставалась с поправкой: «Тут был и я. Я помню твердо...» и т. д.

ходимо вспомнить, рассказать молодым читателям, которые этого не знают, о той тяжелейшей лицемерно-лживой атмосфере, которая особенно сгустилась после победоносной Великой Отечественной войны.

Передо мною сейчас на столе книга: «Иосиф Виссарионович Сталин, Краткая биография», Москва, 1948. Мы внимательно читали ее тогда:

«И. В. Сталин — гениальный вождь и учитель партии, великий стратег социалистической революции... Великий кормчий революции, мудрый вождь всех народов... Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня».

Со всех сторон, со всех стен смотрели на нас портреты великого вождя. Многие тысячи, а может, и миллионы бюстов, скульптур, монументов Сталина, сделанных из гипса, мрамора, железобетона и бронзы, стояли в наших школах и институтах, в клубах, дворцах, на улицах, на площадях.

— При Ленине такого не было, — слышали мы иногда скупые, осторожные слова взрослых.

В нашей семье (и со стороны Раевских, и со стороны Жигулиных) культа Сталина не было и быть не могло. Это ясно из предыдущей главы. Одни пострадали как дворяне, другие как «кулаки». Обе семьи не обошел и 1937 год.

И когда летом 1948 года Борис Батуев дал мне прочитать «Письмо Ленина к съезду», я не был удивлен. Я еще не вступил в КПМ, но мы с Борисом были уже близкими друзьями и делились самыми опасными в то время мыслями. Вот одна из них: «Ленин оказался прав. Более того, 37-й год показал, что Сталин еще более мрачная и опасная фигура, чем предполагал Ленин».

Мы невольно задумывались: до какого предела может дойти возвеличивание Сталина, ради чего это делается?

В августе 1948-го в День авиации сидели мы с Борисом Батуевым на каменном, но теплом от солнца крыльце во дворе особняка на Никитинской улице. У меня в руках была центральная газета с большой статьей Василия Сталина о «сталинских соколах». Я подсчитал, что в статье 67 раз встречается слово «Сталин» или производные от него.

— У нас теперь все сталинское! — мрачно сказал Борис.

Начали считать города: Сталинград, Сталинабад, Сталино, Сталинири, Сталинск, Сталиногорск — сбились со счета.

— А ведь есть еще пик Сталина, — вспомнил я.

— А сколько заводов, колхозов, проспектов и улиц носит имя Сталина!

— А сколько районов, совхозов, поселков!

— Только общественным уборным не присваивают еще имя Сталина! — заключил Фиря [1].

Вот тогда-то кто-то из нас и произнес это роковое слово: «обожествление».

А было именно обожествление. Поэты изощрялись, прославляя Сталина на все лады. Все рифмы на слово «Сталин» — типа «стали» — были исчерпаны. Помню восторг знакомого начинающего поэта, когда он обратил мое внимание на красочный щит со стихами в саду Дома учителя. Стихи начинались строкою:

Наш небосвод прозрачен и кристален...

— Такого еще не было! Вот это подлинная поэтическая находка! — говорил мой спутник. — «Сталин — кристален»! Такой рифмы я никогда не слышал!..

Не помню, чьи это были стихи, но первая строка и рифма запомнились.

Это было в августе 1948 года, а в октябре я включился в работу КПМ.

В детстве я был робким, стеснительным, даже боязливым ребенком. А в новой, необычной ситуации словно преодолел какой-то невидимый психологический рубеж. Позади — страх и робость. Впереди — большая важная работа, опасность, риск.

---

[1] Школьное прозвище Бориса Батуева.

Все было похоже на игру, но это была слишком страшная игра, чтобы называться игрою.

Была утверждена внешняя атрибутика, которую настоящие, опытные подпольщики никогда не заводили бы. Значок КПМ — красный флажок с профилем Ленина (как сейчас комсомольские значки). Членские билеты КПМ. По моему предложению, кроме девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», был принят еще один девиз КПМ: «Борьба и победа!»

Был издан первый номер рукописного журнала «Спартак». Помню его обложку, нарисованную Владимиром Радкевичем. Черным по белому: СПАРТАК. Орган Бюро КПМ. 1948. № 1. Профиль Ленина. И оба наши девиза.

Гимном КПМ был утвержден «Интернационал». Немного позднее был принят еще один гимн, не помню, на чьи слова.

Был утвержден наш особый приветственный жест: остро и напряженно согнутая в локте правая рука прикладывалась к груди так, что обращенная вниз ладонь с плотно сжатыми пальцами находилась у сердца.

Организация стала быстро расти. Было решено выпускать и литературный журнал — «Во весь голос». Этот журнал и созданный вокруг него литературный кружок являлись первой проверочной ступенью к приему в КПМ. Людей неподходящих отсеивали. Они выбывали, зная, что существует безобидный литературный кружок.

Привлечение в КПМ новых людей было самым рискованным и трудным делом. Мы не могли принимать в свои ряды людей малознакомых или даже отлично знакомых, но не известных нам по их воззрениям. Обычно член КПМ рекомендовал для приема своего самого верного друга, с которым он уже предварительно осторожно беседовал — о положении в стране, о забытых заветах Ленина и т. д. Вспомните, например, что Борис Батуев, зная меня с 1943 года, учась со мною в одном классе и будучи близким другом, показал мне «Письмо Ленина к съезду» летом 48-го, а вступить в КПМ предложил только в октябре. Мы не могли принимать в КПМ людей «сырых», чтобы затем «перековывать» их сознание в своих рядах. Это было бы безумием. Здесь на каждом шагу возможны были провалы. Мы изучали будущих, возможных членов КПМ, пока не убеждались, что их можно принять.

Когда нас было всего трое (у Злотника была болезнь почек, и он подолгу лежал в больницах), мы принимали в КПМ в особняке на Никитинской, в комнате Бориса Батуева. Вступающие были уже подготовлены, знали о наших задачах — изучать классиков марксизма, о нашей программе постепенного восстановления ленинизма в стране. Они приходили торжественно дать клятву и получить партийный билет.

Обычно это бывало по вечерам. Верхний свет был потушен. Окно занавешено. За окном, выходившим в закоулок, нас охранял Володя Радкевич — и в мороз, и в слякоть — со своим старым наганом, в барабане которого было всего четыре патрона. На настольную лампу была наброшена красная ткань, и в комнате царил сурово-торжественный полумрак. На стене — большой портрет Ленина. У двери — застывший на страже Юрий Киселев с автоматом «шмайсер», заряженным полным магазином. Тщательно начищенный, смазанный и надраенный, словно новенький, пистолет-пулемет тускло мерцал в багровом свете.

Вступающий произносил клятву. Заканчивалась она словами: «...Клянусь свято хранить тайну КПМ. Клянусь до последнего вздоха нести знамя ленинизма через всю свою жизнь к победе!

Если же я хоть в малой степени нарушу эту клятву, пусть покарает меня смертью суровая рука моих товарищей.

Борьба и победа!»

Текст клятвы, напечатанный на машинке, подписывался вступающим, и он получал партийный билет.

Так были приняты в КПМ осенью 1948 года Н. Стародубцев, В. Радкевич, В. Рудницкий, М. Вихарева, Л. Сычов, или, как мы его звали, Леня Сычик.

Позднее, когда были созданы две-три неполные пятерки (по 2—3 человека), прием стал производиться в группах. Но так же торжественно. Правда, уже без автомата. Он был велик для хождения с ним по городу и до приказа избавиться от оружия мирно пролежал в Юркином сарае.

Вообще по правилам конспирации члены Бюро КПМ не должны были посещать собрания в низовых группах. Но дважды на собраниях пятерок я все-таки был.

Сначала я присутствовал на собрании воронежской пятерки Николая Стародубцева. Он жил в собственном одноэтажном домике на улице Красноармейской. Шел декабрь 48-го года или начало января 49-го. Белостенная светлая горница. Блаженное тепло от русской печки (а на дворе мороз).

Николая Стародубцева я давно и хорошо знал. Других четырех (среди них была одна девушка) я никогда прежде не видел. Я представился:

— Алексей Раевский.

Они не представились мне — ни по имени, ни по фамилии. Так полагалось — рядовых членов должен был знать только воорг. В данном случае Николай. Этот могучий, красивый, удивительно обаятельный гигант был человеком надежным. Это подтвердилось и на следствии. Вообще все наши руководители групп показали на следствии высокое мужество — не назвали членов своих пятерок. Воронежская группа Н. Стародубцева осталась на свободе. Кто они были, я и сейчас не знаю.

Политически эта группа была уже крепко подкована. Они уже читали сочинения В. И. Ленина и на этом занятии сопоставляли одну из ленинских работ с книгой И. В. Сталина «Вопросы ленинизма». Находили в книге Сталина вульгарные упрощения мыслей Ленина. Со слов Н. Стародубцева я знал, что отцы двоих парней из этой его группы были расстреляны в 37-м году.

Миловидная, остроглазая девушка задала мне вопрос:

— Товарищ Раевский, как представляет себе руководство КПМ изменение ситуации в стране? Ведь нас, наверное, не очень много? Что мы можем реально изменить?

— Вы сказали, что вы студентка исторического отделения ВГУ. — (За это она после собрания получила нагоняй от Н. Стародубцева — не полагалось членам КПМ в таких ситуациях сообщать о себе подобные сведения.) — Вы закончите университет, и не только вы одна. Многие члены КПМ закончат вузы, в том числе и военные. Многие изберут себе путь партийных, военных работников, публицистов. Этот процесс медленный, но, по нашим замыслам, в указанных сферах деятельности постепенно утвердится большое количество членов КПМ, людей, верных ленинизму. Все мы, разумеется, вступим в ВКП(б). И, полагаю, сможем изменить духовно-нравственную атмосферу нашей действительности.

— Но это же очень долгий путь!

— Долгий, но верный. А какой иной путь вы можете предложить?

— Не знаю, но мне хочется, чтобы изменения были более скорыми и более радикальными.

Примерно такая же беседа — именно о мирном, постепенном приходе к власти в стране здоровых ленинских сил — была у меня и в группе Славки Рудницкого, в его квартире на улице Сакко и Ванцетти. По существу, и у Стародубцева, и у Рудницкого я своими словами пересказывал и разъяснял своим товарищам по КПМ один из главнейших пунктов нашей Программы.

В группе Рудницкого было уже семь или восемь человек, в том числе и Марина Вихарева, которую перевели в эту группу по ее просьбе, подальше от Аркадия Чижова. У них был, говоря языком XIX века, роман, который Чижов грубо оборвал.

После собрания я вышел вместе с Мариной, нам было по дороге. На улице был легкий хрустящий морозец. Горели в черной высоте крупные редкие звезды. Марина жила на Никитинской — наискось от уже описанного мною начальственного особняка. Я проводил ее домой. Мне было почему-то грустно. Мы, немногие, кто знал, как поступил с ней Чижов, относились к ней с какой-то трепетной нежностью, любили ее святой братской любовью.

Попрощавшись с Мариной, я зашел к Борису, рассказал о собрании, о беседе у Рудницкого.

— Все! — сказал Борис. — Больше никаких прямых контактов с низовыми группами! Только через связных.

В этой повести вряд ли хватит места для подробного, во всех деталях, рассказа о сложнейшей и запутаннейшей истории КПМ. Но главное необходимо обозначить.

Нашими действиями руководили самые искренние и благородные чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь Родине и народу. Много было в нас и юношеской романтики. Опасность, грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, сколь она страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в ранней юности человек способен на такие беззаветные порывы. С годами люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее. Может быть, и прав А. Межиров, говоря, что «даже смерть — в семнадцать — малость»?..

Иногда меня спрашивают: кто и как нас предал?

Началось со случайности, которая, разумеется, очень нас (меня, Б. Батуева, Ю. Киселева) встревожила: в группе М. Хлыстова был потерян один из наших журналов «В помощь вооргу». Я и Ю. Киселев проводили расследование этого случая. Михаил Хлыстов, Миша Хлыст — здоровенный детина, наш соклассник, объяснял пропажу просто: журнал случайно нашел в ящике письменного стола его дядя, бывший работник НКВД, и при нем сжег журнал в печке. Никуда, дескать, дальше печной трубы дело это не пошло.

Хлыстова исключили из КПМ, исключили и всю его группу — объявили им, что организацию решено распустить. Это был первый — фиктивный, в целях конспирации — роспуск КПМ.

Я помню эти тревожные дни. Допрос члена группы Хлыстова С. Загораева. Потом собрание группы Хлыстова на большом чердаке нашей школы. Все члены группы Хлыстова подписали клятву о неразглашении тайны КПМ. Клялись своей жизнью. Разговор был горячий, чуть-чуть не дошло до стрельбы.

Нам — мне, Борису и Киселю — показалось тогда, что Хлыстов говорил с предельной искренностью, показалось, что журнал действительно сгорел на его глазах. Ах, если бы это было так! Возможно, КПМ могла бы просуществовать нераскрытой еще несколько лет.

Но Хлыстов солгал нам. На первом же допросе я увидел этот «сгоревший» журнал в руках лейтенанта Коротких! И сразу же вспомнились слова Бориса, сказанные уже в ожидании арестов: «Славный парень Миша Хлыст. Но глаза у него, если хорошенько приглядеться, нехорошие. Это ничего, что желтые. Это бывает в природе. Но оттенок их, извини за «цинический» образ, напоминает цвет застоялой мочи. Не верю я ему! Не верю, что журнал сгорел в печке. А если журнал не сгорел, сам понимаешь, — в конце концов сгорим мы».

Ты уже позабыл, наверное, Миша Хлыст, этот мелкий эпизод своей жизни? Не случайно же один наш бывший соклассник вдруг неожиданно передал мне недавно... привет от тебя в поздравительной открытке?! А ведь мы не встречались с тобою с ареста, с «палаты номер шесть», с сентября 1949 года.

Прошло почти сорок лет. Ты, наверное, подумал, что и я забыл о журнале «В помощь вооргу», который будто бы сгорел в печке? Нет, не забыл. И никто из КПМ этого не забыл. Никто из осужденных, преданных тобою товарищей не забыл и небольшую бумажечку в нашем деле, протокол, гласивший, что журнал «В помощь вооргу» был обнаружен при выемке почты в почтовом ящике номер такой-то такого-то числа. Такие протоколы — фиговые листочки, которыми МГБ прикрывало предателей и провокаторов. И как же журнал мог очутиться в почтовом ящике после того, как сгорел в печке на твоих глазах? Ведь он был «издан» в одном экземпляре, написан мною от руки!

И почему после нашего возвращения из лагерей ты вдруг мгновенно исчез из Воронежа, на много лет неизвестно куда? Ты, наверное, хорошо помнил клятву, которую ты давал. А теперь призабыл за давностью лет? Забыл и то, что отправил на смерть и каторгу более двадцати своих друзей и товарищей?

Прошлого, Миша, не забывай, «Живи и помни», как написал известный писатель. О душе своей подумай, Михаил Хлыстов!

В конце января 1949 года, уже после пропажи журнала, Ю. Киселев был вызван в Управление МГБ по Воронежской области. С ним беседовали, интересовались нашим литературным кружком, нашими встречами. Юрка объяснил: изучаем классиков марксизма, читаем стихи, ничего особенного...

С этого времени началась за нами слежка, которую мы заметили. Я, Борис и Юрка Кисель всерьез задумались над вопросом о настоящем роспуске КПМ. Борис был против роспуска.

Четвертый член Бюро КПМ, Игорь Злотник, лежал в это время в очередной больнице. Мы часто навещали его. О пропаже журнала, о вызове Юрия Киселева в Управление МГБ и о замеченной нами слежке мы ему рассказали. Он встревожился больше всех и вдруг написал и вручил мне «Открытое письмо членам КПМ». В этом его письме КПМ была названа антисоветской фашистской организацией. Он призывал всех выйти из ее состава.

По тогдашним словам Злотника, он намеренно исказил истину, чтобы испугать участников организации. Я принес письмо Батуеву. Втроем, вместе с Киселевым, мы прочли его и уничтожили. Но спустя несколько дней Злотник сообщил нам, что второй экземпляр его «Открытого письма» исчез. Он высказал предположение, что документ этот, лежавший в книге, был у него похищен сопалатником, который был работником МГБ.

Что касается профессии сопалатника — все оказалось верно. Но вот о пропаже письма... Мы пришли к выводу, что Злотник мог сам передать свое письмо в МГБ. Может быть, и через сопалатника. Злотник был сразу же исключен из организации, а летом 1949 года Бюро КПМ приговорило его к расстрелу. (По уставу у нас было только две меры наказания: исключение из КПМ или расстрел. Конечно, мы были детьми своего времени. И даже в чистоте помыслов своих невольно впитывали жестокость сталинской эпохи. Отсюда суровость наших мер наказания.)

Может показаться странным, что смертный приговор был вынесен Злотнику не сразу, а примерно через четыре месяца. Почему мы медлили? Во-первых, потому, что письмо Игоря было абсурдным. Советские школьники-комсомольцы создали... фашистскую организацию. Это просто не укладывалось в наших мозгах. Мы надеялись, что и в Воронежском управлении МГБ отнеслись к письму Злотника, как к неумной выдумке. Ведь никакой реакции с их стороны не последовало. Но летом 1949 года слежка за нами стала очень явной. И поэтому мы, опасаясь дальнейших непредсказуемых действий Злотника, решили убрать его.

Исполнение приговора было поручено мне под руководством Бориса. Мы пришли на квартиру Злотника. Он был один. Я уже вынул наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть его, чтобы в глаза объявить приговор. Злотник услышал щелчок курка, вздрогнул, но не обернулся. Он ждал.

Неожиданно Борис подал мне знак отмены:

— Ладно, Толич! Навестили друга. Пойдем теперь пива выпьем в саду Дома офицеров.

Когда мы молча шли к проспекту Революции проходными дворами, мысли мои и Бориса были сходны, но я все-таки спросил:

— Что случилось, Фиря? Шухер какой-то был?

— Нет, Толич. Не в этом дело. Здесь, брат Толич, нечаевщина получается. Конечно, Игорь Злотник не какой-нибудь студент Иванов. Это покрупнее птица. Голова у Злотника очень неглупая. Сумел, мерзавец, продать, оклеветать нас, спасти свою шкуру и при этом вроде бы не замараться. Вина его в передаче письма все-таки твердо, окончательно пока не доказана. Есть сотая доля процента за то, что копию письма у него действительно похитил сопалатник...

— Даже и в этом случае Злотник — гнусный предатель. Мало того, что он оклеветал организацию. Положить такой документ в книгу, которая лежит на тумбочке, зная, что сосед этот из МГБ, — это же преступление!

Забегая вперед, скажу, что Игорь Злотник — один из учредителей КПМ, член Бюро КПМ — не был арестован, не был привлечен к делу КПМ даже в качестве свидетеля. А нам на следствии предъявляли его письмо как обвинительный материал, как важнейшее вещественное доказательство нашей вины.

В нашем деле имелся краткий протокол о выделении дела Злотника Игоря Михайловича в особое дело. Выделение в особое дело дела Злотника, как и дел всей группы Хлыстова, никак не отразилось на их судьбе. Ни Злотник, ни Хлыстов с его группой не были привлечены ни к какой ответственности. Они остались на свободе. Они даже выговора по комсомольской линии не получили. Бериевский аппарат берег и ценил таких нужных людей.

Летом 1949 года мы вновь (по очень настойчивой его просьбе) приняли в КПМ Михаила Хлыстова. Но ничего важного мы ему не доверяли, никакой информации об организации он не получал.

В августе почувствовалось: скоро будут брать. Отлично помню предпоследнее совещание Бюро КПМ на опушке леса в Коровьем логу, где мимо парка культуры и отдыха имени Кагановича проходила трамвайная линия к сельскохозяйственному институту. Трамвай ходил тогда не рядом с железнодорожной насыпью, а с лязгом спускался, отчаянно тормозя, почти до дна лога и оттуда с разгона поднимался на противоположный склон — с горы на горку.

Было решено уничтожить оставшиеся документы КПМ. Партийные билеты были у всех изъяты и уничтожены еще весной.

ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В самом начале сентября 1949 года (по протоколам допросов и моим послелагерным дневникам и заметкам можно установить точную дату) состоялось последнее совещание Бюро КПМ. Почти все мы поступили в вузы. Борис Батуев, Юрий Киселев, Аркадий Чижов, Вячеслав Рудницкий, Марина Вихарева — в ВГУ. В Воронежский лесохозяйственный институт, на тот же факультет, что и я, поступил и Владимир Радкевич. Многие поехали в вузы других городов: Москвы, Саратова, Ростова, Тамбова.

На последнее совещание собрались четверо: Борис, я, Кисель и Славка Рудницкий. Рудницкий был введен в Бюро вместо давно исключенного Злотника. Позже должен был прийти Аркадий Чижов. Он имел прочную и одному только ему (кроме Рудницкого) известную связь с группами Широкожухова и Подмолодина на левом берегу, а через Николая Стародубцева знал о больших его группах в Семилуках, в Латном и в Хохольском районе, в родном селе Николая.

Была надежда, что об А. Чижове не знают в МГБ. Было не ясно, возьмут ли и Славку Рудницкого. Его группы никому, кроме Бюро, не были известны. У Рудницкого было две группы: пять и шесть человек. В самое последнее время одну из этих групп возглавила Марина Вихарева. Человеком она оказалась надежным — на следствии и словом не обмолвилась о группах Рудницкого.

Последнее совещание Бюро КПМ проходило теплым, ясным предосенним днем в парке, который до революции и после нее был известен в Воронеже как Кадетский плац. Там, по рассказам старших, некогда пыльно маршировали кадеты. Году в сороковом плац решили сделать парком, разбили аллеи, посадили тонкие деревца. В 1942 году эту огромную — в целый большой квартал — территорию, где никто и не ходил, зачем-то заминировали нашими весьма неудачными противопехотными минами. Я их обезвреживал в 1943-м под руководством сержанта Рыбакова. Но об этом особый сказ. Сейчас, в наше, теперешнее время, бывший Кадетский плац стал тенистым детским парком. А в 1949-м это был заросший травой пустырь с хилыми деревцами.

Мы сидели в густой высокой траве неподалеку от угла улиц Фридриха Энгельса и Чайковского. Все подходы надежно просматривались. Мы были хорошо вооружены.

Встреча была грустной. Мы понимали, что скоро нас начнут брать. Нужно было принять все меры к тому, чтобы арестовано было как можно меньше наших людей. Борис, Кисель и я были твердо обречены. Киселя раза два уже вызывали в областное Управление МГБ. Перед вторым вызовом мы (я и Борис) уполномочили его заявить, что в нашу группу по изучению марксизма-ленинизма входят четыре человека: И. Злотник, Б. Батуев, А. Жигулин и он, Ю. Киселев. Этого скрыть было нельзя, так как стоявший в начале списка И. Злотник написал ренегатское «Открытое письмо». Решено было, что в случае ареста, кроме нас троих и И. Злотника, можно спокойно называть Михаила Хлыстова да и всех «хлыстовцев», так как мы были уверены, что они уже «расколоты» и выжаты, как лимон, что Хлыстов «работает» у нас уже провокатором.

Таким образом, для МГБ получалось, что в КПМ состоят всего лишь Бюро (4 человека) и группа Хлыстова (10—12 человек), т. е. можно арестовать и судить примерно 14—16 человек, из которых только Борис Батуев, Юрий Киселев и я будут осуждены.

Обговорив все это без Чижова, стали ждать Аркашу.

Он не знал, что мы собрались в 16 часов. Ему мы сказали, что начало в 17.00. Аркадий не опоздал ни на секунду. Мы видели, как он, ломая спички, закурил на углу улиц, осмотрелся. Хвоста не было. Нам это тоже было видно. Подошел быстро и осторожно, постепенно пригибаясь. Сел в траву.

— Борьба и победа!.. Привет, ребята!..

— Борьба и победа! Привет!..

Мы огласили теперь уже устное (раньше писали, дураки) решение Бюро КПМ — о подготовке к арестам. Постановлено было сжечь все оставшиеся бумаги (экземпляры рукописных и машинописных наших журналов, списки, адреса, письма и т. п. материалы), избавиться от всего оружия — выбросить в реку и канавы, в сортиры подальше от дома.

Борис сказал:

— Друзья! Нас здесь пятеро, и в наших мозгах, вместе и порознь, вся информация о КПМ, все имена, фамилии, клички членов КПМ, связные нити, ведущие к ним. Пока железно горят только трое: я, Толька и Кисель. Аркадия они скорее всего не знают, а если и знают, то лишь предположительно. Товарищ Чижов, в смысле кадров ты осведомлен больше всех. Ежели тебя все же возьмут, — смотри, Аркадий, не подведи! Умри, но не назови никого, кроме Бюро и группы Хлыстова.

— Друзей не продаем, этим и живем! — бодро откликнулся Аркаша, быстро-быстро потирая ладони, как от холода.

— Ни в коем случае не называть даже уважаемого нашего Митрофана Спиридоновича. — Все улыбнулись: этим именем персонажа А. Н. Толстого, вождя анархистов, окрестил Славку Рудницкого Володя Радкевич еще в школе. — Есть шансы, что его не знают. Далее. Не ругать Сталина. Это наша гибель! Ни слова об обожествлении Ёзика, ни слова об «идолопоклонстве». Запомнить: и Ленина и Сталина мы любим — одинаково. Воорги об этом уже предупреждены.

— А если будут пытать? — спросил Киселев.

— Потерпеть придется. Да и пытать вряд ли будут. Во всяком случае, пытать невыносимо, смертельно не будут...

— Конечно, не будут, — поддержал Бориса Аркадий Чижов. — В ЧК работают люди с чистой совестью. Там не пытают. Это все враждебная пропаганда. Там ведется честное следствие. Виновных наказывают, иногда даже расстреливают, но не пытают. Я это точно знаю, со слов своего отца. Он прослужил в органах государственной безопасности много лет. Я полагаю, что, если не всплывет антисталинская направленность КПМ, нас вообще судить не будут. Ведь наша цель — построение коммунизма во всем мире. Это же ясно!

Спорить с ним мы не стали. Мне, однако, не удалось сохранить хладнокровие.

— Я, увы, не разделяю розовых иллюзий Аркадия. Мужа моей тетки Кати, Василия Евлампиевича Елисеева, пытали еще в начале 30-х годов. А мужа другой моей тетки — Веры, Самуила Матвеевича Заблуду, просто убили в тридцать седьмом. Мне было семь лет, я тихонько играл под большим столом и слышал разговор взрослых...

— Толич прав,— сказал Борис.— Могу сообщить, что родственная нам группа Беляева в ВГУ, взятая в прошлом году, осуждена. Их было трое. Все трое получили по червонцу. И их даже из комсомола не исключали, сразу срок намотали.

— Откуда сведения?— болезненно спросил Чижов.

— Из большой-большой фанзы на улице Володарского, возле которой ты живешь.

— Понятно... Там еще Быховский с ними был,— сник Аркадий.

— Да, совершенно верно: Беляев, Быховский, третьего не запомнил.

— Им легче — их было всего трое,— грустно пошутил Слава Рудницкий.— Мне только одних партийных билетов пришлось собрать и сжечь около полусотни... А теперь нужно убрать все следы. (Ему было поручено уничтожить документы КПМ. Он еще весной был назначен начальником особого отдела КПМ. До него на этом посту, меняясь, были я и Кисель.)

— Ничего. Тебе будут помогать все. Хватит, однако. Все уже ясно. Осталось дать клятву.

Сплетя пять правых ладоней в единое целое, мы приняли клятву. Текст произносил Борис. Спустя уже почти сорок лет я помню ее дословно:

— Клянемся вести себя на следствии так, как договорились сегодня. Не выдавать ни единого лишнего человека. Признавать свое участие в КПМ можно только Батуеву, Жигулину, Киселеву. Если клятва кем-нибудь из нас будет нарушена, нарушитель будет наказан самой лютой смертью. Клянемся, клянемся, клянемся! Борьба и победа!

Несмотря на свертывание нашей работы, было решено (еще до прихода А. Чижова), что я буду выпускать небольшую газету под названием «Спартак», размером в развернутый двойной тетрадный лист. КПМ должна жить в глубоком подполье до самого ареста, она должна будет жить и в тюрьмах, и в лагерях, она должна будет жить и после освобождения.

Так и случилось — в несколько ином смысле, в несколько иной ипостаси. В смысле чистой человеческой дружбы людей, объединенных одной судьбой, КПМ живет и сейчас.

Многие читали эту мою повесть в рукописи, многим я довольно подробно рассказывал о своем, о нашем «деле». Порою приходилось слышать и такое:

— А в чем же, собственно говоря, заключалась ваша непосредственная деятельность? Чего вы добились за два года нелегального существования?

Примечательно, что подобные вопросы задавались сравнительно молодыми людьми, почти не помнящими атмосферы страха и всеобщей подозрительности конца сороковых годов. Но задавали такие вопросы и люди немолодые. При этом словно бы забывалась тотальная система «бдительности» и доносительства, царившая в то время. Но вопрос есть вопрос. И должен быть ответ.

Я отвечаю тем, кто считает, что мы мало чего сделали, что работа, борьба наша была безрезультатной или бессмысленной.

Во-первых, активная деятельность КПМ продолжалась не два года, а лишь один неполный год — с октября 1948-го по август 1949 года. Всего десять месяцев. До октября 1948 года в организации состояли лишь три человека: Борис Батуев, Юрий Киселев и Игорь Злотник. Мало того, уже в январе 1949 года за нами началась слежка. А с мая 1949 года мы уже не исключали возможности начала арестов.

Так что же удалось нам сделать за эти десять месяцев, не менее пяти из которых мы работали под угрозой арестов?

В таких неимоверно трудных условиях нам удалось создать марксистско-ленинскую антисталинскую организацию, состоящую из людей, свободно мыслящих, готовых нести в народ ленинские идеи, критику сталинизма. Разве этого мало?

Постоянно (и после возникновения угрозы арестов) велась работа по подбору новых членов КПМ. Пятьдесят (да, пятьдесят!) человек прониклись сознанием того, что обожествление Сталина противоречит духу ленинизма. Разве этого мало?

Мы изучали Маркса и Ленина, мы выпускали свои нелегальные журналы. До последнего дня, до дня ареста, выходила газета «Спартак», макет номера которой мне удалось уничтожить уже после ареста. Разве этого мало?

А наша Программа, которая прежде всего предусматривала восстановление в стране ленинских норм партийной демократии и демократии вообще путем внедрения этих идей в массы,— разве этого мало?

«Великий вождь и учитель всех народов» присвоил себе роль главного куратора всех наук: военной, биологической, экономической, исторической, языковедческой, а народ голодал, тюрьмы все пополнялись «врагами народа». И любимой фразой Бориса Батуева в кругу ближайших друзей был вопрос: «Когда же наконец мы скинем нашего великого Ёзика?..»[1] Да, это был юношеский максимализм. Это была всего фраза. Но фраза наболевшая, а потому не случайная.

Да, мы не расклеивали антисталинских листовок (нас взяли бы на другой день). Да, мы не совершали и не готовили террористических актов, ибо Ленин всегда был против террора. Но мы посеяли сомнения в безупречности сталинского режима в душах многих людей, говорили им о необходимости возврата к подлинному ленинизму. Разве всего этого мало?..

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРКАДИЯ ЧИЖОВА

Покидая Кадетский плац, уходя с последнего совещания, мы вышли на проспект Революции, в то время, в те годы, довольно просторный, а порой пустынный. Аркадий спешил на свидание. Марину Вихареву он тогда уже позабыл и полюбил другую. Я новую чижовскую девушку не видел. Знал только, что зовут ее Галина и что она совсем недавно принята в КПМ в группе Рудницкого.

Здесь судьба распорядилась счастливо. Аркаша продал на следствии всех. Но о Галине — что она вступила в КПМ — он, вероятно, не знал, и она благодаря этому обстоятельству и твердости Славы Рудницкого не угодила за решетку и не смогла, согласно статье 206-й тогдашнего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, ознакомиться с материалами одиннадцатитомного дела КПМ, не смогла прочитать отвратительные показания своего нареченного о Марине Вихаревой.

Даже сейчас, спустя почти сорок лет, страшно представить, что юноша, мужчина мог так мерзко говорить о своей возлюбленной. А каково было читать это самой Марине...

Аркаша давал, говоря современным языком, сексуальные характеристики всем девушкам, с которыми был близок. Он опустился до того, что рассказал следователю, как учил заниматься онанизмом своего товарища, своего друга детства N. При чтении фиолетовых записей показаний А. Чижова в протоколах допросов эти строки наливались кровью. Ну, запугали, ну, обещали свободу. Ну, завалил группы Н. Стародубцева, И. Широкожухова и И. Подмолодина (всего около 15 человек). Но об отношениях с Мариной Вихаревой, об этом-то зачем было говорить?! Ведь есть предел даже в предательстве, даже у палача есть своя философия, свои нормы поведения. Об этом-то зачем?! Следователи гоготали и записывали в казенные листы все новые и новые подробности. У нас же, читавших эти показания, возникало неудержимое желание как можно скорее встретить Чижова, чтобы рассчитаться с ним.

Но я отвлекся. Аресты еще не начались. Как листки, как листики, как листочки клена-календаря, медленно отлетали наши последние прекрасные вольные дни.

[1] Эта фраза, всплывшая на следствии, интерпретировалась следователями в протоколах допросов так: «Б. Батуев говорил о необходимости свержения Советской власти, называя имя Вождя в искаженной, оскорбительной форме».

Вспоминая эти пустые (да, они уже были «пустые» — все валилось из рук) предарестные календарные дни, поделюсь тоже не очень веселой, но необходимой информацией.

Летом сорок девятого года Чижов вдруг рассказал мне об участии своего отца в массовых арестах 1937—1938 годов.

— Да, это, может быть, было жестоко, но в этом была государственная необходимость. Ты думаешь, это легкая служба — бороться с врагами народа?! Я восхищаюсь мужеством моего отца!

Я был потрясен! Мы шли в этот момент по улице Карла Маркса мимо шелестящих кленов (да, это было летом сорок девятого года). Кто-то из наших знакомых только что сфотографировал нас на память вдвоем на этой улице.

Фотография сохранилась, возможно, на ней есть дата.

Чижовскими откровениями я сразу же, в этот же день, поделился с Борисом и Юрием. Мы и раньше знали, что отец Аркадия Иван Федорович Чижов до ухода на пенсию работал в МГБ, и это нас не только не пугало, но даже в некоторых отношениях устраивало, ибо дети работников подобных организаций реже попадали под подозрение. Но мы не знали, что Аркадий с таким восхищением относится к р а б о т е своего отца!

— Да...— сказал в тот теплый летний вечер Борис Батуев.— О чем же ты думал, товарищ начальник особого отдела КПМ Юрий Киселев, когда проверял благонадежность Чижова?

— Хрен же его знал, Боря! З а м о ч и т ь его сейчас — смерти подобно...

— Да, ты прав, Кисельман. Все мы виноваты. Он нам очень может нагадить на следствии. Оборвать его связи вряд ли удастся: он многих знает в лицо. Надеяться остается, и только.

— На кого?

— На бога,— сказал я.

— Да, окромя бога, у нас, братцы, сейчас никаких союзничков нет!.. Эх! Шлепнул бы я сейчас Аркашу! — И Борис поднял свой «вальтер».

Борис любил стрелять в Репном по недозрелым арбузам. Мы по очереди стреляли. Один подбрасывал или подкидывал арбуз наискось, другой стрелял влет. От пули нагана арбуз в воздухе не страдал даже при хорошем попадании и, подбитый, пронзенный пулей, плюхался в воду реки Усманки. При попадании же тупой пули «вальтера» (патрон такой же, как у парабеллума) арбуз как бы взрывался в воздухе. Это была забава.

Аркадий Чижов с его неожиданно открывшейся симпатией к былым заслугам отца обернулся вдруг непреодолимой опасностью.

И до сих пор еще родители наши вспоминают, как приходил И. Ф. Чижов к Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ с передачей для сына, для Аркаши. У него принимали передачи без очереди, а у многих наших родителей (в том числе и у моих) не брали вовсе: «Передача запрещена. Следующий!»

Мы ждали ареста со дня на день.

Случилось это 17 сентября 1949 года ровно в 15 часов.

Борис Батуев был абсолютно прав в своих логических предположениях. Сейчас, с высокой горы времени, все удивительно ясно видно. В МГБ тогда действительно очень мало о нас знали. Синим огнем горели только Борис, я и Кисель. И поэтому было принято решение вместе с нами, в один день и час взять все наше окружение — бывших соклассников, сокурсников, соседей, приятелей.

Ребят, взятых на всякий случай, с 17 по 22 сентября постепенно отпускали, когда убеждались, что тянут пустышку. Ведь 17 сентября 1949 года в 15.00 в Воронеже и Воронежской области по делу КПМ было арестовано... 75 человек!

Каждого брали двое. Оперативников не хватало. Были переброшены на помощь воронежским коллегам оперативники из Орла и Курска. Такого размаха мы не ожидали. А расчет был прост: среди семидесяти пяти человек один подонок или трус всегда найдется.

Чижов, например, как и полагал Борис, не был известен как член КПМ. Его взяли как одного из примерно десятка моих приятелей. На всякий случай: авось повезет. И если бы у Аркадия хватило ума и мужества не «расколоться», он получил бы минимальный срок и сохранил бы на воле примерно 13—15 членов КПМ. Ведь сказал же Борис Чижову на последнем совещании:

— Аркаша! О тебе они ничего не знают! Продержись неделю-две, и тебя отпустят! А если осудят, то на минимальный срок. Чем нас меньше возьмут, тем меньше дадут!

Ах, Аркаша, Аркаша!

С высокой горы времени отчетливо видна сейчас и мерзкая фигура И. Злотника. Чрезвычайно умный и даже талантливый человек, он, узнав о последовавших одно за другим событиях: пропаже журнала у М. Хлыстова, вызове Ю. Киселева в Управление МГБ и начале слежки за КПМ, мгновенно связал эти три фактора в один узел и «вычислил»: исчезнувший журнал попал в органы МГБ. Надо спасаться. И Злотник действует в открытую — пишет грязное, клеветническое письмо, называя КПМ фашистской, антисоветской организацией. Письмо его абсурдно. Но этот абсурд не случаен. Прикрываясь явной и дикой клеветой, он хочет отделить себя от КПМ. И это ему удалось. На первых, начальных допросах нам совали его письмо со словами: «Один среди вас честный советский человек нашелся!..» Так избежал И. Злотник почти неизбежного ареста.

Меня взяли на квартире Аркадия Чижова. Мы вместе пришли к нему из ВГУ. Была великолепная погода, едва уловимое дыхание осени... Зашли ненадолго — за каким-то журналом. Звонок в дверь. Аркаша пошел открывать, но почему-то не возвратился. Потом — испуганное и возмущенное лицо Ивана Федоровича и незнакомые люди. Два наведенных на меня пистолета:

— Ни с места! Не шевелиться! Будем стрелять!

Быстро, проворно ощупали всего (нет ли оружия) — всё, как у майора Пронина! Но мой «вальтер», хорошо смазанный и завернутый в тряпку, с запасной обоймой мирно покоился под досками и сухим песком на чердаке дома № 32 по Студенческой улице...

Отец Аркадия продолжал возмущаться:

— Товарищи! Объясните, в чем дело! Это какое-то недоразумение! Я сам капитан МГБ...

— Батя! Не мешай! — строго сказал один из молодых людей.

Вышли из подъезда. Все спокойно, тихо. На улице пусто. Со стороны поглядеть: идут куда-то три товарища — двое постарше, один помоложе.

Да... Ходили они за нами, видно, уже давно: двое за Аркадием, двое за мной. У ВГУ, где мы с Аркашей встретились, встретились и они — моя пара и Аркашкина пара. Пошли за нами обоими уже вчетвером. А когда наступило время — 15.00, позвонили.

Идти было близко — всего метров двести: жилой дом работников МГБ был рядом с внушительным зданием Управления.

Ах, Чижов, Чижов! Как много горя ты нам принес! Когда я прочитал начало чижовского тома показаний, то, вернувшись в карцер (я сидел там за перестукивание), я крупно нацарапал на белой стене булавкой:

Не видел свет презренней б...ди,
Чем наш «герой»
Чижов Аркадий!

И еще:

Смерть предателю!
Да здравствует КПМ!
Борьба и победа!

Все эти мои надписи были заботливо сфотографированы и приобщены к делу.

Нас били, лишали передач, лишали сна (это была самая страшная пытка). Допрашивали днем и ночью. Придешь в камеру утром, едва уснешь — голос надзирателя:

— Подъем! Поднимайтесь!..

Спать днем — ни лежа в кровати, ни сидя на табурете — не разрешалось. Через каждые две-три минуты открывали волчок (зрачок) на железной двери, и надзиратель орал, открыв форточку:

— Не спать!..

И так много суток подряд.

Чижов же, по словам его сокамерников, да и по собственным его словам, жил во Внутренней тюрьме роскошно. Спал и лежал на кровати, когда хотел. Имел свидания с отцом и матерью. (Мать его, Лидия Николаевна, тихая русская женщина, умерла не дождавшись сына.) Принимались любые продуктовые передачи, даже вино к праздникам.

Нас били и мучили, а Чижов, лежа на кровати и куря сигарету, вспоминал все, что сам знал и что ему велели припомнить. Все мельчайшие детали наших отрицательных суждений о Сталине Аркаша припомнил. Вспоминал и «антисоветские» разговоры людей, не бывших членами КПМ. Так он вспомнил, что, возвращаясь в 1949 году из Москвы (он ездил поступать в МГУ, но не прошел по конкурсу), он случайно услыхал, как какой-то инженер важного воронежского завода хвалил американские станки. Ни фамилии его, ни имени Аркаша, естественно, не знал, но он запомнил день, когда возвращался из Москвы. Инженера долго искали на воронежских заводах по дате возвращения из командировки. Предъявляли фотографии Чижову. По одной из них Аркадий опознал этого человека. Тот получил десять лет за восхваление западной техники.

Забегая вперед, скажу, что когда умерла мать А. Чижова Лидия Николаевна (или еще раньше), жить к Чижовым перебралась невеста Аркадия Галя Зайцева. Когда же, вскоре после возвращения Аркадия, умер И. Ф. Чижов, в трехкомнатную квартиру Чижовых подселили работника Воронежского УКГБ Ивана Степановича. Три комнаты на двоих по тем временам было много. И вот тогда, в 55-м году, Чижов как-то сказал мне, Борису и Юрию Киселеву:

— Я случайно попал в архив к нашему делу.

— Ну и что?

— Многие страницы с моими показаниями, теми, которые были из меня выбиты, они, сволочи, вырвали. Видимо, перед переследствием. Видно, боялись.

Это сообщение Чижова, конечно, и удивило, и покоробило нас. Не могли наши мучители ничего вырвать в архиве, ибо были смещены или, во всяком случае, отстранены от дел в день ареста Л. П. Берии. Не сам ли Аркадий и вырвал листы? Это сразу напрашивалось на ум.

Покоробили нас слова о том, что показания были будто бы «выбиты» из Чижова. Никто из него ничего не выбивал. Это он уже начал вырабатывать легенду в оправдание своего «раскола». Однако в то время нам было не до выяснения отношений и личных споров. Мы были тогда — после переследствия 1953 — 1954 годов — всего лишь амнистированы. Впереди была долгая и трудная борьба за реабилитацию. И мы были, как говорится, в одной упряжке, ибо слова «обожествление Сталина», или, как писали в протоколах следователи, «клеветнические измышления в адрес Вождя», были еще в ту пору преступлением.

Поэтому мы лишь промолчали, презирая в душе предателя, ибо его лживая версия о том, что из него «выбили» признания, была важнее для общего дела, чем если б он признал искренность своих показаний. Эта вынужденная молчаливая уступка предателю почти забылась после реабилитации.

Но где-то в середине шестидесятых годов Борис рассказал мне, Киселю, Рудницкому, еще кому-то из друзей следующее. В связи с заявлениями наших мучителей Литкенса, Прижбытко, Белкова, Харьковского и других о восстановлении их в партии (их, естественно, не восстановили) в Воронежском обкоме КПСС перелистывали наше дело и обратили внимание на то, что из тома показаний А. Чижова около половины листов вырвано. Кто и когда изъял эти листы? Как проникли в архив, строго секретный?

И вот случайная встреча с Аркадием в Крыму в начале семидесятых годов. Вспоминали прошлое.

— Слушай, Аркаша, а наше следственное дело хранится где — в Москве или Воронеже?

— В Воронеже. И первое дело, и дело о переследствии. Все аккуратно сохраняется.

— А возможен ли доступ к нему?

— Не знаю. Наверное, нет. Но я в пятьдесят пятом году наше дело видел. Все сохранилось: фотографии, протоколы...

— А как тебе это удалось?

— Мой сосед по квартире Иван Степанович — ты ж его помнишь, он жил в нашей квартире, в третьей комнате, пока его не отселили от нас, — работал тогда в комиссии по пересмотру старых дел, еще тридцать седьмого года и так далее. Интересно было посмотреть эти старые дела. Иван Степанович по-соседски мне это и устроил. Я смотрел, читал и наше дело... Показания нашел... Борька первым начал было раскалываться, потом пошел на попятную...

— Но позволь... На последнем совещании так и было договорено, что и я, и Борис, и Юрка Киселев — все мы скажем сразу, что КПМ была и что было в ней всего четыре человека да группа Хлыстова. И больше ни слова. Он так и поступил. И я, и Кисель.

— Не знаю... не помню... Там были еще показания Володьки Радкевича о том, как ты в портрет Сталина из нагана...

— Скажи, а можно было изъять, вырвать часть листов?

Здесь Чижов вздрогнул и потемнел лицом. Поспешно, испуганно заговорил:

— Нет! Куда там! Такой надзор!..

Но — увы! — я все прекрасно понял.

Человек неглупый и образованный, Чижов боялся Истории, он понимал: ведь потомки прочтут, на папках было написано: «Хранить вечно». Я уверен, он сам тогда изъял и уничтожил свои самые пакостные показания. Но он просчитался: опытный исследователь-историк все равно эти следы найдет, восстановит по показаниям других членов КПМ, по протоколам очных ставок в других томах дела.

А теперь предоставим слово Борису Батуеву. Вот как он описывает свою первую очную ставку с А. Чижовым в своем дневнике. (Борис, всю жизнь готовясь написать документальную книгу о КПМ, делал предварительные наброски, где писал порою о себе в третьем лице.)

«В дверь кабинета постучали.

— Войдите!

Сопровождаемый надзирателем, грузным и глупым старшиной Пилявским в комнату входит Чижов. Он стал еще бледнее, и до этого острый большой нос, еще больше заострился, а лысая голова делала его похожим на сову.

«Расскажите, Чижов, где и когда Батуев говорил то, о чем вы показывали следствию?»

Чижов испуганно вздрогнул, потом, пересилив себя, улыбнулся какой-то скверной, подлой улыбкой и хихикнул:

«Ну что там, ты ведь помнишь, Борис, говорил мне о бюрократизме в партийных органах и что колхозники задавлены налогами, и что ты слушал с Киселевым «Голос Америки»?»

Глаза Бориса блестели гневом и, как бы желая остановить потекший вдруг поток лжи, он махнул в сторону Чижова несколько раз рукой.

«Последнее — неправда. Врешь ты, Чижов, что я тебе рассказывал содержание этой передачи».

«Прекратить разговоры», — оборвал следователь. — И — увести Чижова. Ну, — начал он, — теперь ты признаешь?!»

«Нет, последнее не признаю...»

А вот еще более интересный документ, следующий в тетради Б. Батуева непосредственно после приведенного выше описания очной ставки

с А. Чижовым. Он называется «Судьба предателя». Эпиграфы помещены выше заголовка. Цитирую:

«Как у Л. Толстого к Анне Карен/иной/.
«Мне отмщенье, и аз воздам».
А может быть и не так?!

СУДЬБА ПРЕДАТЕЛЯ

Рос сентиментальным, глуповато-восторженным. Природа должна была дать ему то, чего не хватало его предкам,— лирики сентимент [1]. Отец его делал революцию сначала сознательно, затем оброс мхом непротивления и хуже — перестал сознавать то, что делал. Сменял клинок честного воина на пистолет бериевского служаки...

Сын рос в среде раздвоенности и двуличия. Это сделало из него революционера фразы и предателя по натуре. Это не могло пройти бесследно. Судьба. Случайно А. стал на путь революционера, но не по убеждению, а в силу сложившихся обстоятельств и скорее в силу дружественных связей. Роковой 49-й. Удар для его отца, это кровь за кровь. Символично. Сын попал в категорию людей, которых его отец арестовывал. У отца в душе раздвоенность, смятение. Он знал, чем это грозит единственному сыну. И, не смея оторваться от этой среды, он откидывал то новое, что ему открылось, сбивал и сына с правильного пути — сделав его в конце концов предателем.

Сына одолели страх, раздвоенность и привязанность к той среде, в которой он вырос,— он понял, что здесь спасение, хотя бы частичное — предательство своих товарищей. И он встал на путь циничного и подлого предательства, выдавая его за чистосердечность и раскаяние. Случай на очной ставке — шедевр, недосягаемый по наглости и чудовищности. Сыну простили его товарищи и даровали жизнь [2], но для себя он не обрел спокойствия — ни раскаянием полным письмом, ни попыткой представить отца своего человеком, вставшим на путь сопротивления темным силам МГБ.

На следствии А. с чудовищным цинизмом рассказывал хохочущим следователям, циникам и растленным, свои любовные похождения с М. В.».

Оба процитированные текста из дневника Б. Батуева датированы 7 февраля 1958 года.

АРЕСТ БОРИСА БАТУЕВА

Эта глава написана со слов Бориса Батуева. Рассказывал Борис о подробностях своего ареста нечасто, и только абсолютно близким друзьям: Ю. Киселеву, мне, В. Рудницкому, В. Радкевичу, Н. Стародубцеву.

Сначала несколько слов о месте действия, знакомом и дорогом для меня с раннего детства.

Коренные воронежцы, родившиеся не позже середины 30-х годов, или люди, поселившиеся в Воронеже до войны, отлично должны помнить примечательную в то время Манежную площадь, расположенную примерно посередине Петровского спуска — от Петровского сквера к старому (постройки около 1900 года), но уже железобетонному мосту. Площадь была почти плоской, с легким покатом к реке там, где и по сей день существует Собачий сквер. Этот сквер был большим и густо-зеленым, окруженным оградою из вертикально прикованных к поперечинам железных труб зеленого цвета. Главной примечательностью Манежной площади, мощенной теплым круглым булыжником, был и остался манеж, точнее, арсенал петровского времени.

На Манежной площади было несколько ларьков и магазинчиков, керосиновая лавка. Знаменита Манежная площадь в военное время была тем, что в нее попала одна из немногих сброшенных немцами на город трехтонных фугасных бомб. Летчик метил, видимо, в ярко заметную красную крышу арсенала, но промахнулся — попал в керосиновый ларек. Ветхое строение вместе с пустой керосиновой бочкой испарилось, и на его месте образовалась воронка диаметром метров в десять и глубиной до пяти метров. К сорок девятому году воронку засыпали и опять замостили булыжником. Вокруг Манежной были руины, хрупкие кирпичные коробки. Но на площади построили несколько ларьков, в том числе и пивной.

[1] Так в оригинале.
[2] Имеется в виду суд членов КПМ над А. Чижовым в Краснопресненской пересыльной тюрьме, где он был приговорен к смертной казни, и его помилование по настоянию Б. Батуева. Об этом я расскажу позднее.

17 сентября, в теплый, почти жаркий день, Борис Батуев возвращался от Славки Рудницкого, который жил на улице Сакко и Ванцетти, сбегавшей от площади параллельно реке на север, к Девичьему монастырю. Ему, естественно, захотелось выпить пива. Он стал в очередь. Вокруг толпились люди с пивными кружками в руках. Когда очередь уже совсем подошла, Бориса окликнул молодой незнакомый, но весьма уверенный мужской голос:

— Товарищ Батуев! Можно вас на минуточку?

Борис не обернулся, а лишь тихонько опустил правую руку в карман широкого пиджака. Карман был углублен и обшит изнутри кожей. Борис снял с предохранителя свой «вальтер» (один патрон был уже в стволе, в патроннике, восемь — в обойме, запасная обойма и патроны россыпью — в левом кармане). Незнакомец протиснулся к Борису сквозь толпу и жестко похлопал его по плечу:

— На одну минуточку, Боря! Я из университета.

Борис левой рукой взял кружку пива. Машинально посмотрел на часы. Было ровно 3 часа. Сдачу брать не стал и обернулся:

Слушаю вас.

— Нам надо отойти на пару минут. Тут шумно. Давайте отойдем.

— Никуда не отходите! — раздался голос продавщицы.— Собирай тогда за вами кружки. Пейте здесь! Кружки, кружки пустые скорее давайте!

Борис, сдувая пену, рассмотрел человека, которому он зачем-то понадобился. Это был рыжеватый среднего роста тихарь в пиджаке, лет двадцати пяти, с беспокойными глазами.

— А в чем дело-то?

Борис сдувал пену и искал глазами второго. Второй стоял вне толпы, метрах в десяти — двенадцати.

— Я из ВГУ, насчет спартакиады. Вы ведь участвуете?

— В твоей «спартакиаде» я не участвую.

— Все равно нам надо поговорить.

И тихарь вынул из нагрудного кармана красную книжечку с золотой крупной надписью: «МГБ СССР».

— Знаешь что, голубчик, ...положил я на твое удостоверение!

— То есть как?!

— Обыкновенно,— сказал Борис, ставя пустую кружку на прилавок.— Обыкновенно — сверху! Раскрой удостоверение! — Тихарь раскрыл.— Печать неясная, поддельная. Знаю я вас, бандитов.

Народ, пьющий пиво, почуяв недобрый шухер, начал отходить в стороны. Продавщица притихла. Борис постарался стать так, чтобы собеседник находился между ним и вторым оперативником. Собеседник увещевал (народ отошел, можно было говорить яснее).

— Вы нужны мне на несколько минут. Просто пройдем в Управление. Вас расспросят в качестве свидетеля и отпустят. Даю слово.

— Честное комсомольское?

— Честное комсомольское,— обрадовался рыжий.

— Не верю! Честное сталинское?

— Честное сталинское!

— Все равно — пошел-ка ты на..!

Тогда рыжий сделал быстрое движение правой рукой за левый борт пиджака. Но он еще не успел вытащить пистолет, как на него глянул черным девятимиллиметровым зрачком Борькин «вальтер».

— Пока ты достанешь и снимешь с предохранителя свой «тэтэшник», я вшибу в тебя четыре пули! Впрочем, и двух хватит. Понял?

— Понял...

— Ты знаешь, кто я?

— Сын Виктора Павловича Батуева.

— То-то же! Ладно, я пойду с тобой. Только спокойно, без резких движений вытащи пистолет. Тихо-тихо.

В дрожащих пальцах рыжего действительно оказался пистолет «ТТ».

— Так. Теперь тихо разожми пальцы. Пусть он упадет на землю. Пистолет брякнул на мостовую.

— Второй пистолет, нож?

— Второго нет.

— Ладно! Отверни, раскрой, подними полы пиджака. Похлопай себя по карманам. И по задним тоже. Повернись. Так. Верю. Повернись обратно. Сделай два шага по направлению моего пистолета. Молодец. Ты один?

— Один.

— А чего же это второй тихарь пушку вытаскивает? Нехорошо. Сказано в Писании: «Не усугубляй вину свою ложью...» Как тебя звать-то?

— Василий.

— Ты старший?

— Да.

— Вас двое?

— Двое.

— Прикажи второму выбросить пистолет и все сделать, как ты сделал.

— Слушай, Сережа. Я тут с товарищем договорился. Он пройдет с нами в Управление. Но вот принял он нас за бандитов. Не верит, боится.

— Это ты боишься, Вася, а не я, и поэтому заткнись. Выполняй, Сережа, приказания старшего. Но смотри у меня! Я из этой штуки ежедневно тренируюсь по летающим арбузам. Пожалей свою голову.

Сережа проделал все, как велели. У него оказался наган и портсигар. Бывшая пивная очередь с пустыми кружками и разинутыми ртами наблюдала издалека за происходящим. Подходили и другие зеваки. Прогрохотал вниз, к Чернавскому, трамвай. Из него вышел сержант-милиционер с пустой кобурой.

— Что здесь происходит? — вознегодовал он.

— Следственный эксперимент. — Вася показал удостоверение. — Не вмешивайтесь!

Сержант, испуганно озираясь, засеменил вниз к улице Лассаля.

— Закурить можно? — робко спросил Сережа, обращаясь не то к Васе, не то к Борису.

— Пока нельзя, — сказал Борис. — Давай-ка, Серега, иди по Малой Манежной налево. А ты, Вася, за ним. Но не шали. Пушку его обойди кругом, не подходи к ней близко.

Сережа пошел, оставив на мостовой свою пушку, но пошел в сторону улицы Цюрупы.

— Стой! Стреляю! — гаркнул Борис. — Я же сказал — по Малой Манежной! Ты что, улиц не знаешь?

— Он из Курска, — ответил за него Вася. — Не знает.

И они пошли по Малой Манежной и по другим тихим пустынным улицам на улицу Володарского, к зданию Воронежского областного управления МГБ.

В левый карман пиджака Борис засунул Васин «тэтэшник», в левый карман брюк — Сережин наган. Свой «вальтер» Борис держал наготове в правой руке, опущенной в карман.

Тихари шли метрах в шести впереди Бориса, на расстоянии метра в два друг от друга.

— Ни с кем в разговоры и ни в какие контакты не вступать! Не бежать! Идем вместе, как друзья. И главное — будьте спокойны. Оружие я вам верну, как только придем. Можно курить.

Закурили все трое. Улицы были пусты. От нагретых солнцем камней мостовой и кирпичных развалин, от густой лебеды и полыни веяло горечью и теплом.

Подошли к Управлению, к гранитным колоннам и ступеням. У колонн прогуливался офицер внешней охраны. Кобура его была не пустая. Тихари оживились. Боря их одернул:

— Спокойно, друзья! Мы уже дома! Не волнуйтесь.

Оперативники предъявили дежурному свои удостоверения.

— А вы, товарищ?

— Я Борис Батуев. Эти люди задержали меня. К сожалению, я принял их за бандитов и вынужден был их разоружить. Очень неясной показалась мне печать на удостоверении товарища Василия. Сейчас я войду в вестибюль и возвращу им их оружие и отдам свое, хотя разрешение на пистолет у меня имеется.

В вестибюле сидел старший лейтенант. Борис рассказал ему то же самое. Окончание Борькиного рассказа слышал быстро сбегавший по лестнице белоглазый майор. В присутствии трех офицеров МГБ и двух смущенных тихарей Боря выложил на столик дежурного два пистолета, наган, обойму, патроны. Скромно достал из кармана свой студенческий билет. Майор озверел:

— Где вы чесались... вашу мать! Уже пятый час! А он должен был быть здесь максимум в 15.30!

— Задержанный оказал вооруженное сопротивление.

— Много убитых и раненых?

— Нет никого. Ни раненых, ни убитых.

— Много выстрелов было сделано?

— Ни одного, товарищ майор.

— Долбошлёпы! С пацаном не сладили!..

Последнее белоглазый майор произнес громко, но уже повернувшись к лестнице, как бы про себя.

— Это не пацан, товарищ майор. Это Борис Батуев.

— Я его узнал: на отца похож, — буркнул майор. — Разбирайте свою артиллерию и живо к полковнику. Дежурный последит за задержанным. Садитесь, товарищ Батуев. Можно курить.

Минут через пятнадцать за Борисом пришел старший сержант.

— Пойдемте со мной, товарищ Батуев. Да, по лестнице. На второй этаж.

И нажал на стене кнопку. Где-то далеко зазвонил звонок.

— Идите впереди меня.

Поднялись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, огибающей зарешеченную шахту лифта.

— Направо, пожалуйста.

Звук шагов заглушала мягкая красная ковровая дорожка. Остановились у двери с номером из литых алюминиевых цифр: 226. Сержант постучал. Послышалось:

— Да. Кто?

Сержант приоткрыл дверь и тихо сказал:

— Батуев.

— Пригласите товарища Батуева!

Комната была довольно обычная. Впрочем, не совсем. Снаружи, за стеклами, была клетчатая — квадратиками — решетка. В углу справа — несгораемый сейф коричневого цвета с оборванной пластилиновой печатью. Большой письменный стол. За столом сидел полковник с золотыми погонами, на которых хорошо были видны эмблемы танковых войск. Стоявший у телефона уже знакомый белоглазый майор, судя по погонам, был артиллеристом.

Полковник радушно поднялся навстречу Борису и сказал почти отечески:

— Ах, Боря, Боря! Такого, прямо скажу, хулиганства [1] мы от вас не ожидали. А ведь вы комсомолец. И отца подвóдите. Пистолет-то, наверное, отцовский?..

— Я думал, что на меня напали бандиты...

— Ладно, ладно, это в конце концов не самое важное... Вы поступили на историческое отделение?

— Да.

[1] Поведение Бориса Батуева при аресте не было ни мальчишеством, ни безрассудным лихачеством. Его отец В. П. Батуев неоднократно выступал в защиту незаконно репрессированных коммунистов и нажил в тогдашнем Управлении МГБ по Воронежской области злейших личных врагов. Борису это было известно, и он не исключал, что при аресте его могут застрелить.

— Что ж, это очень хорошее дело. Вы ведь и в школе увлекались историей. Даже создали кружок по изучению истории марксизма-ленинизма.

— Да, но это дело прошлое. Сейчас я изучаю историю партии в университете.

— Кто, кроме вас, занимался в вашем кружке?

— Вы, наверное, это знаете и сами, но я скажу: Анатолий Жигулин, Юрий Киселев, Игорь Злотник, Михаил Хлыстов и несколько его товарищей.

— И больше никто?

— Никто.

Борис Батуев, как это и было договорено на последнем совещании, дал сразу именно те показания, которых нельзя было избежать. Он сказал только то, что, несомненно, было известно и ни в какой мере не являлось преступлением.

Первый допрос Бориса Батуева, начавшийся в пять часов вечера 17 сентября 1949 года, длился до полудня следующего дня — семнадцать часов. Допрашивали его несколько офицеров — начальник следственного отдела полковник Прижбытко, майор Белков («белоглазый»), еще один майор — Харьковский и несколько других следователей. Время от времени они сменяли друг друга.

ЕЩЕ НЕМНОГО О БОРИСЕ БАТУЕВЕ

Борис Батуев был — наравне с Володей Радкевичем — самым близким моим другом. Оба они давно погибли, но боль моя не утихает, наоборот — становится все острее и острее.

Родился Борис Батуев 20 ноября 1930 года в Нижне-Тагильском районе Свердловской области. В 1937 году пошел в школу на Ленинском прииске Бодайбинского района Иркутской области. Отец его, Виктор Павлович Батуев, был не только коренным русским сибиряком. Судя по корню его фамилии, основателем рода Батуевых был человек не из пришлых российских людей, а из тех племен, которые под началом хана Кучума храбро сражались против отрядов легендарного Ермака Тимофеевича. Мать Бориса Ольга Михайловна тоже была родом из тех мест. Таких чудных сибирских пельменей, какие делала она с помощью своих дочерей Владилены и Светланы, а то и всей семьи и друзей Бориса, я ни прежде, ни позже не ел. Самый младший в семье был брат Бориса Юрий. За Владиленой (Леной) я после тюрем, после Сибири и Колымы, ухаживал. Мы, как тогда говорилось, дружили. А для Светки я решал задачи по стереометрии с применением тригонометрии, чертил чертежи и т. п. (Я до сих пор люблю и помню все школьные и институтские точные науки.) Светке было тогда пятнадцать-шестнадцать, а мне — двадцать пять. Я относился к ней с нежностью. Тем более что она была младшей сестрой моего друга. Стихотворение «Светка» посвящено ей, хотя она об этом, кажется, даже и не знает. Это был раскованный и радостный 55-й год. Я был свободен, и все женщины были прекрасны...

Виктор Павлович Батуев был профессиональным партийным работником. В 1943 году его назначили вторым секретарем Воронежского обкома ВКП(б). Вот тогда мой товарищ, мой сосед по дому на Студенческой улице, временами мой соклассник (как я уже упоминал, классы часто переформировывались) Юрий Киселев и познакомил меня с Борисом.

Но это было еще детское знакомство. По-настоящему Борис Батуев начал открываться для меня в 1947 году. В семнадцать-восемнадцать лет он был уже сильной, сложившейся личностью. В школе он с презрением и дерзостью отвергал всякого рода «ужимки и прыжки» некоторых наших преподавателей, видевших в нем только сына второго секретаря обкома, обещавшего вскоре стать первым.

В десятом классе на выпускном экзамене Борис написал блестящее сочинение по творчеству Тургенева, которое, несомненно, заслуживало пя-

терки. Но... он написал сочинение, пользуясь старой, предреволюционной орфографией. Для проверки грамотности пригласили преподавательницу английского, французского и немецкого языков Елену Михайловну Охотину, бывшую фрейлину последней императрицы Александры Федоровны.

Елена Михайловна всю жизнь боялась, что ее арестуют, и ее «сверхлояльность» к новому строю доходила порою до курьезов. Например, приветствие Красной Шапочки при встрече с волком: «Good day, Mister Wolf!» — она переводила: «Здравствуйте, товарищ волк!» Она внимательно прочитала сочинение Бориса и с ужасом сказала:

— Прекрасное сочинение! Все правильно, ни единой ошибки! Только правописание дореформенное.

Борис объяснил свою «идеологически опасную выходку» весьма логично:

— Я читал собрание сочинений Тургенева дореволюционного издания. У меня хорошая зрительная память. Все цитаты я запомнил в старом правописании. А приводить цитаты в старой орфографии, а сам текст сочинения писать по новой было бы нелепо. Что же касается идеологических обвинений, то они еще более нелепы, ибо реформа русского правописания была подготовлена Российской Академией наук еще в 1913 году. Указ о реформе русского правописания был подготовлен, его оставалось только утвердить подписью императора. Однако утверждение и введение нового русского правописания было отложено из-за начавшейся первой мировой войны. После войны и Великой Октябрьской социалистической революции этот указ был подписан В. И. Лениным. Я готов написать новое сочинение. Готов перевести мое сочинение по Тургеневу на древнеславянский. Можете мне поставить кол и не выдавать «аттестата зрелости». Поверьте, мне это сейчас глубоко безразлично.

Ему поставили тройку.

Шел июнь 1949 года, и мы, руководство КПМ, уже не исключали возможности скорого начала арестов. Но нам дали поступить в вузы. Это было заранее хорошо продумано: студенты — это гораздо серьезнее, чем школьники.

Что еще сказать о Борисе Батуеве? Он был невысокого роста, но очень крепок и силен физически. Он, например, в декабре 1949 года в кабинете следователя на очной ставке с Аркадием Чижовым чуть не убил его. Притворившись совершенно спокойным, усыпив бдительность начальника следственного отдела полковника Прижбытко, майоров Харьковского и Белкова, проводивших очную ставку, он вдруг молниеносно выхватил из-под себя тяжелый табурет и с криком: «Сдохни, б..дь!» — бросился на Чижова, направляя удар прямо в голову Аркаши. Чижова спас надзиратель, бросившийся наперерез и вырвавший табурет из рук Бориса. Борис, однако, добрался до Аркадия и железными своими пальцами перехватил его горло. Но задушить Чижова Борису не удалось. Майор Белков ударил Бориса рукояткой пистолета или кастетом по голове. Борис не потерял сознания, однако голова закружилась, и усилиями трех офицеров он был оторван от Чижова. На руки ему надели наручники. Их достал из ящика письменного стола майор Харьковский. Борис плюнул в лицо Чижову, сел на свой табурет и хрипло сказал:

— Мы все равно повесим тебя, мерзкий предатель!..

По звонку в комнату ворвались надзиратели.

Аркадий Чижов был бел лицом, как стена. Полковник Прижбытко протянул ему портсигар:

— Закурите. Отдохните немного. Вы молодец! Вы хорошо помогаете следствию. Ваш отец правильно сказал вам — после окончания следствия вы будете освобождены. Я еще раз подтверждаю это.

Затем, кивнув на Бориса, приказал надзирателю:

— Этому немедленно хороший пятый угол. И сразу же обратно — сюда.

Выражение «искать пятый угол» Борису было известно. Но в сочетании со словом «хороший» он слышал его впервые. Должен сказать читателю, что значительная и, может быть, даже большая часть уголовно-тюремного жаргона, в полной мере познанного в лагерях, была нам, подросткам военной поры, известна задолго до лагерной нашей одиссеи. Во время войны и позже Воронеж по части шпанско-уголовной мало уступал знамени-

тым «родителям», как их называют: Ростову-папе и Одессе-маме. И жаргонные слова бытовали и в нашей, школьной, среде.

Бориса спустили вниз, во Внутреннюю подвальную тюрьму, где мы все обитали по разным камерам. Но камера, в которую его втолкнули теперь, была просторнее обычной одиночки. Холодно. Пол цементный.

Уже от первого неожиданного пинка сзади Борис упал, но поднялся. Он оказался в центре камеры. В четырех углах стояли дюжие надзиратели, обутые в тяжелые кирзовые сапоги. Четыре угла. Надо «искать пятый». Боря уже порядочно был измучен голодом, лишением сна, изнурительными ночными допросами.

Он выдержал, сопротивляясь и отбиваясь, несколько первых кулачных ударов. Жестоких и подлых — в лицо, в зубы, в затылок. Защищаться было трудно — ведь руки в наручниках. Каждый бил и ударом кулака отправлял его к другому. Четыре угла. А пятого нет. Негде укрыться. Ударом ногой в живот Борис был сбит с ног. Ему надели вторые наручники — на ноги — и начали бить деловито, ногами, норовя попасть в живот, в лицо, в пах. Борис молчал. Это их особенно бесило. Они увлеклись, и тогда старший сказал:

— Ребята! Давайте полегче. Ведь полковник сказал — его еще допрашивать надо. Не калечить, не убивать!.. По-хорошему надо.

От удара в затылок Борис потерял сознание. Принесли ведро ледяной воды.

Пока Борис приходит в себя, я расскажу читателю, как постепенно мы научились снижать вероятность гибели или очень тяжелой травмы при таком битье. Надо было свернуться в комок, подтянуть, лежа на левом боку, ноги к животу. Насколько возможно, защитить ногами мошонку и живот, руками, согнутыми в локтях, локтями — сердце и печень, ладонями рук — лицо, пальцами — виски. И как можно глубже втянуть голову в плечи. Это оптимальная поза при таком битье. Пусть поломают руки, ноги, перебьют пальцы — это не смертельно. Конечно, сильным ударом сапога могут и перебить позвоночник, и проломить череп. Но при битье по-хорошему это не делается. Да и вообще это не очень легко сделать: человеческий череп и позвоночник довольно крепки.

Во Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ меня, как и Бориса, били ногами по-хорошему дважды. Вот тогда я начал харкать кровью.

Били Борю по-хорошему, но ни подняться, ни идти сам он не мог. Его, мокрого и окровавленного, буквально приволокли на допрос, посадили на стул. Белков дал ему сигарету. Борис сделал несколько глубоких затяжек, вытер носовым платком кровь с лица, выплюнул в сторону Чижова выбитый передний зуб, посмотрел на предателя и произнес, обращаясь к нему, первое, после того как его уволокли из комнаты, слово:

— Б..ды!

Аркаша волновался и был по-прежнему бледен. Пока Бориса били внизу, он успел выкурить несколько сигарет.

Полковник Прижбытко спросил Бориса:

— Вы не могли бы припомнить, был ли в вашей программе пункт о возможности прихода КПМ к власти с помощью вооруженного восстания? Был ли такой пункт?

— Не было такого пункта!

— Но вот ваш друг Аркадий Чижов утверждает, что такой пункт был.

— Какой он мне друг?! Он ваш друг. А вы — палачи!

Полковник рассердился:

— За оскорбление следователей — десять суток строгого карцера!

Слова «строгий карцер» означают, вернее, означали в то время и в той тюрьме, следующее. Заключенного, раздетого до нижнего белья, помещают в узкий каменный мешок, размером примерно два на три с половиной метра. Высоко наверху окошко с решеткой и без стекол — в любое время года. Зимой в карцере на полу и стенах — белый иней. Летом на цементный пол наливается вода, чтобы узник не мог спать даже на цементном полу. Единственная мебель в строгом карцере — выступающее торчком из

цементного пола бревно-сиденье длиной около 25 сантиметров. Единственная пища — 200 г хлеба и кружка воды в сутки. Полагалась еще миска супа-баланды — через два дня на третий. Но ее, как правило, не давали.

В обычном карцере все было так же, но на ночь для спанья приносили деревянный щит в две неширокие доски. И давалась через два дня на третий упомянутая миска баланды.

В карцере обычном (когда следствие кончалось и заключенный наказывался лишь за нарушение тюремного режима: перестукивание и т. п.) давалась летняя одежда и обувь.

Я уже сказал, что, как и Борис, дважды пережил хороший пятый угол (с той лишь разницей, что при одном из моих «пятых углов» я был в нижнем белье — меня брали на «поиск пятого угла» из строгого карцера). Строгий карцер пережил я дважды: по 5 и 7 суток.

Наверное, читатель заметил, что я порою повторяюсь, рассказываю сбивчиво, не соблюдая хронологии, то забегая вперед, то снова возвращаясь к уже рассказанному. Это оттого, наверно, что вспоминать мне больно — я словно заново все переживаю и захлебываюсь в воспоминаниях.

Вот и сейчас со школьного сочинения Бориса я перескочил на описание его очной ставки с Чижовым. Этот эпизод, разумеется, тоже ярко характеризует большую силу воли Бориса, его необыкновенную личность.

Но все-таки закончу, подведу самые начальные итоги рассказа о Борисе Батуеве (в других главах я много еще буду говорить и о Борисе, и о Чижове, и о Киселеве, и других моих друзьях и врагах).

В глазах Бориса всегда была видна и доброта, и сила. Он никогда не кичился тем, что его отец — второй секретарь обкома. Единственный раз он припугнул этим оперативника Васю, когда его арестовывали.

Борис был среди нас самым начитанным, образованным, он был единственным в КПМ человеком, прочитавшим Библию. Читал он и Ницше, и Гегеля. Читал Маркса, Ленина, Сталина. Ему раньше всех нас стало известно «Письмо Ленина к съезду».

И, наконец, Борис был дальновидным человеком. Когда еще в 48-м году я предложил принять в КПМ моего младшего брата Вячеслава, Борис сказал:

— Нет, брата не надо, не надо Славку. Пусть хоть один сын у родителей останется...

Всю мудрость этого решения я полностью осознал только в тюрьме.

СЛЕДСТВИЕ

Это самая страшная часть моих воспоминаний, не для читателя — для меня. Читателям, возможно, покажутся более трагическими многие эпизоды лагерной моей жизни, но для меня следствие и Внутренняя тюрьма Воронежского управления МГБ, где я провел одиннадцать месяцев в сырых подвалах и карцерах, где меня дважды избивали почти насмерть, — для меня это был самый настоящий ад. Как и для всех нас, кроме Аркадия Чижова.

Вернусь ко дню ареста. Через парадный вход меня ввели по гранитным ступеням в темно-серое, с черным гранитным цоколем здание Управления МГБ. Провели через вестибюль в какую-то комнату и предложили посидеть, подождать. Оперативники ушли, оставив меня наедине с крупным пожилым человеком в военной форме. Погоны, как раньше называлось, унтер-офицерские — старшина или сержант. Что-то в этом роде. Меня еще не обыскивали, а лишь «обхлопали» на предмет оружия. Но у меня во внутреннем левом кармане пиджака был макет нашей рукописной газеты «Спартак». Я попросился в уборную. Дверь в кабину надзиратель оставил открытой, но стоять напротив меня не стал. Под шум воды я по-

рвал на мелкие кусочки макет и, дождавшись, когда бачок снова наполнился, спустил бумажные обрывки через унитаз в канализацию. Вернулись в вестибюль, и вскоре мой надзиратель получил неслышный мне приказ и сказал:

— Пойдемте!

Мы пошли направо длинным коридором первого этажа по мягкой красной дорожке мимо бесчисленных дверей, обитых дерматином. Мелькали белые крупные цифры номеров комнат.

— Стой! Повернитесь направо и подойдите вплотную к стене. Голову не поворачивать, смотреть в стену.

Надзиратель позвонил в дверь. Она приоткрылась.

— Заходите! — сказал надзиратель.

Я зашел. Навстречу мне поднялся небольшой, даже, пожалуй, коротенький человечек в форме с погонами лейтенанта. Он был белобрыс, вихраст и курнос. Не подавая руки, представился:

— Следователь 1-го отделения следственного отдела лейтенант Коротких. Прошу садиться. — И указал мне на стул, стоявший напротив его письменного стола, но не близко, а метрах в двух.

Я сел, осмотрелся. На большом широком окне была крепкая решетка из толстых стальных прутьев, продетых в отверстия поперечных полос. Снизу примерно на две трети окно было скромно занавешено легкой, пропускающей свет занавеской. Стол был поставлен наискось, и я сразу же хорошо рассмотрел лицо лейтенанта. И лицо, и глаза, и веснушки его были, как у деревенского подпаска. И мне стало весело. Наступил наконец момент, когда вдруг, как ноша с плеча, как с шеи камень, спало чудовищное напряжение предарестных недель. Я машинально посмотрел на часы. Было 15 часов 30 минут. Так ли, сяк ли, но на свидание с Зоей Емельяновой, студенткой 2-го курса мединститута, я, пожалуй, не попаду. А это было первое наше свидание с нею, назначенное на шесть часов вечера у кинотеатра «Пролетарий» под часами (большие такие электрические часы, они, наверное, и сейчас там висят).

За письменным столом в углу стоял высокий коричневый несгораемый сейф. Лейтенант взял лист бумаги (он был казенный — не простой, а с печатным заголовком «Протокол допроса»). Быстро записал необходимые мои данные (где родился, где крестился и т. п.), и прозвучал наконец вопрос серьезный:

— Что вам известно об антисоветской подпольной организации КПМ?

— Абсолютно ничего не известно. Ни о какой антисоветской организации.

Мне весело подумалось: а вдруг они даже и меня не знают? Пойду ва-банк! Вдруг пофартит.

— Вы врете! Я вас сейчас разоблачу! Вот это вам знакомо?

И он вытащил из письменного стола тот самый, изданный в единственном экземпляре мой, наш журнал «В помощь вооргу», который якобы сжег дядя Хлыстова. Это он, конечно, глупость сделал — начал игру с таких больших козырей.

— Экспертиза установила, что весь текст написан вашей рукой.

— А я и не отказываюсь. Да, моей рукой весь текст написан, но что в нем антисоветского? Там ни единого слова антисоветского нет!

— Врете! Сейчас я вас и в этом уличу. Вот это место в статье Анчарского: «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи марксизма-ленинизма».

— Ну, и что же здесь плохого? Сеять, рассеивать, делать посев, чтобы было больше всходов.

— Нет, нет! Здесь слово «рассеивать» означает, что вы хотите, чтобы идеи марксизма-ленинизма р а с с е я л и с ь, чтобы их не было! Вот что вы хотели!

— Я могу согласиться с вами, что слово «рассеивать» в статье Анчарского не очень точное, однако толковать его так, как вы его толкуете, ни в коем случае нельзя. Если возникло какое-то сомнение в строке, в предложении, в слове, то надо прочитать предыдущий и последующий текст. Прочтите это предложение и предложение, следующее за ним.

— Пожалуйста! «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи марксизма-ленинизма...»

— Читайте, дальше, дальше...

— «Они должны воспитывать себя и своих товарищей в духе преданности идеям марксизма-ленинизма...»

— Ну вот, и все стало ясно.

— Нет, ничего не стало ясно. Слово «рассеивать» осталось.

Уже шесть часов вечера, и Зоечка ждет меня под часами. А мы с лейтенантом Коротких ведем долгую, бесконечную беседу о смысле слова «рассеивать», вырванном из текста. К трем часам ночи наша почти двенадцатичасовая беседа была оформлена в виде одного листка протокола. К согласию мы не пришли. Я подписал внизу, как потом сотни раз подписывал: «Показания записаны с моих слов правильно и мною прочитаны. Ан. Жигулин».

За окном был уже недалек рассвет. Небо явственно светлело. Сквозь верхнюю, незавешенную треть окна были видны руины двухэтажного дома и деревья. Кажется, тополя. И сложилось нечаянно первое в неволе двустишие:

Утро туманное, серое, мглистое
Грустно качает осенними листьями...

Обиженная Зоя, наверное, сладко спит в летней пристройке к одноэтажному дому во дворе на Плехановской улице, недалеко от Кольцовской. Ничего. Забудет. У нее память девичья...

И вдруг вошел полковник. Тоже невысокого роста. Глаза желтые, усталые и злые. Полковник был слегка пузат. На груди много орденских колодок и знак заслуженного чекиста, украшенный мечом. Полковник на краткие мгновения остановился на середине комнаты и несколько раз поднялся на носки. Сапоги его поскрипывали. Пенсне блестело золотом. Лейтенант Коротких стоял навытяжку.

— Ну, что там у тебя?

Лейтенант положил на раскрытую пятерню полковника лист протокола допроса. По мере чтения листа лицо полковника наливалось кровью, а рука начала подергиваться. Лейтенант Коротких оцепенел от ужаса. Полковник спросил:

— И это все?!

— Все, — пролепетал лейтенант Коротких.

Полковник перевернул в воздухе ладонь с листком протокола, с силой ударил ею о письменный стол и, брызгая слюной, заорал на лейтенанта:

— Дурак! ... твою бога мать!..

И вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Это был, как я потом вскоре узнал — беседовали часто, — начальник следственного отдела полковник Прижбытко.

Через несколько минут за мной пришли два надзирателя. Когда я поднялся и пошел (руки назад) по ковровой дорожке, по лестнице, я почувствовал, что устал.

В следовательском кабинете на втором этаже было накурено. Окно выходило во внутренний двор комплекса зданий УМГБ и УМВД, и занавески не было. Была только решетка. За письменным столом сидел майор, тоже усталый и тоже злой. Рядом сидел усталый капитан. В следствии с первых же часов что-то явно не ладилось. Не ладилось и утром. Потом я узнал, почему: первую ночь и вообще первые дни Чижов держался, да и внимания ему, как и мне, не уделили. Давили в основном на Батуева, Киселева и Рудницкого, но они держались крепко, согласно клятве, данной на Кадетском плацу. Другие из арестованных были либо просто пустышками, либо низовыми, рядовыми членами КПМ, не располагающими информацией, либо, наконец, провокаторами, которые ничего толком не знали.

Но возвратимся на второй этаж Воронежского Управления МГБ к майору Белкову и капитану Пашкову, к которым я попал после двенадцатичасового допроса у лейтенанта Коротких. Это были опытные волки. Особенно Белков. Он был даже и не волк, а прямо-таки тигр.

Краткое знакомство без рукопожатий: начальник 1-го отделения следственного отдела майор Белков, старший следователь отделения капитан Пашков. Меня посадили на табурет в самый угол комнаты, против пись-

менного стола. Следователи поменялись местами. Капитан Пашков сел за стол писать протокол допроса. Майор Белков, распрямившись, оказался довольно крупным и высоким. Первое, что бросилось в глаза, необыкновенность глаз: белки белые-белые, словно фарфоровые, а сами глаза злые, умные, прожигающие насквозь. Пышная темноватая шевелюра, чуть-чуть тронутая сединой, лицо крупное, с хорошо развитой подвижной мускулатурой. Такие лица часто бывают у профессиональных бандитов. Тем не менее черты лица его были все-таки правильными. Полагаю, что многим женщинам он мог даже нравиться.

Майор мягко, но с напряженной упругостью, словно разминаясь и разгоняя сон, зашагал по диагонали комнаты — от входной двери до стального коричневого сейфа. Да, он чем-то напоминал тигра.

Лицо Пашкова было продолговатым и бесцветным. Глаза водянистые, тусклые. Скучный, неинтересный человек (так впоследствии и подтвердилось).

— Что такое КПМ?

— Коммунистическая партия молодежи.

— Назовите всех участников этой антисоветской организации.

— КПМ ни в коей мере не антисоветская организация.

— Назовите участников!

— Пожалуйста: члены КПМ Борис Батуев, Игорь Злотник, Юрий Киселев, я, Михаил Хлыстов, Сергей Загораев, Егор Нечуев и еще три человека, их я знаю только по фамилиям: Посудин, Говорухин, Сивухин. Больше не помню.

Я и в самом деле не знал других людей из группы Хлыстова.

Далее разговор пошел о задачах, Уставе и Программе КПМ. Неспешно, как бы отчасти сопротивляясь, выдал я всю информацию о КПМ, разрешенную к выдаче на последнем совещании в густой траве бывшего Кадетского плаца.

Уже встало солнце, и осветились в комнате клубы табачного дыма. Открыли форточку. Пашков писал медленно. Белков куда-то вышел. Заходили незнакомые офицеры, тихо шептались о чем-то с Пашковым. До моего напряженного, обостренного слуха доносилось: ...полная аналогия с шестым, первым, одиннадцатым... Нажмите на...

Лихорадочно работала мысль. Нас было пятеро на последнем совещании. Первый — наверняка Борис. Шестой, одиннадцатый и я — еще три. Но нас было пятеро. Чижова взяли, можно сказать, при мне. Значит, кто-то из пятерых руководителей, давших клятву, либо не арестован, либо совершенно бессмысленно не «раскалывается», как было уговорено. Хорошо, если бы не взяли Славку Рудницкого. Плохо, что взяли Чижова.

Протокол оформлялся долго и нудно. Заходил полковник Прижбытко, взглянул на мои показания и остался ими недоволен. Около девяти часов утра протокол был мною подписан. Вызвали надзирателя и приказали: в 222-ю. Таким образом, первый мой допрос длился около 18 часов.

Вышли в коридор. Я полагал, что меня спустят вниз, в тюрьму, но меня привели к крайней справа, если смотреть с фасада, комнате. Коридорное торцовое окно тоже было крепко забрано решеткой и завешено. Надзиратель открыл дверь, я шагнул в комнату и удивился. Она напоминала скорее больничную палату, чем тюремную камеру. Вся она, кроме узких проходов, была уставлена кроватями.

— Вот ваша постель, первая справа.

Рядом со мной была постель Чижова. Лицо его осунулось, стало сероватым, нос заострился и пожелтел.

— Какие дела, Толич? — еле слышно прошептал он.

Я шумно раздевался и сказал ему тихо-тихо:

— Утренней зарядкой надо заниматься. Бегать по Кадетскому плацу, никуда не сворачивая. И тогда все будет отлично.

— А я так и делаю.

— Молодец.

— Прекратить разговорчики! — гаркнул огромный надзиратель, старшина, грузно сидевший ближе к окну и круглому столику с графином воды и стаканом.

— Можно водички попить?

— Пей.

Я, уже в майке и трусах, медленно пошел к столику, незаметно рассматривая лежащих на кроватях. Рядом с Чижовым, через кровать от меня, спал Рудницкий, далее бодрствовал какой-то совершенно не знакомый мне человек, затем — Леонид Черных. С другой стороны комнаты параллельно стене лежал Миша Хлыст, далее — Сергей Загораев, Егор Нечуев и кто-то еще из их группы. Кроме Рудницкого, никто не спал. Черных глупо улыбнулся. Только лицо Аркадия Чижова было тревожно.

Уже лежа в чистой постели, я еще успел шепнуть ему:

— Никакой паники! Помни плац! Все будет хорошо!

И провалился в сон. Меня разбудили часов через пять, около двух, — трясли за плечо, грохотала посуда — обед! Из чего он состоял, не помню, но съел я его весь и с удовольствием: сутки ничего не ел. Раздавал «щи да кашу» тоже тюремщик, только в белом халате поверх формы. Кто-то выразил удивление: откуда, дескать, тут обед?

— Из ресторана «Бристоль» привезли по спецзаказу.

Эта моя шутка всех развеселила.

Забегая почти на год вперед, скажу, что, когда мы читали дело (согласно статье 206-й УПК РСФСР), стало ясно, почему мы вначале оказались не в тюрьме, а в этой импровизированной камере: мы были не арестованные, а пока только задержанные. Но уже через день после задержания, 19 сентября 1949 года, в понедельник, начальник Воронежского областного Управления МГБ генерал Суходольский просил у областного прокурора Руднева санкции на арест Б. Батуева, Ю. Киселева, А. Жигулина и В. Рудницкого.

Последовал отказ, основанный на отсутствии обвинительного материала. Несомненным, однако очень незначительным преступлением прокурор счел лишь тот факт, что Б. Батуев носил с собой пистолет, оформленный на имя его отца В. П. Батуева. Но областной прокурор предпочитал лучше побеседовать с секретарем обкома, чем арестовывать его сына. Обстоятельства же ареста Б. Батуева (разоружение оперативников) предпочли не оглашать и не фиксировать ни в каких документах.

Благодаря прокурору Рудневу мы прокантовались в «палате номер шесть», как мы ее назвали, до 22 сентября. В эти дни нас — меня и Рудницкого — допрашивали в среднем по 15—16 часов в сутки. Следователи за это время менялись: одну пару через 8 часов сменяла другая. А нас давили и мучили бессменно.

Какая-либо информация о других «палатах» просачивалась к нам редко и случайно. Удалось, например, узнать, что Бориса держат одного, что Леня Сычов сошел с ума — круглые сутки лежит на полу или на постели вниз лицом, раскинув руки, и горько плачет, рыдает. Кто-то слышал, проходя по коридору в сопровождении надзирателя, женский крик и плач — кого-то из девушек взяли.

А 22 сентября вечером начали вызывать по двое:

— Хлыстов, Нечуев!

— Загораев, Посудин!

Вызвали всех «хлыстовцев» и Черных.

— Выпускают! — обрадованно зашептал Чижов.

— Их — да!

— А нас?

— Спустят в тюрьму.

— Что будем делать?

— Я буду бежать из лагеря.

— Жигулин, Рудницкий!

Я пожал Аркаше руку и сказал: держись, как уговорено на плацу!

Два надзирателя вывели меня и Рудницкого в коридор второго этажа. Провели к лестничной клетке. Над перилами к верхнему маршу — прочная стальная сетка, чтобы нельзя было перескочить. Первый этаж. Идем ниже. Здесь тоже полных два марша. Внизу довольно просторная площадка. На ней слева серая стальная дверь с «глазком» из толстого стекла. Надзиратель позвонил. Глаз, вернее, внутренняя его заслонка открылся. Заскрежетали замки. Дверь отворилась, и мы попали в теплую светлую (от электричества) комнатку с барьером, похожим на прилавок.

— Кто? — спросил чин за прилавком.

— Жигулин и Рудницкий.

— Четвертая центральная,— и подал нашему надзирателю ключи. Второй страж отпер еще одну дверь — в коридор. И мы с надзирателем вошли в длинный-длинный тюремный коридор.

Кто читал книжки про наших революционеров (например, «Грач — птица весенняя») или смотрел фильмы на эти темы, легко представит себе длинный белый, с решетчатыми перегородками тюремный коридор. Мы дошли до первой решетчатой перегородки. Надзиратель открыл дверь на перегородке, мы прошли. У одной из камер он тихо сказал:

— Четвертая центральная. Стойте.— И открыл дверь.— Заходите.

Мы зашли вдвоем. Дверь за нами затворилась и прогремела всеми полагающимися замками.

Камера была невелика, но в ней стояли две кровати. Когда входишь, справа — умывальник, слева — унитаз, такой, какие бывают в пассажирских поездах, но у́же, миниатюрнее и крепче. Напротив двери — окно полуподвального, пожалуй, даже подвального этажа. Приоконный колодец глубокий, кирпичный. Свет какой-то сверху слабый — отраженный, электрический.

Мы со Славкой сели на кровать. Тотчас открылась дверная форточка, и надзиратель строго сказал:

— На кровати не сидеть! Прочтите «Правила».

Тут мы увидели на левой (если от двери) стене в синей деревянной рамочке, но без стекла напечатанные типографским способом «Правила внутреннего распорядка во Внутренней тюрьме Управления МГБ по Воронежской области».

Мы не стали читать «Правила». Сели на табуретки и заговорили невесело, но все же с юмором:

— Как думаешь, по сколько нам дадут? — спросил я Славку.

— Я думаю, лет по пять. Как раз наши соклассники окончат институт, и мы вернемся. Скажем: «Здравствуйте, товарищи!» Лишь бы все шло в нормальном русле, как уговорено. Я — сам знаешь — за кого боюсь.

— Да...

Мы прожили с Рудницким в 4-й центральной до 26 сентября, то есть четверо суток. Нас вызывали на допросы, но редко, и спрашивали то же самое, что и раньше. Уточняли прежние показания. Наступил короткий период вялости, какого-то тупика в следствии.

Как-то в очередной раз загремели замки. Дверь отворилась. Уже давно знакомый надзиратель спросил свое обычное:

— Кто здесь на букву «Р»?

— Я!

— А как фамилия?

— Рудницкий.

— Выходи с вещами!

Рудницкий вышел. Необычно было только «с вещами», тем более что и вещей-то никаких не было. Я ждал возвращения Славы, но он не вернулся. Мы увиделись ровно через пять лет.

А в 4-й центральной камере я прожил один еще около двух недель. Думаете, у меня такая память хорошая? Увы, сейчас нет. Просто и в тюрьме, и в лагерях, и на пересылках я писал стихи. Бумага и письменные принадлежности строго запрещались. Поэтому я научился писать, вернее, сочинять стихи в уме и запоминал их, как мне тогда казалось, навсегда. Освободившись, еще до полной реабилитации, я переписал эти стихи в январе 1956 года в «З е л е н у ю т е т р а д ь» (так мы называем ее у нас в семье). Память моя была тогда настолько хороша, что я помнил даты написания стихов, номера камер, лагерей и т. п. И вот сейчас по «Зеленой тетради» легко восстанавливаю подробности и время событий.

Первое «невольное» свое двустишие я уже процитировал. А вот строки из других стихов:

...Глазок, надзиратели — словно из книжек,
Что в детстве когда-то так много читал.
Своими глазами я все теперь вижу,
И что это значит, впервые узнал.

Дата с пометкой: «24—25 сент. 49 г. Внутренняя тюрьма УМГБ ВО, камера 4-я центральная».

Первый вечер в 4-й центральной после ухода Рудницкого был очень тягостным. Я внимательно прочитал «Правила». Отбой в 23.00. Подъем в 6.00. В другое время ни спать, ни лежать нельзя. Вот главная информация, главное, так сказать, «правило», которым нас изнуряли до бессознательного состояния. Хотелось спать. Сколько времени? Неизвестно. Часы отобрали во время ш м о н а после ухода В. Рудницкого. Шмон был тщательный с прощупыванием каждого шва в одежде, с тщательным осмотром тела, рта и т. д. Забрали часы, ремень, записную книжку, блокнот, авторучку и карандаш, даже металлические крючки и пуговицы срезали.

Когда же отбой? Наконец, зычный надзирательский голос проорал в коридоре, как иерихонская труба:

— Ло́-о-ожись спа́-а-ать!

Через 20 секунд я был в постели. Но вдруг загремел замок, дверь отворилась, вошел надзиратель:

— Кто здесь на букву «Ж»?

— Я!

— А как фамилия?

— Жигулин.

— Одевайся, пойдем.

И меня привели на допрос на второй этаж в 224-ю комнату. Следователь был новый, в майорских погонах. Позже, подписывая утром протокол допроса, я узнал: майор Харьковский, заместитель начальника следственного отдела.

Первые два-три часа допроса Харьковский никаких вопросов вообще не задавал. Что-то листал, писал, переписывал, не обращая вроде бы на меня никакого внимания. Но стоило мне хоть чуть-чуть задремать, он сразу замечал:

— Не спать, Жигулин! Вы на допросе!

— Но вы же ничего не спрашиваете.

— Я могу в любую минуту спросить.

— Но ведь я не спал трое суток!

— Это немного. Скажите лучше, кого еще из участников КПМ вы знаете?

— Я всех назвал, больше никого не знаю.

— Врете! Знаете.

— Не знаю!

— Нет, знаете!

«Знаете! — Не знаю! — Знаете! — Не знаю! — Знаете! — Не знаю!..» Из такой бесконечной и бессмысленной цепи слов и из состояния человека, уже много дней лишенного сна, и сложились в декабре 1949 года такие четыре строчки:

...Все явственней контур решетки в окне —
Допрос на исходе, светает...
Откуда-то издали, словно во сне,
Я слышу свой голос: «Не знаю!»...

Но пока еще идет сентябрь, последние денечки. И Чижов еще не к о л о н у́ л с я. И Харьковский говорит:

— Не знаете участников КПМ — и не надо. Назовите всех своих знакомых — юношей и девушек, сокурсников, бывших соклассников, соседей.

Вроде бы ничего особенного. Но вопрос коварнейший. В нем есть расчет на то, что человек неопытный своих друзей — членов КПМ — называть не станет. А круг моего общения, мои друзья и знакомые известны. И если Жигулин, перечисляя соклассников, не назовет, к примеру, Владимира Радкевича, берите его,— 90% за то, что он член КПМ.

Но я на такую удочку не попался. Наоборот, перечисляя знакомых девушек, я заставил майора вздрогнуть, когда назвал Лию Харьковскую, его дочь. Ее имя, к слову сказать, майор в протокол не внес.

Отпустил он меня в тюрьму на исходе шестого часа утра. Я быстро разделся и лег. Но раздалось зычное:

— Подъем! Поднимайсь!..

Открылась форточка-кормушка.

— А ты что лежишь?

— Я у следователя на допросе всю ночь был!

— А записка-разрешение от следователя спать днем есть?

— Нет.

— Значит, плохо вел себя на допросе! Вставай!..

26 сентября перед шмоном мне предъявили ордер на арест, выписанный областным прокурором Рудневым. Я расписался. В последующие дни и довольно быстро у меня сняли отпечатки всех десяти пальцев рук и сфотографировали анфас и в профиль. Обе процедуры были проделаны дважды: в тюрьме и в спецотделе — на одном из верхних этажей. Фотографирование — дело обычное. А вот о снятии отпечатков пальцев стоит рассказать. Специалист, занимающийся этим делом, имеет специальные типографские бланки для оттисков, черную краску, стекло, на которое наносится слой краски с помощью катка. В типографских квадратах, вернее, над ними, напечатаны названия пальцев. Отпечатываются пальцы не просто, как сказано у Твардовского в поэме «Теркин на том свете»:

И такого никогда
Не знавал при жизни —
Слышит:
— Палец дай сюда,
Обмакни да тисни.

Так написал поэт в поэме. В реальности эта процедура была куда сложнее. Опишу ее подробно.

Палец никуда не обмакивается. Специалист с помощью катка наносит на стекло тонкий слой краски, такой тонкий, чтобы она не попала в бороздки между линиями рисунка пальца, а только на сами линии. Затем кладется на стекло палец, осторожно поворачивается и таким образом в е с ь — и подушечка, и боковые стороны, и верхняя часть у ногтя (ногти предварительно подрезаются) — покрывается краской. Прижимая палец к бланку и так же осторожно его поворачивая, переносят рисунок на бумагу. Занимает такой оттиск примерно 4 на 5 см. А ежели просто «обмакни да тисни», — получится маленький грязный след одной лишь подушечки. И снимают отпечатки не одного, а всех десяти пальцев. На тюремно-лагерном жаргоне эта процедура называется «играть на баяне», порою — «на аккордеоне».

Потом меня остригли наголо и снова сфотографировали. Осмотрели тело и описали особые приметы: шрамы, родинки. Измерили рост, составили словесный портрет.

Во Внутренней тюрьме УМГБ ВО было около 35 камер. Судя по пометкам под стихами в «Зеленой тетради», я жил в разное время в шести камерах и четыре раза сидел в карцере. Естественно, что не в каждой камере я сочинял стихи, и в карцерах Муза не всегда спускалась ко мне. Так что названное количество — минимальное.

Переброска из камеры в камеру, помещение в одиночку и т. п. были вызваны необходимостью держать подельников не только в разных камерах, но даже (во избежание перестукивания) и не в соседних, особенно руководителей. Мало того, надо было четко следить, чтобы при перебросках подследственных, проходящих по другим делам, они не попадали в камеры от одного подельника к другому. Чтобы не мог какой-нибудь человек попасть, например, из камеры, в которой он жил с Б. Батуевым, в камеру к А. Жигулину и т. п.

Кроме этих трудностей, надо отметить и ту, что 1949 год был апогеем «второй волны», когда были посажены многие бывшие в плену, все п о в т о р н и к и, т. е. люди, которые хоть когда-либо были репрессированы. Было много и новых дел, особенно по ст. 58 — 10 (за я з ы к) и др. ВТ УМГБ ВО, как и все тюрьмы и лагеря огромной страны, была переполнена.

Ежедневно полагалась прогулка — 20 минут, и для этого у главного входа во Внутреннюю тюрьму — со двора — было построено несколько прогулочных двориков. Главный ступенчатый (ступенек — пять) вход и, разумеется, выход был как раз напротив двери моей 4-й центральной камеры. Сначала открывалась форточка-кормушка, и надзиратель говорил:

— На прогулку приготовиться!

Затем, через несколько минут, гремел замок, отворялась железная дверь:

— Выходи на прогулку!

Когда выходил я по ступеням на свет божий, передо мною открывался коридор — более широкий, чем в тюрьме. А главное — над ним было небо. Справа и слева — как камеры в тюрьме, но с небесным потолком — прогулочные дворики. Стены были высокие, кирпичные, гладко оцементированные и тщательно выбеленные. Написать что-нибудь — сразу будет заметно. Пол цементный, плотный. Размер дворика невелик — примерно 10 на 10 метров. Два надзирателя с автоматами прохаживались вверху над двориками по специальным дорожкам на стенках. Все были у них на виду. После увода заключенных в камеру прогулочные дворики тщательно осматривали — на предмет надписей, записок и т. п. Даже папиросные окурки тщательно разворачивали. Перебросить что-либо в соседний дворик было невозможно: и высоко, и еще сетки над стенами. Да и надзиратель смотрит.

В общем, это была обычная строгая следственная тюрьма. Любые контакты с волей или подельниками абсолютно исключались. Никаких писем или записок, не говоря уже о свиданиях. Библиотеки в тюрьме не было, опасались пользования шифром при передаче книг из одной камеры в другую — в тексте могли быть над или под буквами едва заметные отметки ногтем, булавкой. Газет тоже не давали и не передавали, ибо в газетах, кроме помеченных букв, могли быть и условленные заранее печатные материалы: объявления и т. п. Когда стали разрешать передачи, то они тщательным образом просматривались: ломались все хлебобулочные изделия, котлеты, колбаса разрезалась и т. п. Просматривались все папиросы в пачках. Лишь однажды мне удалось установить контакт с родителями. Они передавали мне папиросы, но не приносили спичек. Надзиратели прикурить давали редко и неохотно. Тогда я на дне алюминиевой кружки (вероятно, от масла) нацарапал булавкой только одно слово: «спички». Мать, мо́я кружку, заметила эту надпись. Кружка эта до сих пор у меня. Иногда удавалось получать или передавать скудную информацию с помощью окурков от папирос. Из папиросной обертки мундштука вынималась плотная опорная бумажка, на этом развернутом квадратике писались грифелем или прокалывались булавкой слова. Затем бумажка вновь сворачивалась и вставлялась в тонкую оболочку. Мундштук сплющивали и загрязняли (чтоб на вид был затоптанным) и оставляли в прогулочном дворике или в бане.

Все тюремные азбуки перестукивания основаны обычно (кроме азбуки Морзе, которую никто из нас не знал) на порядке расположения букв алфавита. В русском алфавите 33 буквы. Составляются нехитрые таблицы букв 6 на 6. Иногда (с исключением букв Ё и Й) — 6 × 5 или 5 × 6. Но такие «координатные таблицы» никак не годились для строгой следственной тюрьмы. Ибо таблицу надо было иметь перед глазами. В пересыльных тюрьмах такие таблицы чертятся прямо на стене. Но во Внутренней тюрьме это было невозможно. И приходилось высчитывать порядковый номер буквы.

Для обозначения, например, буквы «а» требовался лишь один удар — тук. Но чтобы выбить дальние буквы алфавита, приходилось долго и монотонно стучать. Например, букву «ч» — 25 ударов, «с» — 19 ударов и т. д. В этих условиях очень осложняли перестукивание нетвердое знание номеров букв и чрезвычайная замедленность «разговора». Обычно слушал и повторял про себя: а, б, в, г, д... На какой букве остановишься — ее и означает стук. Я предложил Н. Стародубцеву, с которым первым связался, «реформу» этой тягучей азбуки. С выбросом буквы «Ё» и отнесением буквы «Й» на место перед «Э», буква «К» становится десятой по счету, «Ф» — двадцатой, «Й» — тридцатой. Эти опорные буквы я предложил выбивать быстрыми двойными стуками: «К» — тук-тук, «Ф» — тук-тук, тук-тук, «Й» — тук-тук, тук-тук, тук-тук. Быстрое, почти слитное тук-тук и еще один одиночный удар обозначали, таким образом, букву «Л». Вот как, например, звучало по этой системе слово КПМ (обозначаю удары точками):

.. пауза .. . . пауза .. . .

Эту азбуку быстро усвоили почти все члены КПМ. Появились сокращения: «Н» — не понял, «ДА» — дальше, т. е. слово понятно, стучи следующее. И так далее. Мало того, появилась необходимость в пароле, чтобы быть уверенным, что стучит свой, а не надзиратель. Случалось такое: выведут соседнюю камеру на прогулку, а надзиратель пытается тем временем «установить со мною связь», т. е. стучит — вызывает беспорядочно: тук-тук-тук-тук. И ждет моего ответа. А я молчу. Потому что, по уговору, после вызова на связь нужно простучать пароль — условленные буквы: «АГА», например. Пароль этот мы часто меняли.

А знаком опасности был у нас «скрежет» — звук, получавшийся от царапанья ложкой или булавкой по стене. (Булавки прятали в щели тумбочек, в матрацы, иногда в подошвы обуви и т. п.)

С Колькой Стародубцевым у меня была отличная связь. Я сидел в 5-й камере, он — в 4-й, Рудницкий — в 3-й, Радкевич — во 2-й. Это левые камеры, они были расположены в левой части коридора, если заходить в тюрьму со двора. С Колькой мы так наловчились беседовать, что он — не слыша моего голоса, а лишь по стуку — выучил мое стихотворение «Сердце друга», которое я в 5-й камере сочинил. И перестучал это стихотворение Рудницкому.

Очень трогательно было, когда при встрече после реабилитации Коля без запинки прочел наизусть это стихотворение и другие мои стихи, также переданные ему перестукиванием.

Вот оно, это стихотворение. Не сильное, но документ того времени, тех дней.

СЕРДЦЕ ДРУГА

Николаю Стародубцеву

Душу зловещая тишь проела —
Глухая стена не проводит звук,
Но вдруг, тишину нарушая смело,
Раздается: тук-тук, тук-тук...

Не сон ли? Быть может, почудилось это?
Нет, твердая чья-то рука
Стучит, и удары за стенкой где-то
Сливаются в букву... К.

Точка за точкой следуют снова.
Я слушаю (в камере воздух нем!),
И буква за буквой сливаются в слово —
Тук-тук, тук-тук — ...К...П...М!

Ты рядом за стенкой, мой верный друг,
Ложкой в сырые стучишь кирпичи!
Неправда! Это не просто стук!
Это сердце твое стучит!

И в бешеном страхе дрожат палачи —
Ужасен для них этот стук.
Они его душат: молчи! Молчи!
Но сердце упрямо стучит и стучит:
Тук-тук, тук-тук, тук-тук!

Январь 1950 года
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера.

Да... Следствие, следствие! Как тяжело о нем писать. Но писать надо, а то, как сказал кто-то из моих друзей (кажется, Фазиль или Камил), Хлыстов напишет. Да, я обязан обо всем рассказать людям, пока еще есть силы.

Возвращаюсь к начальному периоду следствия. В конце сентября — начале октября 1949 года дела с КПМ у следственного отдела УМГБ ВО обстояли весьма странно. Да, нелегальная организация КПМ (Коммунистическая партия молодежи) была раскрыта. Были арестованы ее руководители, члены Бюро КПМ: Б. Батуев, А. Жигулин-Раевский, Ю. Киселев, а также другие ее члены, выявленные провокаторами или открытые слежкой: В. Рудницкий, М. Вихарева, А. Чижов, Л. Сычов. В результате нажима на областную прокуратуру 22 сентября 1949 года была получена санкция на арест этих «преступников». В ходе допросов арестованных удалось установить одно лишь нарушение закона, состоящее в том, что Коммунистическая партия молодежи существовала нелегально. Но задачи ее — помогать ВКП(б) и ВЛКСМ, изучать труды классиков марксизма. Гимн КПМ — «Интернационал», конечная цель — построение коммунизма во всем мире. Так что и судить арестованных вроде бы было не за что. А «дело» надо было создать, и решено было: одновременно — нажать на арестованных и — искать членов КПМ, оставшихся на воле.

Капитан МГБ в отставке И. Ф. Чижов частенько наведывался к своим бывшим коллегам. Ему хотелось спасти сына. Он просил свидания с ним, а ему не разрешали. Сначала. Потом, когда у следственного отдела возникли трудности, разрешили. Это произошло приблизительно 28 сентября.

В присутствии полковника Прижбытко и других офицеров отдела Чижов-старший уговаривал Чижова-младшего стать предателем своих друзей:

— Сыночек, милый! Расскажи все, что знаешь! Даже если тебя не спрашивают о чем-то, а ты об этом знаешь, говори! Говори все, и тебя освободят!

— Меня отпустят. А других?

— Кого-то тоже отпустят. Лишь некоторые могут получить небольшие, почти символические сроки.

— Хорошо! Пишите! Я знаю очень много. Почти все!

— А кто знает все?

— Бюро КПМ: Батуев, Жигулин, Киселев.

Странным казалось нам долгое время именно то, что И. Ф. Чижов, сам работник МГБ, уговорил сына говорить все, что знает и что прикажут, то есть сам подталкивал его к признанию вины, а этим — и к жестокому наказанию. Потом мы поняли. Ведь отец Аркадия никогда не был следователем и плохо разбирался в следственной практике. Он много лет был на оперативной работе. И он, в сущности, был кретином. Иначе все же сообразил бы, что не стоит в подобной ситуации уговаривать своего сына говорить все, что было и чего не было.

И поселили Аркадия Чижова в теплую солнечную камеру с паркетным полом, с окном, выходящим во двор Управления, и поэтому не имевшую у окна кирпичного колодца. Дали ему бумагу, перо и сказали:

— Садись и пиши!

И полетело, понеслось! Аркадий назвал всех своих ворргов (групоргов). В Сталинском (теперь Левобережном) районе было у нас две группы по 6—8 человек. Это были группы Ивана Широкожухова и Ивана Подмолодина.

Я однажды видел И. Подмолодина, встретили мы его с Чижовым на улице Карла Маркса. Иван занимался в аэроклубе и шел туда в летной форме. Был он красив, высок и статен, и глаза его были синими, тревожно-веселыми. Это было числа девятого сентября. Мы познакомились:

— Иван.

— Алексей.

Он улыбнулся, потому что предполагал, что я не Алексей, а может, скорее всего, улыбнулся просто так. Таким он и остался навсегда в моей памяти — с веселыми, добрыми и тревожными глазами. С летным шлемом в руке (он летал на ПО-2). Погода стояла прозрачная.

Когда мы расстались с Подмолодиным, Аркаша сказал:

— Это один из двух моих групоргов в Сталинском районе...

— Подмолодин?

— Ты его знаешь?

— Нет. По шлему догадался.

От жестоких избиений, многократных «пятых углов» во Внутренней тюрьме Иван Подмолодин сошел с ума. Но из него так и не выбили ни одной фамилии. Его смертельно искалечили, по существу — убили.

Иван Широкожухов тоже не назвал никого из своей группы, хотя его тоже крепко били.

Группы левобережные, как и группы Николая Стародубцева (он тоже никого не назвал), были выловлены оперативниками по кругу общений. Однако не полностью. Из пяти этих групп на воле осталось не менее десяти членов КПМ.

Итак, Аркаша начал класть, класть все и вся. Если после ареста нам совали под нос клеветническое и подлое письмо Игоря Злотника, то теперь заработал другой материал: нас давили показаниями А. Чижова.

Следствие вообще велось подло — об избиениях до полусмерти, ледяных карцерах, лишении сна я уже писал. Подло велись и записи в протоколах допросов. Полагалось записывать слово в слово — как отвечает обвиняемый. Но следователи неизменно придавали нашим ответам совсем иную окраску. Например, если я говорил: «Коммунистическая партия молодежи», — следователь записывал: «Антисоветская организация КПМ». Если я говорил: «собрание», — следователь писал: «сборище». Если я говорил: «Был принят в ряды КПМ», — следователь писал: «Был завербован в антисоветскую организацию КПМ». Ничто позитивное в протоколы не записывалось. Сочетание букв КПМ в окончательном тексте протоколов было расшифровано лишь один раз и вот в каком контексте: «Антисоветская террористическая молодежная организация, преступно именовавшая себя КПМ (коммунистическая партия молодежи)». Все, что мы говорили о коммунистической направленности организации: изучение работ Маркса, Ленина, гимн «Интернационал», конечная цель — построение коммунизма во всем мире, — все это было изгнано из ранних протоколов. Просто они были заново переписаны следователями в новой, нужной им редакции. Начальные графы протоколов: «Допрос начат... допрос окончен...» — почти всегда оставались незаполненными. Это давало следователям возможность по своему усмотрению манипулировать этими важными данными. Я заметил эту хитрость слишком поздно.

Да... Если они и признавали в наших исканиях идейную основу, то только в виде троцкизма или двурушничества. Я позволю себе процитировать окончание моего стихотворения «Третье письмо из тюрьмы», обращенное к Ольге Яблоковой.

> Пропала жизнь! Коль мог, пустил бы пулю.
> Мой путь во мраке страшен и тернист.
> Прощайте, милая. А. В. Жигулин,
> «Фракционер, двурушник и троцкист».
>
> *Ночь на 1.1.50*
> *ВТ УМГБ ВО,*
> *К. 6-я левая.*

Ольга Андреевна Яблокова... Она до сих пор осталась несколько загадочным лицом в деле КПМ. Как попала она в конце июля 1949 года в наш круг: я, Борис, Киселев, кто-то еще?

От крайней бедности семья Киселевых обычно сдавала угол с конца июля и на весь август кому-либо из абитуриентов, приезжавших на вступительные экзамены в воронежские вузы. И примерно 20 июля 1949 года пришла к Киселевым и обратилась к его матери — тете Марусе — девушка:

— Не сдадите ли угол для поступающей в университет?

Вот так Ольга Яблокова и поселилась в крохотной, по существу, однокомнатной квартирке Киселевых. Юрка в таких случаях, да и Степан Михайлович, если не был на дежурстве, уходили спать в сарай — там было просторно и тепло: август, ночи теплые.

Ольга Яблокова была белокурая, с глубокими голубыми глазами и светлым лицом, статная, стройная девушка, на вид лет двадцати пяти. Но говорила, что ей — восемнадцать. И не было ей никакого дела до того, что кому-то она кажется старше. Она приехала поступать на филологическое отделение ВГУ. Занималась, готовилась к экзаменам. Мы с Киселевым сразу влюбились в нее. И гуляли по тихой Студенческой улице поздними вечерами. В это время в Греции шла жестокая война между патриотическими военными формированиями ЭЛАС, с одной стороны, и правительственными, а также английскими и американскими войсками — с другой. Силы были неравные, и мы мечтали через Румынию и Болгарию пробиться на помощь патриотам. Да... Пожалуй, и впрямь лучше было бы нам оказаться в Греции, чем в ВТ УМГБ ВО!..

Мечты, мечты!.. Ольга зубрила или делала вид, что зубрит, но, так или иначе, в поле ее зрения за сорок дней попали многие приходившие к Юрке связные. Ни имен, ни фамилий их Ольга не могла узнать — имена и фамилии, которые они называли, были вымышленные. Но запомнить лица она могла, могла опознать по фотографиям тех, кто приходил. К слову сказать, однажды случилась со мной оплошность — выпал из-под полы пиджака наган и грохнулся на деревянный пол. Не было у нас специальных портупей для ношения оружия под пиджаком. Случилось это при Ольге, она сделала вид, что не заметила.

Сведения от Ольги, видимо, поступили в Управление МГБ: как раз об этом самом нагане меня и спрашивали. Я, естественно, сказал, что он был негодный и я его выбросил в уборную.

Была ли Ольга преднамеренно, специально подселена в квартиру Ю. Киселева для наблюдения? Не исключено. После нашего возвращения, после публикаций в Воронеже моих стихов один из работавших в районе молодых литераторов, поэт, сказал, что у них в школе преподает русский язык и литературу Ольга Андреевна Яблокова, которая мучается совестью и многим говорила, что очень виновата в трагической судьбе Жигулина и других невиновных людей; сама она одинока, несчастна и часто плачет.

Жива ли она? Где она сейчас? Я хочу сказать вам, Ольга, что я вас прощаю за то, что касается лично меня. За других прощать не уполномочен. Почему прощаю? За раскаяние, за слезы. Но это только за себя, а не за всю КПМ и дальнейшую вашу деятельность. Ибо какая у вас была другая работа в ВГУ и в последующем, — я не знаю.

Пока А. Чижов не начал нас изобличать, нас не только мучали, но еще и уговаривали. Например, так:

— Вы стремились к захвату власти в стране!

— Ни в коем случае!

— Ну вот, — подумай, — ведь вы все поступили в вузы, со временем окончили бы их, многие из вас вступили бы в ВКП(б), многие избрали бы своим поприщем партийную работу, или (из окончивших высшие военные учебные заведения) военную карьеру, или иную государственную важную службу. Секретарь райкома ВКП(б), директор крупного завода, командир полка и так далее — это ведь тоже власть! Значит, вы стремились к ней.

— Что ж, по вашей логике, получается так.

Результатом такого «убеждения» и многодневной насильственной бессонницы (спать не давали неделями!) и появлялся в протоколе мой ответ в такой вот редакции следователя:

— Да, я признаю, что КПМ стремилась к захвату государственной власти в стране.

Я протестовал против подобных редакций моих ответов, но майор Белков (или Харьковский) ласково спрашивал:

— Хочешь еще один «пятый угол»?

И я подписывал. Ведь не умирать же здесь, в тюрьме!

Из лагеря можно попытаться бежать. Такая светлая надежда впереди!

Но когда в полную меру «заработал» Аркадий Чижов, нас перестали уговаривать. Суя нам протоколы допросов Чижова (а его почерк и подпись я хорошо знал), на нас бешено орали:

— Вы готовили вооруженное восстание против Советской власти, готовили террористические акты, занимались антисоветской агитацией! Расскажите обо всем этом подробно! Где находится, где спрятано ваше оружие?

Слава богу, все члены КПМ надежно спрятали или выбросили оружие! А вот Борис — какая оплошность! — не спрятал и не выбросил

свое, вернее—наше общее оружие. В его комнате в ящике письменного стола хранилось шесть-семь разных пистолетов и револьверов. Лена, старшая сестра Бориса, знала об этом оружии,— Борис часто стрелял в комнате и во дворе. Узнав, что Борис арестован, она обыскала комнату брата и сложила все это оружие, обоймы, даже стреляные гильзы в большую женскую сумку. Наблюдение за домом после ареста Бориса было временно снято. У ворот дежурил еще Степан Михайлович Киселев. И поздним сентябрьским вечером (числа 20—22) Лена вышла с этой сумкой погулять. Она рассказывала мне после нашего возвращения:

— Я очень боялась, что какой-нибудь из пистолетов выстрелит. Там был один большой и тяжелый, я его никак не могла просунуть через решетку.

Она еще днем облюбовала местечко—крупнорешетчатый люк для стока воды на углу улиц Студенческой и Университетской. К нему она и пошла и с большой опаской (вдруг выстрелит!) выбросила туда все оружие, высыпала патроны и гильзы. Лена, в сущности, спасла нас от статьи 58—2 УК РСФСР. Ибо орали следователи: «Вооруженное восстание!» Но если готовилось восстание, да еще вооруженное, где же оружие? Пистолет «Вальтер» принадлежал В. П. Батуеву. А обгорелый ствол малокалиберной винтовки, найденный в сарае у кого-то из группы Подмолодина или Широкожухова, никак на оружие для восстания потянуть не мог. Он был детально изучен, и в протоколе технической экспертизы было с печалью написано, что экспериментального выстрела из ствола винтовки ТОЗ-8 № такой-то произвести не удалось.

Да, не удалось пришить нам вооруженное восстание, но зато пришили нам террор — 8-й пункт 58-й статьи. И вот как это случилось.

Рядом с моим четырехэтажным домом, построенным еще в 30-х годах, стоял на Студенческой улице дом 34, грязно-кирпичный, в готическом стиле коридорной системы. Там жил Юра Киселев. До 1943 года Юра вместе со своей семьей жил в селе Хвощеватка, село дальнее, глухое черноземье. До сих пор там говорят еще «идеть», «чаво» и т. д. Рязанско-воронежский говор. И вот Юркиному отцу-милиционеру предложили службу в городе, дали комнату на Студенческой. И стали мы с Юркой соседями, а потом и друзьями. Юра Киселев — единственный из оставшихся в живых моих самых близких друзей, последний настоящий друг по КПМ. Я посвятил ему в 1973 году стихотворение «Дорога»:

Все меньше друзей
Остается на свете.
Все дальше огни,
Что когда-то зажег...

Юрка—высокий, стройный, сильный, но очень добрый, отзывчивый; светло-голубоглазый, красивый лицом и душою человек. В то, послевоенное время он всегда, как и я в военные и послевоенные годы,—осенью, зимой и весной ходил в армейской шинели с широким ремнем. Только его шинель была серой, а моя —зеленой, тонкого сукна и застегивающейся на левый бок — девичьей шинелью,— такую купили на толкучке. Вся Россия ходила тогда в военных шинелях...

Приехавший из деревни, Юра заметно отставал от нас по образованности, по начитанности, но за какие-нибудь три-четыре года сделал гигантский скачок. Читал он фантастически много. Заметно повлиял на развитие его личности Борис.

Юра и сейчас может сказать «гром гремить». Но если я умру, а он будет жив, он первый приедет на мои похороны. И березу у моей могилы посадит именно Юрий Киселев. Он всегда был предельно честен и справедлив и в самом серьезном деле, и в самых мелких мелочах жизни.

1949 год. День рождения Юры—8 августа (20 лет ему), день рождения моего брата Славы—6 августа (18 лет ему). А идет день 7 августа, и мы празднуем сразу два дня рождения. Родители и сестренка Юрки в Хвощеватке; студентка, точнее, пока еще абитуриентка, Ольга где-то гуляет.

Нас всего четверо: два именинника, я и Борис. Мы пребываем еще в том возрасте, о котором точно сказал А. Твардовский:

Ты водку пьешь еще для славы,
Не потому, что хороша.

И водка на столе. И огурчики с капустой—из Хвощеватки. И выпили мы уже как следует. И весело нам. А напротив меня—прикрепленный кнопками к стене портрет Сталина в маршальском мундире. И весело, и хорошо у меня на душе, и солнышко за прозрачными занавесками светит. Но Сталин моему хорошему настроению мешает. Все хрупают огурчики, а я вдруг спросил:

— Юра! Зачем ты этого людоеда на стене держишь?

Затем я вынул из кармана наган и... бах, бах по генералиссимусу...

Ребята всполошились. Но, однако, не беда. Выглянули во двор — никого. Отворили окошки, чтобы пороховой дымок вышел. Портрет сняли и сожгли в печке, пули легко извлекли из кирпича, ибо стрелял я в стену под углом примерно 40°. Дом старинный, все стены — кирпичные, толстые. В маленькой прихожей (она же кухня с печью) нашли и чугунок с разведенной глиняной подмазкой, и щетку для подбелки, и мел. За пятнадцать минут стена стала, как новая. А Славка принес совершенно такой же портрет Сталина. Мы его купили, но еще не успели повесить. (Кстати, за подобные фразы люди нередко попадали в те времена в тюрьму. Например, «Все портреты повешены, осталось только Сталина повесить». Донос — десять лет!) В конце работы по реставрации стены, которой руководил, конечно, Кисель, он сказал:

— Я думаю, говорить нечего. Нас здесь всего четверо. Все ясно без слов. Пули и гильзы, прошу прощения,— в сортире за сараем — опустились уже глубоко. Портрет через печную трубу улетел в маленький город Гори. У Жигулина, то есть у товарища Раевского, наган отобрать! И лишить следующей рюмки.

Я стал возражать:

— Со всем согласен, кроме последнего. Это не было хулиганством. Это была техническая проба. Наган мне дал Хариус для ремонта самовзводного механизма. Я его починил. И проверил. Механизм работает отлично,— и отдал наган Борису.

Борис сказал:

— Очень жаль, что это был всего лишь портрет.

Наутро, несмотря на то, что шли вступительные экзамены в институт и нужно было заниматься, я рано вышел из дому и встретил на улице Комиссаржевской Володю Радкевича, моего близкого друга. Мы три года учились в одном классе, вместе состояли в КПМ. Вовка Радкевич был младше всех нас. Ему было 16 лет, когда он окончил школу. Сохранилась фотография: я и Володя летом 1949 года возле нашей школы. У меня уже пробивались усики, а он был совершенно ребенком. Юное, прекрасное, почти детское лицо. Сейчас смотрю и думаю: да мог ли быть преступником этот мальчик (а ведь через месяц возьмут и его!), этот птенчик, этот воробышек? Боже мой, что творилось на свете!

Володька Радкевич был самым юным и самым маленьким в классе, но прозвище у него было просто чудовищное. Даже произносить сейчас противно: «Харя». Жуть! Потом, впрочем, уже в 10-м классе, это прозвище мы смягчали: Харюня, Хариус, Харькони... Это о нем написал я юмористические шуточные поэмы «Бессмертная баллада о необыкновенных приключениях моего друга-бандита Владимира Радкевича» и «Необыкновенные приключения моего друга-бандита Владимира Радкевича за Полярным кругом» («Во льдах»). Страшно даже думать об этом, но тогда, весною 47 года, в шуточной поэме я предсказал ему все: и тюрьму, и лагеря, и стальные браслеты, и даже самоубийство...

В классе эти поэмы имели потрясающий успех. Подросток—да какой там подросток—мальчик с почти ангельской душой и лицом!—был написан жестоким бандитом-авантюристом. «Бессмертная баллада...» объемом в две общие ученические тетради с блестящими рисунками главного героя (Володька прекрасно рисовал) обошла всю школу.

Володька Радкевич—судьба особая. Родился и воспитывался в интеллигентнейшей семье: мама — Ольга Александровна Стиро́ — заведовала литературным отделом Воронежского драматического театра. Очень талантливая и очень красивая женщина. А ее мама—Володина бабуш-

ка—худенькая и неслышная, словно тень, тихо вышедшая из Ветхого Завета. Володька все время воровал у нее тонкие-тонкие папиросы «Ракета». Теперь таких не делают. Они были очень дешевы, и о них сложилось такое фольклорное произведение:

Если денег нету —
Закурю «Ракету».
Сразу видно — бедный человек.

Или еще:

Закурим «Мечту Циолковского»!

Володин отчим—Николай Ипполитович Данилов—был художником из того же театра. Ютились они в двух крохотных комнатках прямо в здании театра. С отцом Володи И. Радкевичем, тоже художником или артистом, я познакомился в туберкулезном санатории «Хреновое» в 1958 году. Но Володька не знал его ни в раннем, ни в позднем детстве. Ему было достаточно отчима, которого он всю жизнь называл Никой. Потом (в больших уже квартирах) была в их семье домработница Ульяна. И кот Умка, с которым Володька любил играть, надевая боксерские перчатки.

Володя Радкевич вступил в КПМ осенью 1948 года, но на другой же день потерял партийный билет. Его сразу же исключили. Об этом А. Чижов знал. Но Чижов не знал, что вскоре Бюро (Борис, Кисель и я) тайно восстановило Радкевича-Стиро в КПМ, и он стал работать в нашей маленькой службе безопасности—особом отделе, которым заведовали, последовательно сменяя друг друга, Ю. Киселев, я и В. Рудницкий. Володька работал и связным, и следил за Злотником, Хлыстовым, Загораевым, выполнял и всякие иные задания.

В предарестные дни следил В. Радкевич и за Чижовым—не ходил ли тот в «большую фанзу». Не ходил и даже и не предполагал, что за ним присматривает Хариус, пробывший, как был уверен Чижов, в КПМ всего лишь полтора дня. Кстати, этим лишь и объясняется, почему Володька получил смехотворно малый по тем временам срок—всего три года.

Не огорчайся, читатель, что увожу твое внимание в разные стороны и времена, когда идет изнурительное следствие. Оно было тягучим и долгим. Я рассказываю тебе о своих друзьях в перерывах между допросами и пятыми углами.

Возвратимся к утру 8 августа 1949 года, на улицу Комиссаржевской, в теплое утро. Радкевич радостно воскликнул:

— Привет, Толич! Ну как? Починил мой наган?

— Привет и салют! Починил, и в самом лучшем виде.

— А опробовал?

— Да, опробовал. Два выстрела сделал.

— Где? На крыше?

— Гм... Да, на крыше. Там собачка, передвигающая барабан, немного источилась, укоротилась. Старый ведь наган. Но я собачку чуть-чуть легкой ковкой вытянул. На наш век хватит.

— Ну, давай. Он с тобой?

— Нет, у Фири получишь.

А на крыше моего четырехэтажного дома был у нас почти настоящий полигон. С фасада, справа и слева над крышей возвышались стены, и получились уютные и просторные чаши, совершенно не просматриваемые ни снизу, ни из соседних домов—ниоткуда. (Даже с крыш соседних четырехэтажных зданий: они были вдалеке.) Выстрелы были слышны совершенно одинаково в большой округе и исходили как бы прямо с неба.

Очень жаль, конечно, но я все-таки рассказал Хариусу, как и где я опробовал наган. Но—предупредил я—никогда и никому! Он поклялся.

Володю Радкевича арестовали недели на две-три позже нас: припомнил Аркаша Володькин казусный случай не сразу. Володьку взяли и посадили в одиночку. Был он, в сущности, бесперспективен для следствия, и о нем забыли. И сидел он, бедняга, один недели две. Курева у него не было, а курить очень хотелось, хотелось так сильно, что, как говорили тогда в лагерях и тюрьмах, аж уши опухли. И тоска одному сидеть-то.

Но как-то вдруг в неурочный час открылась железная дверь и в камеру впустили еще одного человека (кроватей было две).

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Володька несказанно обрадовался новому жильцу. Хотя был октябрь, пришедший был в зимней желтой меховой шапке. Уже в лагерях Володя узнал, что это — японские, военные зимние шапки,— все, что осталось от Квантунской армии.

— Ты за что же, сынок, сидишь? Сколько тебе дали?

— Мне еще ничего не дали и не дадут... А вас-то за что?

— Меня, сынок, без всякой вины осудили — за плен. Да и был-то в плену я полтора месяца. Бежал и воевал потом, до Берлина дошел. Но осудили меня как изменника Родины—на 25 лет!

— Не может быть!

— Да, сынок, не может быть, а вот случается. Да вот она у меня копия приговора... Хочешь—прочти...

Иван Евсеевич Ляговский оказался добрым и сердечным человеком. Он предложил Володе сигарету, а потом добавил:

— Да ты бери ее всю, пачку-то, и спички возьми. А то вдруг меня сейчас на этап выдернут, и останешься ты без курева. Бери, бери, не стесняйся. Мне старуха моя всего принесла.

Живут вдвоем два, три, четыре дня. Попривыкли, прониклись доверием. Володя рассказал Ивану Евсеевичу о КПМ, о том, что изучали классиков марксизма.

— Ну, ты счастливый человек! За это не судят. Это тебя по ошибке взяли. Выпустят.

— Я тоже думаю, что выпустят. Если не...

— Не дослышал я, родимый: если что?

— Да есть у меня опасение. Как бы они не узнали об этом...

— О чем, Володь? Но если секрет—не говори.

— Это не секрет, но кое-кто из моих товарищей об этом знает.

— А что?

— Это конечно, между нами, но один мой товарищ, его тоже уже взяли, в портрет Сталина выстрелил.

— Ай-яй-яй! Глупости ты говоришь, не могло быть такого. Никак не могло быть такого. Ты что—сам видел или просто сплетню услыхал?

— К сожалению, хоть я этого не видел, это было.

— Ну, ничего! Забудь об этом. Раз никто не знает, не спрашивает, никто и не узнает. Вот котлеты бери — еще теплые, домашние. Лишь бы этот твой друг сам сдуру не ляпнул. Хороший товарищ?

— Друг! Толька Жигулин.

— Жигулев, говоришь?

— Нет. Жигулин.

— А то у меня на фронте друг был Федька Жигулев, разведчик, замечательный был человек. Погиб.

Старичка Ляговского и вправду выдернули на этап дня через два [1]. И остался Володя опять один. Зато его начали вызывать на допросы. Сначала о том, о сем, а потом вдруг:

— Что вам известно о расстреле портрета Вождя? Кто стрелял? Где и когда это было?

— Ничего такого не было! Ничего об этом мне неизвестно.

Володька, конечно, понял, что Ляговский его заложил. Но показания таких стукачей к делу не пришьешь—вот они и взялись за меня и за него.

Однажды утром я услышал близкие больные крики, знакомый голос — голос Володи. Его били в соседней камере. Я сразу понял, что́ из него выбивают. Меня уже спрашивали про портрет и говорили, что на меня показывает Радкевич, но я наотрез все отрицал. Полагаю, они специально избивали Володю рядом: чтобы мне было слышно, в соседней камере была открыта форточка-кормушка.

Я нажал сигнал—над дверью моей камеры вспыхнула красная лампочка. Надзиратель открыл кормушку мгновенно, как будто ждал этого.

[1] Ляговский был знаменитым стукачом-наседкой, уже несколько лет его использовали в таких целях. Он был действительно осужден, но не за плен, а за сотрудничество с немцами, за палачество. Жил он при городской тюрьме, в 020-й колонии, и вызывался в тюрьму УМГБ при необходимости.

— Гражданин начальник, мне срочно нужно к следователю. Рядом бьют моего товарища Владимира Радкевича, а он не виноват. Я виноват! Прекратите избиение!

Избиение прекратилось, и минут через пять я был уже в кабинете Белкова. Прямо с порога я сказал:

— Прикажите не бить Радкевича! Он не виноват. Это я стрелял в портрет.

— Я уже позвонил. Садитесь! Из какого оружия?

— Наган!

— Чей? Ваш? Киселева?

— Нет. Мне его просто приносили для починки.

— Кто приносил?

— Васька Фетровый. — Я назвал первое, что мне на ум пришло.

— Кто он?

— Шпана.

— Где он обитает?.. Впрочем, это не главное. Где вы стреляли?

— На квартире Киселева.

— Когда?

— Седьмого августа.

— Кто был?

— Я, Батуев, Киселев.

— Еще?

— Больше никого.

Позже, читая, согласно статье 206-й, все дело, я обнаружил, что ни Киселев, ни Батуев не подтвердили моего признания. Да, сидели втроем, выпивали, но никаких выстрелов не слышали [1].

Как следует из документов технического отдела Управления МГБ, в квартире Ю. Киселева ни под портретом Вождя (слева), ни под портретом Мичурина (справа) никаких следов пуль обнаружить не удалось, хотя штукатурка была снята не только под портретами, но и весьма далеко вокруг них. Вероятно, из-за чрезвычайной шаткости позиции следствия в этом вопросе позднее мне дали подписать протокол-признание «о прицеливании в портрет Вождя» при тех же обстоятельствах. В окончательное дело, однако, были включены оба протокола.

После моего признания о стрельбе в портрет наша «антисоветская молодежная организация КПМ» стала еще и «террористической».

Я вполне мог бы держаться, мог бы держаться до конца и не получил бы дополнительно страшный пункт статьи 58—8 (террор). Но Володьку убили бы. Я совершил оплошность, рассказав ему о том, как опробовал его наган. А он поделился своими опасениями с профессиональным стукачом-наседкой. Он потом долго (наверное, до самого конца жизни) горько переживал свою детскую доверчивость, из-за которой повесил на меня страшную статью, страшный 8-й ее пункт.

В. Радкевич был совсем мальчиком, еще растущим подростком! Он в буквальном смысле слова рос в тюрьме, отмечая черточками на стене свой рост. Самый маленький при аресте, он за время разлуки стал на голову выше большинства из нас.

Но я снова забежал вперед. Вернусь к следствию. По мере раскрутки А. Чижова, в ноябре—декабре 1949 года усилилось давление на Б. Батуева, на меня, на В. Рудницкого, на Ю. Киселева. Единственный экземпляр Программы КПМ, как я уже писал, был уничтожен Борисом до ареста. И теперь следственный отдел с помощью А. Чижова решил «воссоздать» основные тезисы нашей Программы. Изучение классиков марксизма и т. п. было отброшено, исчезло с листов протоколов. Программной статьей была признана статья Б. Батуева (Анчарского) «О предпосылках, толкнувших нас к созданию КПМ» в журнале «В помощь воргу». Там они уцепились за ошибочную фразу: «КПМ—фракция ВКП(б)».

В ответ на обычные наши ответы: «борьба с бюрократизмом», «помощь ВКП(б) и ВЛКСМ», «изучение известных трудов» на нас орали:

[1] В сталинские годы в следственно-судебной практике так называемая презумпция невиновности не применялась, т. е. для осуждения обвиняемого достаточно было о д н о г о л и ш ь е г о п р и з н а н и я, даже при наличии фактов, противоречащих признанию, даже при полнейшей невозможности совершения самого преступления.

— Вы врете! Показаниями других участников доказано, что вы в своей программе ставили перед собою антисоветские задачи:

1) Антисоветская агитация.
2) Террористические акты.
3) Вооруженное восстание против Советской власти.

Вооруженное восстание не предусматривалось самыми секретными пунктами нашей Программы. Да и смешно вообще было такое предполагать. Три десятка мальчишек с пистолетами хотели силою свергнуть Советскую власть?!

Думаю, что версия о подготовке к вооруженному восстанию и к террористическим актам появилась с подсказки следователя в воспаленных от припоминания мозгах А. Чижова. Он же, вероятно, сообщил и об «обожествлении Сталина». К слову сказать, в протоколах имя Сталина никогда и нигде не называлось, оно заменялось словом «Вождь» с большой буквы.

Опять пошли многочасовые и перекрестные допросы. Мне показали протокол о вооруженном восстании, подписанный Борисом. Подпись была очень похожа на Борькину, но я не поверил. Белков сказал (он, как и Харьковский, вел одновременно и меня, и Бориса):

— «Маленький фюрер» признает, а его правая рука не слушается и упирается!

Спустя два-три дня я нашел в уголке прогулочного дворика окурок от «Беломора», сплющенный и почти засыпанный пылью и мелом. В окурке оказалась записка, написанная грифелем: «Признавать все, ради сохранения жизни. На суде мы откажемся и расскажем, какое было следствие. Б. Б.» Почерк не вызывал сомнений.

И сочинилось у меня такое стихотворение:

Б. Батуеву

Ты помнишь, мой друг? — На окне занавеска.
За черными стеклами — город во мгле.
Тень лампы на стенке очерчена резко,
И браунинг тускло блестит на столе.

Ты помнишь, мой друг, как в ту ночь до рассвета
В табачном угаре хрипел патефон,
И голос печально вытягивал: «Где ты?..»
И таял в дыму, словно сказочный сон.

Ты помнишь, мой друг, наши споры горячие?..
Мы счастье народу найти поклялись!
И кто б мог подумать, что нам предназначено
За это в неволе заканчивать жизнь?!

Конечно, ты помнишь все это, Борис,
Теперь все разбито, исхлестано, смято —
В тридцатом году мы с тобой родились,
Жизнь кончили в сорок девятом...

Ты слышишь меня? Я сейчас на допросе.
Я знаю: ты рядом, хоть, правда, незрим.
И даже в ответах на все их вопросы,
Я знаю, мы вместе с тобой говорим!

Мы рядом с тобою шагаем сквозь бурю,
В которую брошены дикой судьбой.
Тебя называют здесь «маленьким фюрером»,
Меня — твоей правой рукой!

Здесь стены глухие, не слышно ни звука.
Быть может, не встретившись, сдохнуть придется.
Так дай же мне, Боря, хоть мысленно руку,
Давай же хоть мысленно рядом бороться!

Борьба и победа! — наш славный девиз!
Борьба и победа! — слова эти святы!
В тридцатом году мы с тобой родились,
Жизнь н а ч а л и в сорок девятом!

Январь 1950.
ВТ УМГБ ВО, камера 2-я левая.

Лет десять или даже больше назад, когда Б. А. Слуцкий был жив и здоров, мы гуляли как-то поздним вечером по темной коктебельской набережной. О моем деле, о КПМ он уже знал — я никогда ни от кого не скрывал сущность нашего дела. И к чему-то Борис Абрамович спросил:

— А стихов не писали там, в тюрьме, в лагерях?

— Сочинял без пера и бумаги. Но печатать их не собираюсь.

— Наизусть помните?

— Да, очень многое помню наизусть.

— Прочтите что-нибудь.

Я прочел только что процитированное стихотворение.

— Эти стихи несут, таят, нет, «таят» не подходит, именно несут в себе тяжкий груз исторической драмы — и лично вашей, и общей для всей страны...

Здесь, пожалуй, стоит сказать о происхождении грифеля, которым была написана найденная мною записка Бориса Батуева.

Николаю Стародубцеву во время подписания протокола допроса удалось украсть со стола следователя длинный простой карандаш, о чем он сразу же мне с радостью сообщил. Николай уничтожил деревянную «рубашку» карандаша (изгрыз и спустил в унитаз). А небольшие кусочки грифельного стержня вскоре нашли в прогулочных двориках многие члены КПМ, оповещенные с помощью перестукивания и записок, оставляемых в бане, о местах, где следует искать грифель (обычно в правом углу дворика под слоем пыли).

Приказ Бориса Батуева: «Признавать все, ради сохранения жизни» — был получен мною и другими членами КПМ в январе 1950 года. И мы стали давать следственному отделу нужные ему показания. В это время и были оформлены и подписаны компрометирующие нас и КПМ протоколы допросов. Мы утешали себя словами Бориса: «На суде мы откажемся и расскажем, какое было следствие».

Казалось бы, что все уже закончилось. Однако меня продолжали вызывать на допросы. Бесконечно составлялись все новые и новые редакции моих «признаний». Однажды я обратил внимание на дату протокола, который я подписывал недавно, в январе 50-го. Она была... октябрьской. Да, в начальном грифе протокольного листа стояло какое-то число октября 1949 года! Я выразил следователю недоумение. Он ответил:

— Это не имеет никакого значения. Признался ведь. Какая разница, когда признался?..

Спустя значительное время я понял, для чего менялись даты наших «признаний». Следственный отдел не устраивал тот факт, что руководители КПМ (кроме А. Чижова), несмотря на муки и избиения, долгие месяцы не давали необходимых следствию показаний. Вот они и оформили задним числом выбитые из нас поздние «признания». Создали на бумаге стройную, безупречную — без сучка, без задоринки — картину следствия.

О том, что Борис Батуев твердо держался на следствии, как было договорено на Кадетском плацу, свидетельствуют, в частности, копии протоколов обысков, произведенных сначала лишь в его комнате, а позднее — во всей квартире Виктора Павловича Батуева. Они сохранились, оба протокола, в семье Батуевых: от 8 октября 1949 года и от 26 ноября 1949 года. Скорее это не копии, а дубликаты, ибо подписи лиц, производивших обыски, сделаны не через копирку, а непосредственно химическим карандашом.

Первый чрезвычайно интересен как документ о КПМ вообще и сравнительно невелик. Я приведу его полностью.

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

1949 года октября 8 дня я, начальник отделения УМГБ Воронежской области майор Белков, в присутствии сотрудников УМГБ Воронежской обл. майора Харьковского и капитана Максимова и хозяйки квартиры Батуевой Ольги Михайловны, на основании ордера № 229 произвел обыск в комнате Батуева Бориса Викторовича по ул. Никитинской д. № 13.

При обыске изъяты следующие обнаруженные документы и предметы:

1. Ученическая резинка с вырезанными на ней буквами «КПМ».

2. Клятвенное подтверждение с оттиском печати «КПМ» с датой 29 июля 1949 года об избрании Киселева Ю. С. хранителем фонда организации.

3. Два листа из блокнота с написанными на них фамилиями: Ренский, Раевский, Светлов, Хлыстов, Киселев. На одном листе два оттиска печати «КПМ» с росписью и датой 26 августа 1949 года.

4. Письмо, начинающееся словами «Здравствуй, Василий», датированное 26 августа 1949 года.

5. Стихотворение, начинающееся словами. «Я жить хочу...» за подписью Анатолия Жигулина, адресованное Б. Батуеву (Анчарскому), дата — 25 августа 1949 года.

6. Дневник ученика 10 «А» класса Батуева Б. В. с изображением на обратной стороне обложки семи эмблем, под рисунками дата — 26 октября 1948 года.

7. Разная переписка на девятнадцати листах.

8. Две брошюры: «Просо», «Разведение серебристо-черных лисиц и уссурийских енотов» — на первых листах которых имеются оттиски печати «КПМ».

9. Шесть тетрадей с разными записями.

10. Конверт, адресованный Батуеву Борису Викторовичу от Комарова Алексея.

11. Открытка почтовая Батуеву Борису Викторовичу от Зябкина.

12. Семь фотографий.

13. Журналы «Большевик» в количестве 3 шт. В № 5 за 1948 год на страницах 7—13 и 15—17 имеются записи, исполненные фиолетовыми чернилами; в журнале № 16 за 1948 год на страницах 21, 25, 27, 29, 31 имеются записи от руки, в журнале № 22 за 1948 год, на обороте второго листа обложки написаны слова: «Слава! Этот новый тов. в твою группу. Покажи дисциплину. Когда к тебе прислать?»

14. Журнал «Партийная жизнь» № 4 за 1948 год, на страницах которого имеются записи, исполненные фиолетовыми чернилами.

15. Брошюра «Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)», на третьем листе которого имеется роспись Б. Батуева красным карандашом. На страницах этой брошюры №№ 10—12, 14, 16—18, 20, 22, 25 имеются пометки фиолетовыми чернилами в виде вертикальных линий, линий с крестами, вопросительных и восклицательных знаков, скобок.

16. Штык от винтовки иностранного образца.

Жалоб на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей, ценностей и документов не поступило.

Обыск произвели: Нач. отделения УМГБ ВО
майор (Белков)
Нач. отделения УМГБ ВО
капитан (Максимов)
Зам. нач. от-я
майор (Харьковский)
Хозяйка квартиры Батуева

Этот обыск, как и последующий, произведен без понятых, что является вопиющим нарушением законности. Что они нашли и что находят вообще при подобных обысках, когда владелец комнаты знает, что обыск будет?

Оружие, которое Борис, вероятно, собирался выбросить или спрятать именно 17 сентября, в день, когда нас арестовали (это была суббота), к счастью, до обыска успела выбросить его сестра Лена. «Искатели» нашли случайно потерянное или забытое. Печать КПМ Борис сам не мог найти, она закатилась под глухую тумбу письменного стола, но производившие обыск искали более настойчиво.

Однако даже печать, сделанная из школьной резинки, не могла слишком потянуть, надавить на весы обвинения. Название организации было уже известно и не содержало в себе никакого криминала.

Уже в протоколе первого обыска наметилась тенденция проникнуть в мысли Бориса Батуева путем тщательного изучения того, что он читал и какие записи и пометки делал на полях книг и журналов.

Борис держался крепко, и вовсе не случайно, что в самом конце ноября, когда областной прокурор Руднев дал, наконец, ордер на обыск всей квартиры Виктора Павловича Батуева, а не только комнаты его сына, «искатели» занялись прежде всего и исключительно библиотекой. (Виктор Павлович был уже снят с поста секретаря обкома). Просматривалась каждая страница сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, политических, исторических, философских изданий. Фиксировались все заметки на полях.

Протокол второго обыска многостраничен. Приведу лишь некоторые примеры описания изъятого:

> «...2. Сталин, том IX, на стр. 120 — вертикальная черта с тремя восклицательными знаками, на стр. 181 — вертикальная черта, охватывающая 12 строк...
>
> 4. Сталин, том 1, на стр. 137 — вертикальная черта, охватывающая 6 строк. Линии проведены синим карандашом. Статья «Две схватки» на стр. 196 поставлено 2 галочки...»

Уже конец ноября 1949 года. В декабре из Бориса (головою о цементный пол) будут еще выбивать, что означали эти галочки. А в готовом, «отретушированном» нашем деле «признания» Бориса о стремлении КПМ добиться власти в стране путем вооруженного восстания будут помечены октябрем 1949 года. Вот таковы были «тонкости» следствия в сталинское время. Примеры можно умножить. Неоспоримые документы — на моем письменном столе.

Особенно пристально изучались пометки и надписи Бориса на полях статей В. И. Ленина «Интернационал молодежи» и «Военная программа пролетарской революции» (том XIX). Приведу для примера начало пункта шестого из длинного перечня изъятой литературы:

> «6. Ленин, том XIX на стр. 294 чернилом проведена вертикальная черта на 3 строки, на стр. 295 сверху и в середине проведены 2 вертикальные черты фиолетовыми чернилами, первая на 2 строки, вторая на 6 строк. В тексте слово «преимущественно» подчеркнуто волнообразной чертой, а у слов «а не борьба» на этой строке поставлен карандашом знак вопроса, взятый в скобки. Слово «вперед» в тексте очерчено дугой карандашом».

Частично процитированный мною протокол второго обыска подписан уже известными читателю офицерами УМГБ ВО Белковым, Харьковским, Пашковым. Ни подписей понятых, ни даже подписей хозяев квартиры в протоколе нет, хотя соответствующие графы имеются.

Уже после реабилитации выяснилось, что во время второго обыска в квартире Батуевых из взрослых была только сестра Бориса Лена. Отец, Виктор Павлович, еще не был арестован, но был вызван в Москву для объяснений, мать, Ольга Михайловна, лежала в больнице. Младшие, Светка и Юрка, были совсем детьми: Светке было около десяти, а Юрке — года два-три.

Библиотеку Батуевых «изучали» не только три подписавших протокол офицера, но и их помощники. Лену в библиотеку не пускали, «работали» при закрытых дверях. Вот почему в протоколе обыска нет подписи хозяев. Лена Батуева, хрупкая маленькая двадцатилетняя девушка-студентка, гордо и дерзко сказала целой своре бериевских офицеров:

— Не буду я подписывать ваш протокол! Я не знаю, кто сделал на книгах описанные вами пометы — Борис, отец или вы сами! Убирайтесь отсюда, мерзавцы, со своей «добычей»!..

Но возвратимся во Внутреннюю тюрьму. В то время при областных, краевых, республиканских Управлениях и Министерствах ГБ существовал такой пост: уполномоченный министра ГБ СССР. Он был подчинен лично министру ГБ СССР. Как правило, такими уполномоченными были либо личные друзья, либо лица, безмерно преданные Л. П. Берии. При Воронежском Управлении таким уполномоченным был полковник Литкенс.

Однажды отворилась дверь камеры. Рядом с хорошо знакомым надзирателем стоял незнакомый старший сержант в армейской форме с эмблемой войск связи. Последовало обычное:

— Кто здесь на букву «Ж»?

— Я!

— Фамилия?

— Жигулин-Раевский.

— Выходи!

Незнакомый связист расписался за меня в книге увода и привода заключенных, и мы пошли из тюрьмы по лестнице. Я привычно свернул было на второй этаж, но старший сержант скомандовал: «Выше!». Так добрались мы до пятого этажа. Коридор на пятом этаже был такой же, но двери — одна от другой — расположены подальше. «Стой!» «Разводящий» без стука приоткрыл дверь, что-то спросил шепотом.

— Давай, заходи!

Я зашел и сказал:

— Здравствуйте.

— Садитесь, пожалуйста, вот на этот стул.

Я присел. Это был единственный стул справа, но не в углу, а между углом и входной дверью. Я осмотрелся. Обычный следовательский кабинет. Слева в углу стальной коричневый сейф с пластилиновой печатью. Письменный стол. Офицер — старший лейтенант — за столом. У стены еще два стула. Напротив — скучный конторский шкаф на низких ножках. Двустворчатый. За стеклами верхней половины шкафа — какие-то серые папки, книги.

Офицер не спешил начинать допрос. Зашел какой-то странный человек в измазанной мелом ватной телогрейке, в старых валенках:

— Здравствуй, Боря!

— Привет, Вася!

Вася снял телогрейку и оказался лейтенантом. Потом снял бороду и оказался молодым лейтенантом.

— Ну, как улов? — спросил Боря.

— Кое-что есть. Пять раз проехал в рабочих поездах — до Графской и обратно. Имею три адреса. Завтра всех возьмем.

И ушел из кабинета. А я сидел и ждал неизвестно чего. Вдруг зазвонил телефон. Офицер взял трубку и сказал:

— Так точно, товарищ полковник! Есть!

Затем вышел из-за стола к шкафу и приказал:

— Заходите!

Я не мог сообразить и спросил:

— Куда?

— Вот сюда, пожалуйста!

Левой рукой он взялся за шкаф и потянул его на себя за какую-то невидимую мне ручку. Конторский шкаф оказался замаскированной одностворчатой дверью. Он мягко и беззвучно вместе с папками и книгами открылся. Обнаружилось, что шкаф смонтирован на стальной (миллиметров в пять) двери. Далее, метрах в двух была еще одна дверь, уже открытая и нормальная. Я вошел в зал. Да, именно в зал, а не в кабинет. Тем не менее это был кабинет. Слева — четыре окна. Впереди на небольшом возвышении стоял письменный стол. За столом сидел розовощекий полковник.

— Садитесь, пожалуйста, Жигулин. Да, да, вот здесь.

На столе передо мною уже лежал печатный бланк, заполненный машинописью. Не буду мучаться и вспоминать весь текст. Это было что-то

вроде расписки-обязательства не разглашать сведения о беседе с Уполномоченным министра ГБ полковником Литкенсом. Содержание беседы и сам факт беседы являются государственной тайной, и ее разглашение наказывается в соответствии с законом.

— Вы показали на допросах следователям Белкову, Харьковскому о том, что КПМ предполагала захватить в стране власть путем вооруженного восстания. Это правда?

— Конечно, неправда!

— Зачем же вы так оговорили себя?

— Меня очень сильно били и не давали спать неделями, и я оклеветал себя. У меня началось кровохарканье.

— Но это, эту подготовку к восстанию подтверждают и другие участники КПМ.

— Их тоже били. Ни один суд не признает нас виновными в подготовке вооруженного восстания. Нас ведь всего два десятка, не более. И оружия у нас не было и нет. Судьи будут хохотать.

Справа и слева от письменного стола Литкенса были тяжелые светло-коричневые портьеры. Временами они шевелились. Я подумал, что там, наверное, была охрана. Как бы угадав мою мысль, Литкенс сказал:

— Здесь нас никто не слышит. Здесь, кроме нас, никого нет. Ни я, ни кто другой ничего не записывает. Вы стреляли в портрет Вождя. Вы читали антисоветскую фальшивку, так называемое «Письмо Ленина к съезду». Ответьте: кого из высших руководителей страны вы бы хотели видеть на посту Генерального секретаря ВКП(б).

— Я об этом не думал.

— Так. Хорошо. На этом пока закончим. Вы подписали документ?

— Да.

Литкенс принимал участие в следствии по нашему делу. Мало того, он осуществлял общее руководство разбором дела КПМ. Он как бы «лелеял» его. Как мастер-кондитер изготавливает торт — произведение искусства, так и Литкенс готовил наше дело как роскошный подарок самому высшему руководству страны — Л. П. Берии и самому И. В. Сталину. Такой увесистый куш еще не попадал в руки МГБ в послевоенное время (ведь «ленинградское дело» было чистой липой). А тут: антисоветская молодежная террористическая организация. Со своей Программой, пятерочной структурой, тщательной конспирацией. Со своими изданиями и т. п. Здесь уже слышался звон орденов, здесь уже ясно виделось сиянье новых звездочек на погонах.

А следствие подходило к концу. Раннею весною 1950 года первый заместитель воронежского областного прокурора выписал ордер на арест Вячеслава Руднева — сына своего начальника. Вина Славки была невелика. Еще в 1946 году он делился с Б. Батуевым и Ю. Киселевым мыслями о создании какого-то молодежного кружка или общества. Сейчас трудно сказать, как это выплыло. А. Чижов мог знать об этом только случайно.

Где-то в апреле 1950 года началось подписание 206-й статьи УПК РСФСР. Я уже об этом упоминал: перед судом каждый обвиняемый имеет право (или даже обязан) ознакомиться со всем делом, т. е. со всеми протокольными записями своих допросов и допросов подельников, свидетелей и прочими документами и вещественными доказательствами.

Читать дело было интересно. Я уже говорил о показаниях А. Чижова. Это было ужасно читать.

Передо мной список членов КПМ. Чижов не знал, что у Рудницкого была группа. О Вихаревой ему сказали, что она вышла из КПМ, а она была направлена к Рудницкому, где в связи с приемом новых членов группа была поделена на две, одну из которых возглавила Вихарева. Ни Рудницкий, ни Вихарева и словом не обмолвились, что руководили группами. Вот как получилось, что после скрупулезного следствия на воле остались 10 активных членов КПМ из этих групп [1].

А если бы не Чижов? Сейчас точно сосчитаю, скольких он завалил. Даже перечислю: Н. Стародубцев (воорг), И. Подмолодин (воорг), И. Широкожухов (воорг), А. Землянухин, И. Землянухин, Ф. Шепилов, И. Сидоров, Ф. Князев, Е. Миронов, В. Радкевич, Д. Буденный, А. Степанова, М. Барабышкина. 13 человек. А если бы он держался, как было договорено, судили бы всего 10 человек, а не 23. И сроки дали бы нам гораздо меньшие.

[1] Плюс остатки разгромленных групп, о которых уже говорилось. Итого, двадцать человек!

Следствие закончилось. Мы стали ждать суда. Мы хотели сказать на суде всю правду — и о следствии, и о нашем деле.

ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ И В САМОМ ЕЕ НАЧАЛЕ

Следствие закончилось, как я уже говорил, с подписанием так называемой 206-й статьи УПК. Я эту бумажечку, после внимательного прочтения всех 11 томов нашего следственного дела, подписывал при следователе майоре Харьковском. Подписал и сказал ему:

— Гражданин майор! Я не понимаю, на что вы рассчитываете, лично вы и весь следственный отдел? Ведь даже при самом строгом закрытом военном суде неизбежно вскроются факты пыток и избиений. Вот у меня на щиколотках и на руках следы наручников. Все тело покрыто синяками. Они не исчезнут до суда. Мы расскажем всю правду — как из нас выбивали так называемые признания. Вы пытали лишением сна Марину Вихареву, ровесницу вашей дочери. А ведь Лия Харьковская вполне могла вступить в КПМ. Многие знали ее. И я, и Чижов, и Батуев. Я не могу понять, почему вы так уверены в себе? Почему вы не боитесь попасть на скамью подсудимых? Ведь суд, несомненно, оправдает нас!

Странное дело: майор Харьковский не спорил со мною, не ругался. Во время моего монолога с его лица не сходила какая-то гадкая улыбка. И он даже не отправил меня в карцер.

На следующий день меня неожиданно выдернули и повели наверх к Литкенсу. Я уже привык к «конторскому шкафу».

— Что вы вчера наболтали вашему следователю?

— Я могу повторить это и при вас. — И я сказал все то, что говорил майору Харьковскому.

Полковник Литкенс внимательно выслушал меня. Так же гадко улыбнулся и сказал:

— Что ж, вы смелый человек, Жигулин-Раевский. Я уважаю смелых людей, даже врагов. Я разрешаю вам спать или лежать на кровати в любое время суток. Вы с кем сейчас в камере? Со священником Матвеевым?

— Да.

— Следствие по его делу тоже закончено.

— Я это знаю. Он говорил, что тоже подписал 206-ю.

— Если хотите, я разрешу вам читать — книги, газеты.

— Нет. Мне не нужны ваши милости. Пусть Аркадий Чижов читает.

— Почему вы так раздражены против Чижова?

— Он предатель и сволочь!

— Здесь и я с вами согласен — сволочь он удивительная! Но ничего — он будет наказан, — закончил Литкенс и как-то странно и даже несколько загадочно усмехнулся.

И меня увели во Внутреннюю тюрьму, в камеру, в которой я обитал уже месяца два со священником Митрофаном Матвеевым. Удивительной духовной и нравственной силы был человек. Когда открывалась дверь в камеру и в дверях показывался надзиратель или дежурный офицер, он всегда осенял их крестным знамением со словами:

— Изыди, сатана проклятый!

Его, как и меня, часто били. Но он терпел побои мученически — читал во время избиения молитвы, — славил Господа. Какая это была чистая и светлая душа! Он успокаивал меня:

— Анатолий, не горюй! Ведь за правду ты сидишь?

— В общем, да.

— Так вот, имей в виду. Господь наш сказал: «Блаженны изгнанны правды ради, ибо их еси Царствие Небесное».

За время, какое мы прожили в одной камере,— а время в тюрьме длинное-предлинное,— он прочитал мне наизусть все Евангелие — по-церковнославянски и по-русски. И рассказал мне своими словами Ветхий Завет. Я же читал ему стихи или пересказывал что-нибудь прочитанное, особенно часто историческое. Этого человека словно сам Бог мне в камеру прислал. Я ведь знал от матери всего четыре-пять молитв, а Священного писания не читал. Хотя у матери было до и после войны Евангелие с двойным текстом — славянским и русским. Я листал его и читал некоторые места, меня интересовало сопоставление двух славянских языков — древнего и нового. Был еще интересный альбомчик о чудотворце Серафиме Саровском. Его мы со Славкой на развалинах нашли.

Дня через три после моего вызова к Литкенсу отца Митрофана выдернули с вещами. И я его встретил лишь несколько месяцев спустя на Тайшетской пересылке. Было тепло и солнечно.

— Здравствуй, Анатолий!

— Здравствуйте, отец Митрофан!

— Ну вот, видишь: уже не в подвале мы сыром, а на божьем теплом солнышке. Не горюй: «Блаженны изгнанны правды ради».

Священник ходил по зоне с деревянным ручным ящиком со столярным инструментом. Он, оказывается, хорошо знал столярную работу, и за это его ценило даже лагерное начальство. Все самое сложное и тонкое по столярной части делал на пересылке священник Матвеев...

Вернемся, однако, во Внутреннюю тюрьму УМГБ родного Воронежа. Кончилось следствие, и потянулись долгие дни, недели, а потом и месяцы ожидания суда. С помощью моей азбуки для перестукивания я свободно общался с Колей Стародубцевым, Славой Рудницким, Володей Радкевичем. А с Радкевичем поселили кого-то из группы Стародубцева. Следствие окончилось, и следственный отдел и тюремное начальство сквозь пальцы смотрели на наше общение. Было твердо договорено рассказать правду о следствии. Мы напряженно ждали суда, готовили обвинительные речи. Впереди была Надежда. Впереди был бой за Правду, за торжество Истины.

И сочинялись стихи:

Трехсотые сутки уже на исходе,
Как я заключенный тюрьмы МГБ.
Солдат с автоматом за окнами ходит,
А я, как и прежде, грущу о тебе.

14 июля 1950 г.
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера.

Наконец терпение иссякло — в середине июля 1950 года все 23[1] члена КПМ твердо договорились объявить 1-го августа 1950 года бессрочную голодовку с требованием ускорения суда. Надписи «С 1 августа — голодовка с требованием ускорения суда!» появились на стенах прогулочных двориков, в бане, в карцерах. Эти слова звучали в перестуках между камерами.

А вот строфы из последних моих стихов, сочиненных во Внутренней тюрьме УМГБ ВО:

Н. Стародубцеву

Между нами стена,
бесконечно сырая, глухая.
Я не вижу тебя,
но я знаю: ты рядом со мной.
Оттого-то сейчас,
эти строки скупые роняя,
Я как будто бы слышу
дыханье твое за стеной...

Не грусти, Николай,—
в жизни всякое может случиться,

[1] Иван Подмолодин был уже увезен в психиатрическую больницу.

Но настанет тот день,
что мы сможем друг друга обнять!
Мы отыщем тогда
пожелтевшие эти страницы
И припомним все то,
что нельзя никогда забывать!

Мы припомним тогда
тишину и стальные «браслеты»,
Одиночные камеры,
мрачные стены вокруг...
Сколько будет цветов!
Сколько будет веселья и света!
Сколько выпьем вина мы
с тобою, мой друг!..

Июль 1950 года
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера.

Да, и как это ни удивительно, долгие-долгие годы спустя, получилось все именно так, как в процитированных строчках.

В один из последних дней июля 1950 года все члены КПМ написали, как полагается, заявление о голодовке. Для заявлений выдавался обычно маленький листочек бумаги и коротенький — в 4 — 5 сантиметров карандашик. Пока заключенный писал, надзиратель смотрел, чтобы писал он только на этой бумаге, и потом сразу же забирал и листок с заявлением, и карандашик.

А на следующий день в неурочное время (мы обычно любили беседовать долгими вечерами) простучал Колька:

— Меня выдергивают с вещами. Прощай!

— Прощай!

Странно. Куда бы это его? В другую камеру — нет необходимости. На суд? В городскую тюрьму? Пока я раздумывал над этим, открылась форточка, и надзиратель тихо сказал:

— Жигулин-Раевский, приготовиться с вещами.

Я приготовился.

— Выходи. Направо.

Я пошел со своим мешком в сторону проходной, ведущей наверх в Управление. Но мы не дошли до нее.

— Стой! Поставь мешок к стенке!

Мы остановились у двери такого же размера, как и соседние двери камер с солнечной стороны, но хорошо обитой кожей и без волчка. Надзиратель нажал кнопку, но звонка не было слышно (наверное, с другой стороны зажглась лампочка). Дверь приоткрылась. Надзиратель сказал:

— Заходи!

Я вошел в большую, залитую солнцем комнату. Это был кабинет начальника тюрьмы полковника Митреева, мы учились в одном классе с его сыном. У окна был большой письменный стол. До блеска натертый паркет и широколистная пальма на тумбочке. В кресле справа сидел сам полковник. Слева — незнакомый веселый человек в светлом летнем костюме.

— Садитесь,— сказал он и улыбнулся.

В руках у него был тонкий кожаный портфель, соединенный стальной цепочкой с браслетом на левой руке. Я присел на край третьего стула.

— Жигулин-Раевский?

— Да. Анатолий Владимирович.

— Пришло решение по вашему делу, гражданин Жигулин-Раевский. Ознакомьтесь, пожалуйста, и распишитесь.

И он подал мне листок бумаги с многоэтажным грифом. Листок был всего размером с половину обычного листа для пишущей машинки, а оттого, что был ниже грифов разделен вертикальной чертой, напоминал открытку. Вот как он выглядел, вот что он содержал:

СССР
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Особое совещание при министре Государственной безопасности

СЛУШАЛИ: дело № 343843/2 Жигулина-Раевского Анатолия Владимировича 1930 г. р., студента Воронежского лесохозяйственного института по обвинению его в участии в антисоветской подпольной молодежной террористической организации.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласно статьям УК РСФСР 58—10 1 часть, 58—11 и 19—58—8, избрать мерой пресечения преступной деятельности Жигулина-Раевского Анатолия Владимировича заключение его в исправительно-трудовые лагеря сроком на 10 лет.

Министр государственной безопасности СССР (Абакумов)
Заместитель министра государственной безопасности СССР (Рюмин)
Заместитель министра государственной безопасности СССР (Игнатов)
24 июня 1950 года г. Москва
С решением ознакомлен.....

Да, к этому времени министром государственной безопасности стал Абакумов, один из сатрапов Берии. Сам Берия был уже первым заместителем Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, но, разумеется, курировал МГБ.

Веселый, с большим носом человек в летнем костюме любезно сказал, что я могу и не подписывать графу «С решением ознакомился». Тогда они с полковником напишут, что осужденный с решением ознакомился, но подписать его отказался. И поставят свои подписи. Это не имеет никакого значения.

Я сначала ничего не понял. Ведь мы ждали суда и хотели отказаться на суде от выбитых из нас «признаний». Я спросил:

— А когда же будет суд?

— А это и есть суд. Самый высший. Ваше дело тщательно рассмотрели и вынесли решение,— вежливо пояснил незнакомец.— Вы можете писать жалобы, апелляции. Их тоже внимательно рассмотрят...

Я почти не слышал «курьера». Я думал об одном — надежды наши рухнули, нас нагло обманули, провели. Стали понятны усмешки следователей. Пункты были мне известны. 58—10—1 часть—антисоветская агитация в мирное время. 58—11—антисоветская организация. 19—58—8—террор. Мысли мешались, путались, я был словно подкошен этой неожиданной развязкой.

Через прогулочный дворик меня провели в старый черный воронок. Между задней дверью и помещением для заключенных, отделенным решетчатой стеной, сидел солдат. Ехали мы по Плехановской в старую, еще екатерининских времен, городскую тюрьму.

А во дворике тюрьмы я увидел вылезавшего из другого подоспевшего воронка подельника Ваську Туголукова. Он жил в киселевском готическом доме. И попал в КПМ через Киселя. Я увидел его, взгляды наши встретились, и я поприветствовал его нашим КПМовским жестом. Но он, кажется, не понял меня. И его куда-то быстро увели. Потом я догадался, куда. В «приемном отделении» были так называемые боксы — такие малые камеры, в которых нельзя было ни лежать, ни сидеть, а только стоять. Постоял и я в таком боксе со своим мешком. Потом меня вызвали. Комнатка маленькая, но потолки высокие. Две худые, злые, некрасивые женщины. Одна другой:

— Марусь! Погляди-ка, кто к нам пожаловал.

— Кто?

— Такой молодой, а статьи такие тяжелые. Из бывших, что ли?

— Нет! — сказал я.

— А почему Раевский?.. Они кто — князья или графы были, эти Раевские?— обратилась она уже к Марусе.

— Точно не знаю, но мы, вроде, уже их всех перебили.

— Я праправнук декабриста и поэта Владимира Федосеевича Раевского.

— Знаем мы вас, внуков и правнуков. Все Раевские в белых армиях воевали, и все в расход пущены. Разве что за границу кто успел убежать.

— Ладно, ...с ним! В 506-ю его. Контра недобитая!

И добродушный надзиратель повел меня в 506-ю на пятый, самый высокий, этаж по кирпичным ступеням, по сводчатым коридорам, через многочисленные решетчатые двери.

Пришли. Устали. Я — от мешка, надзиратель — от одышки. Камера оказалась сводчатой, небольшой, но уютной. На четырех человек. Но жителей было двое. Одного совершенно не помню, другой запомнился ярко — матрос Боев. Он сидел у окна и очень душевно пел:

На железный засов ворота́ заперты,
Где преступники срок отбывают.
За высокой,
за серой тюремной стеной
Дом стоит и прохожих пугает.

В одиночке сидит вор-преступник один.
Спать ложится на жесткое ложе.
Ему снится малыш, его маленький сын.
Ему снится она — всех дороже.

Но недолго он спал этим радостным сном.
Растворилися с грохотом двери...

— Ты из «внутрянки» МГБ?— спросил он.

— Да.

— Вчера здесь Борис Батуев был, а позавчера предатель ваш — как его?— Чижов. Борис горевал, что не встретился с ним. Да вы его все равно догоните где-нибудь на пересылке. И удавить его спокойно можете, хоть и ввели снова смертную казнь.

— Когда ввели?

— Указом от 12 января этого года. Для изменников Родины, шпионов, диверсантов. А вам за вашего предателя только срок могут прибавить. А если технически замо́чите, то и без суда обойдется.

— Сколько дали Борису?

— Дали-то немного — всего 10 лет. Но ОСО — особое совещание! Оно и продлить может, может после каждой десятки новую добавлять. Там кто-то из ваших портрет Сталина расшлепал. Повезло ему, что была отменена смертная казнь.

— А почему к нему не применили Указ от 12 января?

— Потому что закон обратной силы не имеет. Ведь этот ваш подельник преступление до Указа совершил, до 12 января. Понял?

— Понял.

Окно вертикально загорожено уходящими в стены прутьями. Каждый — толщиною в руку. Расстояние между прутьями сантиметров семь. Снаружи окно закрыто ящиком — «баркасом». Видно лишь небо и слева — небольшой дальний кусочек города, справа — часть внутренней стены тюрьмы.

— Екатерина-матушка строила, а для нас пригодилось!.. Тебя завтра утром возьмут — в столыпинском до Москвы поедешь роскошно — на Красную Пресню, на пересылку. Там, может, и с друзьями встретишься.

На рассвете (а я почти не спал) позвали меня на этап.

Воронеж. Часа четыре утра. Безлюдье. Проверили. Пересчитали. Погрузили в столыпинский вагон, известный по учебнику истории и по картине «Всюду жизнь» художника Н. А. Ярошенко. На картине, как помнит читатель, изображена идиллическая сцена. Открытое (с поднятым стеклом) окно тюремного вагона. Настоящей решетки нет, лишь тонкие редкие прутики. За окном в вагонном коридоре юная мать с ребенком. Ребенок кормит крошками хлеба собравшихся на деревянном перроне голубей. За окном виден также седой старик и молодой солдат с мосинским карабином на плече. Да, да, именно так! Первоначально столыпинский вагон отличался от тогдашнего (конца XIX века) вагона III класса лишь теми прутиками на окнах. И солдаты стояли у обеих дверей. Заключенные могли свободно гулять по вагону, переходить из купе в купе.

Иное дело был столыпинский вагон в 30—40-х годах нашего века. Это было нечто вроде довоенного пригородного вагона с нижним (для сиденья), верхним (для сна) и третьим (для багажа) ярусами. Поправка только на решетчатую стенку с решетчатой дверью, отделяющую купе от коридора. Кроме того, все четыре яруса: пол, сиденье, средняя полка с откидным лазом и верхняя полка—предназначались для размещения заключенных. Но я этого еще не знал, ибо ехал в столыпинском вагоне впервые и ехал один в купе (а вообще в одно такое, описанное мною «купе» набивали порою до 30—40 заключенных).

В соседнем купе ехал Игорь Струков. Мы начали было по привычке перестукиваться, но вскоре поняли, что можно просто разговаривать. Слышимость была хорошая. Все разговаривали—от первого купе до последнего. Струкову дали 6 лет. Давиду Буденному—5. Про такие двух-трехпятилетние сроки говорили потом в лагере: «Что ж, это срок детский, на параше можно отсидеть».

Но это, конечно, шутка, и горькая шутка. И срок есть срок, а лагерь есть лагерь. Особенно тяжел был лагерь в Джезказгане для Игоря Струкова. Он еще в детстве лишился ног (одной—выше, другой—ниже колена)—попал под трамвай. В лагере Игорь работал из-за инвалидности в КВЧ (культурно-воспитательной части) и по мере возможности помогал Давиду, которому приходилось туго в рудной шахте. В том же лагере оказались и другие мои друзья-подельники: В. Рудницкий, Н. Стародубцев, А. Селезнев. Конечно, вместе им было веселее, чем мне одному на Колыме.

Но вернусь в с т о л ы п и н. Послышалась хорошая песня. Я ее и раньше знал, но здесь, в столыпине, под перестук колес, она особенно впечатляла.

Цыганка с картами,
Дорога дальняя.
Дорога дальняя —
Казенный дом.
Быть может, старая
Тюрьма центральная
Меня, мальчишечку,
По новой ждет.

Отлично знаю я
И без гадания:
Решетки толстыя
Мне суждены...
Опять по пятницам
Пойдут свидания
И слезы горькие
Моей жены.

Все было у нас, как в старинной песне. Не было только свиданий. Да и жен не было.

А в столице и старых воронков в то время уже не было. Наш столыпин загнали в тупик, огороженный высокой дощатой стеною. Нас пересчитали, еще раз проверили. И въехали в загон два огромных фургона. На одном было написано: «Росглавкондитер. Хлебобулочные изделия». На другом: «Мясо. Мясные изделия». Фургоны были новые и красивые, ярко разрисованные калачами и колбасами. Я попал в «Мясные изделия».

Нас долго везли до Краснопресненской пересыльной тюрьмы. Я до этого никогда в Москве не был. Но фургоны—без окон. Сквозь узкие вентиляционные щели были иногда видны какие-то обрывки старых, замурзанных улиц.

Двери фургонов открылись лишь во дворе огромной (не екатерининской) тюрьмы, которая была замаскирована под фабрику. Вместо наружных решеток—решетки, внешне похожие на жалюзи. Возвышалась высокая кирпичная труба, и даже дымок шел из нее.

В широком коридоре нас выстроили. Пузатый надзиратель, сверкая огромной связкой ключей, громко спросил:

— Подельники есть?

Два дурака—я и Игорь Струков—хором сказали:

— Есть! Есть!

Нас, дураков, развели в разные группы.

После шмона, бани и т. п. я попал в огромную, на пятом или четвертом этаже, камеру. Человек на двести камера.

Только в январе 1954 года, встретившись с Ю. Киселевым на воронежской 020-й колонии, я узнал, что именно в той камере Краснопресненской пересылки в августе 1950 года состоялся суд над А. Чижовым. За два-три дня до того, как меня доставили на Краснопресненскую пересылку, там оказалось несколько ребят из КПМ. Они и судили А. Чижова. Позднее, уже на свободе, я много раз слышал рассказы участников этого суда и могу зафиксировать и кратко описать это событие.

В суде над А. Чижовым участвовали Б. Батуев, Ю. Киселев, С. Рудницкий, В. Радкевич и еще несколько человек. Чижов каялся, рыдал, говорил, что его обманули следователи. Обещал стать честным человеком. Все равно его приговорили к удушению. Но Борис Батуев, пользуясь своим правом вето, предусмотренным для чрезвычайных ситуаций, настоял на отмене приговора. Это было и мудро, и по-человечески. Чижов, однако, не исправился. Отец его ездил к начальнику лагеря (где-то в районе Караганды). И Чижов в с ю д о р о г у, т. е. все время пребывания в заключении, был п р и д у р к о м, работал в КВЧ. Он имел все: хорошую еду, и водку, имел даже женщин (привозили из других лагерей для постановки спектаклей), у него был фотоаппарат, и он привез домой много своих лагерных снимков. И отец, и Галина часто навещали его. Судя по такому образу жизни в лагере, видно, хорошо служил Чижов лагерному начальству.

На всю жизнь, Аркадий, осталась на тебе иудина печать...

Два дня я был на Краснопресненской пересылке. Через решетки-жалюзи была видна Москва. Потом я долго ехал через Россию и Сибирь с остановками в Свердловской и Новосибирской пересыльных тюрьмах. В столыпинских вагонах того времени окна были с одной стороны—со стороны коридора. В купе было только очень маленькое окошечко с двумя крепкими решетками—снаружи и внутри. Размером примерно 15 на 20 сантиметров. Заключенных в купе было по 20 и более человек. И все-таки можно было дышать. А когда набивали по 30—40 человек и не выводили на оправку (в туалеты, на современном языке), было смертельно тяжело. Люди и мочились, и испражнялись, не выходя из «купе».

Эта дорога—только присказка. А сказка, сказка будет впереди.

Впрочем, дорогу я описал весьма кратко и с большими пробелами. Не сказал, что свердловская тюрьма расположена как раз напротив кладбища, а пересылка в Новосибирске была уже почти лагерного типа. Там впервые в прогулочном дворе мне попались карандашные арабские письмена. Там мне впервые побрили усы.

Впрочем, чтобы как-то компенсировать пробелы, я повеселю читателя, забежав года на четыре вперед. Во всех столыпинских вагонах XIX и XX веков так ли, сяк ли можно было сквозь решетку и коридорные окна видеть, как выразился какой-то персонаж Чехова, «проезжаемую» местность. Степь или таежные дали, крепкие сибирские срубы, резные ворота или странный городок с названием Биробиджан. Отвратительнейшие неудобства «путешествия» не по своей воле в столыпинском вагоне все-таки не отнимали полностью главного, ради чего человек вообще путешествует,—он путешествует, чтобы видеть новые места, города, реки, горы, рассветы, сумерки, закаты.

Однако конструкторы столыпинских вагонов начала 50-х годов отняли у бедных заключенных и эту последнюю радость. Все окна и окошки новых столыпинских вагонов были снабжены прекрасно пропускающими свет... матовыми стеклами. Когда меня в декабре 1953 года везли на переследствие в Воронеж и я попал в такой вагон, я был просто в отчаянии. Не только не было видно заоконной местности, нельзя было даже понять, в какую сторону идет поезд. И подумалось мне: «Господи! Неужели нормальный человек может додуматься до такого садизма?..»

О к о н ч а н и е с л е д у е т.

Павел Антокольский

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ 1966 ГОДА

В подмосковном селе

Как они бесприютны, понуры и хмуры,
Как невесело щурятся навеселе —
Слесаря, столяры, маляры, штукатуры
В самом сердце страны, в подмосковном селе!

Что их гнет и гнетет, и под ветром сгибает,
И к земле пригибает ненастной порой?
Отчего каждый третий из них погибает
И с поличным в милиции каждый второй?

Не уроды, не выродки... Мощной породы,
Плечи в сажень, осанка тверда и горда.
Отрицатели Бога, владыки природы,
Поколенье, понесшее знамя труда.

Они были цементом в решающих планах,
Ураганным огнем у речных переправ...
Погляди,— разве нет у них орденских планок,
Зарубцованных ран, государственных прав?

Мы писали стихи на торжественный случай,
Потрясали сердца, вызывали слезу...
Ну так вот же она под ненастною тучей —
Вся — как есть, вся Россия теснится внизу!

Так пройдем по дорогам, по глинистым спускам,
Где трехтонки буксуют на вязком шоссе,
Где за мокрыми избами нá поле русском
Она песни поет в затрапезной красе,

Где в дощатом бараке, в сыром общежитье
Заливается за полночь бедный баян.
— Выдь на Волгу, чей стон раздается — скажите,
По какой он причине печален и пьян?

Что творится, товарищ, скажи ради бога,
В славном стане трудящихся, в нашей стране?
Но товарищ молчит. Он вздыхает глубоко.
Он не слышит. Он, видно, стоит в стороне.

Или нынче гражданская скорбь неуместна?
Или в моде опять барабан и труба?
Или слишком нелестно и слишком известно?
Или зренье не зорко и кожа груба?

Пусть потупятся музы, продажные шкуры!
Опротивело мне избегать ваших глаз,
Слесаря, столяры, маляры, штукатуры —
Настоящие люди, трудящийся класс.

Грозная тризна

1

Вот он укрыт от пламени и влаги.
Поет метель. Встает заря.
Полощет государственные флаги
Тревожный ветер октября.

Дым над усопшим сумрачен и горек.
Хвала сменяется хулой.
Остановись, задумайся, историк,
Тронь жаркий уголь под золой.

Припомни, как за расстояньем дальным,
В чужой окраинной глуши,
Под звоном колокольным и кандальным
Шло созревание души;

Как на исходе прошлого столетья
Голодный, сильный человек
Вошел, гонимый сыском, битый плетью,
Подпольщиком в железный век;

Как помнил он о грубой колыбели
На кручах гибельной скалы,
Где только льды от века голубели,
Гуляли алчные орлы...

На краткосрочных курсах забастовок,
Взяв политграмоту грозы,
Он постепенно понял из листовок
Революционные азы...

Но был ли вправду он таким — кто знает?
Как ты ни зорок, ни пытлив,
Ответ хитро скользит и ускользает,
Историка не утолив...

В двусмысленном беспамятстве былого
Недостает начальных строк,
А может быть, недостает лишь слова...
Еще не пробил должный срок.

И возникают домыслы глухие...
И вглядываясь в юность ту,
Ты чуешь гнет слепой иерархии,
Монашескую немоту...

Ты различаешь чей-то исповедный
Наушнический шепоток...
Но в белых пятнах дали предрассветной
Еще не подведен итог.

А человек упорен и неистов!
Всмотрись же в прошлое еще,
Не забывай про юных коммунистов,
Идущих с ним к плечу плечо.

В нем были дерзость, хитрость и упорство.
Считался с ним и друг и враг,
Когда с глотком воды и коркой черствой
Он одолел полярный мрак,—

Когда в угрюмой тундре, в жуткой стуже
Не задохнувшийся едва,
Стянул ремень от голодухи туже
И ждал и жаждал торжества, —

Когда не спал ночей, вникая в глуби
Всех глубочайших дисциплин...
Да, он не спал — в безмерном честолюбьи
Грядущий этот властелин.

Да, он не спал! Он незаметно вырос
И мир понес на раменах
И на трибуну вышел — как на клирос
Выходит иеромонах.

Постой, историк пристальный и гневный,
Не обольщайся, не спеши.
Следи, как шло в тревоге повседневной
Перерождение души.

Услышь, как непостижен был и страшен
Гул времени в его ушах,
Как отдавался вдоль кремлевских башен
Бессонных караулов шаг...

Как незаметно, в обликах несметных,
Неуследимо — тут иль там.
В строках газетных и в аплодисментах
Свой вырабатывался штамп...

Как незаметно известью склерозной
Набрякла сеть бескровных жил,
Как у него Иван Васильич Грозный
В ночных советчиках служил...

Как, не скрывая сдавленного вздоха,
С кругами черными у глаз,
Его кровавым именем эпоха
Самозабвенно назвалась...

Как выдавлено челюстью разбитой,
Из уст летящее в уста,
Неслось над каждой выигранной битвой:
— Вперед! За Родину! За Ста...

Из-под земли, со дна могильных ямин
Неслось: — За Родину! За Ста...
Тронь жаркий уголь, тронь холодный камень —
Не отвечает пустота.

Вот он лежит — смиренный и невзрачный,
Навеки замкнутый в себе,
И весь народ раздумывает мрачно
Об этой конченной судьбе.

2

Мы все, лауреаты премий,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво;

Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда;

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей;

Для статуй вырывшие тонны
Всех каменных пород,
Глушившие людские стоны
Водой хвалебных од, —

Мы, сеятели вечных, добрых,
Разумных аксиом,
За кровь Лубянки, темень в допрах
Ответственность несем.

Пускай нас переметит правнук
Презреньем навсегда,
Всех одинаково как равных, —
Мы не таим стыда —

Да! Очевидность этих истин
Воистину проста.
Но нам не мертвый ненавистен,
А наша слепота.

3

Я не хочу судиться с мертвецом
За то, что он казался мне отцом.
Я не могу над ним глумиться,
Рассматривать его дела в упор
И в запоздалый ввязываться спор
С гробницей — вечною темницей...

Я сотрапезник общего стола,
Его огнем испепелен до тла,
Отравлен был змеиным ядом.
Я, современник стольких катастроф,
Жил-поживал, а в общем жив-здоров...
Но я состарился с ним рядом.

Не шуточное дело, не пустяк —
Состариться у времени в гостях,
Не жизнь прожить, а десять жизней —
И не уйти от памяти своей,
От горького наследства сыновей
На беспощадной этой тризне.

Не о себе я говорю сейчас!
Но у одной истории учась
Ее бесстрастному бесстрашью, —
Здесь на крутом, на новом берегу
Я лишь обрывок правды сберегу,
Но этих слов не приукрашу.

Публикация А. Л. Тоома.

Алексей Аджубей

ТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Летом 1954 года Никита Сергеевич взял с собой Раду и меня, когда поехал на дачу в Волынское, в тот самый дом, где Сталин почти безвыездно жил все военные и послевоенные годы и где он умер.

За теперешним железобетонным пустырем, с фантастической поспешностью созданным на месте срытой Поклонной горы теми, кто сооружал отвергнутый вариант памятника Победы, есть еловый лесок, невысокий, но густой, с редкими вкраплениями берез и осин, скрывающий несколько строений — саму дачу, дома охраны и других служб.

Дача Сталина, окрашенная в темно-зеленый маскировочный цвет от фундамента до крыши, совершенно сливается с естественной зеленью. Сразу за въездными воротами, вдоль узкой, в один след асфальтированной дороги тянутся туи, все как на подбор похожие на одетых в зеленое сукно солдат. Несколько «глухих» поворотов — и машина останавливается у дачи.

Надо было решить, как поступить с ней. Предлагали открыть здесь мемориальный музей Сталина, но как и на основе каких материальных свидетельств можно это сделать, никто толком не знал.

Кроме Хрущева, приехали Молотов, Маленков и Микоян. Они неспешно разговаривали, переходили из комнаты в комнату, что-то уточняли, вспоминали. Обо всем том, что связывало их здесь и что разъединяло, теперь не узнать, как не узнать, о чем говорили они, о чем думали... Мы с женой бродили по даче, и это было поразительно. Совсем недавно такое невозможно было даже представить себе: уж очень узкий круг людей мог видеть Сталина в домашней обстановке, знать его быт, вкусы, привычки. Здесь он вел заседания, читал, ел, спал. Здесь, в этих стенах, обитых до потолка деревянными панелями, отчего комнаты походили на громадных размеров ящики, он был таким же, как все другие люди. Подходил к окну, смотрел на струи дождя за стеклами. Летом сюда доносилось пение птиц, а когда наступала зима, он видел, как на тугие плечи южанок-туй ложится снег. Эти деревья росли на многих правительственных дачах, гибли в лютые морозы, их высаживали вновь.

Мы шли по мягким темно-красным ковровым дорожкам, оттенявшим натертый воском дубовый узорный паркет, и вспоминали то, что после ареста Берия стало довольно широко известно в Москве. Ночами по этим комнатам неслышно ступал в толстых шерстяных носках денщик Сталина, взятый в услужение еще в Царицыне в 1919 году и так и оставшийся с хозяином на всю жизнь в должности «казачка». Он внимательно рассматривал содержимое корзин, доставал клочки непорванных бумажек и рвал на мелкие кусочки, чтобы, когда бумаги будут выносить, кто-нибудь, не дай бог, не прочитал, что там написано и что, быть может, является великой государственной тайной. Так он выражал свою особую бдительность.

Угрюмая подавальщица из обслуги, толстая и неповоротливая баба-старообрядка, которую Сталин терпел, несмотря на всеобщую ненависть к ней других маленьких служащих его дома, проследила за «казачком»

Окончание. Начало см. «Знамя» № 6 за 1988 год.

и рассказала хозяину о домашнем «шпионе». Хозяин не стал говорить с ним, а повелел арестовать и допросить с пристрастием. Завели на «казачка» дело, перетряхивали всю его жизнь, час за часом, месяц за месяцем — ничего не находили. Да и в чем мог состоять «криминал», если человек этот тридцать с лишним лет никуда из дому не отлучался, ни с кем не знакомился, все время был на виду других «казачков». Однако в чем-то его заставили признаться, может быть, в том, что он задумал прорыть туннель из Волынского в Кэмп-Дэвид и доставить клочки бумаг туда? Человека не стало. Это дело вел Абакумов — большой мастер дознания.

В столовой-кабинете стояли стол, стулья с высокими спинками, несколько столиков по углам. На одном из них раскрытый патефон. Никто не убрал пластинку. Что в последний раз слушал Сталин? Запись хора Краснознаменного ансамбля. Не помню, какие песни значились на пластинке, но прямо по центру круга была надпись рукою хозяина: «Басы — на четверть октавы выше. Сталин». Успели передать замечание в ансамбль, взяли басы на четверть октавы выше или продолжали петь в прежней тональности, кто знает! В семинарии молодой Иосиф Джугашвили считался способным хористом, и наверняка Борис Александрович Александров, руководитель Краснознаменного ансамбля, принял к руководству высокое замечание...

Хрущев никогда не рассказывал о своих поездках в этот дом, о том, как принимал Сталин соратников, как держался с ними, как угощал их поздними обедами и ночными ужинами. Мы знали только, что встречи со Сталиным длятся долго, иногда до утра, и что хозяин дома привык спать днем, а ночью работать. Эта его привычка отразилась и на служебном режиме всех государственных учреждений. Начинали в министерствах и ведомствах поздно; днем руководители высокого ранга уезжали на обед; поспав несколько часов, возвращались в предвечерье к рабочим столам, чтобы оказаться на посту, если потребуются «самому» или «самим». Ночью могли запросить срочную справку, вызвать к телефону и т. д.

Кстати, Никита Сергеевич, став Первым секретарем ЦК, сразу же добился отмены этих «ночных посиделок». Когда он работал на Украине, там был твердый дневной служебный распорядок. Сталин знал это и не будил Хрущева по ночам. С 1954 года московские учреждения стали функционировать нормально. Событие это, кажущееся сегодня наивно малым, в то время вызвало большой резонанс. Как всегда, появились и анекдоты. Напомню один. Оказавшись дома вечером, хозяин недовольно спрашивает жену: «Что это за парень расхаживает по квартире?» Жена отвечает: «Господи, да это же твой сын!..»

Там, в доме Сталина, Рада вспомнила такой случай. Отец как-то привез из Волынского темно-красную розу. Сказал, что, провожая, Сталин повел всех в цветник и там одаривал каждого. Ему достался цветок такой необычной окраски. Сталин любил цветы, любил, взяв садовые ножницы, срезать букетик для гостя, выражая этим симпатию или просто свое хорошее настроение.

В тот день Хрущев приехал по вызову Сталина (иначе не приезжали) чуть раньше срока, прошел в комнату и, оглянувшись, увидел, что из-за шторы тянется струйка дыма и кто-то рукой разгоняет этот дым. Он сделал шаг к окну, и тут, отвернув тяжелый полог, вышел сам хозяин. После секундной паузы, поняв, что Хрущев в некотором недоумении, проговорил: «Вот все отмечают, что у Сталина сильная воля, а бросить курить очень трудно. Я сказал, чтобы убрали все пепельницы, но иногда покуриваю возле окна».

Я вспоминаю этот рассказ Никиты Сергеевича, когда в фильмах показывают, как Сталин разламывает папиросу «Герцеговина флор» и набивает табаком трубку. А он после войны много раз пытался бросить курить...

Долго стояли мы с женой возле дивана, на котором скончался вождь. Обыкновенный кожаный диван в дальнем углу комнаты, чтобы его нельзя было увидеть из окон. Маленькая тумбочка рядом, а на ней дощечка с кнопкой звонка. Невозможно было даже подумать о том, чтобы притронуться к стеганой коже дивана, таким он казался недоступным, отчуждающим.

Был час, когда вокруг этого дивана, закрывая его своими белыми спинами, суетились врачи, их собралось так много, что они мешали друг другу. А может быть, он умирал посреди комнаты и уже потом диван вернули на прежнее место? Светлана Сталина писала, что обстановку дачи, вещи отца сразу после его смерти куда-то вывезли по распоряжению Берия, но думаю, что ни в чем таком у него не было нужды.

Над диваном в простой деревянной рамочке висела фотография: девочка кормит из соски козленка. Снимок сделал мой товарищ Николай Драчинский. Рассказывали, что в миг последнего просветления Сталин поднял глаза к фотографии. Все бросились к нему, чтобы подать воды — так восприняли движение его глаз, но Сталин хотел чего-то другого... Никто не понял, чего...

Сталин умирал в страшных мучениях, задыхался. Ничего не сказал в миг кончины — не мог или не захотел?

Я знаю, как умирал другой человек — Михаил Афанасьевич Булгаков. Перед войной я часто бывал в его доме, дружил с пасынками Евгением и Сергеем. Они умерли молодыми. В то время, когда Михаил Афанасьевич был уже лежачим больным, в доме всегда толпился народ — те, кто любил Булгакова и кого любил он. Чаще других бывал дирижер Мелик-Пашаев с женой. Мелик, так звали его близкие, страх как боялся любой заразы. Булгаков — врач, знал, что его болезнь незаразная (у него отказывали почки), и любил разыгрывать Мелика. Перед его приходом просил подать грим, рисовал на лице страшные «язвы», а когда Мелик подходил к постели, театрально протягивал руки и, преодолевая сопротивление друга, прижимал его к груди. Потом, естественно, он снимал грим, оба хохотали, и Мелик-Пашаев клял свою брезгливость.

Елена Сергеевна Булгакова рассказывала о последних часах Михаила Афанасьевича. Он уже не говорил, глаза его стали незрячими. Елена Сергеевна почувствовала по едва уловимым признакам, что у него есть какое-то желание. Она подошла, опустилась на колени, погладила его по голове, спросила, хочет ли он пить. Тело Булгакова не отвечало. Потом, по наитию, она спросила: «Ты хочешь, чтобы я сохранила «Мастера», ты хочешь, чтобы я напечатала его? Обещаю, что сделаю это!» И лежавший до того неподвижно Булгаков напрягся, оторвал голову от подушки и отчетливо проговорил: «Хочу, чтобы они знали...»

А потом раздался телефонный звонок. Елена Сергеевна взяла трубку.

Интересовались здоровьем Булгакова. Елена Сергеевна промолчала. Тогда в трубке раздалось: «Товарищ Сталин просил узнать, не нужна ли какая-нибудь помощь». Булгакова не отвечала, а в трубке слышалось: «Алло, алло, говорит Поскребышев...»

Дом, в котором умер Булгаков, снесен, и на том месте пустырь. И дача Сталина так и не стала музеем.

Когда вечером возвращались из Волынского, все в машине молчали. Никита Сергеевич, Рада, я. Каждый был со своими думами, и, наверное, они так разнились, что никакой общий разговор просто не мог возникнуть. Все так врезалось в память, так отчетливо до сих пор... Вот эти ступеньки у входа в сталинскую дачу. Их обрамляли высокие бетонные стенки, потому что Сталин не любил, чтобы видели, как он выходит из дому на прогулку. Вдоль узких дорожек, густо обсаженных все теми же туями, почти у самой земли — светильники, прикрытые металлическими колпаками. Они освещали дорожку, а фигура человека оставалась в темноте. Так что охрана не видела Сталина в полный рост...

Даже сторонний наблюдатель мог заметить, что уже к середине пятидесятых годов страна набирала иной, чем прежде, темп в своем развитии, входили в практику не только масштабные проекты, но непрерывно обновлялась и повседневная жизнь. В ту пору повсюду еще стояли памятники вождю, висели в присутственных местах портреты, однако в газетных статьях имя Сталина упоминалось все реже, исполнять ритуал ссылок и непременных цитирований не казалось так уж обязательно. Часто главный редактор «Комсомольской правды» сам снимал цитату, если считал ее лишней. А ведь в начале пятидесятых об этом невозможно было даже подумать: оттиск полосы с перечеркнутым абзацем мог оказаться в чьей-то папочке.

В «Комсомолке» отменили специального дежурного с лупой, в обязанность которого входило разглядывать фотографии вождя, следить, чтобы среди типографских значков не возникали нежелательные сочетания — в этих случаях клише отсылали в цинкографию на переделку. Находились ведь бдительные читатели, постоянно снабжавшие редакцию (и не только) разрисованными фото, где они «обнаруживали» то сионистскую звезду, то фашистскую свастику. Решено было не отвечать на подобные послания, и со временем их поток иссяк.

В ночь под новый, 1955 год в Кремле, открытом для посещений, состоялся первый молодежный бал. На ближних окраинах Москвы (теперь это почти ее центральные районы) вырастали кварталы новостроек. Надо было как можно скорее разрешить острейшую жилищную проблему. С 1953 года ввод в строй жилья непрерывно возрастал. Наша страна вышла на первое место в мире по темпам жилищного строительства. Сотни тысяч москвичей въехали в отдельные квартиры. Теперь, забыв, с какой радостью и надеждой они следили за строительством Черемушек, презрительно называют эти дома «хрущобами». Кстати, срок их службы был рассчитан на 25 лет, предполагалось, что к семидесятым годам все они будут заменены на новые, более комфортабельные.

На лужниковских болотах в кратчайшие сроки построили знаменитый теперь стадион имени Ленина. Застраивался Ленинский проспект, на Калининском вставали модерновые тридцатиэтажки, в Кремле построили вызвавший у многих критику Дворец съездов (его называли «стиляга среди бояр»).

Многое шло тогда вместе со словом «впервые». Это «впервые» усиливалось и в нас самих, в наших новых отношениях друг с другом, в причастности к общему, в атмосфере подъема общественной энергии.

Несколько раз еще при жизни Сталина бывал я в «закрытом» Кремле, когда машина Хрущева сворачивала к Спасским воротам и останавливалась на Соборной площади. Ночное возвращение на дачу вместе с Никитой Сергеевичем затягивалось. Хрущев куда-то уходил, а я ждал его. Кремль казался затемненным. Редкие фонари не справлялись с матовой плотной темнотой. Ни света из окон, ни сияющих теперь подсвеченных куполов. Изредка площадь пересекал спешащий человек. При самой малой игре воображения легко было представить себе Кремль времен царя Ивана или Бориса Годунова. Недаром Охлопков так мечтал поставить в Кремле историческое действо. Наверное, это было бы потрясающе.

Был я и на новогоднем балу в честь открытия Кремля. Сотни юношей и девушек танцевали в его залах, перебрасывались снежками у крутого спуска Кремлевского вала, вели себя свободно и раскованно, будто бывали здесь не раз. Так ведут себя в родительском доме, у близких людей, где можно просто быть самим собой.

Иной становилась и внешнеполитическая деятельность. Сталин не признавал дипломатии личных контактов, после войны, кроме Потсдама, никуда не выезжал, многие сложные вопросы консервировались, оставались нерешенными. Булганин и Хрущев посетили Китай, Англию, такие поездки становились нормой. Все больше гостей приезжало в Советский Союз. Не стану подробно перечислять все дипломатические акции той поры, это заняло бы слишком много места и требует специального разговора. Советское руководство добивалось прежде всего ликвидации двух тяжелых конфликтов — в Корее и Вьетнаме. И вот наконец было подписано перемирие в Корее, затем во Вьетнаме. Кроме того, Советский Союз заключил мирный договор с Австрией.

Делегация во главе с Никитой Сергеевичем посетила Югославию, открыв дорогу к нормализации отношений между двумя социалистическими странами. Ликвидация разрыва с Югославией, с ее героической партией и народом, вызванного сталинским своеволием, явилась хорошим знаком новых отношений между братскими партиями и странами.

Два международных события той поры, разных по своей сути, соединены в памяти. Приезд к нам летом 1955 года премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Мо-

скве летом 1957 года. Если первое из них олицетворяло новую, открытую дипломатию, то второе стало шагом к открытому обществу, проявлением веры молодежи в лучшее будущее мира и веры в молодежь, которой предстоит строить это будущее.

В том же 1955 году в Женеве, впервые за послевоенный период, состоялось совещание глав правительств четырех великих держав с участием Булганина, Хрущева, Молотова, Жукова, Эйзенхауэра, Даллеса, Идена, Макмиллана, Фора, Пине. Так возник «дух Женевы», предвестник отступления «холодной войны». Вернувшись, Хрущев сказал, что во время встречи особо «подружился» с Даллесом: «Он был там главным». Никита Сергеевич не раз использовал «дружбу» с Даллесом. По-видимому, он вцепился в Женеве в этого американского деятеля с большой силой. Во всяком случае, на приемах, где бывали иностранные журналисты, часто говорил: «Что это мой друг не держит слова?» — и начинал с экспрессией и юмором критиковать Даллеса за его негативные высказывания.

Не все в международных отношениях развивалось в ту пору по плану, просто и легко. Однако многое менялось к лучшему. В Женеве было решено содействовать обмену делегациями и отдельными специалистами. Американцы сразу же воспользовались этой возможностью. Готовились к поездкам первые наши специализированные делегации: строителей, работников сельского хозяйства, медиков, архитекторов, журналистов. Американские власти настаивали на отпечатках пальцев при выдаче виз, но потом отступили.

Мы начинали узнавать мир вблизи. Это нужно было для дела. Когда в 1958 году в Брюсселе открылась Всемирная промышленная выставка, Хрущев предложил направлять для изучения опыта большие группы работников самых разных профессий, организаторов производства. Тогда так и говорили: «Едем на брюссельский семинар». А вскоре решено было, чтобы «Интурист» не только принимал «дам оттуда», но и организовал массовые поездки советских людей за рубеж.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд партии. Шло обсуждение Отчетного доклада Центрального Комитета партии и Директив по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. С докладами выступили Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев и Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин.

Съезд близился к завершению, исчерпалась объявленная повестка дня. Журналисты знали, что на закрытых заседаниях предстоят выборы руководящих органов партии. Вечерами в «Комсомолку» забегали наши друзья—секретари ЦК и обкомов комсомола из многих республик. Так мы узнали, что отъезд делегатов почему-то задерживается. Странное ожидание повисло в воздухе. Все прояснилось, когда стало известно о втором, закрытом докладе Хрущева.

Он говорил о Сталине. Доклад Хрущева стал крупнейшим политическим событием того времени. Съезд принял постановление о преодолении последствий культа личности Сталина: были реабилитированы тысячи и тысячи невинно погибших, возвращено доброе имя оставшимся в живых. Миновали уже десятилетия с той поры, но и поныне мы ищем истоки трагических событий, сталинского произвола и преступлений. Вновь и вновь возвращаемся к письму Владимира Ильича, адресованному в декабре 1922 года XII съезду партии. Так хочется верить, что то письмо Ленина, будь оно обнародовано, могло бы многое изменить и многое предотвратить. Напомню еще раз вовсе не бессмысленные слова Сталина: «Останетесь без меня, погибнете. Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Хрущев не раз повторял эти слова именно после XX съезда.

Больше тридцати лет прошло с того времени. Немалый срок, и многое должно было порасти травой забвения. Но нет, не поросло. И сколько ошибок и поздних покаяний выросло из нашего незнания... Покаяние — категория вечная. Грешить и каяться — удел слабых. Лучше без покаяний и уж, во всяком случае, без поводов для них. Говорят и другое. Мол, тридцать лет назад все, что было сказано на XX съезде, широко обсуждалось в партии и стране. На XXII партийном съезде этой теме тоже нашлось место. Может быть, достаточно? Ответ, с моей точки зрения, прост. Правда XX съезда очень скоро была сужена до «полуправды», а позже, уже к середине 60-х годов, на весь круг проблем вновь поставили гриф «секретно».

К большим и малым событиям причастен каждый, и у каждого есть право говорить о времени и о себе, если, коиечно, при этом нет эгоистического расчета и тем более претензий на истину в конечной инстанции. Гласность и демократизм наших дней снимают запрет с осмысления не только давно минувших событий.

Я не слышал доклада Хрущева на XX съезде и не стану с чужих слов передавать происходившее в зале заседаний. Сложность чувств многих миллионов людей, позднее ознакомившихся с преданными огласке фактами, быть может, точнее всего выразит одно слово: ужас. Однако не отчаяние и не растерянность властвовали в ту пору в общественном сознании. Ни у кого, кто способен был стать выше обывательских спекуляций, не возникало даже мысли, отдаленного намерения перечеркнуть или взять под сомнение социалистические завоевания нашей страны. Вовсе нелепо предполагать, что это входило в намерения Хрущева. В трагедии был очистительный заряд.

Уходят свидетели тех бурных лет, детали стираются. Я говорю себе: надо вспомнить. Вспомнить, чтобы вернуться, оказаться среди тех, кто жил в гуще событий, кто не мог оставаться равнодушным, ибо то время требовало личного выбора и четкого определения позиции.

Раздумывая над тем, как сделать это возвращение более точным и по возможности объективным, я решил задать себе несколько вопросов и ответить на них.

Были ли у Хрущева какие-то сугубо личные причины, амбиции, толкнувшие его на тот решительный шаг во время XX съезда — на второй доклад?

В дни дежурства у постели умирающего Сталина (он делил это дежурство с Булганиным) домой Никита Сергеевич приезжал всего на несколько часов, осунувшийся, почерневший, мало говорил, вновь уезжал в Волынское. В траурной толпе потерялись и пропадали чуть ли не сутки его сын и младшая дочь,—потрясенные случившимся и рвавшиеся в Колонный зал, чтобы проститься с вождем. В один из дней Никита Сергеевич взял с собой Раду, и она, оставив грудного ребенка, до ночи пробыла у гроба, не имея сил уйти. В последние траурные минуты Хрущев плакал, как и многие другие, и не стеснялся своих слез.

Вместе с партией, которую вел Сталин, вместе, а затем и рядом со Сталиным прошла вся его жизнь. Приехав в 1929 году с Украины в Москву, в Промышленную академию, где учились наиболее энергичные, талантливые партийцы с мест, Хрущев стал не только прилежным студентом горного факультета — вскоре его избрали секретарем парткома академии. В академии училась и жена Сталина, Аллилуева, она тоже была членом парткома. Хрущев вспоминал Аллилуеву с большим уважением, как хорошего, скромного товарища, нисколько не выпячивающего свое положение. Лишь после смерти вождя Хрущев узнал, что Аллилуева, как и Орджоникидзе, покончила жизнь самоубийством,—настолько тщательно скрывались обстоятельства их ухода из жизни.

Хрущев активно участвовал в острейших идейных дискуссиях, боролся с троцкистской оппозицией. По-видимому, Каганович, бывший в ту пору секретарем МГК партии и знавший Хрущева еще по Украине, мог рассказать о нем Сталину.

Впрочем, не только он. Хрущев не часто предавался воспоминаниям о своем выдвижении в верхние партийные круги. Иногда, уже в пенсионные годы, он мог отложить книгу, задуматься и, как бы для себя, вернуться в прошлое. Жалел, что не удалось окончить Промышленную академию, да и вообще не везло с ученьем: все время срывали с занятий по какой-нибудь острой необходимости.

Как-то я попросил его рассказать о Надежде Сергеевне Аллилуевой, о том, могла ли она вступить со Сталиным в политический спор и правда ли, что защищала Николая Ивановича Бухарина, близкого их семье человека? Не этот ли драматический узел явился причиной ее самоубийства?

Хрущев исключал такую возможность, хотя заметил, что Аллилуева

могла «споткнуться на правую ногу» во время какого-нибудь спора или дискуссии. Правда, никогда не настаивала на своем, если убеждалась, что большинство товарищей ее не поддерживают. Вспомнил Хрущев и такой эпизод. Во время ноябрьской демонстрации 1932 года на Красной площади он оказался рядом с Надеждой Сергеевной. Было ветрено, дождливо, холодно. Аллилуева поглядывала на трибуну Мавзолея, явно беспокоясь за мужа. Сказала: «Мерзнет ведь! Просила его одеться потеплее, а он, как всегда, буркнул что-то грубое и ушел...» «По-моему,— закончил Хрущев,— она боялась Сталина...» (В ту ночь Аллилуева покончила с собой.)

Уже после ее смерти Хрущев и Булганин несколько раз получали приглашение от Сталина на семейные обеды. Булганин тогда был Председателем Моссовета и, вызывая их по телефону, Сталин произносил: «Отцы города, прошу на обед!» Бывали за столом отец и мать Надежды Сергеевны, ее сестра Анна Сергеевна, муж которой Реденс возглавлял Московское управление внутренних дел, дети. Так случалось до 1936 года; потом Реденс был расстрелян, а семья рассеяна.

«За такими обедами,— вспоминал Хрущев,— Сталин давал почувствовать, что хорошо знает, как я вел себя в академии во время борьбы с правыми и троцкистами. Такие подробности могла передавать ему только Надежда Сергеевна. Сталин вдруг мог спросить: «А ваш отец перестал плотничать, он живет с вами в Москве?» Сталин знал биографию каждого своего выдвиженца, а я, конечно, был таковым».

Промышленная академия той поры была важной опорой ЦК партии, из нее вышли многие крупные хозяйственные и партийные руководители. В самом начале тридцатых годов пришлось, недоучившись, уйти на партийную работу и Хрущеву. Сначала он был избран первым секретарем Краснопресненского райкома Москвы, а затем — Бауманского. В 1935 году стал первым секретарем МК и МГК ВКП(б).

Однажды, уже в конце шестидесятых, я показал Никите Сергеевичу редкую фотографию: Сталин, Орджоникидзе и Хрущев идут по тротуару вдоль Большого Кремлевского дворца. Здание еще не отремонтировано как следует и выглядит обшарпанным. Идут, хоть и вместе, но каждый сам по себе. Сталин — вольно, спокойно, в белом полувоенном костюме и черном коротком плаще нараспашку. Орджоникидзе, широкий и мощный в плечах, еще ниже Сталина, кажется почти квадратным. Он в русской рубахе навыпуск, подпоясанной тонким кавказским ремешком. Никита Сергеевич худенький, в черном костюме, в белых парусиновых ботинках, которые в ту пору чистили зубным порошком.

Хрущев долго разглядывал снимок, а потом сказал: «Наверное, это Первое мая 1936 года. Тогда я пошел к Сталину на квартиру, чтобы пригласить его на трибуну Мавзолея».

В те годы, вероятно, как и всю жизнь, Сталин цепко наблюдает за всем, что происходит в столице. Строительство метро, расчистка города от «рухляди минувших веков», реконструкция. Как-то Хрущев доложил Сталину о протестах по поводу сноса старинных зданий. Сталин задумался, а потом ответил: «А вы взрывайте ночью».

Пора строительства метрополитена долго оставалась любимой темой в воспоминаниях Никиты Сергеевича. Чуть ли не ежедневно он начинал рабочий день секретаря горкома партии с посещения самых сложных участков проходки. Спускаясь под землю, он как бы возвращался к дням молодости, к шахтерскому делу. Он очень гордился тем, что вместе с другими метростроевцами был награжден орденом Ленина. Первым орденом в своей жизни.

Многое, в том числе и возвращение Хрущева в Москву в 1949 году, свидетельствовало о том, что Сталин давно и постоянно держал его в поле зрения.

На предвыборном собрании 1937 года в Большом театре Сталин начал свою известную речь с таких слов: «Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую именно речь?»

Такое начало было, надо думать, неслучайным. Сталин в каждое слово вкладывал некий, одному ему известный дополнительный смысл.

В данном случае сказанное свидетельствовало о расположении. Через год, в 1938-м, Сталин рекомендует Хрущева на пост первого секретаря ЦК Компартии Украины, его избирают кандидатом, а в 1939-м — членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Хрущеву в ту пору 44 года. На многих постах появились тогда молодые работники — тысяч старых партийцев уже не было в живых.

Там, на Украине, Хрущев встретил начало Великой Отечественной. Он прошел с войсками от Киева до Сталинграда и вновь до Киева, будучи членом военных советов многих фронтов, оставаясь комиссаром, каким сформировался в годы гражданской. В своих речах перед солдатами он не раз, конечно, призывал: «Вперед! За Родину, за Сталина!»

Позже, уже после XX съезда партии, Никита Сергеевич часто вспоминал начало войны, ее первые дни, даже дни перед самой войной, и горько упрекал Сталина за просчеты того периода. Мучила его душу тяжелая история, связанная с провалом харьковской наступательной операции в 1942 году. Войска Юго-Западного направления не смогли выполнить поставленную командованием задачу, наступление захлебнулось, велики были потери. Ответственность лежала не только на маршале Тимошенко, командовавшем этим направлением, но и на Хрущеве — члене военного совета. Долго, практически до самых последних дней жизни это терзало Никиту Сергеевича.

Много раз передумывал он события под Харьковом, находились доброжелатели, которые успокаивали Хрущева все новыми «вариантами» хода этой операции, снимавшими вину за поражение. Хрущев в те роковые часы звонил в Ставку, просил Маленкова разбудить Сталина, чтобы получить разрешение отвести войска, избежать окружения; говорил, что Маленков будить Сталина отказался. Но все это не гасило вины.

Часто Хрущев так оправдывал отсутствие своего интереса к мемуарам военачальников: «Известное дело, войны проигрывают солдаты, а выигрывают маршалы. Каждый из них прежде всего выгораживает и прославляет себя». Хрущев никогда не преувеличивал своей роли в войне, не шел на поводу у доброхотов. Он остался в звании генерал-лейтенанта, будучи Председателем Совета Министров СССР — Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил.

В 1951 году Никита Сергеевич выступил в «Правде» со статьей о положении дел в подмосковной деревне. К тому времени он знал, как обстоят здесь дела, видел разорение в колхозах, пустые, обезлюдевшие деревни. Он предлагал провести укрупнение колхозов — ведь в иных хозяйствах осталось всего по 10—20 старух да детей,— начать строительство современных благоустроенных поселков, привлечь в них горожан, расположить на подмосковных землях своего рода агрогородки.

Следом на страницах «Правды» появилась небольшая заметка, где говорилось, что статья Хрущева опубликована в порядке обсуждения. Газетчики быстро узнали, в чем тут дело. Сталин отрицательно отнесся к предложениям Хрущева. Обсуждение не состоялось. Однако не произошло и резкого обострения в отношениях между Сталиным и Хрущевым. Никита Сергеевич продолжал занимать хоть и не самое видное, но прочное положение близ вождя. Не раз, снимая трубку домашнего телефона (какое-то время мы жили с родителями жены), я слышал глуховатый голос: «Мне Микиту...» — так, на украинский манер, обращался к нему Сталин.

Вернусь, однако, к дням XX съезда. Что могло заставить Хрущева выйти на трибуну с докладом о Сталине? Чем объяснялась его решимость? Нелепо было бы утверждать, что Хрущев вовсе не знал о массовых репрессиях. Нина Петровна обронила как-то фразу о том, что только после XX съезда Никита Сергеевич отдал начальнику своей охраны пистолет, который хранился в его спальне. Сам Хрущев редко делился подробностями о ночных сталинских обедах-заседаниях, но одной, как бы дежурной реплике Сталина придавал особое значение. Сталин мог вдруг, прервав застолье, спросить кого-либо из присутствовавших: «Что-то у вас сегодня глазки бегают?»

«Бегающие глазки» были плохим признаком. Вопрос этот и долгая пауза вслед обескураживали. В последние месяцы жизни Сталина на таком ближайшем «прицеле» вождя были Молотов, Микоян, Ворошилов. Что

это значило, каков следующий шаг,— им было прекрасно известно. Знал, конечно, это и Хрущев.

К 1956 году многие десятки тысяч известнейших партийных работников, военных деятелей, дипломатов, писателей, ученых были реабилитированы. С мертвых снимались ложные обвинения, их имена очищались от наветов и диких оговоров. Живые хотели не просто участия, извинений, восстановления чести и достоинства. Им вернули паспорта, выдали денежную компенсацию, помогли устроиться с жильем, подыскали работу. Но этого было мало. Требовалось открыто сказать о тех трагических процессах, которые приобрели массовый характер. Уже до XX съезда и, конечно, в ходе заседаний у Хрущева крепло убеждение, что сказать откровенно об этом прежде всего должна партия. Соответствующий материал, который готовила специальная комиссия ЦК, куда входили многие большевики-ленинцы, вернувшиеся из лагерей и ссылок, в один из последних дней работы съезда лег на его стол.

Никита Сергеевич много раз возвращался к тому дню, к тем навсегда вошедшим в его жизнь событиям. Вспоминал ночь уже перед окончанием работы съезда — тогда он еще раз перечитал страницы доклада и ему померещилось, что он слышит голоса погибших товарищей. Угнетала ли его вина перед ними? Что творилось в его душе?

У каждого свое право судить Хрущева за такой поворот XX съезда, за ту роль, которую он сыграл в истории нашей страны и партии. Бесспорно, по-видимому, одно: этот съезд никого не оставил равнодушным. Стало ясно, что за зло, за преступления против народа рано или поздно придется нести ответ, что из умолчаний не возникнет прощения.

Еще живы охранники тех лагерей, где содержались «враги народа». Для них этот съезд — тоже трагедия. Один из таких написал в «Огонек» о своих «душевных муках». Нет, не напрасно стерег он эту «гидру», кормил с ней наравне таежного гнуса. Не убедит его никто, что академик Вавилов не враг. У папаши-купца не мог вырасти честный сын. От этого «крика души», каким бы бессердечным или злобным он ни казался, не отмахнешься. Как не отмахнешься и от риторики тех, кто развенчание Сталина воспринимает так, будто опорочивается вся их жизнь, будто перечеркивается все, что совершено партией и народом...

В то утро, когда Хрущев решился, я думаю, он не предполагал, какой сложной будет история XX съезда. Не знаю, так ли это было или нет, высказываю свою, сугубо личную точку зрения, но то, что доклад этот Хрущев сделал как бы неожиданно, тоже имело под собой некое основание. Мог ли он задолго до съезда обсуждать доклад с членами Президиума ЦК, в особенности с теми, кто тоже должен был нести свою долю ответственности? Удалось бы ему произнести его в таком случае? Он принял решение апеллировать к партии, обратившись непосредственно к съезду.

Когда он объявил о своем решении, его стали пугать непредсказуемыми последствиями. Чем сильнее противились Молотов, Маленков и Ворошилов, тем тверже становилось убеждение Хрущева: надо открыть все. Принять половинчатое решение, осуждающее культ личности Сталина, и не вдаваться в подробности массовых репрессий, с его точки зрения, означало обман партии. Он предложил Молотову выступить с докладом. Тот отказался. Никита Сергеевич предупредил, что не изменит решения и выступит с докладом в качестве делегата съезда. Не остановило его и то, что он ставил под удар и себя — ведь он тоже был рядом со Сталиным. Он сказал, что лгать и изворачиваться не будет. «Придут молодые, спросят: почему смолчали? Что ответим им мы? Как они отнесутся к нам? Спасали свои шкуры, не хотели ответственности? Не жгла боль за гибель товарищей?!»

Так вспоминал Хрущев тот день своей жизни.

Его решение требовало немалого мужества. Поймут ли его? Поддержат? Встанет ведь и вопрос: а где же ты был раньше, дорогой товарищ, разве не знал, что арестовывают твоих друзей по партии, тех, с кем ты работал много лет бок о бок, неужели верил, что все это враги?

До сих пор мы задаем себе и другим эти вопросы. Верил или не верил Блюхер в виновность Тухачевского, подписывая вместе с другими членами Военного трибунала смертный приговор одному из своих товарищей, герою гражданской войны и тоже Маршалу Советского Союза? Верил или нет Михаил Кольцов, когда в 1937 году на конгрессе писателей в Париже гневно клеймил позором «пятую колонну» и радовался, что «врагов» безжалостно уничтожают? Несколько месяцев спустя он был арестован и погиб так же, как Блюхер, как тысячи других — веривших...

Наивно предполагать, что Хрущев, люди его положения вовсе не задумывались, оставаясь один на один со своей совестью, о том, почему все мощнее волны арестов. Но что мог поделать каждый из них? Пленум ЦК 1938 года, низложение, а затем и арест Ежова несколько разрядили ситуацию. Репрессии пошли на убыль. Хрущев уехал на Украину. Он мог успокаивать себя тем, что сам не совершал подлых поступков. На одной из послесъездовских встреч Хрущеву пришла записка из зала с вопросом о том, как могли допустить такие репрессии, что делали для их прекращения партийные руководители. Никита Сергеевич попросил встать того, кто задал этот вопрос. Никто не поднялся. «Мы боялись так же, как и тот, кто спрашивает об этом».

Боялись... Думаю, это было сказано искренне.

Никита Сергеевич был делегатом XVII партийного съезда, и однажды Микоян рассказал ему об эпизоде, случившемся в те дни. Когда съезд шел к концу, в перерыве между заседаниями в комнату Президиума вошли несколько секретарей обкомов партии во главе с Варейкисом — секретарем партийного комитета Центральной Черноземной области, занимавшим видное положение в партии. Подошли к Кирову. Попросили передать Сталину свои замечания о его грубости, нетерпимости, заносчивости. Киров перебил: «Скажите Сталину сами». «Ты в друзьях, тебе легче и проще». Появился Сталин, и Киров передал ему разговор. Анастас Иванович запомнил ответ Сталина: «Спасибо, Сергей, ты настоящий друг, я этого не забуду».

Съезд победителей, а именно так назван семнадцатый в партийной историографии, закончился на большом подъеме. Успехи были неоспоримы — индустриализация превращала СССР в могучую державу. Долго гремела овация в честь Сталина. Но, видно, не радовала его. Да и как могла радовать, если несколько сотен делегатов вычеркнули его имя из списка для тайного голосования? Как он мог верить людям? Рукоплещут и ненавидят! Мнительность его уже перешла в мстительность. Иначе как объяснить тот факт, что из 1966 делегатов съезда 1108 были вскоре уничтожены, в том числе 98 из 138 членов и кандидатов в члены ЦК.

Но прежде случилось страшное.

1 декабря 1934 года был убит Сергей Миронович Киров.

Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» дает свою версию этого убийства. С ней можно соглашаться или не соглашаться. Роман не документ. Убийство Кирова, быть может, самая ужасная тайна, так и не проясненная до конца. XX съезд создал комиссию по расследованию обстоятельств злодейского убийства. Удалось выявить некоторые факты. Никите Сергеевичу сообщали, что отыскался шофер машины, в которой везли арестованного начальника личной охраны Кирова. Неожиданно из рук этого шофера сидевший с ним рядом сотрудник НКВД, производивший арест, вырвал руль, машина врезалась в стену дома. Тут же в крытом кузове автомобиля раздались не то выстрелы, не то тяжелые удары. Это все, что запомнил шофер, теряя сознание. Так во время инспирированной автокатастрофы погиб начальник личной охраны Кирова. Вскоре уничтожили и тех, кто его арестовывал. Исчезло множество других лиц, так или иначе замешанных в этой истории. Не знаю, закончила ли работу комиссия. Во всяком случае, деятельность ее замедлилась, а там, по-видимому, и вовсе прекратилась. Теперь, наверное, узнать правду очень трудно. Однако живы председатель той комиссии и многие ее члены. Как говорится, было бы желание.

Двадцатый съезд входил в жизнь. Казалось, двойная мораль отживала свой век. Набор прежних клятв и уверений, пафосный «штиль» велеречивого славословия так резал ухо, что достопочтенные творцы од при-

умолкли. Во всяком случае, на самое первое время. Нам казалось — навсегда. Может быть, именно по этой причине «притихшим» удалось отсидеться.

Счет тогда велся по другой шкале достоинств. В свете новых знаний, новой правды прервалась инерция привычного, рушилась философия «все до лампочки». Из жизни общества уходили имитация чувств, страх.

Этот проклятый страх! Почему запас его держится так долго? Как и зачем был он встроен в систему, сама основа которой требует бесстрашия?!

Как случилось, что многие не только мирились, когда их называли «винтиками», но и гордились этим: крепите нас куда угодно, вставляйте в любую машину, мы все разом закрутимся — лишь бы двигалось дело. Лишь бы... Эта самоотверженность казалась главным. Мы и сегодня, когда речь идет о самом святом, о человеческих жизнях, поем: «А нам нужна одна победа, одна на всех — мы за ценой не постоим...»

Почему мы не думаем о цене?

Или думаем и молчим?

Это все тот же страх.

На вечере, посвященном семидесятилетию «Известий», выступал Михаил Ульянов. Он поведал одну поучительную историю.

«Знаете ли вы, как учат гордого орла быть послушным воле человека, исполнять любой его приказ? Молоденького орла-птенца заносят в юрту, накидывают ему на голову кожаный мешочек и сажают на бечевку. Орленок цепко держится за нее лапами. Бечевку раскачивают. Птица в ужасе, ничего не видит, не понимает, ждет хоть минутной передышки. Через какое-то время колпачок снимают, протягивают орленку руку. На ней спокойно, устойчиво. А потом все сначала. Накидывают колпачок на голову, веревку раскачивают. Длится все это столько, сколько нужно человеку, чтобы сделать гордого орла покорным, чтобы он охотился для человека, приносил ему добычу и забыл о далеком небе, о свободном полете».

Не так ли и с нашим страхом? Его внедряли десятилетиями, пуская в ход немало разных приемов. А в человеке велика жажда твердой почвы под ногами, и вот уже бес-искуситель нашептывает: «Не трепыхайся, говори «согласен», думай про себя что хочешь, это твое личное дело, а на людях принимай все с одобрением, ведь ничего другого от тебя и не ждут».

Отчего возникли эти несвойственные нашей морали, достоинству чувства самоцензуры и приспособленчества? На пустом месте возникли они? Хрущев о себе самом сказал: «Боялся!»

В высоких кругах тоже витал страх. Вспомните маршала Жукова. В книге своих воспоминаний он уже отвечал на этот вопрос. Те, кто был особенно близок к вождю, хорошо знали, какую цену приходится платить за эту близость. Иначе не объяснить унизительных, трагических ситуаций в их судьбах.

Как понять Молотова, с его исключительной верностью всему сталинскому, как оценить его искренность, если он терпел арест и пребывание в одиночке собственной жены? Он что, верил в виновность Полины Семеновны и спокойно дожидался, пока Берия доложит Сталину о ее прегрешениях?

А каково было Михаилу Ивановичу Калинину, жена которого много лет провела на каторжных работах, а он ничего не мог сделать для облегчения ее участи?

Екатерину Ивановну арестовали в 1937 году, а выпустили по амнистии (!) в 1945-м, когда Михаил Иванович был уже тяжело болен. Выпустили, но не разрешили жить на кремлевской квартире, предложили переехать на другую. Можно представить душевное состояние Екатерины Ивановны, когда ей пришлось идти за гробом Михаила Ивановича рядом со Сталиным, Маленковым, Берия.

Я был знаком с Екатериной Ивановной, в 60-е годы она приходила в редакцию «Известий», просила помочь в организации музея Михаила Ивановича, но никогда не говорила о пережитом.

По-иному вела себя Полина Семеновна Молотова. После выхода из тюрьмы встретила меня как-то с женой на улице Грановского. Громко,

с вызовом прославляла Сталина. От страха или от экзальтации? И таких, как она, было немало.

В 1936 году мужественный латышский коммунист, работавший в Москве в Коминтерне, Ян Эдуардович Калнберзин был нелегально переправлен в Латвию: ему поручалось возглавить партийное подполье. В условиях жесточайшего террора он занимался организацией партийных ячеек. В 1939 году его схватили и приговорили к смертной казни. Много месяцев томился он в одиночке, ожидая последнего часа. Через год после отъезда Яна Эдуардовича в Латвию арестовали его жену, Илгу Петровну. Спустя два года она погибла в «Бутырках». Осталось трое маленьких детей. Старшей, Рите, шел 9-й год, Роберту — 7-й, Илге исполнилось полтора. Их отправили в детские дома; Рита едва выплакала брата, упросила послать вместе с ней, а куда отвезли младшую, им не сказали. Отец ничего не знал о судьбе семьи.

Ян Эдуардович избежал смерти. В 1940 году в Латвии была восстановлена Советская власть. Калнберзин стал первым секретарем ЦК Компартии республики. Он сразу же поспешил в Москву, где с громадным трудом нашел адреса детей.

Ян Эдуардович — сдержанный, скупой на слова человек, только однажды признался дочери: «Я ничего не спрашивал о твоей матери. Это было бессмысленно. Они тоже ничего мне не сказали. Не вини меня за это. Не знаю даже, где ее могила...»

С Ритой Калнберзин мы вместе учились в университете, с тех пор дружим, и этот рассказ — с ее слов.

В «закрытом» докладе Хрущева, широко известном во всем мире (а у нас «закрытом» до сего дня), множество не менее страшных и не менее трагичных историй. Они как бы вне логики. Вне нормального человеческого понимания. Как-то объяснимы, может быть, только первые толчки, первые побуждения начать репрессии. В начале и середине тридцатых Сталин бил по тем, кто действительно мог быть или казался ему противником, по коммунистам, входившим когда-то в те или иные партийные фракции. Они давно осознали свои заблуждения, ошибки, активно работали на самых разных постах, но все-таки вызывали его недоверие. А затем — XVII съезд, который он никогда не забывал. Он не любил и считал потенциальными врагами многих старых коммунистов, особенно тех, кто был близок Ленину.

Чем больше он уничтожал своих действительных или мнимых противников, тем шире становился круг тех, кто, с его точки зрения, мог стать на пути, кто располагал той силой самостоятельности в решениях, какой он боялся. Эти люди не укладывались в созданную им схему власти. Могли помешать утверждению его особой роли в истории. Так возникали все новые и новые «пласты» неугодных, обиженных или чересчур угодливых — таких он тоже не любил. Число их возрастало в геометрической прогрессии. Партийные, советские, хозяйственные работники, военные, дипломаты, ученые, деятели культуры, а там уже и лечащие врачи, и домашняя прислуга.

Естествен обычный человеческий вопрос: неужели он не приходил в смятение от гибели миллионов? Неужели эти миллионы состояли для него не из отдельных людей, не из плоти, что дышала, думала, страдала, совершала обыденные поступки, а представлялись аморфной массой, неужели он не помнил лиц?

Очевидцы рассказывали мне, что, когда в 1949 году он вдруг решил сменить редколлегию «Правды», обосновав это свое намерение тем, что газета слишком раздувает культ личности Сталина, и, медленно прохаживаясь по комнате, начал называть членов редколлегии нового состава, присутствующие замерли. Он рекомендовал на посты заведующих основными отделами тех, кого давно уже не было в живых. Их уничтожили с его согласия. Никто не перебил вождя. Главным редактором назначили Суслова, тот все отрегулировал.

Через многое предстояло пройти. Нам всем и Хрущеву в особенности. Тяжкий груз лег на его плечи. Может быть, более тяжкий, чем он себе представлял. Контрреволюция в Венгрии, подогретая западными провокаторами, ставила под удар социалистические завоевания в этой стране. Венгерские коммунисты проходили через острейшие испытания. Юрий

Владимирович Андропов в ту пору был советским послом в Венгрии. Он рассказывал о том, что видел. Кровавые звезды на телах убитых патриотов были метами ярости тех, кто мечтал о свержении власти трудящихся. Хрущев мотался (иного слова не подберешь) необъявленными рейсами по многим горячим точкам в связи с событиями в Венгрии, налаживал контакты с товарищами, советовался с ними, вел экстренные переговоры, принимал на себя груз ответственности. Так приходил к нему новый политический опыт.

Николай Иванович Цыбин, опытный летчик, летавший с Никитой Сергеевичем в годы войны над линиями фронтов, во время ночного спешного полета на югославский остров Бриони к маршалу Тито едва не совершил вынужденную посадку в море. Он вел самолет вслепую, с погашенными огнями, без радиосвязи с землей. Приходилось идти и на такие меры конспирации.

Через много лет в составе делегации, возглавлявшейся Брежневым, я побывал на этом солнечном игрушечном островке. Белесые, отмытые вековым движением волн коралловые уступы берега купались в зеленых накатах вод. Тонкие запахи цветущих деревьев и кустарников смешивались с терпким дыханием моря, а я вспоминал Цыбина и думал, какие неожиданные повороты готовит человеку жизнь и как быстро мы забываем о тяжком...

В этих записках я рассказал о новогоднем вечере в кругу друзей, об Олеге Ефремове, о том, как он определял те самые десять лет, которые в середине 60-х уходили в молчание. Ефремов стал художественным руководителем МХАТа, Героем Социалистического Труда.

Но прежде было начало... 15 апреля 1956 года на маленькой сцене студии Художественного театра в поздние ночные часы несколько молодых актеров играли пьесу Виктора Розова «Вечно живые».

Самые пышные премьеры тех лет не собирали такой блестящей публики. «Блестящей» не в расхожем смысле слова, не было там дам в роскошных туалетах, влиятельных чиновников, присяжных критиков. И в зале, и на сцене чувствовалось иное. Ум, талант, искренность, открытость. Никто не говорил тогда о XX съезде, никто вообще не произносил громких слов, люди чувствовали ненадобность прежних оборотов речи.

В тот вечер родился московский театр «Современник». На много лет он стал олицетворением времени, его спектакли воспринимались не только как художественное откровение, но и как политическое событие — соединение этих двух важнейших для искусства начал и было тем новым, что приходило в нашу жизнь после XX съезда. Мы возвращались к лучшему в прошлом, не боясь ответственности за будущее.

«Как это вы так рисковали,— спросил меня уже после 1964 года один начинавший преуспевать газетчик:— хвалили в «Известиях» «Современник», а ведь там не все нравилось». «Очень просто,— отвечал я.— Смотрели спектакли, обменивались мнениями в редакции и решали, как быть». «Сами?!»—с неподдельным изумлением переспрашивал собеседник. Он, видимо, после спектакля узнавал (по ответственным телефонам) «мнение» и уж потом писал рецензии. Не знаю, о чем он думал, затевая разговор, но, наверное, расхожее: «Ну, этому-то за широкой спиной все позволено». Наверное, так думали и другие. По такой логике трудно понять самое простое: любой человек в любом положении за все расплачивается сам. Жизнь наша, увы, устроена так, что в лучшем положении часто оказываются те, кто ничего не делает.

Моим сверстникам не нужно напрягать память, чтобы прошли перед глазами кадры из фильмов «Летят журавли», «Иваново детство», «Чистое небо», «Судьба человека», «Девять дней одного года». В отчаянной схватке с пуританами отстаивали мы в газете фильм «А если это любовь...». Первыми поддержали статью Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанную в «Новом мире». И нисколько не удивились неискреннему возмущению столоначальников от критики, которые сразу же набросились на газету.

XX съезд придал ускорение такому множеству дел, привел в движение такие разные структуры общественной жизни, что было бы наивным предполагать, что кто-то один может не то что проанализировать, но просто все вспомнить. Осенью 1987 года я прочитал в «Огоньке» любопытное эссе критика Сергея Чуприинина. Он напомнил, что всего за несколько послесъездовских лет только в Москве были созданы или возобновлены журналы «Юность», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Театр», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», еженедельник «Литература и жизнь» (позднее переименованный в «Литературную Россию»), проведен учредительный съезд Союза писателей РСФСР. Возникли в различных регионах страны литературно-художественные и общественно-политические журналы «Нева», «Север», «Дон», «Подъем», «Волга», «Урал». А как восторженно, в каких спорах были восприняты первые сборники «День поэзии», как сама поэзия взорвала тишину и вырвалась на улицы и стадионы!

Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Новелла Матвеева, Давид Самойлов... А проза? Остановлюсь, ибо перечень был бы велик, неполон, а может быть, и субъективен.

Спустя почти тридцать лет напомнил я Андрею Вознесенскому его спор с академиком Петром Александровичем Ребиндером. Дело было в редакции «Известий». Андрей читал новые стихи, в том числе и «Антимиры». Вдруг негодующая тирада академика: «Молодой человек! У вас в стихах все неправильно. Какая отметка у вас в школе по физике?» И язвительный академик начал критиковать «Антимиры» за «несоответствие» законам физики. «Нельзя же так буквально»,— кипятился Андрей. «Нет, именно буквально и надо»,—настаивал Ребиндер. Петр Александрович не лишен был юношеской запальчивости, азарта в споре, любил поэзию, но не мог простить Андрею неточностей.

Всех примирял чай. Мы пили его из большого медного самовара, отысканного репортерами отдела информации невесть где, и ели горячие бублики — главное угощеиие на встречах с друзьями газеты. Эти встречи стали регулярными. Во многих редакциях рождались, возобновлялись, активизировались «четверги», «пятницы», «субботы». Люди соскучились по общению, соскучились по возможности говорить громко обо всем, что тревожило.

Во время майской демонстрации 1960 года на Красной площади у меня состоялось «секретное» знакомство с группой молодых людей— Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрианом Николаевым, Павлом Поповичем, Валерием Быковским. Кто мог догадаться, какая компания на трибунах! Пожали друг другу руки и разошлись, чтобы никто не обратил на нас особого внимания. Все для этих ребят было еще впереди. Но они уже стояли на трибунах Красной площади. Крепкие парни, небольшого роста, в несколько однообразных демисезонных пальто, плащах, шляпах—все только что из магазина. Военные летчики явно стесненно чувствовали себя в штатском. Такими я впервые увидел будущих космонавтов.

Писать тогда о них не разрешалось, как не упоминалось имя человека, который стал для своих молодых питомцев близким, родным. Сергей Павлович Королев долго, практически всю свою жизнь, оставался секретной личностью, обозначавшейся для непосвященных торжественным словосочетанием Генеральный Конструктор.

Королев, Глушко, Келдыш, Курчатов вместе и порознь часто бывали на даче Никиты Сергеевича. Множество самых разных дел не мешало Хрущеву с каким-то радостным нетерпением ждать их в выходной день к обеду. Он вообще ценил людей науки, инженерного труда, ставил их, так сказать, выше гуманитариев. Для него такие люди реального, конкретного дела связывались с тем, что можно пощупать руками, что может дать видимую пользу. За научными, техническими открытиями его ум мгновенно отыскивал материальную выгоду, способ движения вперед и, главное, социальный эффект.

Однажды в воскресный день Никита Сергеевич поехал вместе с Королевым к нему на «фирму» и пригласил меня с собой. «Все, что увидите, забудьте»,—только и сказал в машине.

Расстаюсь с тайной и чего-то жаль...

О том, что я увидел тогда, пишу в первый раз.

Наши современные представления о лабораториях космической техники, испытательных стендах со множеством дисплеев, хитроумных самописцев, мерцанием таинственных огоньков — свидетелей бесшумной работы искусственного интеллекта ЭВМ — сложились так прочно, так связаны с гигантской сложностью задач, что, боюсь, разочарую читателей.

В небольшом зале висела обыкновенная школьная доска, совсем такая, как у первоклашек. Королев мелком чертил на ней траекторию будущего полета, обозначая в разных точках те или иные манипуляции ракеты. Потом он пригласил всех в большой зал, и тут я увидел серо-стальную рыбину, протянувшуюся на многие метры. Сергей Павлович что-то объяснял Никите Сергеевичу, они то и дело останавливались. Хрущев пригибался, заглядывал под ракету, ощупывал ее лоснящееся, холодное тело.

Потом все долго рассматривали двигатель ракеты. Громадина напоминала по форме мячик для игры в бадминтон, отороченный юбочкой плиссе. Миллионы лошадиных сил способны были придать ракете умопомрачительную скорость.

Позже, когда многие полеты уже состоялись, я напомнил Королеву о своем первом знакомстве с его детищем. «Я ведь думал — ты из охраны Хрущева, знал бы — отправил вон», — полушутя сказал Королев. Он не выбирал выражений.

Почему-то Сергей Павлович часто бывал печальным, а может быть, сосредоточенным? На кремлевских приемах держался в сторонке от незнакомой публики. Как-то сказал Раде: «Так хочется поехать куда-нибудь, посмотреть мир, Злату Прагу весной...» Он тяжко переносил свою абсолютную секретность. Сияющим от счастья я видел Королева только один раз. И это тоже было в Кремле. С первыми экземплярами экстренных выпусков «Правды» и «Известий» о полете Гагарина Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор «Правды», и я никак не могли пробиться к «главному» столу. «Пропустите газетчиков!» — крикнул Сергей Павлович и тем помог нам доставить газеты по назначению. Он стоял рядом с Гагариным, по-отцовски обняв его за плечи, — кряжистый, высоколобый, чуть клоня голову вперед, будто от ее тяжести. В нем дышала упрямая, властная сила.

Наверное, именно эта сила помогла ему устоять в одиночке Бутырской тюрьмы, куда он попал после ареста в июне 1938 года (его товарища Глушко арестовали в марте).

Совсем недавно я узнал, по чьему доносу — стандартному набору обвинений во вредительстве — был арестован и осужден Сергей Павлович. «Отличился» коллега по работе. Из зависти, от ничтожества души.

12 апреля 1961 года Королев, позвонив Хрущеву с Байконура, кричал в телефонную трубку осипшим от усталости и волнения голосом: «Парашют раскрылся, идет на приземление! Корабль в порядке!» Речь шла о приземлении Гагарина. Хрущев все время переспрашивал: «Жив, подает сигналы? Жив? Жив?» Никто тогда не мог сказать точно, чем кончится полет. Наконец Хрущев услышал: «Жив!»

А теперь мы не сразу и вспомним фамилии тех, кто работает в сей момент в околоземном пространстве, — нужен какой-то особо сложный, рекордный запуск или нечто из ряда вон выходящее, чтобы вновь приковать наше внимание. Естественное дело — привычка. Труд космонавтов по-прежнему рискован и предельно тяжел, нагрузки возрастают, программы усложняются. Человек уже прошел по Луне и прикидывает маршруты для полета на Марс.

Но в тот давний теперь уже день, когда самолет с первым человеком Земли, увидевшим нашу планету из космических далей, подлетал к Москве, весь город охватило волнение. Сотни тысяч людей высыпали на улицы и площади, спешили к Ленинскому проспекту. Пробиться на балконы домов, мимо которых пролегал путь торжественного кортежа, было потруднее, чем получить билеты на самую популярную премьеру в театре. Никто не прогонял ребятню с крыш, деревьев и заборов.

Никакая милиция, никакие силы дружинников не могли бы обеспечить порядок на улицах, если бы он не существовал сам по себе. Приветствия были и на огромных полотнищах и на листках бумаги. «Наши в космосе!», «Ура Гагарину!», «Здравствуй, Юра!». Взрыв патриотической гордости рождал радость и веселье, душевную раскованность и легкость. Сказать коротко, это было счастье.

Но вот истребители почетного эскорта отвернули от серебристого «Ила», шасси машины легко чиркнули по бетону посадочной полосы, пыхнув синей струйкой гари, самолет осел и замер.

На трапе Гагарин. Приостановился на секунду и пошел легкой, изящной походкой по красному ковру к трибуне. Потом мы узнаем, что у него развязался шнурок на ботинке, и это терзало его, но никто ничего тогда не заметил. Майор Гагарин, военный человек, ступал по ковру так, как если бы всю жизнь ходил именно по этой торжественной дорожке.

В нем были природное чувство достоинства, простота, скромность и уверенность в себе. Эти его человеческие качества с поразительной точностью разгадал Сергей Павлович Королев.

Юрий Гагарин остановился перед трибуной, легко вскинул руку к голубому околышу фуражки и, обращаясь к Никите Сергеевичу Хрущеву, начал рапорт.

А затем в течение многих лет главным организатором всех космических достижений страны будет считаться Брежнев. Судя по фильмам тех лет, Гагарин рапортует «пустоте». На трибуне Мавзолея тоже «организуют» странное одиночество героя (великие возможности киномонтажа и ретуши давно вошли в практику), и желающих именно таким образом представить начало космической эпопеи найдется более чем достаточно.

Как не будут писать и о том, что после короткого заседания Военной коллегии Верховного суда под председательством Ульриха в июле 1938 года Королеву дадут десять лет за вредительство. Не так-то просто окажется выскочить из лап «правосудия» того времени. В ответ на заявления о невиновности, об абсурдности обвинений создадут специальную комиссию, в составе которой окажется все тот же Ульрих, да еще Берия. Через два года после ареста особое совещание определит Королеву наказание — восемь лет заключения.

Королев расскажет жене Нине Ивановне, что в этапе по пути на Колыму от смерти его спасла случайность. Пароход с заключенными на борту, на котором предстояло плыть Сергею Павловичу, ушел. А чуть позже стало известно, что он затонул со всеми пассажирами.

В сентябре 1940-го Королева по распоряжению Кобулова, заместителя Берия, переведут в особое техническое бюро. Так, еще с начала тридцатых годов, использовались многие специалисты-«вредители». Надо думать, это очень продвигало нас вперед в создании технического оснащения Красной Армии. Удобно: сидит и работает. Мало кого интересовало их настроение, работоспособность. И «катюши» появятся на военных позициях только уже во время войны. Но ведь появятся — и то хорошо!

Никогда — ни раньше, ни теперь — не спорю я с теми, кто так или иначе находит оправдание всему этому, усматривает в докладе Хрущева о Сталине, в постановлении о преодолении последствий культа личности чуть ли не ошибку. В застойные годы такая точка зрения высказывалась более чем активно. В этой позиции легко угадывалось торжество административно-приказной системы, вновь пробудившейся и получившей право отдавать распоряжения и повелевать всем и всеми. Как приятно снова слышать: «Будет сделано!» Завод и опера, роман и поэма, газета и дом... Как приятно видеть страх в глазах подчиненного. И неважно, какой завод и какая опера. Желающие слепить нечто подходящее всегда найдутся.

Это тоска не по Сталину, а по той системе власти, которую он создал, и по страху. Через страх, считают подобного рода люди, наводится порядок, растут урожаи, выпускаются лучшие в мире машины, снижаются цены, вершится многое множество всего другого, полезного для народа. И разве имеет значение, как там в реальной жизни, а не в утвержденной схеме? Как там по правде...

И вот еще что. Страх не позволяет задать главного вопроса, практически и политически самого существенного из всех, на которые, как я уже сказал, имеет право каждый: а какова цена? Нет, не та, которая диктуется спросом и предложением, конъюнктурой рынка или соподчиненностью

людей, а высшая цена бытия и дела. Ведь если размышляешь об этом,— значит ищешь самый гуманный, рациональный вариант решения проблемы, если нет — обманываешь себя и других.

XX съезд проводил четкую грань в этом противостоянии, противоборстве взглядов. Непоследовательность Хрущева начнет сказываться не сразу, а затем поставит его самого перед тревожным фактом пробуксовки. Капитальный ремонт командно-приказной системы хозяйствования, прополка сорняков, окна дома, открытые в большой мир, — все это пока дает эффект, однако днище корабля все гуще обрастает ракушками. Корабль еще идет вперед, но это требует все больших оборотов машины, а она уже на пределе.

В тех десяти годах — полет Гагарина, реактивные скорости гражданской авиации, многие другие научно-технические открытия и достижения, удивлявшие мир. В конце пятидесятых на советские экраны вышел фильм немецких кинодокументалистов Торндайков «Русская загадка». В зеркале этого фильма мы как бы заново оценили многое из того, что успели сделать за короткий срок. Вера в человека и вера человеку — вот что олицетворяет для меня то время. Оно определяло взгляды, перечеркивая фальшь, утверждая правду.

Во втором номере журнала «Новый мир» за 1987 год в статье В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра» есть такие строки:

«По-настоящему быстро народное хозяйство развивалось в 50-е годы. Этот период, по нашим оценкам, выглядит самым успешным для экономики. Темп роста превзошел тогда прежние достижения. Но суть не в одних темпах. Всего важнее то обстоятельство, что впервые рост был достигнут не только за счет увеличения ресурсов, но и благодаря лучшему их использованию. Производительность труда поднялась на 62 процента (это почти 5 процентов в год!), фондоотдача — на 17, материалоемкость снизилась на 5 процентов. Достаточно гармонично развивались все отрасли — не одна тяжелая промышленность, но и производство потребительских товаров, сельское хозяйство, жилищное строительство.

Впечатляющие успехи в кредитно-денежной сфере. Была обеспечена товарно-денежная сбалансированность, казавшаяся дотоле недостижимой. Если с 1928 по 1950 год розничные и оптовые цены выросли примерно в 12 раз, то в 1951 — 1955 годах розничные цены снизились, а оптовые стабилизировались. Во второй половине 50-х произошел лишь небольшой рост цен.

Как видим, то, к чему мы сегодня стремимся, однажды уже было сделано — экономика изрядное время работала эффективно. Поэтому важно выявить истоки успеха, отделить преходящие факторы от уроков, пригодных и поныне».

Те годы должны были бы стать уроком на будущее, но их изъяли из оборота. И очень скоро началось попятное движение.

В иных кабинетах раздался вздох облегчения. Ведь прежде, в те десять лет, рушился мир знакомых установлений, созданная за долгие сроки административная пирамида власти. Телефон молчал. Никто не говорил «надо», «немедленно», «доложить». Многие терялись перед задачами дня, не могли отдавать приказы с такой властностью, как прежде. Требовались поступки, решения, дела́, а эти люди привыкли перекладывать заботы на плечи других. По-своему их было жаль. Мне приходилось слышать недоуменное: «Чем я виноват? Почему мне портят жизнь, если я выстраивал ее по точным приказам? Никогда не сбивался в сторону. Поддерживал. Пропагандировал. Внедрял!»

Последний год в «Комсомольской правде», 1958-й, я работал уже главным редактором. Газета дала некоторый опыт, умение.

Странной выдалась первая самостоятельная планерка — утреннее короткое совещание, на котором утрясается очередной номер. На столе передо мной лежала записка. Развернул ее. Гроб, череп, скрещенные кости и подпись: «Не подходи, убьет». Спросил, кто написал. Тут же встал сотрудник. Сказал: «Я. — Чуть помедлил и добавил: — Так, в шутку». Никогда не спрашивал его, что стояло за этой шуткой. Он продолжал работать в «Комсомолке» и после моего ухода в «Известия».

В один из первых дней работы в качестве «главного», мне позвонил В. П. Московский из отдела пропаганды ЦК — попросил принять посетителя. «Он тебе объяснит, в чем дело».

Посетитель оказался мужчиной лет сорока, с редкой поседевшей шевелюрой и какими-то робкими, потухшими глазами. Это я заметил сразу — странные, потухшие, жалостливые глаза. Рассказал он такую историю. В 1938 году написал в «Комсомольскую правду» письмо, как он выразился, не совсем хорошее, по молодости лет. А через какое-то время за ним пришли, потребовали объяснений и укатали за контрреволюционные высказывания на 15 лет в далекие края. В 1956 году обвинения были сняты, его реабилитировали, и вот он пришел в газету с небольшой просьбой. «Какой?» — поинтересовался я. «Нельзя ли отыскать то письмо и уничтожить, ведь всякое может случиться...»

Я сказал, что письма в газете, конечно, нет, мы так долго не храним архивы, да и нечего теперь бояться. «Как знать, — ответил он. — Постараюсь письмо все же отыскать и сжечь». Сжечь мосты... Естественное желание, если на том берегу кое-кто еще остался.

В маленьком дачном поселке под Дмитровом мы соседствуем с Георгием Степановичем Жженовым. Он народный артист СССР, замечательный товарищ, прекрасный, ироничный рассказчик. Стоит его «подбить» надлежащим образом, и он выдаст маленькую новеллу. Передам смысл одной из них, так как скопировать Жженова невозможно, его надо слышать.

Разгримировывался он как-то после спектакля; в комнату вошла пара. Помялись у двери, ласково поздоровались и горячо, сердечно поблагодарили за «исключительно высокое мастерство» и «проникновенное, до слез, исполнение». Ушли, а Жженов мучился, никак не мог вспомнить, где видел этих людей. Через несколько недель они появились вновь. Те же слова, та же нижайшая благодарность, то же умиление от «исключительно высокого мастерства» и «проникновенного, до слез, исполнения». И тут Георгия Степановича осенило. Поздравлял его начальник одного из лагерей, в котором он провел «некоторое время». В разных лагерях Жженов в общей сложности оттрубил 17 лет. Ни за что. Сначала арестовали брата-студента, а затем и Георгия Степановича. В Ленинграде, где они жили, сеть после убийства Кирова забрасывали частую.

Чем же интересовались посетители? Стал ли Жженов членом партии? Готовы были дать ему наилучшую рекомендацию...

Тот первый рывок не мог быть без сбоев. Не стоит смазывать и замалчивать их. Самый быстрый и безапелляционный судья — апломб и незнание. Подкрепленные сложившимися стереотипами, они обретают такую силу «достоверности», поколебать которую практически невозможно. Если мы не откажемся от такой манеры, в подобном же духе может быть судим и любой другой период нашей истории.

Многие из нас, как я уже говорил, не заметили, как начался отлив, как вновь стали вкрапливаться в нашу жизнь те самые «установления», от которых мы, вроде бы навсегда, освободились. С высоты прожитых лет все заметнее.

Перед самым новым, 1963 годом в «Известия» позвонила Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В музее готовилась к открытию большая выставка работ французского художника Леже. Подобные выставки в ту пору бывали не так часто, как теперь, контакты только-только налаживались. Вернисаж, естественно, вызывал повышенный интерес и внимание. Интерес и внимание! Ирина Александровна, человек опытный, хорошо понимала тонкую разницу этих слов.

Выставку привезла жена художника, Надя Леже, большой друг нашей страны, хранительница работ Леже во Франции, в Ницце, где ее стараниями построен прекрасный музей. Надя Леже непременно приглашала к себе советских гостей, посещавших этот город. Женщина энергичная, она не просто хранила память о близком человеке, но и умело пропагандировала его творчество. Я бывал в этом музее и, хотя не считаю себя знатоком живописи, восхищался фантастической зрелищностью многих работ Леже, его художническим азартом, необычным ви́дением мира.

И вдруг звонок Ирины Александровны и дружеская просьба приехать для консультации и, возможно, помощи. Ирину Александровну беспокоили некоторые абстрактные полотна Леже. Только что в Манеже Хрущев разнес доморощенных абстракционистов, а тут еще и француз с его непонятными полотнами. Мы проходили зал за залом, я, выступая в роли судьи-инквизитора, поскольку присутствовал на экзекуции в Манеже, отвечал на вопросы Антоновой: «Как это полотно?», «А этот гобелен?» При всей серьезности ситуации в нашей озабоченности было что-то нелепое. Недаром говорится, что от трагического до смешного — один шаг. Не хотелось ни Ирине Александровне, ни мне доставлять таким шагом радость искусствоведам особого рода. Что-то решили упрятать в боковые отсеки, что-то убрать. Однако изъять все «опасное» из ретроспективной выставки Леже было просто немыслимо, как немыслимо было и отменить ее.

Сложность состояла и в том, что Надя Леже уже побывала в музее, предстояло объяснить ей причины изменения экспозиции. Как объяснить? Рассказать о выражениях, какими поносили московских абстракционистов в Манеже? Сомнительный аргумент. Надя хорошо говорила по-русски, могла и сама опереться в споре на непарламентские выражения. В Москве для нее начальников не было.

Я понимал, как противна Ирине Александровне, умной, образованной женщине, блестящему искусствоведу, смелому организатору выставочного дела, вся эта возня, но что поделаешь? Ведь не предложишь Хрущеву прослушать лекции по истории искусств. Уповать на поддержку тех, кто по роду своей деятельности мог бы спокойно разъяснить, что к чему, не приходилось. Президент Академии художеств Серов только что в Манеже продемонстрировал свою точку зрения. Можно было твердо рассчитывать, что ни Хрущев, ни Суслов на выставку не пожалуют. Но вот другие... «И другие». После длинного списка официальных лиц в той или иной небольшой заметке часто следует это коротенькое «и другие». Коротенькое, но такое подчас значительное...

Екатерина Алексеевна Фурцева, в ту пору она была секретарем ЦК партии, тоже беспокоилась. Вдруг на новогоднем приеме в Кремле мадам Леже со свойственным ей темпераментом заведет разговор на тему об искусстве с «самим» Хрущевым? Возможен скандал. Решено было предложить Наде Леже встретить Новый год в домашней обстановке, чтобы избежать официальной скуки. Чем не военная операция? Нашлись острословы, реакция которых на все эти события выразилась в эпиграмме: «С этой выставкой Леже как бы не было хужé, как бы не было хужé, если б не было ужé».

В культурной жизни нарастала напряженность. С трудом пробился на экраны фильм «Председатель», а картина «Застава Ильича» одной из первых подверглась разносу и легла на полку. Не иссякла, правда, надежда на то, что все это временно. В литературе, искусстве, театре, кинематографе споры, однако, обострялись, от письменных столов перекинулись на трибуны. Кто-то принимал повесть Эренбурга «Оттепель», кто-то ее хулил, кому-то нравился роман Дудинцева «Не хлебом единым», иные обвиняли автора в посягательстве на основы. Все более четко вырисовывались пристрастия. Разговоры о консолидации ни к чему уже не приводили. Не скажешь, чтобы ситуация эта сложилась неожиданно, ее истоки все там же — в решениях XX съезда. Понимал ли сам Хрущев, как неоднозначно приняли этот съезд некоторые литераторы? Думаю, что понимал.

Летом 1957 года состоялась первая встреча партийного руководства с деятелями культуры, затем вторая, третья. Хрущев выступал на Втором съезде писателей, встречался с художниками перед их съездом и был на этом съезде, принимал многих деятелей культуры, литературы, в частности Александра Трифоновича Твардовского. С ним у Хрущева был долгий разговор. Твардовский, конечно, говорил Хрущеву правду. Обо всем, в том числе о 30-х годах, о том, как шло раскулачивание. Вспомните поэму Александра Трифоновича об отце. Хрущев относился к Твардовскому с большим уважением, любил слушать его стихи. В августе 1963 года Александр Трифонович читал Хрущеву поэму «Теркин на том свете». Прозвучали последние строки. Хрущев обратился к газетчикам: «Ну, кто смелый, кто напечатает?» Пауза затягивалась, и я не выдержал: «Известия» берут с охотой». Поэма была опубликована. С разрешения Александра Трифоновича я предпослал ей небольшое вступление:

«Новая поэма Александра Твардовского, думается, не нуждается в особом предисловии. Эта предваряющая ее страничка носит совсем иной характер. Она не результат литературоведческого анализа поэмы, не реплика критика (все такие встречи еще ждут и поэму, и ее автора), а скорее, говоря языком газетной рубрики, первое впечатление, первое, о чем подумалось, когда Александр Трифонович закончил чтение.

Было это в день встречи писателей — членов Европейского сообщества литераторов с Никитой Сергеевичем Хрущевым на берегу Черного моря под Гагрой. Михаил Шолохов, Константин Федин, Леонид Леонов, Алексей Сурков, Борис Полевой, Микола Бажан, Леонид Соболев, Георгий Марков, Александр Прокофьев, Александр Чаковский, Константин Воронков то хохотали в голос, то, это было видно по лицам, глазам, по ощутимой на слух тишине, переносились в далекие дали вслед за мыслями автора и жили сказкой, и жили с Теркиным. Даже иностранные гости, а среди них было немало знаменитых поэтов и писателей, слушали, а вернее сказать, наблюдали внимательно всю эту поучительную картину, поскольку иные из них не знали русского языка, с особым настроением. По коротким репликам переводчиков, по общей реакции, по звучанию стиха и они чувствовали озорную сатиру строк, умную, красивую плавность и сказочную поэтичность этой новой вещи поэта.

Мне запомнилось особенно, как слушал Михаил Александрович Шолохов. Я, естественно, не могу предварять его мнение о поэме, но слушал он очень красиво, по-своему. Так и казалось, что он судит-рядит с Теркиным о его необычном путешествии, посмеивается вместе с ним и с хитроватой дальнозоркой повадкой, по-писательски, для себя, оживляет картины поэмы.

Мне хорошо помнится время — это было давно, больше двадцати лет назад, — когда Василий Теркин впервые заявил о себе, о своей фронтовой службе. Миллионы людей полюбили его. А на фронте даже разгорались споры: литературный это герой или Александр Твардовский пишет о каком-то реальном бойце. Сила писателя, сила его произведения состояла как раз в том, что в споре этом обе стороны были правы.

И вот новая встреча с Василием Теркиным, и такая необычная, можно даже сказать — сверхнеобычная, ведь поэма остро сатирическая, почти гротескная. Наверное, вызовет она и споры, и возражения, и это хорошо! Но лучше всего то, что жив Василий Теркин. Хорошо, что большой поэт Александр Твардовский девять лет (это некоторым молодым да ранним поэтам будет пример) не спешил вывести его прогулку «по тому свету» на суд читателей, а трудился и трудился, не чураясь переделок, отыскивая более точные осмысления.

Вновь миллионы читателей встретятся со старым знакомым, фронтовики вспомнят былые походы. Все те, кто знаком с началом пути Теркина, порадуются, а людей помоложе эта новая вещь непременно заставит потянуться к «Книге про бойца...».

Нисколько не хотел я таким способом приобщиться к славе великого поэта. Мне казалось тогда важным не только опубликовать поэму, но и рассказать о том, кто и где ее слушал, как отнеслись к новой работе поэта, как решилась ее судьба.

Подчеркивая особое уважение к М. А. Шолохову, Хрущев приезжал в Вешенскую, пригласил Михаила Александровича с собой в США. Шолохов приезжал на дачу к Никите Сергеевичу. Читал последнюю, только что написанную главу «Поднятой целины». Трагический эпилог тронул Хрущева. «Так хотелось, чтобы Давыдов остался жить», — сказал он писателю. Шолохов ответил: «А надо по правде».

Часто Никита Сергеевич просил почитать ему вслух «Пусть мои глаза отдохнут, а ваши поработают», — говорил он, протягивая книгу. Видел он хорошо, но глаза от непомерной нагрузки у него очень уставали. Чтения вслух вошли в обыкновение. Хрущев мог слушать часами, особенно в дни отпуска.

Так, «на слух», он познакомился с «Синей тетрадью» Казакевича, «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына и многими другими произ-

веденнями писателей, ожидавшими «особого решения». Слушал Никита Сергеевич очень внимательно, сидел неподвижно, иногда прикрывал глаза.

При мне он никогда не комментировал услышанное, и практически невозможно было понять его отношение. Оно становилось понятным по судьбам некоторых книг, они быстро выходили в свет. Увы, не все новые книги смог прочитать Хрущев, не все спорные литературные проблемы были ему известны. Не все он сумел бы и принять, а точнее, понять. Чем шире и сложнее становились его государственные заботы, тем меньше оставалось времени на литературу. Даже в театре Хрущев бывал все реже и реже, главным образом с официальными гостями.

С годами давление на Хрущева разного рода советчиков «по культурным вопросам» усиливалось, он часто становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в «Известиях», мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Публикация критической статьи В. В. Ермилова по поводу воспоминаний Эренбурга была предопределена без нас. И в целом ситуация была зыбкой. Сняли нелепые обвинения с Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, начали публиковаться Ахматова и Зощенко, вернулись в литературу и искусство многие славные имена. Правда, далеко не все. Очистительный процесс шел, повторяю, отнюдь не безболезненно. Хрущев все в большей степени оставлял за собой право давать резкие и однозначные идейные оценки тем или иным произведениям. К сожалению, это право не всегда сочеталось с широтой взглядов, образованностью, эрудицией, доверием и желанием выслушать тех, кто может дать вдумчивый совет. Уже на пенсии Никита Сергеевич часто говорил о мере терпимости в подобных ситуациях...

Хрущев нередко укорял Суслова за упущения в идеологической работе, за серость и мещанство в кино, в театре. Суслов напрягался, нервничал и переводил замечания в привычное русло: одернуть! Исполнители поручений закручивали гайки. Сталкивались мнения, страсти, предположения, выяснялось, что было сказано и кем в схожей ситуации. Возникал узел позамысловатее морского, никакой дядька-боцман не смог бы его распутать. Бывали и неожиданности, вдруг что-то прорывалось, вспыхивали надежды, прогрессисты активизировались, но при очередной «накачке» затихали. На одном из заседаний Симонов, академик Кириллин и я начали уговаривать Поликарпова — он ведал вопросами культуры в ЦК — попробовать «пробить» в свет роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Поликарпов взорвался: «Да знаете ли вы, кто возражает?..» Никакие доводы не действовали. Поликарпов сам, быть может, и считал нужной публикацию романа, но привычное: «как бы чего не вышло» — делало его непреклонным. И все-таки время работало на тех, кто развивал в общественном самосознании демократические начала, кто боролся за утверждение в нашей жизни идеалов XX съезда. Я говорю прежде всего о молодых поэтах, писателях, кинематографистах, актерах и режиссерах, о людях, которых знал лично. Они «поймали» в своих произведениях нерв времени, утверждали себя и свое понимание нравственности широко и активно. На фоне этого обновления потускнели иные знаменитости. Их стали читать меньше, хвалить реже, критиковать жестче. Сложное было время. Неприязнь друг к другу не камуфлировалась, ибо была предварена жестокими обстоятельствами только что ушедших лет. Вспомним кампанию по борьбе с космополитизмом, оголтелую безнравственность, с которой действовали ее активисты.

Бесконфликтность, лжепатриотизм, безапелляционность, чиновничьи приоритеты уходили из литературы, искусства тяжело и надсадно, и те, кто так или иначе должен был уступить дорогу, занять иное место, а может быть, и вовсе уйти, пускали в ход все мыслимые и немыслимые способы удержания высот. Любой промах возводился в принцип, любое слово ставилось в строку. К сожалению, и многим молодым литературным звездам того времени не хватало взвешенного взгляда на совокупность событий «внутри» и «вовне». Их упоение успехом, убежденность в своей абсолютной правоте оборачивались просчетами. Оказалось, что не так просто развеять прах прошлого. Самое печальное состояло в том, что азарт нетерпения, некоторые — по-своему объяснимые — перехлесты давали повод тем, кто всегда четко отмерял свои поступки, кто «не выходил из берегов», не рисковал, не дерзил, грозить назидательным пальцем: «Вот ведь куда их заносит, вот ведь на что они поднимают руку — на святая святых!» А там уже разрешать спор начинали те, кто имел право и власть...

Часто на такое подбивали и самого Хрущева, и он бывал непростительно груб.

Недавно я прочел, что роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был «арестован» в 1961 году, и Гроссман написал Хрущеву. Тогда я ничего не знал об этом. Думаю, что Хрущев не читал письма либо не вник в его суть. Как пишут очевидцы, объяснение по поводу романа у Гроссмана было с Сусловым. Он заявил, что книга не увидит света и через двести пятьдесят лет.

В 1988 году, как известно, роман опубликовали.

Могло ли это случиться раньше? Что изменилось бы в его судьбе, прояви Хрущев больше внимания к работе Василия Гроссмана? Не дашь однозначного ответа. Думаю, что Никита Сергеевич не смог бы постичь всю сложность этого романа, не смог бы принять его. Постижение романа требует не только интуиции. Вполне возможно, что Хрущев был бы (или был?) солидарен с Сусловым.

В пенсионные годы Никита Сергеевич прочитал «Доктора Живаго» Пастернака. Книга не понравилась ему, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои, чуждые по духу и биографиям, многое, как он говорил, показалось несущественным, не входившим в круг его устремлений. Но тогда же он пожалел, что роман этот не был напечатан и с какой-то грустью признался: «Ничего бы не случилось...»

Это позднее признание показательно. Оно выражает взгляды Никиты Сергеевича не только на литературные процессы и взаимоотношения деятелей искусств с руководством в пору его пенсионных раздумий, но и на «технологию» обострений, случавшихся в то время, когда он был у власти. Что я имею в виду?

Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего выслушать, не принимал никаких возражений.

Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева. Но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963, «остром» году Никита Сергеевич посмотрел как-то на «Мосфильме» картину об американских летчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но, поднявшись в воздух, вопреки команде сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этой картины. Рассказывали, в какую ярость пришел Хрущев. Как же так, мы показываем наших потенциальных противников этакими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами?

Через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нем шла речь не только об этом фильме. В «черный список» включили немало других, в том числе и только что вышедший на экраны фильм «Девять дней одного года». Как главный редактор газеты я был ознакомлен с проектом этого постановления. Оно вызвало у меня смятение. Дело в том, что за несколько дней до этого «Известия» статьей А. Аграновского решительно поддержали фильм «Девять дней одного года», а «Правда» поместила резко отрицательную рецензию на него В. Орлова. Тогда я не

стал звонить главному редактору «Правды», чтобы выяснить причину отповеди нашей газете, не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем разница в оценках.

Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним из помощников Хрущева. Он подтвердил мои худшие опасения: раздраженная реакция Хрущева на фильм об американских летчиках проецировалась на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь, по сути, шла о резкой перемене взгляда на работы лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после XX съезда. Владимир Семенович Лебедев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. «Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения». «Когда, как?» — спросил я. «Прямо сейчас, времени в запасе нет. Хрущев один в кабинете (шел уже одиннадцатый час вечера), я доложу».

Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые. Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил ему обо мне.

Никита Сергеевич выглядел очень усталым. Спросил, в чем дело. Коротко рассказав о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушел. На следующее утро в ЦК было срочное совещание. Вел совещание Хрущев. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе и «Девять дней одного года», составлявшие гордость обновленного кинематографа, не упоминались там всуе.

Не так просто, как иным товарищам кажется, давались и мне, и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Хрущеву. Когда на Пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он удостоил меня нескольких реплик. Одну я запомнил хорошо. «Представьте себе,— говорил Суслов,— я открываю утром газету «Известия» и не знаю, что в ней будет напечатано».

В «отставке» Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с частью интеллигенции. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер — нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он «размахивал кулаками», стыдил, бранил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором Неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел он вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело».

Автором памятника на могиле Хрущева стал Эрнст Неизвестный.

На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал Президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренными негативными акцентами говорил Серов о Фальке и многих других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности». Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких личных оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.

Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой XX съезда. Иных вполне устраивало «застойное» личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе: вот ведь, на меня топал ногами сам Хрущев!

Иногда мне хочется спросить: была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после XX съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами,— легко ли сохранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнений одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но Система не сдавалась. Эта Система — самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясения XX съезда. Сломать ее в те годы не удалось. И кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего.

Хоть и говорят «не хлебом единым жив человек», однако жизнь его зависит прежде всего от хлеба. Существенное состояло в том, что наряду с устойчивой работой промышленности, важнейших ее отраслей, опорой на достижения научно-технического прогресса стабильнее развивалось сельскохозяйственное производство. На XXII съезде партии в 1961 году были приведены такие цифры: если за пятилетие с 1951 по 1955 год среднегодовое производство зерна составляло 5442 миллиона пудов, то с 1956 по 1960 год оно выросло до 7742 миллиона пудов. В пересчете на меру, которая принята у нас сейчас, это около 130 миллионов тонн.

Прирост зерновых поставок шел в основном за счет ввода в оборот пахотных земель на целине, но повышалась и урожайность. Деревня переставала быть той дойной коровой, из которой город и его промышленность без расчета черпали свои ресурсы, мало заботясь о том, чтобы соблюдался разумный баланс единого народнохозяйственного комплекса. Усиление материальной заинтересованности крестьян, продажа колхозам сельскохозяйственной техники и сосредоточение ее в одних хозяйских руках, введение гарантируемого минимума оплаты труда на селе, пенсий колхозникам, выравнивание их социального статуса в обществе приносили заметные плоды.

И в сельских делах случались серьезные срывы, в том числе вызванные нетерпением и очковтирательством. Рязанский «опыт», по которому выходило, что в три раза можно за короткий срок увеличить производство мяса, оказался чистой авантюрой, и секретарь Рязанского обкома партии Ларионов покончил самоубийством. В то время, когда казалось, что вот-вот мы перегоним Соединенные Штаты Америки по производству мяса на душу населения и вдоль шоссе красовались соответствующие призывы, часто рядом с выспренними фразами можно было видеть ироничные приписки: «Не уверен — не обгоняй».

И тут уж читатели вправе спросить нас, газетчиков тех лет: а где же были вы? Неужели видели, понимали и не нашлось мужества сказать правду? Неужели сам Хрущев в эйфории успехов растерял реальные представления о сельских делах и предпочитал жить в мире иллюзий? Неужели финал Ларионова не показался таким уж страшным? Не предостерег?

Сегодня можно бить себя в грудь, каяться, признаваться в трусости, поддакивании, любых прегрешениях. В основе куда более существенные просчеты. В экономике отсутствовала твердая концепция, происходило эклектичное смешение разных подходов к ведению хозяйства. Верх брали то «купцы», то «кавалеристы», и последние все чаще. Писать в газетах резко и открыто о промахах и просчетах экономического порядка становилось труднее. Однако в журналистских пороховницах был еще запас пороха.

Хорошо представляю себе душевное состояние редактора, любого сотрудника газеты в час, когда валы ротационной машины проглатывают нескончаемые ленты бумаги, материализуя слово, обращая его к миллионам читателей. На какой-то срок наступает опустошение, как будто из тебя что-то вынули.

Утром следующего дня усталость проходит, должна пройти.

Газетчики приносят одним радость, другим разочарование, а то и горе. Профессия эта не терпит равнодушных. Она сродни медицинской. Однако врач беседует с одним человеком, а газетчик, обозревающий работу дня на огромных просторах с участием множества людей, обращается к миллионам. Пишет ли он о герое или разоблачает рвача, вскрывает факты воровства и приписок, рассказывает ли об умном опыте,— он как натянутая тетива, а на ней множество стрел, и хочется, чтобы каждая попала в «десятку». Точность попаданий зависит от многого. Хуже всего,

когда перед самым выстрелом дергают за руку. Я с уважением отношусь к моим собратьям по профессии и знаю, как горьки такие одергивания.

В мае 1959-го я получил назначение в «Известия». Две главные редакции в моей судьбе — «Комсомолка» и «Известия». Многое довелось увидеть, узнать, понять, и нисколько не жалею об избранной профессии.

Считался я в ту пору редактором молодым — мне исполнилось тридцать пять, хотя, как оказалось, и не самым молодым в истории газеты. Один из моих предшественников, Л. Ф. Ильичев, принял «Известия» в тридцать четыре.

В редакционном коллективе работали опытные журналисты, тертые, ироничные. Мне показалось, что они несколько шокированы тем, что в солидную газету назначили «мальчишку».

При назначении было сказано, что необходимо как-то разделить сферы влияния «Правды» и «Известий» не только по формальной принадлежности (газета партии и газета Советов), но и по сути, уж очень они были одинаковые. Отыскивать варианты размежевания предстояло вместе со всем коллективом. Своеобразное напутствие получил я и от Анастаса Ивановича Микояна. Он рассказал мне следующее.

В 1947 году Сталин во время одного из заседаний не впервой заговорил о том, как формируется у нас общественное мнение. Мысль Сталина сводилась к тому, что хоть нет у нас и не может быть оппозиционной партии, нельзя забывать о возможности неофициальных взглядов и суждений. Если, считал Сталин, они не находят выхода, значит, вынуждены таиться, а знать правду необходимо и полезно, в особенности правящей партии, которая одна выражает интересы всех классов и социальных групп общества, полезно, если иметь в виду склонность кадров к спячке, зазнайству, некритичным оценкам.

Сталин рекомендовал расширить критическое поле деятельности «Литературной газеты», дать ей возможность выступать смелее. Закончил Анастас Иванович так: «Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ждать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой, где редактором был товарищ Симонов...»

Рукопись с моими заметками находилась в редакции «Знамени», когда там в третьем номере началась публикация последней неоконченной работы Константина Михайловича Симонова «Глазами человека моего поколения». Симонов воспроизводит разговор со Сталиным, который касался «Литературной газеты». Рассказанное мне Микояном и написанное Симоновым совпадает если не дословно, то по мысли.

Первый день работы в новом коллективе... Площадь Пушкина реконструировалась. Ангар кинотеатра «Россия» готовился принять зрителей. Здание газеты, образец конструктивизма 30-х годов, соседствовало с особняком, который называли домом Фамусова, хотя, как рассказывал мне знаток старой Москвы Виктор Васильевич Сорокин, к пьесе Грибоедова «Горе от ума» этот дом не имел прямого отношения. С легкостью необыкновенной старинный особняк снесли.

На двери в редакцию газеты висело небольшое объявление: «Парикмахерская работает с (далее шло указание часов), лица со стороны не обслуживаются». Я подозвал вахтера, и мы стали отдирать фанерку с объявлением, она поддалась, но вместе с ней рухнуло и большое стекло, засыпав пол мельчайшими осколками. В это время начал подходить редакционный народ, большинство прежде меня не видели, и я услышал не слишком вежливые остроты по поводу двух типов, нашедших время для дурацкого занятия.

Утренняя планерка началась с обсуждения планов очередного номера газеты. Все шло в каком-то замедленном темпе, я едва сдерживал раздражение. И сегодня больше всего не принимаю в людях, в их деловом поведении глубокомысленной неторопливости, скрывающей по большей части лень и равнодушие — черты, противопоказанные журналистам.

В конце планерки появилась уже знакомая читателям Соня с подручной. На двух огромных подносах они внесли в зал стаканы с чаем и бутерброды. Один из заместителей главного редактора, упреждая вопрос, наклонился ко мне и сказал: «Теперь мы будем зачитывать вслух передовую номера и обсуждать ее». Бутерброды аппетитно высились на подносе, но брать их не решались. Пробежав глазами передовую, я сказал: «Давайте отменим это правило? Достаточно, чтобы за качество передовой статьи отвечали ее автор, редактор отдела и главный». Потом я предложил заняться бутербродами, а сам углубился в чтение. Четыре машинописные странички содержали набор общих слов, штампованных призывов. «Как вы думаете, — обратился я к коллегам, — быть может, сегодня не будем печатать передовую статью?»

Внутренне я гордился своей решительностью. Однако вскоре узнал, что именно так поступал Юрий Михайлович Стеклов, редактировавший газету с октября 1917 до 1925 года. Он предпочитал вместо подобных никчемных передовиц ставить несколько конкретных заметок. Они так и назывались — «стекловицы». Мы часто прибегали к этому испытанному приему. «Стекловицы» известинцы писали охотно. Заметки шли с авторскими подписями. Пришлось отбиваться от «указующих» звонков, — я ссылался на Юрия Михайловича Стеклова. Ссылка на авторитеты — самый надежный способ успокоить проверяющих.

Вечером пошел по этажам редакции. В неприютных кабинетах стояли перекошенные шкафы, заваленные до потолка растрепанными подшивками журналов и газет, старый паркет во многих местах был залатан квадратами линолеума. По сравнению с «Комсомольской правдой» все казалось убогим.

Грязь и запустение во многих наших учреждениях иногда оправдывают теснотой, отсутствием уборщиц, множеством других обстоятельств. Все верно. Кроме одного. Заинтересованный человек найдет возможность достойно устроить свое рабочее место.

Вскоре известинцы провели первый (но не последний) субботник — убрали свой дом. Теперь не стыдно было принимать посетителей. А позже мы получили средства на капитальный ремонт здания. Так что перестраивали не только газетные полосы, но и редакционные помещения. Это был адский период. В пыли, грохоте, среди дурманящих запахов лака и краски отыскивали новые темы, новый ритм. Все стали двигаться быстрее. Меня очень поддержали тогда известинские корифеи — Татьяна Тэсс, Евгений Кригер, Александр Галич, Василий Коротеев... Они имели право не приходить в редакцию, получать задания по телефону, брать творческий отпуск. Но, видно, шум и грохот чем-то притягивали — они стали появляться все чаще и чаще.

Редакционный ремонт обернулся неожиданной стороной. Библиотеку эвакуировали во временное помещение, и молодые сотрудники отдела информации должны были перенести туда подшивки газеты прежних лет. Попросил давать их мне для просмотра. Подписав в свет номер, задерживался и листал старые страницы. Никакие рассказы очевидцев, сборники статей, ученые записки, даже кадры кинохроники не могут дать того, что содержит в себе такое знакомство. Кажется, будто эти номера выпустил в свет ты сам и они только что сошли с ротационной машины. Эти вечерние часы были не только путешествием к хлебу истории — фактам, но и к чувствам, ибо история живет и чувствами тоже.

Константин Сергеевич Станиславский считал: ошибается тот, кто думает, что жизнь даже очень целеустремленных людей — прямая линия между двумя точками. Прямая линия — отсутствие характера, индивидуальности, борьбы. Истинная линия жизни вся в изломанных острых отрезках, уходящих далеко от прямой, но постоянно возвращающихся, стремящихся к ней.

Читал стенографические неправленые отчеты с Пленумов ЦК двадцатых годов и поражался прямоте, откровенности, с какой говорили друг с другом выдающиеся партийные деятели. Не таились, не боялись обострений. Я, конечно, знал о партийных дискуссиях, университетский курс перечислял их с дотошной аккуратностью, но какими безжизненными каза-

лись мне еще не забытые лекции. Иной мир вставал со страниц старых подшивок.

Почти в каждом номере — дискуссионные статьи о стройках, проектах, книгах, научных работах, направлениях общественного развития, никто не боялся высказывать точку зрения, не совпадающую с утверждениями Сталина или других вождей партии.

А дальше пошли иные сюжеты. Думаю, если бы эти газеты увидел сегодня любой нормальный человек, он не поверил бы, что такое возможно, объяснимо, кому-то нужно. На четырех газетных полосах помещается около 80 машинописных страниц текста. Так вот, в некоторых номерах газет 1937—1938 годов всего десяток страниц содержали хоть какую-то деловую информацию. Остальное — статьи с разоблачениями врагов народа. Написаны они не столько сухо, а так, будто речь не о людях, а о неодушевленных предметах. Публиковались сообщения о раскрытых и арестованных группах, бандах, тайных контрреволюционных организациях. Призывы к бдительности не просто подталкивали, а требовали искать врагов повсюду — в сельских кооперативах, комсомольских организациях, в партийных, советских органах; среди военных, писателей, инженеров, агрономов, колхозников. В сотнях подробностей сообщалось о вражеской маскировке, необходимости всеобщего недоверия, подозрительности, поощрялись и восхвалялись доносы.

Все, что стало известно после XX съезда, касалось в основном видных партийных, советских, военных деятелей, интеллигенции, а здесь захватывалось низовое звено — маленькие, подчас совершенно незаметные люди выдавались за крупных замаскированных противников Советской власти.

Газеты одергивали, предупреждали, навостряли. В такой-то области недостаточно энергично ищут, там-то малодушествуют и т. д. Вверх выползали те, кто больше разоблачил, арестовал, осудил, выслал.

Подшивки двадцатых и подшивки сороковых! Перестраховщики изымали их из доступного оборота; их не выдавали в библиотеках без специального разрешения и после XX съезда партии. Но разве это допустимо — знать собственную историю по чьему-то разрешению и лишь узкому кругу лиц?! Наша история — это мы сами. На долю моего поколения пришлась череда сложнейших, а подчас и трагических перемен, но ничто не погасило в нас веры.

На одном из заседаний редакционной коллегии редактору отдела пропаганды Юрию Константиновичу Филоновичу было поручено подготовить биографические очерки о выдающихся деятелях страны, павших жертвами культа личности либо вычеркнутых из нашей истории по субъективным причинам. Нам казалось важным, чтобы читатели, в особенности молодые, знали не только их имена, но и судьбы. Такие материалы вызывали интерес, об этом мы знали по редакционной почте.

Очень скоро, однако, публикации начали встречать скрытое сопротивление. Дело было не только в разного рода звонках и «опровержениях», а в ощущаемом нами недоброжелательстве. Авторов материалов да и редакцию в целом часто запугивали: «О ком печетесь? Кого расхваливаете?»

Иногда складывались странные ситуации. Для «Недели» — приложения в газете — был набран очерк о командарме Второй конной Филиппе Кузьмиче Миронове. История этой армии, как и роль ее командующего, долго была за семью печатями. В очерке было рассказано о сложном боевом пути этого храброго человека.

Член казачьего отдела ВЦИК, неординарная личность, он в августе 1919 года вопреки запрету РВСР с недоформированным корпусом выступил из Саранска на фронт. Был арестован за нарушение приказа, приговорен Ревтрибуналом к расстрелу, но помилован ВЦИК. В то же время ЦК РКП(б) сняло выдвигавшееся против него обвинение в контрреволюционной деятельности. С сентября по декабрь 1920 года командовал Второй конной армией. За успешные бои против врангелевских войск в Крыму был награжден почетным революционным оружием и вторым орденом Красного Знамени.

Очерк журналиста В. Гольцева был уже сверстан. Поздним вечером в редакцию позвонил Семен Михайлович Буденный. Не знаю уж, каким образом и что ему стало известно, но он настойчиво советовал не печатать ничего об этом «предателе». До выхода газеты оставались считанные минуты, странное предупреждение Буденного обескуражило меня и Гольцева. Я решил позвонить домой М. А. Суслову. Коротко рассказал ему о разговоре с Семеном Михайловичем. Суслов был немногословен. «Печатайте», — отрезал он. Очерк вышел, но я почувствовал, как долго может жить в душе человека ненависть, далеко уводя в сторону от истины.

Миронов был убит во дворе Бутырской тюрьмы в 1921 году. Тайна этого так и не прояснена.

Звонок Буденного в редакцию «Известий» носил отнюдь не случайный характер. Он продолжал настойчиво бороться и с решением о реабилитации другого видного военачальника времен гражданской войны — Б. М. Думенко. Бывший вахмистр царской армии, Думенко активно включился в борьбу с донской контрреволюцией и уже к концу 1918 года командовал Сводной кавалерийской дивизией. Его помощником был С. М. Буденный. Первая Конная армия сформировалась на базе Сводного конного корпуса, во главе которого стоял Думенко. Владимир Ильич Ленин приветствовал героические подвиги конников Думенко. По ложному доносу Думенко был осужден и расстрелян. В 1964 году его полностью реабилитировали. «Известия» рассказали об этом человеке. Буденный уже не звонил в редакцию. Но в 1970 году во втором номере журнала «Вопросы истории КПСС» обрушился с нескрываемой злобой на своего бывшего командира. Его не смущал и факт реабилитации. Семен Михайлович хорошо чувствовал, что можно и чего нельзя, понимал разницу между 1964 и 1970 годами.

Уроки и опыт «Комсомольской правды» здесь, в большой официальной газете, какой считались «Известия», невозможно было применить впрямую, но и делать газету, как прежде, тоже не хотелось. Невеликий тираж солидного издания не делал ему чести. Сложность состояла не только в том, чтобы готовить материалы более острые, злободневные, но, что оказалось труднее, — человечные. Какими бы извилистыми путями ни шла в ту пору общественная жизнь, главное в ней определялось, я бы сказал, раскрепощением души человека.

Тяга к открытости, к искренности, дружелюбию, взаимопомощи была основой перемен, определяла общественный оптимизм. Две публикации в «Комсомольской правде», напечатанные почти перед самым моим уходом в «Известия», такие разные по сюжетам, связывались единством моральных принципов и до сих пор остаются, с моей точки зрения, хрестоматийными образцами человечной журналистики. Я говорю об очерке Нины Александровой «Чужие дети» и публицистическом репортаже Аркадия Сахнина «Эхо войны».

Очерк Нины Александровой прост. Это история любви и преданности, выдержки и благородства двух взрослых и двух детей, нечаянный случай, обыденная драма, даже мелодрама, а за ней — высокие страсти, не на сцене, а рядом с нами, на нашей улице, в наших днях; сила любви и спасение в ней — вот о чем писала прекрасный журналист, наша Нина. «Чужих детей» экранизировали, передавали в радиоспектаклях, читали вслух. Нет, не сентиментальные реминисценции в духе Чарской привлекали умы и сердца читателей. Миллионы людей услышали сигнал «SOS» и вытаскивали себя из безразличия и апатии...

Нина Александрова перешла на работу в «Известия». Она погибла трагически. Отправилась в командировку, чтобы проверить читательское письмо. Самолет потерпел аварию...

Репортаж Аркадия Сахнина был о другом. Эхо войны раздалось близ Курска, где нашли огромные склады боеприпасов, оставленных немцами при отступлении. Сотни бомб, снарядов, мин, упрятанных под землю, — это миг до трагедии, ведь рядом жило множество людей.

Аркадий поехал к саперам. Он видел молодых солдат, не прошедших испытания войной, их старших товарищей, поседевших в минувших боях, за смертельно опасной работой. Любое неверное движение могло стать последним. Скупо и сдержанно Сахнин написал о продолжении войны в мирное время.

Время смещает некоторые важные события, и они нечетко фиксируются памятью по срокам. XX съезд партии вошел в сознание миллионов людей мужественной правдой, разоблачавшей культ личности Сталина. Тогда же был принят и ряд других важнейших решений, определены новые теоретические и практические подходы в мировой политике. Вырабатывалось, говоря современным языком, политическое мышление, адекватное сложившейся расстановке классовых сил в мировом сообществе.

В решениях съезда подчеркивалось, что в современных условиях не существует фатальной неизбежности войн и что мирное сосуществование — единственно возможная форма отношений между государствами с различной политической, идеологической и социальной основами. В условиях, когда ядерное оружие во все большей степени становилось фактом острой и рискованной политики, наша партия еще раз подтвердила верность ленинским идеалам мира. Общественность высоко оценила значение этих заявлений XX съезда.

Первый в истории отношений между двумя великими странами визит главы Советского правительства в Соединенные Штаты Америки стал конкретным выражением нашей решимости не только декларировать свои цели и намерения, но и подкреплять их делами.

Илья Эренбург в статье «Время надежд», опубликованной в «Известиях» накануне визита, писал, что приглашение Хрущева в США в равной степени идет от правительства этой страны и от ее народа...

В нью-йоркском «Колизее» только что завершила работу советская выставка «Наука, техника, культура в СССР», ее открывал член Президиума ЦК партии, секретарь ЦК Ф. Р. Козлов. Посетили выставку президент Д. Эйзенхауэр и вице-президент Р. Никсон и дали ей высокую оценку.

У нас была еще низкая производительность труда, отставала технология, удручали качество многих изделий легкой промышленности, состояние сельскохозяйственного производства, но через четырнадцать лет после окончания опустошительной войны наши надежды опирались на крепнущий материальный фундамент.

Во времена «холодной войны», провозглашенной Черчиллем в 1946 году, появился термин «железный занавес». Не откажешь западным журналистам в хлесткости выражений. Оставим в стороне спор о том, кто и с какими целями опустил этот занавес между Востоком и Западом — его «поддерживали» с обеих сторон. И вот этот занавес, кажется, начал подниматься и открывать миллионам людей мир, в котором все активнее проявлялось человеческое взаимодействие...

14 сентября 1959 года Хрущев отбыл в США.

Ту-114 после долгого разгона оторвался от бетонных плит взлетной полосы, и сразу пропал грохот мощных турбин, он как бы остался на земле. Салоны самолета, в то время самого большого в мире, казались чрезвычайно просторными. Летел вместе с Хрущевым и сын Андрея Николаевича Туполева Алексей — авиаконструктор, один из создателей Ту-114. Андрей Николаевич, прощаясь, шутил: «Не волнуйся, Никита Сергеевич, за новую машину, я тебе в виде заложника сына отдаю. Знал бы, что дело ненадежное, полетел бы сам». Андрей Николаевич практически ко всем обращался на «ты», к Хрущеву тоже, но это было, пожалуй, не данью привычке, а знаком уважительной близости.

Под крылом самолета лежал Атлантический океан. Четыре года назад его волны резал форштевень пакетбота «Иль де Франс» — семь советских журналистов, и я в их числе, плыли в Америку. Как встретит она советских людей теперь? Иной уровень визита, иные времена.

Никита Сергеевич вместе с Алексеем Туполевым осмотрел самолет. Близ пилотской кабины по обе стороны фюзеляжа мирно спали какие-то люди. Алеша Туполев сказал, что это заводские инженеры-мотористы и что он сейчас их разбудит. «А зачем у этих товарищей наушники?» — спросил Хрущев, останавливая Туполева-младшего. Тот ответил: «В их обязанность входит прослушивание работы двигателей». «Пусть спят, — сказал Хрущев, — их ничего не тревожит, значит, моторы работают нормально».

В апреле Никите Сергеевичу Хрущеву исполнилось 65 лет. Пять из них он — на посту Первого секретаря ЦК КПСС и полтора — Председателя Совета Министров СССР. Хрущев полон сил. Его личная энергия сливается с энергичными делами в стране. Приглашение посетить США мировая пресса назвала сенсацией. Можно понять настроение человека, на долю которого выпала такая миссия.

Никита Сергеевич знакомится с американским штурманом Гарольдом Ренегаром. Американец спрашивает о нашей второй космической ракете, доставившей на Луну советский вымпел. Хрущев просит принести ящичек с вымпелом. Показывает его Ренегару. Тот с наигранной простоватостью произносит: «Здорово придумали! Одну такую штуку запустили на Луну, а вторую запускаете к нам, в Америку».

Протокол встречи высокого гостя соединяет в себе пристрастие американцев к своей недолгой истории — автомобильный кортеж окружен конными всадниками в костюмах эпохи борьбы Штатов за независимость. Огромные толпы народа, заполонившие подъезды к городу и широкие проспекты Вашингтона, — в странном оцепенении. Лица удивленные и настороженные. В руках у многих американские и советские флажки, но ими не размахивают...

Сказать коротко, Америке понравился Хрущев. Честной и смелой постановкой сложных проблем современного мира, контактностью, способностью понять собеседника, его настроение: серьезно, так серьезно, в шутку, так в шутку, с напором, так с напором.

Каждый на улице или на железнодорожной станции, в цехе завода, столовой самообслуживания, среди пышных декораций Голливуда, на изысканном обеде, каждый журналист (а наших коллег в «хвосте» Хрущева было около пяти тысяч — рекордное по тому времени число сопровождающих для всех гостей США) открывал в Хрущеве не только и не столько политического деятеля великой страны, но и понятного, искреннего, взрывного человека. Они поверили, что он приехал с дружескими намерениями. Маршрут поездки лежал через многие американские города. С запада на восток и обратно.

Спустя три месяца несколько советских журналистов, сопровождавших Никиту Сергеевича, написали книгу «Лицом к лицу с Америкой». Она вышла большим тиражом, издавалась на многих языках. Не знаю, куда подевались экземпляры этой книги с иных полок, но когда ко мне обращаются с просьбой дать прочесть, предупреждаю, что сохранился у меня один экземпляр. Спрашивал книгу в разных библиотеках — нигде нет. Да и шутка сказать: миновало без малого тридцать лет!

О том, что и как происходило в Америке в ту пору, яснее станет из отчета самого Никиты Сергеевича о поездке. Прилетев в Москву, он прямо с аэродрома направился в Лужники, где во Дворце спорта произнес речь, наметки которой продиктовал в самолете. Правда, записи эти ему, как часто бывало, практически не понадобились — он говорил не по бумажке. Приведу несколько отрывков из этой речи.

«...С первых шагов по американской земле меня начали так усиленно охранять, что не было никакой возможности вступить в контакт с рядовыми американцами. Эта охрана превратилась в своего рода домашний арест. Меня начали возить в закрытой машине, и я только в окошко мог видеть людей, которые нас встречали. А люди приветствовали, хотя зачастую и не видели меня.

Я далек от того, чтобы все те чувства дружбы, которые выражались американским народом, принять на свой счет или даже на счет нашей коммунистической идеологии. В этих приветствиях американцы заявляли нам, что они так же, как и мы, стоят на позициях борьбы за мир, за дружбу между нашими народами.

В первой половине путешествия нам бросилось в глаза, что повторялась одна и та же пластинка. Ораторы утверждали, что будто я когда-то сказал, что мы «похороним капиталистов». В начале я терпеливо разъяснял, как это было в действительности сказано, что мы «похороним капитализм» в том смысле, что социализм придет неизбежно на смену этой отживающей свой век общественной формации так же, как в свое время на смену феодализма пришел капитализм. В дальнейшем я увидел, что люди, которые настойчиво повторяют подобные вопросы, вовсе не нуждаются в разъяснениях. Они ставят определенную цель — запугать коммунизмом

людей, которые имеют очень смутное представление о том, что это такое.

В городе Лос-Анджелесе на одном из приемов, где мэр города, который не хуже других мэров, но, быть может, менее дипломатичен, опять начал говорить в таком духе, я был вынужден высказать свое отношение к этому.

Я заявил: вы хотите мне организовать в каждом городе, на каждом собрании демонстрацию неприязни? Если вы так будете меня встречать, то что же, как говорится в русской пословице, «от чужих ворот невелик поворот». Если вы еще не созрели для переговоров, если вы еще не осознали необходимости ликвидации «холодной войны» и боитесь, что она будет ликвидирована, хотите ее продолжать, то нам ветер тоже не дует в лицо, мы можем терпеть...

Мне пришлось тогда вступить в дипломатические переговоры. Я попросил министра иностранных дел товарища Громыко пойти и заявить представителю президента г-ну Лоджу, который меня сопровождал, что, если дело не будет исправлено, я не сочту возможным дальше продолжать свою поездку и должен буду вернуться в Вашингтон, а оттуда в Москву.

Должен сказать, что такие переговоры через товарища Громыко имели место ночью, а когда утром я проснулся, действительно все изменилось. И когда мы из Лос-Анджелеса поехали в Сан-Франциско, с меня были сняты, образно говоря, «наручники», и я получил возможность выходить из вагона, встречаться с людьми...

Слушая мое выступление, кое-кто может подумать, что Хрущев, говоря о дружественных встречах, утаил враждебные демонстрации. Нет, я не собираюсь замалчивать факты враждебного или неприязненного отношения к нам. Да, такие факты были. Знаете, как американские журналисты были моими спутниками в поездке по США, так и фашиствующие беглецы из разных стран кочевали из города в город, выставляя напоказ несколько жалких плакатиков. Встречались нам и злые, и хмурые американские лица...

Было очень много хорошего, но не нужно забывать и плохое. Этот червячок, вернее червячище, еще жив и может проявить свою жизненность и в дальнейшем...

...Президент проявил любезность, пригласив меня на свою ферму. На ферме я познакомился с внуками президента и провел с ними совещание. Спросил, хотят ли они поехать в Россию. Внуки в один голос от мала до велика заявили, что хотят ехать в Россию, хотят ехать в Москву. Старшему внуку 11 лет, младшей внучке 3—4 года. Я заручился их поддержкой. В шутку я сказал президенту, что мне легче договориться об ответном визите с его внуками, чем с ним самим, потому что у внуков хорошее окружение, а у него, видимо, имеются какие-то препятствия, которые не дают возможности реализовать его желание в таком духе и в то время, когда он хотел бы.

Время — хороший советчик, как говорят русские люди: «Утро вечера мудренее». Это мудро сказано. Давайте мы обождем утра, тем более что мы прилетели в конце дня и я выступаю уже вечером. И может быть, пройдет не одно утро, пока мы хорошенько выясним это. Но мы не будем сидеть сложа руки и ожидать рассвета, ожидать, куда будет склоняться стрелка международных отношений.

Но и со своей стороны будем делать все, чтобы стрелка барометра шла не на бурю и даже не на переменно, а показывала бы на ясно...»

Во время пребывания в Соединенных Штатах Америки Хрущев выступил и на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он внес предложение о всеобщем и полном разоружении. Больше чем кто-нибудь другой Хрущев знал, как далеки мы были в то время от такой радужной перспективы. И вместе с тем первое слово было сказано. Хрущев призывал к решительному шагу, высвечивая цель, предвидя тяжесть пути к ней, подчеркивая, что Советская страна готова со всей возможной активностью начать работу по переустройству мировых взаимоотношений от разобщенности — к единству, от распрей — к дружбе, от несправедливости — к честности и доверию.

За несколько дней до этого выступления у Никиты Сергеевича был непротокольный разговор с Д. Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде, летней резиденции президента. Вспоминали вторую мировую войну, знаменитые сражения. Вдруг Эйзенхауэр спросил Хрущева, каким образом Советское правительство регулирует выделение средств на военные программы. «А как вы, господин президент?» — поинтересовался, в свою очередь, Никита Сергеевич. Эйзенхауэр развел руками, прихлопнул по коленке: «Прибегают ко мне наши военные, расписывают, какие у русских потрясающие военные достижения, и тут же требуют деньги, — не можем мы отстать от Советов!»

Гость и хозяин рассмеялись. Никита Сергеевич часто пересказывал этот эпизод.

Видно, неспроста заговорил Эйзенхауэр с Хрущевым о том, кто взвинчивает гонку вооружений. В конце своей президентской карьеры он предупредил нацию о не поддающемся контролю влиянии военно-промышленного комплекса США. Этот комплекс может стать самодействующей политической силой, способной втравить Америку в страшные авантюры.

Наша страна демонстрировала свое миролюбие конкретными действиями. На январской сессии Верховного Совета СССР 1960 года Н. С. Хрущев так охарактеризовал динамику развития Советских Вооруженных Сил за несколько десятилетий. В 1927 году они насчитывают 586 тысяч человек; в 1937-м — 1 433 тысячи; в 1941-м — 4 207 тысяч; в 1945-м — 11 365 тысяч; в 1948-м — 2 874 тысячи; в 1955-м — 5 763 тысячи; в 1955—1958 годах — 3 623 тысячи. От имени Советского правительства на этой сессии он внес предложение провести очередное сокращение советских войск еще на 1 200 тысяч человек. Наши вооруженные силы составят 2 423 тысячи солдат и офицеров, это меньше того уровня, который обусловливали западные державы. Верховный Совет СССР принял это предложение. «Известия» публикуют дружеский шарж. Перед строем солдат — Н. С. Хрущев. Звучит команда: «Каждый третий — выходи!» На этой же сессии было принято Обращение Верховного Совета СССР к парламентам и правительствам всех государств о мире — основе советской внешней и внутренней политики. Кажется, на земном шаре становилось спокойнее.

Время ткет полотно человеческого бытия как бы произвольно, и нечасто мы задумываемся над тем, что жизнь и действия каждого человека — частичка исторического процесса. Из старой книги, которую я взялся перечитать, выпал выцветший листок. Вспомнил, что его передал мне во время визита во Францию Н. С. Хрущева незнакомый человек, назвавшийся другом нашей страны...

Над двумя гербовыми сургучными печатями слова: «Союз свободы». Чуть ниже — размашистые росписи коменданта батальона и префекта. 3-й дивизион батальона Сен Клу. Затем крупным шрифтом: «ДИПЛОМ ВОЛОНТЕРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ». Патент выдан до того, как парижане сровняли с землей Бастилию — ненавистную цитадель насилия...

Но самое удивительное то, что диплом волонтера Национальной гвардии Парижа выдан русскому человеку! «Мы, нижеподписавшиеся, — значится в нем, — заявляем, что данный диплом выдан господину Николаю Грачеву. Возраст 49 лет, рост 5 стоп, 1 локоть, 3 линии, волосы и брови — шатен, глаза — голубые, нос — длинный. Зарегистрирован 13 мая 1790 года, присвоено звание младшего лейтенанта Национальной гвардии Сен Клу, что и подтверждает ведомственный протокол...»

В наших исторических исследованиях имя Николая Грачева не встречается. По-видимому, русский волонтер был среди тех, кто штурмовал Бастилию, так как через одиннадцать месяцев после этого он получает высокое по тем временам звание младшего лейтенанта. Наполеон в ту пору только генерал.

Екатерина II отзывает из Парижа русскую колонию. Возвращается ли на родину Николай Грачев? Да и жив ли он к этому времени? Уже

немолодой, а значит, вполне сложившийся человек берет в руки оружие. Там, во Франции, он отстаивает свои убеждения.

Этот старинный документ о русском офицере во Франции конца восемнадцатого века воскресил в памяти историю еще одного офицера.

Есть в маленьком французском городке Энен-Льетар, похожем на наши донбасские угольные городки, военное кладбище. На белой плите надпись: лейтенант Красной Армии Василь Порик. Фашисты захватили его раненым в плен. Из концлагеря бежал. Долго блуждал по европейским дорогам, пока нашел пути в отряд маки́, состоявший из шахтеров. Те спрятали его в старом выработанном забое, спасли от фашистских ищеек. Василь Порик стал вскоре командиром отряда, выучил язык боевых товарищей и отличался от них только тем, что носил форму лейтенанта Красной Армии, подтверждая этим верность присяге и Родине.

Фашисты схватили и расстреляли Порика в июле 1944 года в Аррасе. Позже боевые товарищи похоронили его в братской могиле. Только после войны имя его стало известно. Посмертно Порик был удостоен звания Героя Советского Союза. На могильной плите высечена Золотая Звезда, и постаревшие ветераны, приходя сюда, отдают Василю воинские почести...

Советские люди сражались с фашистами в разных странах Европы. Только в землю Франции легли двадцать тысяч наших соотечественников, многие из которых, подобно Порику, были солдатами Освобождения. Этот политический термин не стал еще расхожим, однако они понимали значимость того, что делали. Здесь, во Франции, они сражались за свои дома и за Францию, как летчики полка «Нормандия—Неман», которых судьба привела на русские боевые аэродромы.

Все это живо в нашей памяти, важно, чтобы хранилось и в будущем. Чтобы передавались по цепочке имена, не забывались события, судьбы людей, высшие проявления человеческой доброты, храбрости, но и зла. В этом тоже есть свой смысл.

Там, где сражался и жил Василь Порик, я встретил многих его боевых товарищей—русских и украинцев, бежавших, как и их командир, из фашистского плена и воевавших в отрядах маки́. Большинство из них работали в шахтах, они обзавелись семьями, но не «офранцузились» — все в их домах было на родной манер: еда, привычки, песни, а главное— слово, речь. Я спросил, отчего не вернулись на Родину, как только кончилась война? Молчание повисло в воздухе. Долгой была пауза, а потом кто-то сказал: «Мы очень хотели вернуться. Кому удалось добраться до дому, получили 25 лет за измену Родине...»

Те, кто сразу после окончания войны отправлял советских пленных, освобожденных Советской Армией, «для фильтрации», а затем многих в лагеря,— проявляли не просто бессердечие. Вновь пошли в ход аморальные принципы 37-го — сажай как можно больше, хоть один, да виноват—все это, конечно, сопровождалось разговорами о бдительности.

Многое должно было измениться и начало меняться в пятидесятые годы. Мир становился в ту пору более открытым, но и более уязвимым. При всей разобщенности стран и народов мы начали ощущать важность того, что происходило не только в ближнем окружении, но и за линией нашего дома и собственных границ. Мировая политика выходила на всеобщее обозрение и на всеобщий суд. Мир обретал иной облик. Еще не стали повседневным обиходом многие глобальные понятия, не так тревожно, как теперь, судили мы об экологических проблемах; нам казалось, что леса вечны, пашня плодородна, реки и моря не оскудевают рыбой, мы еще гордились удачливыми китобоями плавбазы «Слава» капитана Соляника—они возвращались в Одессу под гром духовых оркестров.

Панический ужас перед всепроникающей радиацией еще не проник в людское сознание так, как в Хиросиме и Нагасаки. Советский Союз первый из ядерных держав добивался прекращения ядерных испытаний, но мы одновременно заявляли, что создали бомбу, от взрыва которой вылетят стекла во многих домах земного шара. В то время как раз и обозначилось мнение академика Андрея Дмитриевича Сахарова на этот счет. Он был против испытаний бомбы.

Дурные привычки заразительны. Мы научились бить стекла в домах, арендованных в Москве иностранными посольствами, причем делали

это с не меньшей экспрессией, чем в тех заграничных столицах, где швыряли камни в окна советских посольств. Вскоре дипломатия выбитых стекол исчерпала себя. Мир проходил через кризисные сроки, проникаясь сознанием того, что земной шар един и неделим. В том времени тесно соседствовали добро и зло.

Сюжет первый. 18 января 1960 года.

Курилы. Шторм. Зафиксировано ЧП. От причальной стенки шквальный ветер ночью оторвал небольшую десантную баржу с четырьмя дежурными солдатами. Поиски результатов не дали. Шла неделя за неделей. Баржу посчитали пропавшей без вести.

И вдруг вечером 12 марта в редакцию «Известий» поступило сообщение американского агентства. Пилот самолета, базирующегося на авианосце «Кирсардж», во время патрулирования обнаружил в океане странное судно. Снизившись, разглядел четверых солдат в советской военной форме. «Кирсардж» изменил курс и направился к нашей барже.

Обзваниваю соответствующие учреждения, спрашиваю, нет ли дополнительных сведений. Но сведений нет вообще. Звонок из «Известий» привел в действие какие-то сложные механизмы. Получаю указание: «Материал не печатать, возможна провокация». Приходится ввязаться в телефонные переговоры с безликой толпой запретителей. Они отфутболивают меня от одного телефона к другому, явно тянут время до конца рабочего дня. Собирается редколлегия, и мы решаем действовать. Если все пройдет хорошо, нас не прочь будут похлопать по плечу: «Молодцы, так держать!», а при неудаче—как говорят газетчики, «проколе»—занесут непослушание в особую тетрадочку, своего рода дневник по поведению. Редактор, увы, должен всегда помнить о том, сколько у него скопилось «неудов».

Собственный корреспондент «Правды» в Америке, мой товарищ по «Комсомольской правде» Борис Стрельников, сообщает новые подробности. Прошу его собрать журналистов (корреспондент «Известий» в это время в Америке отсутствовал) и спешно отправиться в Лос-Анджелес встретить ребят.

Наконец, четверо парней на берегу. То, что они выдержали и то, как вели себя, вызывает в Америке взрыв удивленного восторга. Сорок девять дней в океане. Штормовые ветры силой от 60 до 120 километров в час. Одна банка консервов и несколько буханок хлеба. Вода только дождевая. Съедены сапоги, ремни, меха гармоники. Парни потеряли по 15—16 килограммов веса, обросли бородами, солнце и ветер превратили их лица в маски, но они не пали духом.

Для Америки это еще одно подтверждение особого характера советского человека. «Известия» отводят подвигу ребят целую полосу. Группа журналистов пишет документальную повесть. Министр обороны Советского Союза Маршал Р. Я. Малиновский награждает солдат орденами Красной Звезды. Филипп Поплавский, Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Иван Федотов—многонациональный экипаж в «Известиях». У нас двойная радость: за парней и за газету.

Сюжет второй. 1 мая 1960 года.

Во время парада Хрущев нервничал. То и дело к нему на трибуне Мавзолея подходил военный, отзывал в сторону. После очередного доклада Хрущев сдернул с головы шляпу и, широко улыбаясь, взмахнул ею над головой. Настроение у него исправилось.

Подробности происшествия в день Первомая станут достоянием широкой общественности во время майской сессии Верховного Совета СССР, но перед этим американской стороне будет официально заявлено, что над советской территорией сбит самолет-шпион, совершавший разведывательный полет. Правительство СССР расценит акцию как недружественную, направленную на подрыв мирного сотрудничества между двумя странами, возвращение в международную практику «холодной войны».

Американцы сделали вид, что ничего не знали о самолете. Им трудно было предположить, что летчик спасется на парашюте. Такие полеты американские летчики совершали не единожды, но мы не способны были пресечь их диверсии, так как наши истребители-перехватчики проигрывали

американским по высотным характеристикам. Безнаказанность притупила бдительность американских военных.

Дипломаты и корреспонденты зарубежных газет, радио и телевидения задолго до начала заседания Сессии Верховного Совета СССР заполнили все гостевые места в Большом Кремлевском Дворце. Разыгрался своеобразный политический спектакль.

Депутаты и гости сессии увидели увеличенные до размеров плаката фотографии: аппаратура самолета, фотопленка, запечатлевшая ряд районов советской территории, снимок бесшумного пистолета, который Пауэрс мог пустить в дело при вынужденной посадке, игла с ядом, предназначенная на тот случай, если единственным выходом из положения будет смерть.

Советская зенитная ракета сделала свое дело. Самолет-шпион «У-2» был сбит с первого пуска.

Суд над Пауэрсом поставил под сомнение саму возможность совещания на высшем уровне, которое должно было состояться осенью 1960 года в Париже. Хрущев отправился туда с твердым требованием: Эйзенхауэр должен принести извинения Советскому Союзу и дать гарантии прекращения шпионских полетов. Президент США это требование не принял. Совещание на высшем уровне было сорвано.

И все-таки поиск путей к смягчению международной напряженности продолжался. Хрущев отправился на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Осенью 1960 года Америка встречала Никиту Сергеевича отнюдь не с распростертыми объятиями. Когда турбоход «Балтика» — небольшое судно туристского класса — подходил к Нью-Йорку, стало известно, что портовые рабочие бастуют, принять швартовы некому. Пришлось загодя высадить команду моряков «Балтики» на аварийную шлюпку, чтобы они приняли судно у причала. Операция эта довольно сложная, так как неизвестна была сила приливной волны и другие особенности нью-йоркской бухты. Однако все обошлось без накладок.

На подходе к Нью-Йорку капитан спросил Никиту Сергеевича, где просить место стоянки, назвал цену пирсов — от «королевского» (а это стоило больших денег), до «угольного», где швартоваться было неловко. «Угольный» причал отклонили и выбрали тот, что по соседству, — кажется, рыбацкий. Кроме товарищей из советского посольства, посольств социалистических стран и некоторых дружественных государств, никто не встречал пассажиров «Балтики». На ее борту были Хрущев, Громыко, главы государств и правительств социалистических стран Европы. В этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые участвовали высшие руководители многих государств мира.

Группа журналистов, сопровождавших Хрущева, сойдя с судна, сбилась у обшарпанной стенки какого-то склада, и нас в упор начал разглядывать дюжий полицейский. Дмитрий Петрович Горюнов, генеральный директор ТАСС, почему-то привлек его особое внимание. Горюнов глядел на полицейского, попыхивая сигаретой. Полицейский неторопливо двинулся к нему и показал пальцем на плакат, висевший на стене: «За курение штраф 10 000 долларов». Дмитрий Петрович прочитал и, подойдя к борту деревянного настила, швырнул окурок в воду. Московская сигаретка «Новость» какое-то время крутилась в грязных потоках мусора, а потом исчезла. Горюнов сказал: «Поплыла домой», — и отошел от плаката. Журналисты направились в небольшую гостиницу «Солгрейв» по соседству с советским представительством.

Пребывание Никиты Сергеевича в Нью-Йорке было довольно продолжительным. Как глава делегации он выступал по всем основным вопросам повестки дня, внимательно слушал других ораторов, подчеркнуто являя образец дисциплинированного политического деятеля, не пренебрегающего своими обязанностями; вновь поднял вопрос о всеобщем и полном разоружении, призвал покончить с позорной системой колониализма. Однажды ему предстояло выступить на утреннем заседании, а в зале после воскресного дня было не больше десятка представителей различных стран. Это возмутило Хрущева. Обращаясь к председательствующему и к Генеральному секретарю ООН Хаммаршельду, он потребовал кворума. «Народы мира,— восклицал Хрущев, — думают, что их полномочные представители в ООН неустанно борются за мир, за справедливость, а на самом деле многие господа, видно, не пришли в себя после воскресных развлечений». Был объявлен краткий перерыв. Зазвонили телефоны. Можно предположить, как вытаскивали на заседание иных непроспавшихся делегатов: «Приезжайте, Хрущев скандалит». Вскоре зал и галерея для гостей были полны. Публика мгновенно узнавала, как разворачиваются здесь события.

Журналисты видели, насколько тяжко дается Хрущеву это «нью-йоркское сидение» — почти постоянная привязанность к одному месту, невозможность двигаться, ограниченность контактов. По многу часов с балкона здания представительства СССР в ООН Хрущев отвечал на вопросы американских и других иностранных корреспондентов. Несколько десятков, а в иные дни и сотня репортеров загромождали всю проезжую часть улицы штативами фото- и кинокамер, и Никита Сергеевич вел откровенные беседы на вольные темы. Иногда на улице выстраивались цепочкой пикетчики с плакатами. Хрущев обращался и к ним. Никакие, самые каверзные вопросы и реплики не ставили его в тупик и не вызывали раздражения. В худшем случае он покачивал головой и стыдил вопрошающего: «Вот ведь вы, кажется, неглупый молодой человек, а какой ерундой забита ваша голова». Нередко из толпы журналистов раздавалось: «Мистер Хрущев, ваша белая рубашка на красном фоне стены — хорошая мишень, поостерегитесь!».

Когда «Балтика» пришвартовалась в нью-йоркском порту, сбежал один из членов команды. Газетчики буквально накинулись на Хрущева с вопросами. Он задумался (а надо сказать, что ему об этом ничего не сказали), переспросил, о чем речь, явно выигрывая время, и простодушно заметил: «Что же этот молодой человек не обратился ко мне за советом и помощью? Я бы помог ему и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас, пропадет, а жаль...» Тема была исчерпана. В газетах напечатали ответ Хрущева и на том успокоились.

Состоялась у Никиты Сергеевича необычная встреча. Решение посетить Фиделя Кастро в гарлемской гостинице могло иметь непредсказуемые последствия.

Хрущев отправился к Фиделю Кастро, созвонившись с ним по телефону. Он не предупредил полицию и другие службы безопасности о своем намерении, так как считал, что любой член делегации, работающий на Ассамблее ООН, имеет право свободно передвигаться по городу в районе Манхэттена. Поначалу автомобиль Хрущева спокойно ехал в общем ряду. Но на полдороге полиция перехватила его машину и одним своим присутствием, воем сирен, неуклюжими маневрами привела в смятение весь поток транспорта. Возникла грандиозная сумятица. Известно, как разгораются страсти во время пробок. Многие водители поняли, из-за чего это вавилонское столпотворение. Добавилась и политическая злость. В машину Хрущева полетели помидоры и яблоки, раздались ругательства... Спасло только мастерство и хладнокровие советского шофера. Возле гостиницы бурлила толпа. Негры, пуэрториканцы, бежавшие с Кубы контрас. Одни выкрикивали приветствия, другие — проклятия.

Охрана Хрущева «пробила» узкий проход в толпе и протолкнула Никиту Сергеевича в холл. Лифт поднял его на этаж к Фиделю Кастро. В небольшой комнате не то что сесть, стоять было негде.

Хрущев и Кастро обнялись. Маленький толстый человек с венчиком седых волос — и исполин с черной как смоль бородой и пышной шевелюрой. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Я понял, почему Хрущев решил поехать к Кастро. Одно дело — принимать его в официальной резиденции советского представительства при ООН, другое — встретиться здесь, в Гарлеме, не чинясь возрастом и положением, по-братски.

Набившийся в комнату народ, радостно возбужденный, расступился и дал возможность Никите Сергеевичу и Фиделю Кастро поговорить некоторое время с глазу на глаз. За окном на площади перед гостиницей бушевал теперь уже стихийный митинг. Куда-то исчезли контрас, и вся площадь взрывалась громом приветствий: «Хрущев!», «Кастро!», «Патриа о муэртос!» «Родина или смерть!»

На календаре 1961 год. Плотно, опасно плотно стоят во многих точках войска противоборствующих сторон. Ждать беды можно отовсюду. Это понимает новый президент Соединенных Штатов Америки Джон Фицджеральд Кеннеди, принесший присягу 1 января 1961 года. В его инаугурационной речи много слов о мире. Однако в апреле он дал добро на первую атаку против Кубы. Банды наемников и контрас были разбиты на Плайя Хирон. Революционная Куба выдержала испытание боем.

В июле Кеннеди встречался в Вене с Хрущевым. Хрущев, заметив, что нападение на Кубу произошло 17 апреля, в его, Хрущева, день рождения, спросил президента, не было ли в этом какого-то умысла. Президент не поддержал шутки. Вернувшись со встречи, Никита Сергеевич резюмировал переговоры с долей надежды: «Молодой президент, кажется, готов слушать доводы другой стороны. Во всяком случае, он отмежевался от утверждений о прямом участии Соединенных Штатов Америки в антикубинской операции».

Так примерно говорил Хрущев и мне перед срочной командировкой в США. Дело состояло в том, что совершенно неожиданно мне поручили взять у президента Кеннеди интервью. Время для этого было не самое подходящее. На этот раз грозовые тучи сгущались у Западного Берлина. Американцы обострили здесь ситуацию до предела к октябрю, когда Германская Демократическая Республика создала вместо условной разграничительной линии между Западным и Восточным Берлином настоящую границу. «Берлинская стена» привела в бешенство западногерманских ультра. Визит Кеннеди в Западный Берлин подлил масла в огонь, но реальные политики понимали, что оснований для вмешательства нет. Международное право на стороне ГДР. Каждая страна сама решает проблему обустройства своих границ.

В дни работы XXII съезда КПСС в октябре 1961 года в Западном Берлине очень неспокойно. На Фридрихштрассе, у контрольно-пропускного пункта, пушка в пушку стоят американские и советские танки с работающими моторами. Легко представить, насколько напряжены нервы танкистов. Как долго это может продолжаться? Как зыбка, как малоуправляема ситуация, когда от экипажей советских и американских танков зависят судьбы миллионов людей. Один выстрел в Сараево подтолкнул человечество к первой мировой войне, а здесь может быть шаг до третьей...

Шло очередное заседание съезда. Кажется, 20 или 21 октября в комнату президиума пришел маршал И. С. Конев и попросил вызвать Никиту Сергеевича для срочного сообщения. Иван Степанович доложил, что моторы американских танков вот уже полчаса работают на повышенных оборотах. Маршал Конев, человек, знающий, что такое война, нервничал. Хрущев задумался. «Отведите наши танки на соседнюю улицу, но пусть там их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шуму и грохоту от танков через радиоусилители». Конев медлил: «Никита Сергеевич, они могут рвануться вперед!» «Не думаю,— ответил Хрущев,— если, конечно, злоба не замутила окончательно разум американских военных». Обратившись к помощникам, Хрущев попросил записать это распоряжение и точно проставить время. Поручил редакторам «Правды» и «Известий» подготовить соответствующее сообщение.

Через некоторое время Иван Степанович доложил, что американские танки ушли. Ушли и наши. Никакого сообщения в газетах не появилось.

Примерно через месяц лечу в Вашингтон. Интервью с американским президентом — первое в истории нашей печати. «Известия» — газета Верховного Совета СССР, правительственная. Решили, что главному редактору такой газеты и надлежит беседовать с главой американского правительства.

Я рассчитывал, что Кеннеди примет меня в Белом доме. Однако вышло по-другому. Затянулся визит в Вашингтон Конрада Аденауэра (три или четыре дня он гриппoвал), наступил конец недели. Брать интервью пришлось уже в Хайяннис-порте, дачном местечке близ Бостона. Кеннеди проводил там уик-энд.

Погода в Бостоне была скверной. Лил дождь. Когда самолет пошел на посадку, подумалось, что летчики решили приземлить сухопутный лайнер в океане. Водяной вал захлестывал иллюминаторы.

Хайяннис-порт в получасе езды от Бостона. Вокруг — совсем прибалтийский пейзаж. Белые песчаные дюны у кромки блеклой светло-зеленой океанской черты. Океан накатывал на берег тяжелые, упругие валы. Дождь ушел к горизонту. Небольшие сосенки причудливо изгибали свои ветви и кроны. Видно, ветры тут дули постоянно.

Белые дома загородного гнезда семейства Кеннеди возвращали к стандартам викторианской эпохи

Поперек переулка двойным кордоном перегораживали проезд к президентскому дому полицейские машины. Закрытые и открытые, яркие и черные... Парни в форме, увешанные всяческим оружием, понимали цену и престиж своей службы. Один из них со свистом выплюнул жвачку, перевалился через борт открытого автомобиля, сдал его чуть в сторону, и мы проехали к низкому белому штакетнику и таким же воротцам, которые распахнул полицейский. На лицах стокилограммовых охранников не было и тени любопытства: они делали свое дело. Тут же вернули автомобиль на прежнее место—символическая дорога к отступлению была отрезана.

Джон Кеннеди приветливо встретил меня и сотрудника АПН Ю. Большакова в гостиной. Ситцевые занавеси, такая же обивка кресел, диванов делали широко застекленную комнату светлой и нарядной. Президент сидел в высоком кресле-качалке, опираясь на деревянную спинку. Перебитый во время войны позвоночник нуждался в опоре...

За день до того нас принял в Вашингтоне брат президента Роберт. Теперь, разглядывая Джона Кеннеди, я ловил себя на мысли, как похожи братья внешне и как все же чем-то разнятся. Роберт держался более натянуто, отчужденно. Правда, и он поддержал желание брата дать интервью советской газете. «Джон и я,— говорил он,— единодушны в том, что касается необходимости находить как можно больше путей для контактов с Советским Союзом. Слишком многое зависит от отношений между нашими странами».

Роберт рассказал о своем посещении Советского Союза и о том, как задолго до него, еще перед войной, Джон Кеннеди тоже побывал в нашей стране...

Пока шла подготовка к интервью и стенограф раскладывал свои тетради, президент сделал несколько предварительных замечаний:

— Я побывал в Советском Союзе в 1939 году совсем молодым человеком. Ваша страна была в начале пути, но я, всего-навсего американский студент, кажется, угадывал ее будущее. Я понимаю, конечно, что сейчас многое изменилось, повышается жизненный уровень народа; у нас люди тоже стали жить лучше.

Президент сказал, что во время войны он, морской офицер, воевал на тихоокеанском театре военных действий, далеко от Европы, но внимательно следил за сражениями советских армий. И как бы вскользь заметил: «Ужасная война не обошла стороной и наш дом».

Мы знали, что во время войны трагически погиб старший брат Кеннеди. Он и его напарник — второй пилот — получили задание подняться на самолете «Либерейтор» с английского аэродрома, поставить машину на автоматическое управление с курсом на один из объектов в фашистской Германии и сразу же спрыгнуть на парашютах. Они оторвали от земли груженный 11 тоннами взрывчатки самолет. «Летающая пороховая бочка» взорвалась прежде, чем экипаж покинул ее...

Упреждая наши вопросы, президент сказал:

— Ценю возможность посредством газеты поговорить с народом Советского Союза. Считаю, что такие контакты, обмен мнениями, правдивый рассказ о том, как живут наши страны, к чему стремятся, чего хотят народы,— в наших общих интересах и в интересах мира.

Перечитываю заново стенографическую запись трехчасовой беседы с президентом Кеннеди. Он затронул много тем. Остановлюсь на нескольких.

Одна из них представлялась тогда тупиковой. Ситуация вокруг Западного Берлина, проблемы коммуникаций, ведущих в этот город через территорию ГДР, не находили приемлемого решения. Кеннеди был на-

строен пессимистично. В его рассуждениях слышались резкие выражения политика, который вел предвыборную кампанию под флагом «холодной войны» и критиковал своего предшественника Д. Эйзенхауэра за то, что тот недостаточно вооружался. Правда, и в данном случае президент выразился неоднозначно: «Я нашел советско-американские отношения в худшем положении, чем думал, когда вступал в должность». Отвечая на вопрос о возможности реальных шагов к их улучшению, он осторожничал: «В этом многотрудном процессе важны и маленькие, и большие шаги». Не без иронии заметил, что отменил эмбарго на закупки в нашей стране... крабов. «Крабовая война была, конечно, маленькой, но и такую войну приятно окончить».

Напряженность, нагнетаемую Вашингтоном вокруг Западного Берлина, Кеннеди относил только за счет неуступчивости Советского Союза. Не находил реальных путей к взаимоприемлемым решениям. Однако он ошибался: через несколько лет кропотливые и сложные переговоры привели к четырехстороннему соглашению по Западному Берлину, но Кеннеди об этом уже знать не мог.

Многие другие ответы президента отражали стереотипные представления американских правящих деятелей. И это прежде всего относилось ко второму кругу проблем, о которых мы говорили. За любыми социальными движениями в мире Кеннеди видел «руку Москвы». Хотя, отвечая на прямой вопрос по этому поводу, все же оговорился: «...Конечно, я не считаю, что Советский Союз несет ответственность за все изменения, которые происходят в мире»,— по всей вероятности, он думал иначе.

Во всяком случае, его представления о «свободе выбора» для народов сводились к некой не очень четко сформулированной идее демократических выборов. Он, например, соглашался (пусть нехотя, и это было заметно) с тем, что в Британской Гвиане, где в результате выборов к власти пришел марксист Джаган, все произошло «по правилам». Но там, где народ с оружием в руках отстаивал право на выбор пути, там, по его мнению, дело обстояло нечисто. На вопрос о том, насколько демократично правление диктатора Трухильо или шаха Ирана, Кеннеди отмолчался.

Главное, что определяло практически все его ответы на заданные вопросы, можно охарактеризовать одним словом: беспокойство. Беседу президента нельзя было назвать холодной. В конце концов в ней содержались те конструктивные начала, которые Кеннеди, увы, не успел реализовать полностью. «Я считаю,— говорил президент,— что Советский Союз и Соединенные Штаты Америки должны жить друг с другом в мире. Наши страны — большие страны, с энергичными народами, и мы неуклонно обеспечиваем повышение жизненного уровня населения. Если мы сумеем сохранить мир в течение 20 лет, жизнь народа Советского Союза и жизнь народа Соединенных Штатов будет значительно богаче и значительно счастливее по мере неуклонного подъема жизненного уровня».

«Если мы сумеем сохранить мир в течение 20 лет...» Оценим вклад покойного президента в этот величайшего значения факт человеческой истории. В пору правления Дж. Кеннеди было заключено соглашение о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах — первое из ядерной проблематики. Многотрудные переговоры велись и по другим проблемам.

Известно выражение: «Чем значительнее хочет стать человек, тем дольше он должен взрослеть». Думается, относится это не только к простым смертным, но и к политическим деятелям. Кеннеди в числе тех, кто брал в расчет это правило. Во всяком случае, президентство Кеннеди, пусть с отступлениями вспять, несло в себе, в особенности на последнем этапе, черты нового подхода к мировым событиям, и прежде всего к советско-американским отношениям.

В июне 1963 года Кеннеди произнес свою знаменитую речь в Американском университете (Вашингтон). Он правил делами великой страны уже более двух лет. Кеннеди обращался к молодым. Он просил их помощи и поддержки. Он обещал им выстроить Америку, которая не будет пугать мир, а будет укреплять его. На равных с другими народами.

Речь президента в Американском университете — а по свидетельству близких ему людей, он серьезно готовился к ней — была искренней. Президент призывал по-новому взглянуть на Советский Союз, на «холодную

войну», понять, что мы все живем на одной небольшой планете, дышим одним воздухом, заботимся о будущем наших детей, что все мы смертны. Он призывал понять простую истину: всеобщий мир не требует, чтобы каждый человек любил своего соседа, а только, чтобы они жили во взаимной терпимости, вынося разногласия на обсуждение для справедливого мирного решения.

Эту речь Кеннеди мировая общественность восприняла с надеждой. Вместе с тем именно в Соединенных Штатах она привела в ярость не просто «иных» или «некоторых», а тех, кто десятилетиями утверждал и насаждал в политике идеи противоположного характера.

И может быть, именно она оборвала чье-то терпение. Покушение было уже подготовлено. Изучены возможные пути следования президентского кортежа, проинструктирован снайпер (или снайперы), которому поручили нажать на курок...

Когда время, отведенное для интервью, подошло к концу, президент предложил прогуляться по берегу океана. В передней он протянул мне теплую куртку: «Северный ветер у нас пронизывает до костей». Сам он остался в легком пиджаке и объяснил: «Я морской офицер, ходил на торпедных катерах, не боюсь ветра и холода».

А ветер снова набирал силу, гнал мощную волну. Горизонт стал черным. Кеннеди помолчал, любуясь причудливой игрой стихии. Потом произнес несколько фраз, которые не вошли в интервью, но я записал их сразу же после возвращения в гостиницу. Он сказал: «Великие лидеры великой коалиции, победив фашизм, понимали, что мир станет еще более запутанным и усложненным. У них не было сил и, может быть, времени на то, чтобы начать адскую работу по его дальнейшему усовершенствованию. Чем дольше отодвигаем ее мы, тем все будет еще сложнее. Грядущие поколения могут нам этого не простить».

Древние римляне считали, что о покойном следует либо говорить хорошо, либо молчать. Однако если бы человечество всегда следовало этому правилу, вместо истории мы имели бы апологию прошлого. Дж. Кеннеди был противоречивой фигурой американской истории, как противоречив был и период, на который пришлось его короткое президентство.

Четверть века назад, когда Америка хоронила президента Кеннеди, сенатор Мэнсфилд произнес: «Часть каждого из нас умерла в этот момент. Хотя в смерти он дал каждому из нас частицу себя... Он дал нам то, что мы сами могли бы себе пожелать, пожелать каждому из нас, пока не осталось бы места предательству, ненависти, предубеждению и насилию, которое в один ужасный момент сразило его.

Покидая нас, Джон Фицджералд Кеннеди, президент Соединенных Штатов, оставляет нам эти дары. Хватит ли у нас сейчас здравого смысла, ответственности, смелости принять их?»

Простит ли история тому политику, который медлит?

Совсем недавно, поздней осенью 1987 года, как говорится, нежданно-негаданно, в Москву приехал Пьер Сэлинджер, пресс-секретарь Белого дома в пору президентства Кеннеди. Мы не виделись с ним ровно 25 лет. Он служит теперь в американской телевизионной компании. Получил задание рассказать о гласности, перестройке. Прежде, чем наша беседа пошла о делах нынешних, мы, естественно, поговорили о былом. Я расспрашивал о его жизни, семье, с которой был знаком, о детях президента и его брата Роберта — совсем маленьких в те годы, когда мне приходилось бывать в Америке.

Поговорили о Роберте Кеннеди. Вспомнили давний эпизод. Узнав, что мы с женой пролетом в Вашингтоне, Роберт Кеннеди пригласил нас на завтрак. За столом сидела целая орава мальчишек и девчонок: Роберт и его жена были многодетными супругами — воспитывали одиннадцать детей.

Старший, лет десяти, хворал, но ему очень хотелось поговорить с русскими гостями, и жена Роберта попросила Раду подняться к нему в комнату. Минут через двадцать Рада вернулась. Мальчишка расспрашивал

о наших ребятах, их увлечениях. Ему хотелось побывать в нашей стране, увидеть сибирскую тайгу. Он подарил нашему старшему сыну Никите, своему сверстнику, книгу, написав на ней: «Русскому мальчику, с которым я мечтаю скакать по тайге на лошади».

Не сбылась эта мечта. Старший сын Роберта Кеннеди прожил недолго. Его нашли несколько лет назад мертвым в каком-то нью-йоркском подвале. Все руки у него были исколоты. Сам ли он ввел иглу со смертельной дозой наркотика или кто-нибудь принудил его, воспользовался беспамятством, осталось неизвестным.

Был и такой случай. Когда в космос стали летать наши собачки, дочь президента Каролина (ей было лет шесть) получила в подарок из России черно-белого щеночка от мамы — космической путешественницы. Кровь у щенка была вольная, нрав — степной, не знаю, как он уживался в американских условиях, но Каролина подарку обрадовалась.

А родительница ее собачки попала в космос авантюрным путем. Для очередного испытательного биоспутника в клетке содержался пес-барбос, которому и предназначалось выполнить соответствующую программу. От безделья он просто-напросто разжирел, и к моменту старта оказалось, что в модуль никак не пролезает. Положение складывалось трагикомическое — корабль не мог ждать лишнего часа. Сотрудники Олега Георгиевича Газенко (теперь академика), ответственного за медико-биологические программы в космосе, за подготовку космонавтов, рванули в степь на машине, чтобы срочно добыть тощего пса. Поймали веселую собаку — стройную, сильную, гонявшую по окрестностям в поисках пищи. Ее-то и отправили в испытательный полет.

Вот какая мама была у щенка, прибывшего в Белый дом.

Дочь президента Кеннеди теперь сотрудник музея «Метрополитен», и, если ей доведется прочитать эти строки, думаю, ей приятно будет вспомнить эту маленькую подробность.

В тот день после визита к Роберту Кеннеди мы с женой были вечером приглашены к президенту. Джон Кеннеди был человеком обаятельным, простым в житейском обиходе. Жаклин, Пьер Сэлинджер, Рада и я сидели в его кабинете; на маленьком столике без всякой сервировки стояли чашечки с чаем. Вдруг за дверью раздался плач, и Жаклин сказала: «Опять Каролине что-то приснилось». Президент встал, вышли следом за ним в коридор и мы. По каменным плитам пола с закрытыми глазами, как лунатик, медленно шла девочка, босиком, в длинной ночной рубашке. Президент взял дочь на руки и жестом пригласил нас идти за ним в детскую. Кеннеди уложил девочку в постель. Просторная комната, без всяких излишеств, с разбросанными по полу игрушками, как у многих девочек и мальчиков во всех странах мира. Мы уже собирались тихонько выйти, но президент задержал нас. «Взгляните», — сказал он тихо, указывая на столик у кровати дочери. Там стояли, соседствуя, расписная русская матрешка и распятие. «Матрешка — подарок вашего отца, — обратился он к Раде, — а распятие — Иоанна XXIII. — Он задумался на секунду. — Пусть Каролина сама выбирает свои привязанности и свой путь». Президент улыбнулся. Он отвечал этой фразой на высказанную Хрущевым мысль о том, что наши внуки будут жить при коммунизме.

Каждый и в самом деле выбирает свой путь сам. Я напомнил Пьеру Сэлинджеру о том вечере, спросил, не собирается ли сын президента Джон заняться политикой. Пьер развел руками: «Во всяком случае, мне не суждено стать его пресс-секретарем, а тебе не дождаться, чтобы кто-нибудь из Кеннеди-младших стал баллотироваться по списку Компартии США»...

Об этом соседстве матрешки и распятия я рассказал Иоанну XXIII, когда судьба газетчика привела меня в Ватикан.

Весной 1963 года состоялась встреча журналистов с главой римско-католической церкви по случаю присуждения Иоанну XXIII премии Мира из фонда Больцана. Происходило это в довольно большом, так называемом Тронном зале. У задней стены на невысоком возвышении стояло парадное кресло. По-видимому, именно здесь проводились официальные приемы послов, гостей государства или церкви. Стены зала были обтянуты серебристым штофом. Массивные люстры и бра вековой бронзы освещали строгое помещение. Для данного случая поставили несколько десятков кресел, обитых ярко-красным бархатом, нарушивших прекрасный орнамент инкрустированного паркета. Строгие костюмы журналистов резко выделялись на фоне великолепия одежд священников высокого ранга. Можно только поражаться удивительному вкусу художников, «проектировавших» эти сиреневые, блекло-розовые, белоснежные, черные, иссиня-фиолетовые одеяния. Кресты, четки, перстни — и тут тоже вековые традиции. Поражали, пожалуй, не одеяния и украшения, а лица. Бледные, почти анемичные, одутловатые, совершенно отрешенные, как бы и неживые.

Иоанн появился внезапно из почтительно распахнутой двери, мелкими шажочками засеменил к креслу-трону, быстро-быстро протягивая руки для поцелуя. Все встали, а кое-кто (среди журналистов было немало ревностных католиков) опустился на колени и ждал, пока папа устроится в кресле. Оно было высоко для него, и он, грузный, старый уже человек, взобрался на сиденье, как это делают дети, в два-три приема.

Долго молчал, простодушно разглядывая зал некогда, по-видимому, карими, а теперь светло-янтарными глазами, выставив вперед уши, будто хотел услышать нечто необычное.

Вначале о присуждении Иоанну XXIII премии сказал сенатор Джованни Гронки, затем предоставил слово святому отцу.

Иоанн говорил тихо и спокойно, без театральной аффектации, скорее беседовал. Он даже подался вперед, чтобы быть ближе к слушателям, и казалось, вот-вот сойдет со своего трона и сядет рядом с нами.

Вскользь Иоанн отмел обвинения в нарушении папских традиций о невозможности принимать мирские награды, повторив, что защита мира — одна из самых важных обязанностей священников и что он призывает всех выполнять эту обязанность...

Неожиданно из-за спины ко мне по-русски обратился священник в черном. «Я Александр Кулик, сотрудник папского Восточного института. Если вы хотите получить аудиенцию, мне поручено проводить вас к святому отцу и быть переводчиком. Задержитесь в зале после завершения церемонии».

Закончив речь, Иоанн встал. Чуть приподнял над головой пухлые руки, то ли отпуская всех с миром, то ли обороняясь от лишних вопросов, и так же поспешно, как появился, исчез.

Принял он меня в своей личной библиотеке, то есть там, где работал, читал, писал свои энциклики. Помолчал, давая возможность оглядеть полукружие стенных книжных шкафов, отделанных на старинный манер тонкой золотистой сеткой. Через большие раскрытые окна доносились запахи цветущего сада и совсем уже неожиданное здесь, в самом центре Рима, пение птиц. Иоанн сказал, что считает очень важными многие инициативы нашей страны в защиту мира.

— Я знаю две мировые войны, видел, какие неимоверные несчастья принесли они людям, а третья мировая война была бы для человечества гибелью. И разве затем господь бог дал нам эту прекрасную землю?..

Потом разговор перешел к только что состоявшейся встрече с журналистами. «Пусть кого-то и сердит, — сказал Иоанн, — то, что я принял премию Мира, и кто-то считает, что я завоевываю голоса избирателей «не своей партии», — это не изменит моей позиции. Думаю даже, если бы Отец и Учитель наш был поставлен в мои условия, он поступил бы так же».

Разглядывая Иоанна XXIII, нельзя было не заметить тех черт, которыми он располагал к себе многих. Поднявшись на самую верхнюю ступень католической иерархии, Анджело Джузеппе Ронкалли сохранил облик крестьянина.

Он сказал, что, пока позволяли силы, часто навещал родную деревушку и даже пригласил оттуда в Рим садовника, друга детства. «Частенько беседуем с ним о жизни, а еще он иногда выручает меня с обедом». Иоанн лукаво улыбнулся. Ему предлагали сделать операцию по поводу не точно диагностированного желудочного заболевания. Он отказался: «А если неудача? Мне ведь за восемьдесят. Лучше уж я доживу со своей болячкой». Врачи прописали строгую диету. Когда терпение кон-

чалось, Иоанн обращался к садовнику, и тот угощал его пряной фасолевой похлебкой.

Прощаясь, Иоанн остановился у небольшого с мраморной крышкой столика. Здесь располагались искусно вырезанные разноцветные фигурки, тоже из мрамора. Сценка изображала библейскую историю рождения Христа со всеми весьма реалистическими подробностями. Подарок из родной Ломбардии в день его 80-летия.

Иоанн поглаживал фигурки, видимо, ему очень нравилась работа самодеятельных скульпторов. «Каждая мать,— говорил он при этом,— в муках рождает дитя свое и каждая хочет, чтобы он жил и был счастлив. Убережем матерей от судьбы той, чей сын пострадал за веру свою и завещал нам продлевать род человеческий и благоустраивать землю...»

Проводив меня до двери, Иоанн попросил передать советским людям пожелания счастья и мира. Сказал, что работает сейчас над документом, в котором выскажется вполне определенно по широкому кругу волнующих его проблем, и, видимо, это будет уже в последний раз, так как болезнь сказывается все сильнее.

Энциклика папы Иоанна XXIII «Пацем ин террис» («Мир на Земле») стала практически его завещанием. Вот несколько строк-напоминаний. «Если одна страна производит атомное оружие, то и другие должны производить атомное оружие такой же разрушительной силы. В результате люди живут в постоянном страхе, ожидая урагана, который может разразиться в любой момент и принесет невообразимые страдания. И ожидая не без оснований, поскольку оружие уже готово».

«Справедливость, мудрость и чувство человечности требуют, чтобы была прекращена гонка вооружений, чтобы были одновременно и параллельно сокращены уже существующие вооружения, чтобы было запрещено ядерное оружие и чтобы наконец-то было осуществлено разоружение в соответствии с общим согласием и под эффективным контролем... Подлинный мир может быть установлен лишь на основе взаимного доверия...»

Эти слова актуальны и сегодня. И поскольку немало тех, кто не хочет делом доказать свою приверженность единственно возможному реалистическому курсу мировой политики, стоит их напомнить.

Это напоминание оправданно еще и потому, что никто не может отнести сказанное на счет «коммунистической пропаганды». Иоанн XXIII был и оставался антикоммунистом до последнего часа жизни...

В те дни на другом конце земли президент США Джон Фицджералд Кеннеди, как и Иоанн XXIII, пришел к пониманию единственного варианта развития мировых взаимоотношений — мирного сосуществования государств с различным политическим и социальным устройством.

Дело, конечно, состояло не в том, что Кеннеди был католиком и следовал папе, а просто, как и Иоанн XXIII, он исходил из земных реальностей.

В июле 1963 года умирал в Риме Иоанн XXIII. Умирал тяжело. Он отказался от обезболивающих лекарств, чтобы принять и на себя те боли и страдания, которые испытывают простые смертные. В течение нескольких дней тысячи римлян стояли на площади Святого Петра, устремив глаза на освещенное окно спальни Иоанна. Пришла минута, когда свет в дворцовом окне погас.

Наступил апрель 1964 года.

Отмечалось семидесятилетие Хрущева. Приветствие ЦК, фотографии в газетах и журналах, присвоение звания Героя Советского Союза. Торжественный обед в зале для приемов Кремлевского Дворца съездов. К тому времени в начале Ленинградского проспекта на металлической конструкции уже красовался огромный портрет Хрущева во весь рост с поднятой в приветствии рукой. Не помню, но, по-видимому, понизу шла трафаретная фраза типа «Миру — мир».

Славословия в адрес Хрущева становились почти нормой. Было, пожалуй, только одно отличие: без прежних эпитетов — «великого», «мудрого»; на «гениальный» не решалась даже сверхподхалимствующая публика. Портреты появляются не сами по себе, а только по определенной

команде. Вырабатывалась, укоренялась установка на возвеличивание должности Первого секретаря и его имени. В газетах тоже шло непрестанное цитирование.

Не совестно ли прежде всего мне самому, в те годы редактору большой газеты, не сам ли я приветствовал отход от славословий, не может ли показаться, что я пишу об этом с желанием свалить вину на кого-то? Нет, я вины с себя не снимаю, конечно. Больше или меньше других грешили на этот счет «Известия» — не имеет принципиального значения. Важно иное. Я знаю тех, кто тщательно следил за публикациями и не прочь был обратить внимание на то, что в некоторых важных статьях отсутствовали надлежащие ссылки. Расценивалось это как непочтение, как своего рода политическое небрежение, а иногда и как фрондирование.

Едва не вошла в газетный и политический лексикон стереотипная фраза «в свете советов и указаний», но она зрела, «обкатывалась» и появилась, как известно, в определенный час.

Кстати, тот самый товарищ, который не прочь был отмечать отсутствие в статьях ссылок на высказывания Хрущева, сам чуть позже, в октябре 1964 года, с бухгалтерской точностью подсчитал, сколько раз в той или иной газете это имя упоминалось. И ставил, конечно, данное обстоятельство в вину редакторам. Редактору «Известий» прежде всего. Не называю этого человека только потому, что он сполна разделил судьбу тех перевертышей, страсть которых к политическим интригам привела их к поражению. Победители не ценят перебежчиков, даже если в них и возникает нужда. И еще: мне жаль этого человека. Его ценил Никита Сергеевич. Он занимал высокие посты и, наверное, мог бы по-иному распорядиться своей судьбой.

Чествование Хрущева не носило того официозного, парадно-отчетного характера, как сталинский юбилей в Большом театре. Вместе с холодными, дежурными словами прозвучали искренние, идущие от сердца.

В тот апрель 1964 года в Москве было по-весеннему тепло, сияло солнце; казалось, пора обновления природы придаст всем новые силы. Хрущев встречал семьдесят первый год своей жизни с оптимизмом. И уж он-то точно не предчувствовал беды, нависшей над его головой. Еще одно доказательство его политической чистоплотности: не любил интриг, не держал личный сыскной аппарат. На юбилее он был в приподнятом настроении.

Из всего множества тостов, раздавшихся в тот вечер, я запомнил один, по сути, единственный в своем роде. Его не забыли ни моя жена, ни другие члены семьи Никиты Сергеевича. Нина Петровна и на следующий день так возмущалась, что, не удержавшись, позвонила произнесшему этот тост и сказала ему все, что думает.

Это был тост первого секретаря ЦК партии Украины Шелеста, который он закончил здравицей «За вождя партии!».

Так о Хрущеве еще никто и никогда не говорил. Что-то зловещее почудилось мне в этих словах. Видел, как некоторые, будто не заметив протянутого бокала Шелеста, не стали с ним чокаться.

В октябре того же года Шелест обрушился на Хрущева с особенно злыми нападками. Думаю, не сгоряча произнес он «за вождя».

Семидесятилетие — срок подведения итогов, рубеж для размышлений. Тогда, в текучке будней, не было ни времени, ни возможности, ни желания, ни надобности оценивать путь Хрущева с «итоговой» точки зрения. Я и сейчас не взялся бы за такой труд. Те десять лет потребуют более тщательного анализа, ибо они принадлежат великой стране, великому народу и вписываются в нашу историю не по желанию или нежеланию кого-либо. Было бы неискренним сказать, что я считаю справедливыми передержки, умолчания и по поводу «десятилетия», и по поводу XX съезда партии в особенности. По многим судьбам ударило это перечеркивание тех решений съезда, которые были восприняты с огромной надеждой.

Когда год тому назад я начинал писать эти заметки, имя Хрущева в печати не упоминалось. И вот теперь, как бы опережая друг друга, журналисты и писатели спешат либо вспомнить нечто такое, что связывало их с этим человеком, либо дать оценку и анализ десятилетию его деятельности — порой такой анализ умещается на нескольких машинописных

страницах. И все же, думаю, это лучше, чем молчание. Каждый волен высказывать свою точку зрения.

Хочу думать, что родственные чувства не слишком звучали в моих записях. Однако я никогда не стеснялся этого родства, а гордился им, и в конце концов то, чего мы с женой добились в жизни, мы добились сами. Так нам по крайней мере кажется. Помогал или мешал отсвет родственного имени? Было по-всякому... Но мы не занимали чужого места. У нас есть сугубо личное подтверждение на этот счет: двадцать три года мы сами по себе.

Перебирая в памяти один за другим эпизоды жизни Хрущева, думаю, что трудился он не напрасно. Его партийная деятельность сложилась драматично. Он был политической фигурой переходного периода, и на его долю выпала целая череда сложнейших кризисов. Я упоминал о событиях в Венгрии. А Югославия, Польша, Китай... В ту пору Хрущеву предстояло отыскивать новые принципы взаимоотношений с лидерами многих государств, партий. XX съезд и в этом смысле обнажил серьезные просчеты.

По многу часов беседовал Хрущев с товарищами из братских партий, проясняя истоки недоразумений, стараясь преодолеть разногласия. Самые неожиданные проблемы возникали иногда во время таких бесед. Помню, Никита Сергеевич был удивлен, когда Морис Торез попросил немного замедлить реабилитацию некоторых крупных политических деятелей нашей партии, отложить на некоторое время. «Мы присутствовали на этих процессах,— говорил Торез,— доложили в свои партии обо всем, что слышали, чему верили. Будет очень трудно объяснить теперь, как мы оказались такими простодушными. Время поможет нам избежать лишнего напряжения. После XX съезда оно и так очень велико». Хрущев уступил.

Летом и осенью 1957 года в жизни страны произошли два острых события. В атаку против курса XX партийного съезда пошли семь членов Президиума ЦК: Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров. В принципе это было логично. Уже в ходе XX съезда стало ясно, что так или иначе последует более глубокий анализ обстоятельств, повлекших массовые репрессии. А главное, утверждались в стиле руководства новые, неприемлемые для этих людей принципы партийной работы. Выход из кремлевских кабинетов к людям, открытость, правда, демократия. На первый план выдвигалась забота о человеке, не мнимая, не в лозунгах и призывах, а деловая, активная. Молотову претила дипломатия личных контактов. Маленков, Каганович, Молотов помнили о списках арестованных, на которых стояли их резолюции. Эти факты известны. Состоявшийся в июне Пленум ЦК принял соответствующее постановление о деятельности антипартийной группы.

Этого постановления никто не отменял. Но в пору, когда Генеральным секретарем ЦК был Черненко, Молотова восстановили в партии. Никаких объяснений партии на этот счет дано не было. Так дезавуировались прежние решения — их не отменили, не признали ошибочными, просто свели на нет потихонечку. Тогда же в газете «Московские новости» появилось интервью Молотова. Он говорил о своих пенсионных занятиях, о том, что доволен нынешней судьбой. Читал я эту заметку и думал: заседал съезд партии, кипели страсти, газеты гремели статьями, а потом несколько человек, не считаясь с общественным мнением, все решили по-своему. Это иллюстрация к спору по поводу объективных и субъективных факторов в исторических процессах...

Странное стечение обстоятельств, объяснение которому дать не могу, но оно, конечно, существует, привело к отставке маршала Жукова, к разрыву, который, по-моему, не проанализировал и сам Хрущев. Не раз встречал я Георгия Константиновича у Хрущева, который не просто уважал Жукова, но гордился им. По инициативе Никиты Сергеевича произошло возвращение Жукова в Москву сразу после смерти Сталина. На XX съезде Георгия Константиновича избрали кандидатом в Президиум ЦК, а затем и членом Президиума. В 1955 году он стал Министром обороны СССР. Они импонировали друг другу, не было никаких серьезных противоречий между ними. Была схожесть в жизненных путях. Встречаясь на войне, они находили общий язык. Могу только предположить — никогда не спрашивал об этом Хрущева,— но, видимо, Никиту Сергеевича в то время, когда в руководстве существовала некоторая нестабильность (только что прошел пленум с «семеркой»), испугала возросшая амбициозность маршала, принижение им роли партийного руководства в армии. Быть может, Хрущев вернулся к каким-то соображениям Сталина о Жукове? Ведь Сталин отсылал маршала командовать далекими от Москвы военными округами. Кстати, апологеты Сталина не любят говорить на эту тему. Во всяком случае, смещение Жукова не прибавило популярности Хрущеву. Он не мог не почувствовать этого, а быть может, пожалеть о разрыве.

Однажды, когда Хрущев уже был на пенсии, он, не по своей охоте, объяснился с женой Жукова. Только что вышли воспоминания маршала. Хрущев не читал их — как я уже говорил, не любил мемуаров военных. Но как-то зашел разговор о событиях, связанных со смертельным ранением генерала Ватутина под Киевом. По воспоминаниям Жукова выходило, что чуть ли не Хрущев виновен в этом,— не обеспечил генерала надежной охраной. Никита Сергеевич огорчился: «Неужели Жуков так пишет? Он ведь знает, что это неправда». Кто-то из гостей Никиты Сергеевича рассказал об этом разговоре автору. Через несколько дней и раздался звонок жены Жукова. Хрущев напомнил, как было дело. Она принесла извинения, сослалась на забывчивость маршала, пообещала, что ошибка будет исправлена. Во втором издании книги эпизод изложен точно. Однако миллионы людей прочитали воспоминания Жукова в том виде, в каком они вышли в первый раз. Кто-то заметил это разночтение, но таких, конечно, было немного.

Считанные разы я видел Хрущева со слезами горя. В дни смерти Сталина, смерти сестры Никиты Сергеевича — Ирины Сергеевны и еще один раз до этого, в феврале 60-го, когда он узнал о кончине Курчатова.

Он и Курчатов в принципе были люди несхожих характеров, стиля жизни, образованности. Хрущев очень ценил деловые качества Игоря Васильевича, его «мертвую хватку» в работе, бескорыстие, смелость. Считал его своим научным консультантом. Тем тяжелее мне писать о том, о чем, быть может, вспомнил Хрущев, когда скончался Курчатов,— об их ссоре.

Часто друзья, знакомые, в особенности биологи — и в моей семье их трое, жена и два сына,— спрашивают, как мог Никита Сергеевич верить шарлатанским обещаниям Лысенко? Отчего он так настойчиво отрекался от любого знакомства с работами генетиков?

Как-то на дачу к Никите Сергеевичу приехал Игорь Васильевич Курчатов. Они присели на дальнюю скамеечку, как бывало не раз, и беседовали там. Час или даже больше. А потом Курчатов ушел, как нам показалось, в обиде. Никита Сергеевич тоже был мрачен. Досада не давала ему покоя, и он втянул нас в разговор. «Борода» — так Хрущев называл Курчатова — лезет не в свое дело. Физик, а пришел ходатайствовать за генетиков. Чертовщина какая-то, нам хлеб нужен, а они мух разводят».

В его словах было столько убежденности, раздраженного апломба, что Сергей, сын Никиты Сергеевича, не выдержал, завязал спор с отцом. Рада поддерживала брата, даже сказала отцу: «Вот увидишь, тебе самому будет стыдно».

Это противодействие, несогласие, дерзость вывели Хрущева из равновесия. Разговор был тяжелый. Мы уехали с дачи угнетенные.

В один из выходных состоялся коллективный выезд в хозяйство Лысенко всех членов Президиума ЦК. Были там и журналисты. «Великий агроном» не скрывал радости. Показывал отличные поля с рядами разных культур, выдергивал из земли кормовую свеклу размером в три кулака, водил по животноводческим фермам, где картинные коровы тыкались сытыми мордами в карманы гостей. Никто не допытывался, каких затрат требовало это образцовое хозяйство.

Потом Хрущев пригласил всех отобедать у него. Лысенко расхваливал себя как мог. И жаловался: не дают развернуться, интригуют. Всюду вейсманисты-морганисты. Хрущев мало вникал в наукообразные речи

Лысенко. Его интересовала агрономия, та простая, как ему казалось, практическая польза, какую каждый крестьянин может извлечь, если послушается советов Лысенко.

Он поддерживал Лысенко-агронома, более того — выражал этой поддержкой согласие со Сталиным, — тот ведь не зря держал Лысенко так близко!

Откуда же в Хрущеве, человеке расчетливом и опытном, такое неприятие генетики, такое нежелание вникнуть в ее суть? Даже Игорю Васильевичу Курчатову, человеку, с которым Никита Сергеевич считался, не удалось уговорить его хоть как-то заинтересоваться этими проблемами.

Хрущев не мог ждать. Мушки-дрозофилы, как он считал, только отвлекали силы, а заставить поля дать больше хлеба надо было немедленно. В нетерпении проще всего надеяться на чудо. Сельскохозяйственное производство, особенно в 1962 засушливом году, не вышло на плановые рубежи.

В 1962 году было объявлено о повышении цен на мясо и мясные продукты. Цена за килограмм мяса повысилась с 1 рубля 60 копеек до 2 рублей. У нас в газете приводились цифры закупочных и розничных цен, говорилось о ножницах между ними, о необходимости поднять закупочные цены и тем обеспечить рентабельность животноводства. На довольно длительный срок эта мера оказалась целесообразной, хотя производство мяса росло очень медленно, а в некоторых случаях даже снижалось. О лозунге «Догнать и перегнать Америку» по производству мясных продуктов не вспоминали даже в анекдотах.

В 1963 году начали ощущаться и перебои с хлебом. В газету шел немалый поток писем по этому поводу. Я созвонился с главным редактором «Правды» Павлом Алексеевичем Сатюковым, и мы решили направить выдержки из таких писем в ЦК. Последующие события носили более чем драматический характер. Хрущев предлагал (и, возможно, это было разумным) ввести на какой-то срок карточки, чтобы прекратить скармливание хлеба скоту. Но престижные соображения перевесили. Решили закупить некоторое количество зерна за рубежом. А в 70-е годы это стало обычным, закупки выросли во много раз. Из экспортера хлеба Россия превратилась в его импортера. Шок прошел быстро. Появились даже «теоретические» обоснования возможности и целесообразности таких закупок. Все большее число районов страны стали относить к зонам «рискованного» земледелия.

В те последние годы своего пребывания на ответственных постах Никита Сергеевич много ездил по стране. Он постоянно уделял внимание развитию производительных сил в республиках, расширению их прав, возможностей, их роли в Союзе. Редакторы центральных газет обычно сопровождали его, так как приходилось давать отчеты с совещаний, рассказывать о передовом опыте. Новосибирск, Алма-Ата, Тбилиси, Воронеж... Хрущев призывал, приводил примеры, критиковал; тысячи людей, слушая, вроде бы заряжались его энергией. Но все чаще на этих же совещаниях Хрущев слышал другое: заедают бумаги, вновь в ходу накачки, вмешательства в дела колхозов и совхозов, принижение или полная отмена принципов материальной заинтересованности. Призрак продразверстки витал над полями. Аппарат, за десятилетия привыкший к командно-приказной системе, сумел приспособиться к работе в переименованных кабинетах. Все возвращалось на круги своя... Полноводной рекой лились только обещания. Хрущев им верил и не верил. Сказывалась шаткость его собственных позиций.

Однажды журналисты присутствовали на отчаянном, по сути трагическом, выступлении Хрущева в Воронеже.

Поезд подходил к Воронежу рано утром и километрах в ста от города сделал последнюю остановку. В вагон к журналистам вошел собственный корреспондент «Правды». Мы стояли у окон, разглядывая чуть припорошенные снегом дали, и кто-то обратил внимание на странные волны, чередовавшиеся по земле в строгой последовательности. Корреспондент «Правды» пояснил, в чем дело. Не успели убрать кукурузу и, зная, что здесь проедет Хрущев, вывели в поле тракторы, стальными рельсами, как волоком, примяли стебли к земле, чтобы «замаскировать» неубранный урожай.

Мы не знали, нужно ли говорить об этом Никите Сергеевичу. Решили сказать.

Никто из журналистов не слышал, какие объяснения получил Хрущев по поводу «рельсовой» уборки кукурузы от руководства области. Однако и особого смущения местные товарищи не выказали: отговорки всегда были. На совещании в присутствии сотен работников сельского хозяйства ряда областей Никита Сергеевич рассказал об этой истории. Настороженная тишина царила в зале. Хрущев стоял не на трибуне, а у края сцены, говорил не перед микрофоном, но каждое слово было слышно, хотя он даже не прибавлял голоса. Медленно обернувшись к президиуму, с каким-то странным безразличием проговорил: «Может показаться, что я стараюсь поссорить вас с этими людьми, — он широко обвел рукой зал. — Нет, это не так. Просто хочу напомнить, что некогда здесь секретарем обкома был товарищ Варейкис...»

Что он имел в виду? Бесстрашие Варейкиса на XVII съезде партии или его трагическую судьбу? Это возвращение в прошлое связывалось со временем, когда обман партии считался предательством.

Столько миновало лет после ухода Хрущева на пенсию, после его смерти, но до сих пор иные журналисты и писатели видят главную причину неуспехов сельского хозяйства в насильственном насаждении кукурузы. Поля освободили от капризной дамы. Больше того, даже в хозяйствах, где хотели сеять и сеяли кукурузу, в том числе на корм скоту, приходилось делать это полутайком, дабы не прослыть апологетами Хрущева.

Хрущев хорошо знал достоинства кукурузы. Толчком к его напористому требованию расширять ее посевы послужило несколько обстоятельств. Во-первых, она значительно урожайнее пшеницы. Во-вторых, как раз зерна кукурузы нам не хватало для производства концентрированных кормов. После бесед с американским фермером Гарстом — а это он рассказал Хрущеву о возможности использовать зеленую массу кукурузы с недозревшими початками на корм скоту — Никита Сергеевич твердо решил послушаться совета знающего человека. Он так и говорил: «Надо верить Гарсту, он капиталист и ничего без расчета не делает».

Не знаю, какое количество зеленой массы кукурузы собирали мы в ту пору на силос, как не знаю и того, почему ее сеяли там, где она вовсе не давала урожая.

Отчего у нас самое благое намерение — это относится и к кукурузе, и к строительству крупных животноводческих комплексов, и к закладке промышленных садов — примеры можно продолжить — часто оборачивается бедой, становится делом глупым, разорительным?

Чтобы прояснить кукурузную тему, сошлюсь на публикацию в газете «Аргументы и факты» (декабрь 1987 года). Академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов сообщил корреспонденту: «В стране, например, ежегодно производится до 90—100 миллионов тонн пшеницы. Кроме того, не менее пятой части от произведенного мы закупаем на внешнем рынке. Потребность же в продовольственной пшенице не более 37—38 миллионов тонн... В мире нет более или менее крупномасштабного хозяина, который бы добровольно согласился на такую «технологию» и структуру производства... Стране требуется ежегодно не менее 60—65 миллионов тонн кукурузы. Вместо этого имеем 10—14 миллионов тонн. И даже наши планы на перспективу пока не предусматривают серьезного изменения структуры зернового баланса. А между тем в стране имеются районы, где вместо кукурузы выращивают пшеницу, хотя там условия для выращивания кукурузы не хуже, чем в знаменитой Айове».

В 70-е годы мы с друзьями проводили отпуск на Кавказе, до Батуми шли теплоходом. Капитан разрешил нам переночевать в каютах, чтобы не пускаться в дорогу на ночь глядя. Предупредил, правда, что швартоваться судно будет в грузовом порту.

Всю ночь не давали заснуть странные шелестящие звуки. На рассвете вышли на палубу. Рядом увидели обшарпанный американский су-

хогруз. Некогда черно-зеленые борта морского извозчика проела ржавчина, надстройки тоже давно потеряли свой белый цвет, казалось, судно одето в застиранную робу, продубленную ветрами и солнцем. Портовый кран зависал над трюмом, опускался трос, стальные челюсти схватывали порцию груза, и он сыпался на вершину громадной золотой горы. Это была знаменитая кукуруза из Айовы. Там в ней знают толк. И мы тоже понимаем ее ценность, если волочем за тридевять земель, уплатив золотом не только за золотистое зерно, но и за старания потрепанного доставщика.

За Полярным кругом или в Новосибирской области, конечно, не нужно было сеять кукурузы. А вот как в других местах? И кто за это в ответе? Хрущев?

В годы, когда я работал в «Известиях», не было дня, чтобы наш домашний почтовый ящик не переполняли письма с самыми разными просьбами. Да и просители осаждали квартиру таким плотным кольцом, что приходилось тащить за собой в редакцию целый хвост жалобщиков,— иначе они не пропускали меня.

На следующий же день после сообщения о моем освобождении с поста главного редактора «Известий» в октябре 1964 года все изменилось. Никто не нуждался ни в моих советах, ни в моей помощи. С похвальной оперативностью начали появляться не только мелкие пасквили, но и романы, посвященные моей персоне. (Особенно тут старался литератор Шевцов, получивший высокую поддержку.) Я-де давал «плохие советы», спасал «не тех людей», поддерживал не то. что надо, и вообще был «баловнем безродным».

Меня это не удивляло. Да и не во мне было дело. Неприятие XX съезда партии водило перьями.

Не могу вновь и вновь не задумываться: где, в чем просчеты политики Хрущева, в особенности политики внутренней, какой урок дало то время людям моего поколения? Полуправда губительна во всем. Какие бы благие цели ни ставил перед собой человек, он должен опираться на объективные возможности, определяя их путем демократичного, гласного, реалистического и правдивого обсуждения. Именно так начинал Хрущев. Что помешало ему?

Представьте себе человека, который предполагает, что где-то неподалеку прекрасная магистральная дорога, ведущая к миру, в котором нет несправедливости, безнравственности, бесчестия, где все люди — братья. Он хочет как можно скорее вывести на эту дорогу своих сограждан. Цель кажется ему близкой: еще одно усилие, еще один рывок. Он твердо верит, что его внуки будут жить при коммунизме, что новый общественный строй вот-вот похоронит капитализм. Он утверждает, что стоит назвать точные цифры, и тогда цель сама притянет к себе энергию масс. Он относит срывы и неудачи на счет тактических ошибок, уверенный, что поиск кратчайшего пути к магистрали задерживается только из-за неурядиц. Приходится месить грязь на обходных дорогах, путаться в ориентирах, а иные люди недостаточно активны или вовсе погрязли в мещанстве, тащат на себе в коммунизм слишком много ненужного груза.

Он ратует за автомобильные прокатные пункты, а не за личные машины, за пансионаты, а не за дачи, за энергичный труд на колхозных полях и фермах, а не на личных делянках. Он торопится к коммунизму, общественной формации будущего, хочет достичь сияющей вершины в сроки, отпущенные его современникам.

Провозгласив демократические принципы единственно верными для движения вперед, он вместе с тем все больше вынужден опираться на людей, которые вовсе так не думают. Возрождается знакомая командно-приказная система. Она проста и удобна. Приказы отдаются, однако дела идут все медленнее. Хрущев не отдает себе отчета в том, что именно его непоследовательность тормозит решение экономических, социальных, духовных проблем. В политике отсутствует целостная концепция. Он забывает, что в сообщающихся сосудах жидкость непременно держится на одном уровне. Этот закон не изменишь. Нельзя звать к открытости, состязательности, свободному сопоставлению точек зрения в мире науки и техники и ограничивать действия этих правил в духовных областях жизни. Невозможно быть демократом в КБ и ретроградом в СП.

Многое еще внушает людям оптимизм. Спад кажется временным и преодолимым. Но более ясным становится и другое. Долгий путь в постоянных метаниях, в поисках лучших организационных форм, не задевающих глубинные причины срывов, форсированный марш «вперед-вперед» вызывают усталость, накапливают раздражение.

Мне кажется, что и сам Хрущев пришел к пониманию того, что ошибки и просчеты лежат в иной, чем он предполагал, плоскости. Его познакомили с запиской харьковского профессора Евсея Григорьевича Либермана, который, анализируя экономическую ситуацию, обращал внимание на принижение товарно-денежных отношений, оптимального планирования и управления хозяйством, материальной заинтересованности, то есть на те главные экономические рычаги, о которых в принципе было известно из работ академиков Леонида Витальевича Канторовича и Василия Сергеевича Немчинова. Их выдающиеся исследования так и не вошли в практику. Эта записка была первым толчком к реформе 1965 года, подготовка которой началась при Хрущеве.

О чем думал он, отправляясь вместе с Микояном в октябре 1964 года в кратковременный отпуск на Пицунду? Обычно такие отъезды свидетельствовали о желании сосредоточиться, поразмышлять.

Незадолго до отъезда Никита Сергеевич выступил на последнем в его жизни большом совещании. С горечью говорил о провалах в годовых планах семилетки, называя малоутешительные цифры. А закончил выступление фразой, которая многих насторожила. Звучала она примерно так: «Надо дать дорогу другим, молодым...»

В Уставе, принятом на XXII съезде партии, как известно, оговаривались сроки сменяемости руководящих кадров. Был подготовлен проект Конституции, которая эти положения закрепляла в государственном плане.

На Пицунде отпуск Хрущева носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствие участникам XVIII Олимпийских игр в Японии, разговаривал по телефону с космонавтами В. Комаровым, К. Феоктистовым, Б. Егоровым. Затем встретился с государственным министром Франции по вопросам ядерных исследований. Если учесть, что на все это ушло чуть больше недели, не скажешь, что Никита Сергеевич часто бывал на солнце, у моря или что в душу ему закрадывалось недоброе предчувствие. Меня часто спрашивают: неужели Хрущев не знал, что идет подготовка к его смещению? Отвечаю: знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: надо снимать Хрущева. Улетая на Пицунду, сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова, что он там болтает? Что это за интриги? Когда вернусь, надо будет все это выяснить». С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьез странные вояжи и разговоры Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Г. Игнатова и тем более думать о том, что ведет их Игнатов не по своей инициативе.

А затем, по-видимому, 13 октября, последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал «прямо истерическим». Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов, хотя называют и Брежнева. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Во всяком случае, на аэродроме в Москве, конечно. Его встречал только председатель КГБ тех лет В. Е. Семичастный. Хрущев сразу же направился на заседание Президиума ЦК.

14 октября состоялся Пленум, на котором Хрущев не выступал. Сидел молча, опустив голову. Для него этот короткий час был, конечно, страшной, непередаваемой пыткой. Но дома он держался ровно.

Анастас Иванович Микоян жил на Ленинских горах по соседству с Никитой Сергеевичем. Они возвращались вместе с тех заседаний Президиума ЦК, на которых велась речь о смещении Хрущева. Я приезжал в дом к Никите Сергеевичу в ту пору. Он уходил к себе молча. Уже по-

нял, что к моменту его вызова с Пицунды под предлогом крайне срочных дел все уже было решено. Перед Пленумом ЦК он сказал: «Они сговорились». Анастас Иванович выразился яснее: «Хрущев забыл, что при социализме тоже может вестись борьба за власть».

Хрущев с чистой совестью мог сказать, что оставляет дела в государстве в большем порядке, чем они были, когда он их принял.

Мысль эта принадлежит не мне, а Марку Френкланду, одному из тех западных советологов, которые пытаются разобраться в том, чем было для Советского Союза «десятилетие Хрущева» (цитирую по «Политической биографии Хрущева», написанной Р. Медведевым). Мнения на этот счет с «чужого берега» разнообразны и любопытны. В начале 1988 года я встречался с американским профессором Таубменом. Он связывает и сопоставляет деятельность Хрущева, Кеннеди, Иоанна XXIII, считая, что каждый из них хотел изменить мир к лучшему, начал действовать в этом направлении сообразно своим убеждениям, но они многого не успели сделать.

В те десять лет у нас не только руки, но и голова не дошли до кардинальных решений. В том числе и мысль Хрущева. Возвращая миллионам невинных уважение общества, развенчивая культ Сталина, отвергая террор и репрессии как метод управления делами государства, не только Хрущев, но и широкий круг лиц не поднялись до понимания более сложной истины: гигантскими усилиями народы нашей страны выстраивали общество, из которого, при всех его бесспорных материальных достижениях, исчезал ленинский завет — для социализма превыше всего человек!

Не противоречит ли сказанное тому, с чего я начал свои заметки, и как быть с тем оптимизмом, которым окрашивалась деятельность многих послевоенных поколений советских людей? Или здесь нет никакого противоречия, а просто исчерпал себя «оптимизм неведения»?

Последние слова в адрес Хрущева на октябрьском Пленуме ЦК в 1964 году произнес Брежнев. Не без пафоса закончил он короткое заседание, на котором с сообщением выступал Суслов. Вот, мол, Хрущев развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни. Ну что ж, Брежнев был прав. С культом Хрущева покончили. Думаю, Хрущев никогда не согласился бы на ту роль, какую готовили теоретики застойного периода самому Брежневу. В эпоху «развитого социализма» все больший вес приобретал человек, которого называли «серым кардиналом». Теперь о нем почти не вспоминают. Деятельность Суслова будет оценена с необходимой объективностью. Как нельзя все списывать на Хрущева, так нельзя все валить на Брежнева. Суслов любил держатся в тени. Не двигала ли эта тень своего хозяина?

И во время освобождения Хрущева, и после давалось немало заверений в необходимости улучшения руководства делами страны, восстановления коллегиальности. Эти заверения были восприняты с надеждой. Однако становилось все яснее, насколько расходятся слова и дела. По сути, взяли реванш те силы, которые хотели спокойствия, благолепия, «надежного» вождя — защитника интересов бюрократической группы лиц, отождествлявшей себя с народом и все больше удалявшейся от него.

Смещение Хрущева с высоких партийных и государственных постов хоть и было для многих громом среди ясного неба, однако большого сожаления не вызвало. Это событие нашло необычайно бурный отклик скорее за границей. Почти во всех социальных группах общества обозначились те или иные претензии к Хрущеву. Военным он срезал пенсии; слишком часто проводил сокращения армии. Держатели займов ставили ему в вину прекращение тиражей, забыв о том, что и подписка на займы с 1957 года не проводилась. Вспомнили денежную реформу, вернее, изменение курса рубля, кукурузу, разъединение обкомов партии, ликвидацию министерств, совнархозы. О недовольстве части творческой интеллигенции я уже говорил.

Этот перечень можно продолжить, равно как противопоставить ему не менее длинный список связанных с именем Хрущева деяний положительных. И прежде всего освобождение миллионов невинных от гнета, репрессий, клеветы, от страха. Для политического деятеля одного этого достаточно, чтобы оставить по себе добрую память. Однако она может

быть устойчивой и глубокой только при объективной оценке роли и места личности в историческом процессе.

Прошло почти четверть века с той октябрьской поры, а меня все занимает даже не сам факт происшедших тогда перемен, а до удивления простая «технология» их претворения в жизнь. Практически ни партия, ни страна не услышали никаких аргументов, никаких серьезных обоснований — ни «про», ни «контра». Никаких дискуссий, горячих речей, никакой информации: в апреле кричали «ура», в октябре «долой». Мы так и не узнали, что хотел и хотел ли Никита Сергеевич что-то сказать в час, когда решалась не только его личная судьба.

Перефразируя Гамлета, так и хочется сказать: «Знать или не знать — вот в чем вопрос». Не только меня, но и многих моих товарищей и друзей жег стыд, когда вот так же келейно, как с Хрущевым, решался вопрос об избрании на пост Генерального секретаря ЦК Черненко. Меня, пожалуй, в большей степени, потому что я довольно хорошо знал этого человека. Он работал в Президиуме Верховного Совета СССР в качестве заведующего приемной Брежнева, его главное занятие состояло в обработке почты. Как главный редактор «Известий» я почти еженедельно проводил в его кабинете несколько часов, он зачитывал мне письма, и мы решали их судьбу. Черненко в ту пору был милым, спокойным человеком. Абсолютно далекий от серьезных государственных забот, без яркой жизненной биографии, опыта, он странным стечением обстоятельств с поразительной быстротой стал двигаться вверх по партийной лестнице (помощник Брежнева, зав. отделом ЦК, секретарь ЦК), пока за несколько лет стремительной карьеры не стал претендентом на пост Генерального секретаря. Почти сразу после его избрания полились восхваления, елей, начали издавать труды, выслушивать поучения и рекомендации. Все это оправдывалось «высшими» соображениями и преемственностью прежнего курса. Разве можно забыть, как, находясь в больнице, где этот сникший человек практически умирал, подобострастный Гришин докладывал ему о выполнении Москвой плана товарооборота (усилиями Трегубова), будто это так уж волновало больного? Зачем же о нас так плохо думать? Мы ведь не младенцы. Зачем кому-то надо было так плохо думать о собственном народе, о достоинстве советских граждан?

Нелегкий опыт накопило наше общество. Та буря, которая потрясает его сегодня, — великая буря очищения, это урок тем, кто думает, что можно миновать ответственности. Рано или поздно, как видим, никто ее не минует. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев.

Местом жительства Хрущева был обозначен небольшой дачный поселок в Петрово-Дальнем под Москвой, у тихого берега Истры. Прошло немало времени, прежде чем к Никите Сергеевичу вернулось душевное спокойствие. Он принадлежал к людям, которые все держат в себе, не дают выхода чувствам. За день он мог сказать всего несколько слов. Бродил по заросшим дорожкам парка. Один. А потом собака дочери Никиты Сергеевича Лены, старая матерая овчарка Арбат, признала его хозяином и всегда сопровождала. Я люблю собак и знаю, что преданность их отнюдь не из-за вкусного куска.

К лету следующего за отставкой года Никита Сергеевич начал изредка ездить в Москву. Побывал на чехословацкой выставке, в театре «Современник» — там он после спектакля поговорил с актерами.

Месяц за месяцем менялись на календаре годы. Иногда к Никите Сергеевичу наведывались наши друзья, друзья Сергея и Юли — Серго Микоян, Ирина Луначарская с мужем, военным химиком Рафаилом Стерлиным, Роман Кармен, Виктор Суходрев, Владимир Высоцкий, профессор Михаил Жуковский, Эмиль Гилельс, Евгений Евтушенко, Михаил Шатров. Никита Сергеевич увлекался в ту пору фотографией и его советчиком тут был Петр Михайлович Кримерман, директор магазина фототоваров. Приезжали товарищи Сергея — инженеры, ученые. В их кругу Никита Сергеевич чувствовал себя особенно хорошо. «Технари» были ему понятнее и ближе гуманитариев.

Хрущев внимательно читал газеты, слушал радио, понимал, как далеко уходят его преемники от прежнего курса, но не комментировал их

политику. Думаю, не потому, что боялся или был ко всему безразличен. Видимо, не хотел, считал унизительным, недостойным партийца заниматься досужими разговорами. Если кто-нибудь задавал бестактный вопрос, отвечал: «Я на пенсии».

С годами Никита Сергеевич становился мягче, сердечнее, внимательнее к детям. Дочь своего сына Леонида, летчика, погибшего в авиационном бою под Смоленском, считал своей дочерью. Юлия воспитывалась в его доме. Мать ее, Любу, арестовали в 1943 году, обвинили в связях с иностранцами и без суда отправили на 15 лет в ссылку. Хрущев об этом с Юлей никогда прежде не заговаривал, а тут во время одной из прогулок стал расспрашивать, как живет сноха, просил передать ей привет. «Можешь гордиться отцом, он был храбрым летчиком, а мама твоя ни в чем не виновата».

Близкие старались навещать Никиту Сергеевича как можно чаще в его дачном уединении, где он безвыездно жил, но мы все заняты были своими делами, и многие часы и дни Никита Сергеевич проводил в одиночестве. Ему было тоскливо. Выручали книги. Он запоем читал — Толстого, Тургенева, Щедрина... Обустроил две теплички, завел огород, проводил опыты с томатами.

Сохранилось несколько листочков записей Нины Петровны о той поре. При всей их краткости это документальные свидетельства родного человека. В 1965 году в связи с пенсионными делами, пропиской на новой квартире в Староконюшенном переулке и прочим Нина Петровна и Никита Сергеевич обнаружили, что брак их не зарегистрирован. Таким формальностям в пору их молодости не придавалось значения. Позади у них было почти полвека совместной жизни.

Нине Петровне довелось пережить мужа на 13 лет, она умерла в августе 1984-го и похоронена, как того хотела, рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище. В «Вечерней Москве» напечатали извещение в траурной рамочке. Там значилась девичья фамилия Нины Петровны — Кухарчук. Не захотели написать «Хрущева».

Записи эти она делала уже в последние свои годы.

«Не помню точно месяца и года, но Н. С. немного успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он диктовал на магнитофон. Делал он это регулярно по утрам, иногда и днем. Я переписывала с магнитофонной ленты текст. Когда накопилось много страниц, Н. С. передал пленки Сергею, чтобы перепечатала машинистка. Как-то он сидел рядом со мной и наблюдал, как я печатаю на машинке. Моя работа ему не понравилась, я стучу только четырьмя пальцами, а он привык к профессиональным машинисткам в ЦК, которые писали восемью и десятью пальцами, с большой скоростью. Он даже проговорил разочарованно: «Так-то ты пишешь? И когда закончишь работу?» Так пленки с записями воспоминаний Н. С. и страницы с уже напечатанным текстом очутились у Сергея. Я потом пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, что произошло<...>

В связи с этим надо рассказать о встречах Н. С. с бывшими товарищами по работе, встречах, которые укоротили его жизнь. К сожалению, не помню чисел, но последовательность хорошо помню. Первая состоялась с А. П. Кириленко. Н. С. долго не возвращался, наконец, приехал, очень возбужденный, и сразу пошел гулять к реке. Я тоже пошла с ним. Долго он ходил молча, а потом заговорил. Кириленко вызывал его для того, чтобы запретить ему писать мемуары, и потребовал сдать в ЦК уже написанное. На это Н. С. ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и тогда все его воспоминания оказались бы не только у него, но и в ЦК. Этого сделать не захотели. Отдать материалы он категорически отказался, поскольку они еще нуждались в доработке. Далее Н. С. сказал, что запретить ему писать никто не имеет права, это противоречит Конституции нашего государства. Н. С. напомнил, что царь запрещал Т. Г. Шевченко писать и рисовать, и что из этого получилось? Шевченко читает весь мир, а кто помнит его преследователей? Кроме того, мемуары в нашей стране пишут тысячи людей, им никто не препятствует, а почему ему, Н. С., хотят запретить? Где логика? Н. С. сказал, что он сорвался, повысил голос... На следующий день Н. С. увезли в больницу в машине «скорой помощи» с тяжелым инфарктом. Он долго лечился, а по возвращении оттуда часами лежал на веранде возле спальни, медленно выздоравливал. Доктор Владимир Григорьевич Беззубик приезжал очень часто. А те недели Н. С. внимательно, даже с любовью смотрел на небо, на сосны, на яблони и цветы в саду...

Однажды я задержалась в Москве дольше обычного и не застала Н. С. на даче. Он приехал через два с лишним часа, попросил раскладной стульчик и сел под сиренью у порога. Я ждала, когда заговорит. Позвали ужинать — отказался. Через некоторое время стал рассказывать. Звонили ему по телефону из аппарата Пельше. Пельше сказал, что за рубежом напечатана книга мемуаров Н. С. Хрущева. Как туда попали его мемуары? Кому Н. С. их передавал? Он ответил, что никому свои записи не передавал — ни у нас, ни за рубеж, они еще не приведены в такой вид, чтобы их можно было передавать в печать, он и не передал бы их никогда за рубеж... Пельше спросил, что же это значит? Книга — фальшивка? Как нам выйти из этого положения? Надо опубликовать опровержение... Н. С. согласился. Пельше сочинил текст, Н. С. отверг его и написал свой вариант, который и был опубликован в «Правде». Там было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у нас в стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Н. С. вставил фразу о том, что он не пишет и не писал никаких мемуаров. Н. С. не согласился, и опровержение пошло в печать без этой фразы. Визит к Пельше также закончился инфарктом.

Н. С. выздоровел, но не оправился от болезни, долго чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней первой недели сентября (1971 г.), 5-го или 6-го числа, Н. С. вернулся от Рады. Пошел гулять после обеда, понес стульчик с собой, но скоро вернулся. Ночью у него болело сердце, я дала ему нужные лекарства, боль прекратилась, он уснул. Утром встал, умылся, и опять заболело сердце. Приехал доктор Беззубик с сестрой, сделали укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Н. С. настоял, чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с персоналом, а ночью стало ему плохо, и 11 сентября Н. С. ушел из жизни».

Ни я, ни Рада не знаем, как попали воспоминания Никиты Сергеевича за границу, соответствует ли опубликованное тому, что он диктовал. Рано или поздно это прояснится.

Никита Сергеевич несколько раз приезжал к нам в дачный поселок в районе Икши. В Петрово-Дальнем делила с Никитой Сергеевичем уединение его младшая дочь Лена. Она тяжело болела, угасала. Умерла вслед за отцом, молодой, — ей исполнилось только 35 лет.

В маленьком нашем поселке Никиту Сергеевича встречали приветливо, с почтением. Он становился общительным, как прежде. Любил пойти по грибы, поговорить с соседями — летчиками-ветеранами. В тот день, о котором пишет Нина Петровна, он остановился у опушки леса, попросил моего сына Алешу принести ему складную трость-стульчик. Долго сидел грустный. Сказал нам, что ему неможется, и уехал. Рада словно почувствовала что-то, поехала вслед. Вскоре он был уже в больнице.

Хрущев умирал. Перед смертью попросил Раду принести ему соленый огурец. Рада успела съездить на рынок. Никита Сергеевич поглаживал руку дочери и с трудом говорил: «Ну где твоя мама, она так нужна мне сейчас...» Быть может, он хотел что-то сказать на прощанье?

Через два дня после смерти Никиты Сергеевича Нине Петровне было передано, что похороны должны носить сугубо семейный характер, никаких официальных церемоний. «Хороните, как обычного гражданина...»

Так и похоронили.

Из переписки Ариадны ЭФРОН и Бориса ПАСТЕРНАКА

(1948—1957 гг.)

Одного из участников этой переписки — Бориса Леонидовича Пастернака — нет нужды специально представлять читателям. О другом — Ариадне Сергеевне Эфрон (1913—1975) — следует сказать несколько слов. Дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон была ярко одарена с детства. И, однако, ей не было дано самостоятельной литературной судьбы, быть может, оттого, что она оставалась в тени великого имени матери, а прирожденное чувство достоинства и скромность не позволяли ей держаться на виду. Да и жизнь не баловала А. С. Эфрон. С 1922 по 1937 год она жила за границей вместе с матерью. В Париже она вошла в круг патриотически настроенной «просоветской» молодежи и с отцом, на два года раньше матери, вернулась в Советский Союз. В 1939 году Ариадна Эфрон была арестована, осуждена на восемь лет и отбыла полный лагерный срок. После этого ненадолго получила возможность жить и работать в Рязани, откуда написаны первые из публикуемых ее писем Пастернаку. В феврале 1949 года, как ранее репрессированная, Ариадна Эфрон была вновь арестована и приговорена к пожизненной ссылке в селе Туруханск Красноярского края. В 1955 году полностью реабилитирована «за отсутствием состава преступления». Последние годы А. С. Эфрон жила в Москве, преданно занимаясь наследием матери, подготовкой к печати ее рукописей.

Появившиеся в журналах «Литературная Армения» (1967, № 8) и «Звезда» (1973, № 3, и 1975, № 6) воспоминания о Марине Цветаевой напомнили о литературном даре ее дочери: он высок и неоспорим. То же можно сказать о ее переписке с Пастернаком. Письма Ариадны Эфрон не уступают по значительности письмам ее знаменитого корреспондента и даже ведут первую партию в этом дуэте. «Полные ума и души», по определению адресата, они относятся к прекрасным образцам эпистолярного жанра, собственно «почтовой прозы», какой не бедна русская литература. Но в середине XX века в России, пожалуй, уже редко писали такие письма — с превосходными описаниями быта и природы, тонким психологическим пониманием людей и душевной прямотой. В литературных оценках Ариадны Эфрон, обращенных к автору «Доктора Живаго», который посылал ей главы романа в рукописи, так же как в пейзажах Сибири и картинах ссыльного житья-бытья, поражает острейшая впечатлительность и неуклончивый справедливый ум. Все это не может оставить безразличным читателя.

1 августа 1948

Дорогой Борис! Прости, что я такая свинья и ни разу еще тебе не написала: все ждала по-настоящему свободного времени, чтобы написать настоящее большое письмо. Но времени нет и, наверное, никогда не будет. И чувства и мысли так и остаются не столько несказа́нные, сколько неска́занные. Живу я в Рязани уже скоро год, работаю в местном художественном училище — ставка 360 р. в месяц, а на руки, за всеми вычетами, приходится чуть больше 200[1] — представляешь себе такое удовольствие! Работать приходится очень, очень много. Все мечтала этим летом съездить в Елабугу, но, конечно, при таком заработке это совсем неосуществимо. Асеев писал мне, что мамину могилу разыскать невозможно. Не верю.

В училище, где я работаю, есть театрально-декоративное отделение, а Шекспира нет и достать невозможно. Ни у меня, ни у училища нет ни средств, ни возможностей, а без Шекспира нельзя. Молодежь (в большинстве из окрестных сел) никогда его не читала, и если не пришлешь ты, то, наверное, и не прочтет. Если не можешь подарить, то пришли на прочтение, мы вернем. Но я думаю, что ты подаришь. Очень прошу тебя.

Напиши мне о себе хоть немножко. Мне говорили, что ты женился. Правда? Если так, то это хорошо. Особенно на первых порах. Крепко тебя целую и люблю. Напиши.

Твоя Аля

Помнишь, как ты приезжал к нам[2], сколько было апельсинов, как было жарко, по коридорам гостиницы бродил полуголый Лахути, мы ходили по книжным магазинам и универмагам, ты ни во что не вникал и думал о своем, домашнем? Мой адрес: Рязань, ул. Ленина, 30, Рязанское художественное училище.

Еще раз целую. Очень хотелось бы увидеться.

14 августа 1948

Дорогой Борис! Бесконечно благодарю тебя за все, полученное мною. Стихи очень хороши. Когда я распечатала конверт и взялась за письмо, сидевшая рядом одна Марья Ивановна, рязанская счетоводица, схватила без спросу стихи. Я говорю: «Бросьте, Мария Ивановна. Это переводы. Вы все равно не поймете». Но она не бросила, все прочла и сказала: «Чего ж тут непонятного. Наоборот, все понятно. И все очень хорошо». Почему в первую очередь, вместо своего, написала тебе отзыв Марии Ивановны? Да потому, что это прекрасно — т. е. то, что прекрасное в них, в стихах, в теперешних твоих, доступно не только избранным. К большей, чем прежде, глубине содержания, прибавилась бо́льшая, чем прежде, простота формы. Вообще действительно прекрасные стихи — чего не могу сказать о последних асеевских, что он прислал мне. И ему не смогла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось — больше не пишет мне.

Да, дорогой Борис, скоро 35 лет, как я — Ариадна (это имя обычно так коверкают, что я даже сама не смогла сразу написать его правильно!) М. б. если бы я была Александрой, все было бы проще и глаже в жизни?

В общем, имя не из счастливых! Ну и Бог с ним. Вчера я получила все твое. Твои книги безумно — если бы ты их видел в эту минуту! — обрадовали ребят. Они только жалели, что ты им ничего не надписал на них. И отобрали у меня даже бандероль, чтобы убедиться в том, что «он сам прислал». Если бы прислал сам Шекспир, вряд ли он произвел бы больший фурор.

А сегодня мне объявили приказ, по которому я должна сдать дела и уйти с работы. Мое место — если еще не на кладбище, то, во всяком случае, не в системе народного образования. Не можешь себе представить, как мне жаль. Хоть и очень бедновато жилось, но работа была по душе, и все меня любили, и очень хорошо было среди молодежи, и много я им давала. Правда. За эти годы я стала много понимать, и стала добрая, особенно к отчаянным. И работалось мне хорошо, и я много сделала. А теперь, когда я всех знаю по именам и по жизням и когда каждый

---

[1] В нынешнем масштабе цен — 36 р. и 20 р.

[2] В 1935 году Б. Пастернак был в Париже на Международном конгрессе писателей в защиту культуры.

идет ко мне за помощью, за советом, за тем, чтобы заступилась или уладила, я должна уйти. Куда — сама не знаю. Устроиться необычайно трудно — у меня нет никакой кормящей (в данной ситуации) специальности, и я совсем одна. Еще спасибо, что по сокращению штатов, а то совсем бы некуда податься! Вот ты говоришь — «не унывай». Я и не унываю, но, кажется, от этого и не легче. Ты понимаешь, я давно пошла бы на производство или в колхоз, сразу, но сил нет никаких, кроме аварийного фонда моральных. Пережитые годы были трудны физически, и последний был не из легких. Вот сейчас никак и не придумаю — что делать? Видимо, вот пока и все. Прости за нечленораздельность, я устала очень.

Еще раз бесконечно (разве можно так писать — «еще раз бесконечно»?) благодарю за все. Ты не любишь больше вспоминать, да? а я часто вспоминаю, как мы сидели в скверике против Жургаза и как все было.

Крепко целую тебя, милый.

Твоя Аля

26 августа 1948

Дорогой Борис! Спасибо за твою добрую открыточку и за добрые обещания — только я что-то не уверена в том, что ты многим богаче меня. Мне кажется, что ты тоже вроде меня нищий. Остается утешаться тем, что к хорошим людям богатство не причаливает. Как-то все мимо проходит — и хватать, и выпрашивать не умеем. Статью твою о Шекспире не читала и прочту, видимо, не так-то скоро — у меня ее сразу отобрали и она «пошла по рукам». Прозу пришли непременно, и пиши пока что по тому же адресу, как только он изменится, я сообщу тебе. Во всяком случае, мне всегда тотчас же сообщат, даже если я к тому времени буду работать в другом месте или вовсе не буду — не дай Бог, это хуже всего.

Недели на две я еще могу, кажется, рассчитывать на гостеприимство своих «хозяев» — им очень, очень не хочется отпускать меня — относятся ко мне очень хорошо и пока затягивают всю эту историю,— но слишком долго затягивать, увы, не придется. А все-то дело в том, что за меня «заступиться некому», я ведь здесь так недавно. Все можно было бы уладить. Работать напоследок приходится очень много и очень беспрерывно. Я ужасно устала и вообще, и в частности.

Асеев иногда пишет мне письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное — не знаю, как выразить — в общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда «посмотреть на меня». Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин. Но ты ему не говори! А чего — «не говори» — сама не знаю. Очень спать хочется.

Я сама не знаю, что и как со мной будет дальше. Ехать? Куда? мне не ездить хочется, а прибиться к месту, и чтобы никто не трогал. <...> Боюсь, что я ужасно косноязычна, поймешь ли ты все, что мне не удается выразить? А как жизнь быстро идет! Так недавно мама распечатывала твои «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь», и Рильке умер так недавно, и тоже совсем недавно я, маленькая, расшифровывала маленькую Люверс [1], сама будучи похлеще этой самой маленькой Люверс, и Мур играл с белым медвежонком Мумсом, присланным твоим папой.

В маленьком, холодном рязанском музее есть работы твоего отца, и по радио передают Скрябина, уйти «от шагов моего божества» [2], и с Люверс я встретилась в Мордовии, в старом за- и растрепанном альманахе, за высоким забором, в лесах, где проживал Серафим Саровский... И, в общем, мы с тобой живы, и время от времени попадаем в круги, разбегающиеся от когда-то давно брошенного камня, встречаемся с чем-то

[1] Героиня повести Б. Пастернака «Детство Люверс».
[2] Из поэмы Б. Пастернака «Девятьсот пятый год».

и кем-то, еще давно близким и опять ждущим на очередном повороте судьбы. Грани между «просто» и «давно» прошедшим стерлись, как стерся счет дням и годам. Меня маленькую тревожило чувство, что времени — нет: до полуночи — вечер, а с полуночи — утро, а где же ночь? А сейчас до полудня — детство, а с полудня — старость. Где же жизнь? Ты что-ниб. поймешь в моем сонном лепете? Хотя бы то, что я тебя очень люблю и крепко целую?

Твоя Аля

5 сентября 1948

Дорогой Борис! Прости за глупый каламбур, но — все твои переводы хороши, а последний — лучше всех. Не знаю, правильно ли я поступила, тут же, «тем же шагом», как говорят французы, сбегав в магазин и купив себе пальто. Правильно или нет, но это было какое-то непреодолимое душевное движение, и даже сильней, чем движение. Потом, когда я его уже купила и надела, я стала себя убеждать, что так и нужно было сделать: пальто ведь нет, совсем никакого, и подарить его мне может только чудо, а чудо — вот оно, и значит — все правильно. Потом представила себе, как такая куча денег расходится по всяким там керосинам и селедкам, не то что «расходится», а «разошлась бы», если бы я не купила пальто. А потом, с совершенно чистой совестью и легким сердцем, пошла отражаться во всех витринах. Спасибо тебе, Борис. Ты как-то совсем по-необычному тронул меня и обрадовал своим подарком, но все это — не те слова, и нет у меня на это слов. Однажды было так — осенним, беспросветно-противным днем мы шли тайгой, по болотам, тяжело прыгали усталыми ногами с кочки на кочку, тащили опостылевший, но необходимый скарб, и казалось, никогда в жизни не было ничего, кроме тайги и дождя, дождя и тайги. Ни одной горизонтальной линии, все по вертикали — и стволы и струи, ни неба, ни земли: небо — вода, земля — вода. Я не помню того, кто шел со мною рядом,— мы не присматривались друг к другу, мы, вероятно, казались совсем одинаковыми, все. На привале он достал из-за пазухи обернутую в грязную тряпицу горбушку хлеба,— ты ведь был в эвакуации и знаешь, что такое хлеб! разломил ее пополам и стал есть, собирая крошки с колен, каждую крошку, потом напился водицы из-под коряги, уже спрятав горбушку опять за пазуху. Потом опять сел рядом со мной, большой, грязный, мокрый, чужой, чуждый, равнодушный, глянул — молча полез за пазуху, достал хлеб, бережно развернул тряпочку и, сказав: «на, сестра!» — подал мне свою горбушку, а крошки с тряпки все до единой поклевал пальцами и в рот — сам был голоден. Вот и тогда, Борис, я тоже слов не нашла, кроме одного «спасибо», но и тогда мне сразу стало ясно, что в жизни есть, было и будет все, все — не только дождь и тайга. И что есть, было и будет небо над головой и земля под ногами. Только тот был чужой и далекий, а ты родной и близкий, но и ты, и он сделали — сотворили — для меня большее чудо, чем опять-таки можно выразить словами.— Да, вспомнишь это самое время военное и это самое горе военное и подумаешь — ведь в самом деле все это было, и в самом деле все это перенесли.

У меня пока нового — кроме пальто — нет ничего. Распоряжение остается в силе, что касается меня, то я пока работаю на прежнем месте, что и как будет дальше,— не знаю.

Если отсюда придется, и возможно, в недалеком будущем, уйти, то думаю поехать к Асе [1], там, м. б., и даже наверное, Андрей [2] поможет с работой, и остановиться можно будет у них. Здесь же у меня никого и ничего, и все может оказаться невыносимо трудным.

Но и там, Борис, не слаще, в конце концов. <...>

Крепко тебя, дорогой, целую. Как бы тебя увидеть? Прозу свою пришли. Пиши мне пока на училище, если переменю адрес — сообщу.

Твоя Аля

[1] А. И. Цветаева, сестра М. И. Цветаевой, жила в это время в Вологде.
[2] А. Б. Трухачев, сын А. И. Цветаевой.

20 сентября 1948

Дорогой Борис! Сегодня, очень рано утром, я услышала, как журавли улетают. Я подошла к окну и увидела, как они летят в смутном, рассветном небе, и потом уже не могла уснуть — все думала. Почему написала тебе об этих журавлях — и сама не знаю. Развернула твое письмо — и они мне вспомнились. Наверное, есть какое-то скрытое, а может быть, и явное, сходство между твоим почерком и полетом этих больших, сильных птиц, вечно разорванных между севером и югом, зимой и летом птиц без средней полосы и золотой середины в жизни.

Как люблю я их крик в тумане сумерек или рассвета, и стройно-колеблющийся силуэт их эскадрильи, и того, последнего, мощными, на расстоянии бесшумными, взмахами крыльев догоняющего своих...

«Все дурное уже переделано», пишешь ты. Не знаю. Сомневаюсь. Во-первых, одной человеческой жизни, даже семижильной, явно мало для того, чтобы переделать «все» (хорошее или дурное). Во-вторых — во-вторых, я настолько одичала, что необычайно трудно мне излагать свои мысли — они переродились в смутные ощущения, понятные лишь мне одной, моему единственному собеседнику. Они теснятся в голове, пока не пожирают друг друга, и тогда «голове становится легче дышать». Просто мне хотелось сказать тебе, что ты, первый из известных мне поэтов, сделавший тайное — явным, выразивший то невыразимое, до чего некоторые твои предшественники — скажем, Тютчев, Фет — добирались случайно. И эти их случайности являлись — на мой взгляд и мое чутье — лучшим в их лирике. Но я плохой судья в этих вопросах, т. к. слух мой настолько развит — а для объективного отношения к делу это — еще хуже глухоты! — что даже самого трудного тебя понимаю я с полслова. Не только теперь, а еще и тогда, когда была совсем девчонкой, т. е. когда это самое чутье прекрасно сосуществовало с любовью к кино, чтением иллюстрированных журналов и уютных романов Марлит, с тем, что давно и легко отпало, как отслужившая шкурка змеи.

Самое, самое лучшее, самое радостное, самое чистое в природе всегда, в любом возрасте и любых условиях, заставляло меня вспомнить тебя — творца стихотворных ливней, первые капли которых ртутинками катятся в пыли, гроз, трепещущей листвы, этих нежных, сияющих, женственных переходов от слез к улыбке и вспять. Чувство природы, чувство праздника и печали, вкуса и запаха, и, прости за опошленное звучание этих прекрасных слов, — женской души — все далось тебе в руки. Нет, ты ужасный хам по отношению к самому себе, если в самом деле считаешь, что «все дурное уже переделано». Боюсь, что лучшего, чем лучшее из вышеназванного дурного, тебе уже не создать! Ну, конечно, был и у тебя, как у всякого настоящего поэта, всякий хлам, но без него нет творчества. А сколько его в ранних маминых стихах — пусть она не сердится на меня за эти слова!

Поэзия сегодняшнего дня — это, на мой взгляд, сплошное «хлеб наш насущный даждь нам днесь», и только один Маяковский владел ею вполне, — и она им. Но не единым хлебом жив человек, даже в такие времена, когда хлеб — это все. Говорю это en pleine connaissance de cause[1]. Велика и глубока сила поэта, и равна ей по величине и глубине только память читателя, о которой обычно поэты не имеют понятия. Ты — тоже. Опять-таки говорю это en pleine connaissance de cause.

Ну, вот и все сегодня. Я тоже ужасно занята, но такими безнадежно нудными делами, что — да Бог с ними совсем, стоит ли о них говорить! И устала.

Целую тебя.

Аля

10 окт. 1948

Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись[2] прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой тезки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной франц. вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоятельной, непреодолимой потребности показать ее еще кому-ниб., я попрошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Если это тебе покажется в бытовом отношении неудобным, то в таком случае я попрошу тебя написать мне об этом, и вернешь рукопись по почте мне. Я все время жил в Переделкино. Мой младший сын однажды сказал, что звонила Ариадна Сергеевна. У нас есть знакомая Ариадна Борисовна, может быть, это была она и он спутал.

Целую тебя.

Твой Б.

14. 10. 48

Дорогой Борис! Вчера получила книгу, а сегодня открытку. Спасибо тебе. Я недавно была в Москве несколько дней, звонила тебе, мне сказали, что ты — на даче, т. ч. сын твой не спутал, это была именно я. Ужасно жалела, что не удалось повидать тебя, да и сейчас еще жалею. В Москву выехала по приглашению нескольких добрых людей из Союза писателей, которые захотели помочь мне уладить дела с работой, т. е. именно с той работой, с которой я вот уже скоро два месяца все ухожу. Обещал все уладить и со всеми переговорить Жаров, который вчера приехал в Рязань на празднование тридцатилетия комсомола, но повидать его и дозвониться ему нет никакой возможности — в гостинице «Звезда» (по температуре — звезда полярная!) ему не сидится, а до остальных мест пребывания никак не доберешься. Вообще все эти треволнения, мелкие, но постоянные, плюс ко всему ранее пережитому, издергали меня окончательно, как может издергать ежечасно повторяемое «что день грядущий...» из так называемой популярной арии. Очень тяжело и сумасшедше, когда день вчерашний все время насильственно перевешивает, берет перевес над завтрашним, а у меня все время так и получается, и не по моей воле.

Скажи, сколько времени можно читать книгу, мне и еще немногим нескольким? У меня есть мечта, по обстоятельствам моим не очень быстро выполнимая, — мне бы хотелось иллюстрировать ее, не совсем так, как обычно, по всем правилам, «оформляются» книги, т. е. обложка, форзац и т. д., а сделать несколько рисунков пером, попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мерещатся, уловить их, понимаешь? М. б., и даже наверное, это было бы не твое и не то — впрочем, почему «даже наверное»? Как раз может оказаться и твоим, и тем самым. Но это осуществимо только при условии, если я останусь здесь. <...>

Целую тебя.

Твоя Аля

12.11.48

Дорогой Борис! Получила твою открыточку, прости, что так долго не отзывалась на книгу — бегло и между делом не хочу, а так, как хочу, — все со временем не выходило из-за безумных предпраздничных нагрузок, плюс к основной работе и серьезному наступлению «осенне-зимнего сезона» в плане сложного рязанского быта. Книга вернется ко мне в понедельник, и тогда, с ней в руках, все напишу тебе подробно. Я, конечно, прочла ее первая, дважды подряд. Очень хороша. Но хочется очень, чтобы были пополнены и развиты антракты между событиями, сами по себе, несомненно, насыщенные событиями еще не разразившимися, понимаешь? Обо всем напишу, как только вернется книга, а пока словечко наспех, чтобы сказать, что мы — и я, и книга — живы и скоро подадим голос. Там есть замечательные, замечательные места, по-твоему пронзительные. Но боюсь — не сумею так нарисовать, как нужно. Иллюстрация — перевод автора на нечеловеческий язык линий, пятен, света, тени,

[1] С полным знанием дела (фр.).
[2] Главы романа «Доктор Живаго».

на какой-то глухонемой язык. Тебя особенно трудно, ты — из непереводимых, — нужен художник твоего масштаба, какой-то Златоуст от графики, черт возьми! Время нужно, хоть немного покоя нужно — это я уж не о Златоусте, а о скромной себе.

Жаров оказался по отношению ко мне необычайно отзывчивым, сделал все, что нужно, на работе меня восстановили, в январе прибавятся м. б. и уроки графики — рублей на двести в месяц, и то хлеб. Плюс к сознанию слишком быстро уходящего, на ненужное тратимого времени последнее время замучила меня непонятная и противная температура — ничего не болит и все время лихорадит.

Целую тебя крепко, скоро напишу тебе много и по-своему по существу.

Твоя Аля

20 ноября 1948

Дорогой злой Борис! Позволь на этот раз не послушаться тебя, и не быть тебе другом, и не отсылать (пока еще) «его» во Фрунзе, и «делать себе из него муку» и «тратить на него свои вечера». Тем более, что ты только что, совсем недавно, разрешил мне все это. Это раз. Во-вторых, какая может быть непосредственная связь между моим отношением к тебе и моим же отношением к роману? Хоть он и твой, но, раз написан, он уже он, сам по себе и сам за себя отвечает. Таким образом, может быть хорошее отношение к автору и плохое — к произведению, и плохое к автору и хорошее — к произведению, и может быть отношение дух захватывающее и к тому, и к другому, одним словом, все может быть. Таким образом, если я хочу многое написать тебе о написанном тобою, то это вовсе не для того, чтобы доказать свое отношение к тебе. Это во-вторых. А в-третьих — о какой закономерности недостатков говоришь ты, ты? Ты можешь говорить о закономерности недостатков, ну, скажем, своих детей — но не об этом ребенке, созданном совсем иным творческим методом!

Ты писал, как ты мог и как хотел, дай же мне почитать так, как я могу и как хочу, и дай мне написать м. б. не совсем так, как мне хочется, п. ч. я не всегда умею, но так, как смогу. И не пиши мне, Бога ради, таких, сверху чуть приглаженных, но на самом деле таких злых открыток.

Прости меня за медленность — что-то сделалось со временем и со мной. Время существует, но оно никогда не мое, оно меня гонит и гоняет по пустякам, и я совершенно загнана всякой конторской белибердой и домашними «делами» — топкой, от которой никому не жарко, готовкой, от которой никто не сыт, и т. д., и все надоело, ну и Бог с ним.

Крепко целую тебя, дорогой злой Борис!

Твоя Аля

12 нояб. 1948 г.

Дорогая Аля! Если ты без особенного ущерба можешь расстаться с рукописью и если исполнение моей просьбы не сопряжено для тебя с какими бы то ни было бытовыми неудобствами, отправь ее, пожалуйста, по почте тем же способом, каким она была доставлена к тебе, по такому адресу: гор. ФРУНЗЕ, Киргизской ССР, гл. почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Я буду тебе очень благодарен. И, если можно, не откладывай. Не уверен, в Рязани ли ты, но думаю, что в случае непредвиденного отъезда ты бы меня об этом известила.

Целую тебя.

Твой Б.

27.11.48

Дорогой Борис! Только сегодня получила твою открытку от 12.11., где ты просишь немедленно выслать книгу: открытка твоя оказалась доплатной, и поэтому долго пролежала на почтамте, пока прислали мне повестку. Книгу я смогу выслать 1—2 декабря — прости за задержку, но пока не получу зарплату — никак не выходит. Мне очень жалко ее отправлять, хотелось подержать еще и порисовать, но на все это нужно время, которого у тебя для меня нет. А у меня для себя и тем более.

Целую тебя.

Аля

28.11.48

Дорогой Борис! Вот я и завладела, наконец, той горсточкой времени, которая была так необходима, чтобы поговорить с тобой. Прости заранее за всю последующую хаотичность — я уже писала тебе о том, что после такого долгого периода немоты стала совсем косноязычной, непреодолимо трудно выражать человеческим языком свои — человеческие же — чувства и мысли. Слишком много границ, запретов и рогаток понагорожено во мне, чтобы я смогла передать то, что до слов так ясно и стройно складывается в голове. Для этого, видимо, нужно время, которого нет, или чудо, которого тоже нет.

Впрочем, утешаюсь тем, что косноязычие по сравнению с полной немотой — все же шаг вперед.

Сперва расскажу о том, что помешало мне, или о том, что не совсем понятно мне, или о том, с чем я не вполне согласна. Во-первых — теснота страшная. В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой «кубатуры», необходимого пространства и простора, воздуха! И это не случайность, это не само написалось так (как иногда «оно» пишется само!). Это умышленная творческая жестокость по отношению, во-первых, к тебе самому, ибо никто из известных мне современников не владеет так, как ты, именно этими самыми пространствами и просторами, именно этим чувством протяжения времени, а во-вторых — по отношению к героям, которые буквально лбами сшибаются в этой тесноте. Ты с ними обращаешься, как с правонарушителями, нагромождая их на двойные нары, как тот Людовик с тем епископом.

Почему так? Желание сказать главное о главном («Живое о живом», как называется одна из маминых вещей), чтобы ничего лишнего, чтобы о сложном — просто? Но вот эта-то «простота» и усложняет все настолько, что приходится проделывать весь твой путь à rebours[1], восстанавливая отброшенное тобой.

Получается концентрат — судеб, эпох, страстей, вмешиваясь в которые читатель — т. е. в данном случае говорю только от своего имени! вынужден добавлять ту влагу, которую ты отжал, усложнять то, что ты «упростил». Получается, что все эти люди — и Лара, и Юрий, и Тоня, и Павел, все, все они живут на другой планете, где время подвластно иным законам и наши 365 дней равны их одному. Поэтому у них совсем нет времени на пустые разговоры, нет беззаботных, простых дней, того, что французы называют détente[2], они не говорят глупостей и не шутят — как у нас на земле. И ни одного смешного происшествия, без которых не бывает юности. Поэтому нет впечатления постепенности их роста и превращений, их подготовленности к этим превращениям.

Патуле, «веселому и общительному», ты ни разу с тех пор, что он передразнивал кого-то на манифестации, не дал пошутить. А ведь именно эта его жизнерадостность, витаминность, способность рассмешить и рассеять должны были привлечь тяжело раненную, надорванную Лару — больше, чем его влюбленная перед ней растерянность. А в Юрятине Патуля просто превращается в Юру, чуть ли не ни с того, ни с сего — ему не хватает только стихов. «Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив», — говоришь ты о нем на стр. 135, и приходится верить тебе

[1] В обратном порядке (фр.).
[2] Расслабление (фр.).

на слово. Если бы ты не сделал этой оговорки, о Патулиной насмешливости никто и не догадался бы.

А ведь эти качества — насмешливость, наблюдательность, юмор — необычайно влияют на взаимоотношения людей, создают друзей и врагов, утешают и злят, именно этого нельзя было обходить в книге, выкидывать из нее.

О Ларе: в нее не то что веришь, как в писательскую удачу, не то что она правдоподобна, она есть, вот сейчас есть, вот сейчас живет. И поэтому когда я пишу тебе о ней, то не как о героине, а как о живом человеке, чья судьба зависит только от тебя одного. Дай же ей все 365 дней в году, а не только дни больших событий и переживаний! Дай ей самой дойти до выстрела в Комаровского, а не заменяй ее несколькими страничками нарочито сухой скороговорки: «...жизнь опротивела Ларе». «...Она стала сходить с ума». «...Ее тянуло бросить все знакомое». «...с намерением стрелять в В. И., если он ей откажет, превратно поймет, или как-ниб. унизит». Ведь не столько, пожалуй, важно действие, сколько то, что к нему подготовляет, делает его неизбежным. В данном же случае неизбежности выстрела нет, и не потому, что без него можно было бы обойтись (нельзя, Лара не может иначе!), а оттого, что в самом ответственном, в нарастании события ты заменил Лару, рассказал за нее своими (да и вовсе на этот раз не своими) словами, отчитался несколькими фразами за несколько мучительнейших, ответственнейших лет, за весь инкубационный период, пока она вынашивала в себе этот не только не грянувший, но еще не дошедший до ее сознания и уже неизбежный выстрел.

Теперь — вот этот выстрел — освободил ли он Лару от Комаровского, убила ли она им Комаровского в себе?

Если да, то Комаровский не должен, не может появиться на Лариной свадьбе. Это — худшее, невозможнейшее из его, законом не наказуемых,— преступлений, и по отношению к Ларе, и по отношению к Паше, и по отношению к хору гостей, это — дикая бестактность. Да и по отношению к нему самому. Этот тип подлеца-джентльмена может позволить себе грубость — но не бестактность. И нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах он не может, по собственному желанию и почину, выступить в роли побежденного, чуть ли не в комической роли. Его «молодые друзья» могут быть для него всем чем угодно, только не друзьями. Паша простить не мог, Лара — Лара могла вычеркнуть из жизни, но — но, если бы он появился еще раз, Бог знает, какой зверек зашевелился бы в ее сердце, не мог бы не зашевелиться. И она все что угодно, но только не «громко и невнимательно отозвалась», «...совершенно забыв, с кем и о чем она говорит...»

Потом, знаешь что, мне бы ужасно хотелось узнать, как Лариса увидела Комаровского тогда, там, на елке. «...Останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее...» Это ведь все уже после того, как она увидела, узнала его, такого знакомого и чужого в толпе гостей. После многих лет. И уже после этого взгляда и узнаванья его она останавливалась и мялась на пороге. Это может быть и мелочь, но она-то мне очень нужна!

Скажи, как могло получиться, что эта, так глубоко и сильно чувствующая женщина могла не почувствовать юрятинского Павла? Сам факт его решения мог оказаться для нее неожиданностью, но не коренная в нем перемена, вызвавшая это решение. Ведь не было же ее отношение к нему настолько поверхностным, чтобы она могла настолько все пропустить, прозевать? И если он так все чувствовал, то как же она, женщина, да еще такая женщина, да еще виновница всего, не почувствовала, что он чувствует? Опять эта теснота, эта инопланетность, не дающая развиться инкубационному периоду, приводящая нас непосредственно к следующему поступку, следующей вспышке, следующему перелому жизней и судеб.

Все растущая разница между Павлом и Ларой, определяющаяся, в частности, в разности их отношений к окружающим и окружающему, даже твое замечание о том, что «даже Лара показалась ему недостаточно знающей» (кстати, опять же — какой недостаток интуиции с ее стороны! Женщины вообще-то всегда «недостаточно знают» то, что интересует их мужей, но никогда не показывают вида!), все это должно было вызвать чуть ли не раздражение Павла, а на самом деле он любит ее еще больше прежнего и уходит от нее любя. Для того чтобы и эта разница, и эта любовь, и все это смешение противоречий в их отношениях сделались понятными, неизбежными, опять-таки нужно растворить этот период в большем пространстве — на него не хватает многих и многих страниц книги.

Как относится Павел к дочке? Играет ли он с ней? Смотрит ли на нее спящую? Была ли в доме хоть одна детская болезнь, хоть одна бессонная ночь, хоть одна тревога из-за ребенка? Если нет, то к чему вообще ребенок? Только для того, чтобы он (она!) вдруг выросла (или умерла) во второй части книги?

И вот Павел уехал на фронт. И Лара, теряя его, не начинает любить его больше, чем раньше, не оценивает его по-иному, как все мы (и она тоже должна бы!), когда теряем кого-то близкого в середине отношений, не отмершего и умершего. В таких случаях расстояние и недосягаемость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится». Да возможно ли не беспокоиться вначале? Иной раз бывает, что переизбыток тревог за человека настолько отравляет, перенасыщает душу, что в один прекрасный день возьмешь да и перестанешь тревожиться, совсем, начисто, раз и навсегда. Но вначале, вначале она, бывшая, как простая баба, хватавшая мужа за руки и валявшаяся у него в ногах, должна была сходить с ума от отсутствия писем, как-то успокаивать себя днем «развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах», а ночи — не спать. И чувство ее к ребенку должно было сделаться более смятенным, а не то что «пристроить дочь у Липочки», и в дальнейшем — «бедная сиротка» (кстати, не Лариного обихода эти слова. Так могла бы говорить мадам Гишар, но не ее дочь!).

Вообще с детьми у тебя какая-то неувязка. Где же ребенок Юры и Тони? После замечательно переданных родов Тони (там, где ты так хорошо сравнил ее с баркой) мальчик совершенно пропадает. И — никаких следов какого бы то ни было материнства и отцовства. Когда Юрий Андреевич встречается с Гордоном на фронте, то ни единым словом не вспоминает не только о сыне, но и о жене. Почему? И без слов тоже не вспоминает. Правда, прекрасно возникает в его памяти Тоня там, в госпитале, когда появляется Лара, но возникает таким далеким воспоминанием, как если бы между ними уже все было кончено раньше, давным-давно, хотя об этом ничего не было сказано, хотя это только может быть в дальнейшем. И последние придирки: куда ты запропастил Николая Николаевича Веденяпина, возведенного тобою в число значительнейших и потом как в воду канувшего, где мать и брат Лары, где чудесно набросанная и не менее чудесно заброшенная Оля Демина? Мать Лары и Родя не могли не возникать время от времени в жизни Лары, пусть чуждые, пусть докучные, но — никуда не денешься, родные! Ни свадьба Лары, ни рождение ребенка, ни отъезд в Юрятин не могли обойтись без какого-то, хоть на расстоянии, участия Амалии Карловны. Еще более беспомощная и нелепая, постаревшая мать не может не вызывать во взрослой Ларе, Ларематери, чувства если не любви, то хоть дочерней жалости.

А Николай Николаевич, растивший Юру умно и любовно, умный и необычный человек, не могущий не влиять на окружающих — тем более на молодежь, вдруг совсем выпадает из жизни Юры и из своей собственной. Ты не заставил его поссориться, уехать, умереть — так где же он и что с ним? Олю же Демину мне особенно жаль, замечательная из нее вышла бы героиня или хотя бы героиня-попутчица главных героев, ты же бросил ее в той церкви, вместе с Провом Афанасьевичем и его «блаженствами». Выберется ли она оттуда во второй части романа и если да, то не поздно ли это будет?

Чувствуешь ли ты, бросивший всех этих людей, что винить в этом будут Лару, что все это делает ее гораздо более черствой, чем она может, должна быть, есть?

Да, и еще одно: очень хочется, чтобы как-то были отмечены годы ученичества, студенчества. Узнать, как сочетались страсти с экзаменами, отметками, классами, внутренние бури с внешней дисциплиной. Упоми-

нания о том, что Лара ходила в коричневом платье и была участницей невинных школьных проказ, и взрыва ветра при высадке Наполеона во Фрежюсе мало, мало, мало!

Прости меня за эти придирки, Борис дорогой. Они м. б. страшно мелочны, но дело в том, что я настолько поклоняюсь твоему всесильному богу деталей, так люблю в тебе, в творчестве твоем это сочетание подробного письма и широкого размаха, того твоего простора, в котором сплетаются, расплетаются и разрубаются узлы человеческих судеб, что просто злиться начинаю, когда ты начинаешь заниматься самоукрощением и самоуплотнением и делаешься вдруг не по-своему скупым.

О, какого простора требует эта книга, как она вопиет о нем, и как ты можешь и должен распространить все это, чтобы был воздух, а не кислородные подушки. Не говори мне о том, что, мол, знаешь, что делаешь, и делаешь то, что знаешь, поверь мне, что и я (без хвастовства и назойливости) тоже неплохо знаю, что ты делаешь и чего хочешь и что должен делать и чего должен хотеть. Пусть это не прозвучит нахально, но, честное слово, это так! И я все это принимаю так близко к сердцу и так горячусь лишь потому, что с первых строк и до последних я полюбила эту книгу и хочу, чтобы ей было лучше.

Она (за исключением «тесноты» главным образом между картинами и изредка внутри них) очень чиста, ясна и проста. В этом ее огромная сила, ее преимущество над многим, написанным тобою. Причем, говорю о ясности и простоте не только в смысле «понятности», а о той особой limpidité[1], которая вообще присуща твоему творчеству и которая здесь достигает совершенства. Великолепен язык всех героев. При очень большой населенности книги — лишних людей в ней нет. Как хороша старуха Тиверзина со своими невестками у поезда, возле тела Юриного отца, и портниха Фаина Силантьевна, и Фуфлыгин, и его жена в коляске. Гимазетдин, Выволочнов, Шура Шлезингер, Тышкевич, Маркел с «Аскольдовой могилой», Эмма Эрнестовна, Корнаковы, Руфина Анисимовна, оба Романовых, — да вообще все.

Всегда — и на этот раз — почти пугает твое мастерство в определении неопределимого — вкуса, цвета, запаха, вызываемых ими ощущений, настроений, воспоминаний, и это в то время, как мы бы дали голову на отсечение в том, что слов для этого нет, еще не найдены или уже утрачены.

Тонин мандариновый платок, ночь в городе, предшествовавшая той елке, да и сама елка, Лара на даче — ее свидание с лесом и землею, Ларино выздоровление — квартира Руфины, молитва и обморок Юры, вьюга после похорон, стреноженная лошадь на рассвете, битая посуда в номерах, запах конопли в прифронтовой полосе — и тут же не могу не разозлиться, вспомнив, найдя и переписав это противное изложение: «она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала». Ну к чему тебе так писать? Да еще о Ларисе!

Борис, замечателен тот пятичасовой скорый, тот «чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием», надвигающийся вскоре на нас крупным планом, со всем своим грузом жизней и судеб, из которых одна обрывается на наших глазах, и мы идем, вслед за Тиверзиными, посмотреть на самоубийцу.

Как послушны тебе, как никогда не нарочиты все совпадения и переклички, в которых ты силен, как сама жизнь. Ужасно люблю тебя хотя бы за... «свой рост и положение в постели Лара ощущала... выступом левого плеча»... и ее сном, где «не велят Маше за реченьку ходить», когда те же самые «рост и положение» в одном случае являют собой ощущение физического и морального здоровья и равновесия, а в другом — смерть, тлен, плен и не велят Маше за реченьку ходить!

(Да, должна извиниться за Николай Николаевича. Ты ведь отправил его в Лозанну, что явно противоречит моему утверждению, что «ты не заставил его уехать». Но тем не менее эта Лозанна, по моему глубокому убеждению, является авторской отпиской, а не развитием этой судьбы, которая совсем не заслуживает таких больших, на долгие годы, перерывов в ее описании).

[1] Прозрачность, ясность (фр.).

Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами.

Еще маленькой я думала: куда же уходит прошлое? Как же это — было и нет, и не будет больше, а было, было ведь, была же другая такая девочка, как я, которая сидела на этой же земле и вопрошала это же небо: а где же то, что было? где та, другая девочка, которая так же была и так же искала вчерашнего дня? И так до сотворения мира.

Те же самые земля и небо связывают нас с ними и свяжут нас с будущим, когда мы станем прошлым.

Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, — не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом.

Ты стал сильнее и строже, яснее и мудрее.

Спасибо тебе.

Не сердись на мои придирки, пойми мое желание большего простора, большей воли для тех, кого я узнала, кого я вспомнила и полюбила благодаря тебе.

Книгу вышлю завтра, несмотря на то, что очень бы хотелось, чтобы она была моей совсем или хоть по-настоящему надолго.

Это, конечно, далеко не все, что хочу сказать тебе и еще скажу — но мое время истекло, и вообще я не совсем уверена, что тебе это интересно.

Целую тебя, родной.

Твоя Аля

4.12.48

Дорогой Борис! Как все неудачно получилось — книгу я уже отправила 1 вечером, а 4, сегодня, получила твое разрешение оставить ее у себя надолго. Я просто в отчаянье, до такой степени мне хотелось, чтобы она была у меня. Во-первых, я хочу ее иллюстрировать, во-вторых, некоторые места постоянно хочу перечитывать, п. ч. память и воображение переиначивают их. В-третьих, вещь эта настолько цепкая, сильная и к тому же замедленного действия, что все время хочется сличать это самое действие с подлинником, его производящим, понимаешь? Так на днях я приняла кодеин от кашля, причем не рассчитала дозы, и через некоторое время, не сразу, мне показалось, что я умираю. Конечно, умереть от него вряд ли можно, но все же именно благодаря ему я почувствовала, как это будет когда-то. Немного в этом духе получилось у меня и с твоей книгой — когда я ее прочла впервые, меня просто обидел целый ряд мелочей, которые масштабом самой книги возводились на недолжную высоту и действие которых (от кашля!) я приняла за одно из главных действий книги. А потом я почувствовала себя так, как почувствовал бы Джек, если бы совет Оли Деминой насчет толченого стекла был бы «проведен в жизнь», это начало во мне шириться и расти главное — после того, как я рассчиталась с мелочами.

О многом бы хотелось рассказать тебе, но я настолько утомлена, совсем без сил, что — неожиданное следствие — кажется, скоро буду годна только на то, чтобы воду таскать.

Целую тебя.

Твоя Аля

15.12.48

Борис, дорогой! Не ответила тебе на то твое письмо все из-за той же занятости и сумбура вообще, но рада была очень, что ты не рассердился на мелочный мой подход к твоей большой книге. Да и сердишься ли ты вообще когда-нибудь? Я — нет, только изредка бешусь, но не сержусь никогда, — впрочем, Бог с ним, я совсем не о том хотела тебе написать. В старой инвентарной книге училищной библиотеки я нашла запись:

«Л. Пастернак, альбом, 40 р.», и никаких следов самого альбома в самой библиотеке, в библиотечных карточках. Все же по наитию разыскала и того человека, у которого уже второй год лежала книга, и книгу. Она, вероятно, есть у тебя, такая большая, в синем переплете, со множеством репродукций, издание 1932 г., текст Макса Осборна. Книга — с надписью: «Дорогим Варе и Осипу с любовью, Леонид Пастернак, Б. 1934 г.». Как она попала сюда, кто такие Варя и Осип? Никто у нас не знает, да и ты вряд ли знаешь,— а м. б. и помнишь Варю и Осипа? Напиши, мне очень интересно. Часть наших книг по искусству были куплены нашим училищем в год окончания войны где-то в Рязанской области, остались они после смерти какого-то старого художника, фамилии которого никто у нас не знает. М. б. это и был тот самый Осип? И еще — нашла я среди разрозненных репродукций в нашей же библиотеке, в хламе, несколько архитектурных репродукций, причем некоторые из них были исправлены, видимо, автором, тушью (дорисованы деревья, окна, решетки, кое-где заштриховано, перечеркнуто). Я задумалась над этой доработкой, представила себе сейчас же, как много лет спустя набрел он на эти свои старые работы, увидел их свежа, и несколькими зрелыми и свежими штрихами и линиями все перестроил и переиначил. Подпись — Ноаковский, я не знала такого, я вообще совсем не знаю архитекторов. Но эту фамилию я встретила на днях в книге Сидорова о Рерберге — «крупный архитектор-преподаватель». И вот какая-то установилась во мне связь между работами Ноаковского, книгой твоего отца, Варей и Осипом. Попала ли сюда книга Пастернака из библиотеки Ноаковского? Попали ли сюда репродукции Ноаковского из библиотеки Осипа? Кто из них жив, кто умер в Рязанской области в год окончания войны? Или вообще никакой связи нет, и все это — случайно?

Как хороши работы твоего отца, какие великолепные рисунки, за душу хватают. Проницательно и крылато, большое в этом сходство между вами, не сходство, а родство, большее, чем кровное. (Я раньше знала только его Толстого, и твой тот, скуластый, лохматый, одухотворенный, портрет, который очень люблю.) Многое из этой синей книги — к твоей последней, и многое и многие.

Вообще же это мое послание — очередной бред сивой кобылы — пытаюсь писать на работе, в шуме и неразберихе, и синяя книга, как птица (одноименная!) тут же, передо мной.

Целую тебя.

Твоя Аля

21.1.49

Дорогой Борис! Ты замолк, но это ничего. Я надеюсь быть на днях в Москве и видеть тебя — позвоню тебе. Это не письмо, а почти телеграмма, но сейчас экзамены, работаю почти круглые сутки, совсем извелась. Очень хочется увидеть тебя наконец.

Твоя Аля

26 августа 1949

Дорогой Борис! Все — как сон, и все никак не проснусь. В Рязани я ушла с работы очень вскоре после возвращения из Москвы, успев послать тебе коротенькое, наспех, письмецо. Завербовали меня сюда очень быстро (нужны люди со специальным образованием и большим стажем, вроде нас с Асей), а ехала я до места назначения около четырех месяцев самым томительным образом. Самым неприятным был перегон Куйбышев — Красноярск, мучила жара, жажда, сердце томилось. Из Красноярска ехали пароходом по Енисею, что-то долго и далеко, я никогда еще в жизни не видела такой большой, равнодушно-сильной, графически четкой и до такой степени северной реки. И никогда не додумалась бы сама посмотреть. Берега из таежных превращались в лесотундру, и с севера, как из пасти какого-то внеземного зверя, несло холодом. Несло, несет и, видимо, всегда будет нести. Здесь где-то совсем близко должна быть кухня, где в огромных количествах готовят плохую погоду для самых далеких краев. «Наступило резкое похолодание» — это мы. Закаты здесь неописуемые. Только великий творец может, затратив столько золота и пурпура, передать ими ощущение не огня, не света, не тепла, а неизбежного и неумолимого, как Смерть, холода. Холодно. Уже холодно. Каково же будет дальше!

Оставили меня в с. Туруханске, километров 300—400 не доезжая Карского моря. Все хибарки деревянные, одно-единственное здание каменное, и то — бывший монастырь, и то — некрасивое. Но все же это — районный центр с больницей, школами и клубом, где кино неуклонно сменяется танцами. По улицам бродят коровы и собаки лайки, которых зимой запрягают в нарты. Т. е. только собак запрягают, а коровы так ходят. Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил покойный Остап Бендер, который добавлял, подумав: «и даже не Сан-Франциско». Туруханск — историческое место. Здесь отбывал ссылку Я. М. Свердлов, приезжал из близлежащего местечка к нему сам великий Сталин, сосланный в Туруханский край в 1913—17 гг. Старожилы хорошо их помнят. Домик Свердлова превращен в музей, но я никак не могу попасть внутрь, видимо, наши со сторожем часы отдыха совпадают. Работу предложили найти в трехдневный срок — а ее здесь очень, очень трудно найти! И вот в течение трех дней я ходила и стучала во все двери подряд — насчет работы, насчет угла. В самый последний момент мне посчастливилось — я устроилась уборщицей в школе с окладом 180 р. в месяц. Обязанности мои несложны, но разнообразны. 22 дня я была на сенокосе на каком-то необитаемом острове, перетаскала на носилках 100 центнеров сена, комары и мошки изуродовали меня до неузнаваемости. Через каждые полчаса лил дождь, сено мокло, мы тоже. Потом сохли. Жили в палатке, которая тоже то сохла, то мокла. Питались очень плохо, т. к., не учтя климата, захватили с собой слишком мало овсянки и хлеба. Сейчас занята ремонтом — побелкой, покраской парт и прочей школьной мебели, мою огромные полы, пилю, колю — работаю 12—14 ч. в сутки. Воду таскаем на себе из Енисея — далеко и в гору. От всего вышеизложенного походка и вид у меня стали самые лошадиные, ну, как бывшие водовозные клячи, работящие, понурые и костлявые, как известное пособие по анатомии. Но глаза по старой привычке впитывают в себя и доносят до сердца, минуя рассудок, великую красоту ни на кого не похожей Сибири. Не меньше, чем вернуться, безумно ежеминутно хочется писать и рисовать. Ни времени, ни бумаги, все таскаю в сердце. Оно скоро лопнет.

Бытовые условия неважные — снимаю какой-то хуже, чем у Достоевского, угол у полоумной старухи. Все какие-то щели, а в них клопы. Дерет она за это удовольствие, т. е. за угол с отоплением, ровно всю мою зарплату. Причем даже спать не на чем, на всю избу один табурет и стол.

Я сейчас подумала о том, что у меня никогда в жизни (а мне уже скоро 36) не было своей комнаты, где можно было бы запереться и работать, никому не мешая и чтобы тебе никто. А за последние годы я вообще отвыкла от вида нормального человеческого жилья, настолько, что когда была у В. М. Инбер, то чувствовала себя просто ужасно подавленной видом кресел, шкафов, диванов, картин. А у тебя мне ужасно понравилось и хотелось все трогать руками. Одним словом, я страшно одичала и оробела за эти годы. Меня долго, долго нужно было бы оглаживать, чтобы я привыкла к тому, что и мне все можно и что все мое. Но судьба моя — не из оглаживающих, нет, нет, и я все не могу поверить в то, что я на всю жизнь падчерица, мне все мечтается, что вот — проснусь, и все хорошо.

Вернувшись с покоса, долго возилась с получением своего удостоверения и наконец смогла получить твой перевод. Спасибо тебе, родной, и прости меня за то, что я стала такой попрошайкой. Просить — даже у тебя — просто ужасно, и ужасно сейчас тут сидеть в этой избе и плакать оттого, что, работая по-лошадиному, никак не можешь заработать себе ни на стойло, ни на пойло. Кому нужна, кому полезна, кому приятна такая моя работа? Я все маму вспоминаю, Борис. Я помню ее очень хорошо и вижу ее во сне почти каждую ночь. Наверное, она обо мне заботится — я все еще жива.

Когда я получила деньги, я, знаешь, купила себе телогрейку, юбку, тапочки, еще непременно куплю валенки, потом я за всю зиму заплатила за дрова, потом я немножечко купила из того, что на глаза попалось

съедобного, и это немножечко все сразу съела, как джек-лондоновский герой. Тебе, наверное, неинтересны все эти подробности?

Дорогой Борис, твои книги еще раз остались «дома», т. е. в Рязани. Я очень прошу тебя — создай небольшой книжный фонд для меня. Мне всегда нужно, чтобы у меня были твои книги, я бы их никогда не оставляла, но так приходится. Очень прошу, пришли то свое, что есть, и стихи, и переводы Шекспира, и я очень бы хотела ту твою прозу, если можно. И «Ранние поезда». Еще, если можно, пришли писчей бумаги и каких-ниб. тетрадок, здесь совсем нельзя достать.

Я счастлива, что видела тебя. Я тебе напишу об этом как-нибудь потом. Как хорошо, что ты — есть, дорогой мой Борис! Мне ужасно хочется получить от тебя весточку, скорее. Расскажи о себе. Здесь облака часто похожи на твой почерк, и тогда небо — как страница твоей рукописи, и я бросаю коромысла и читаю ее, и все мне делается хорошо.

Целую тебя, спасибо тебе.

Твоя Аля

20 ноября 1949

Дорогой Борис! Твой изумительный Шекспир дошел до меня уже давно, а мне так не хотелось отвечать на него наспех и вкратце, я все ждала, что вот-вот будет настоящий свободный вечер, когда я смогу быть наедине с тобой — несмотря на расстояние, с ним (с Шекспиром, то есть!), несмотря на столетия, разделяющие нас, и, наконец, с самой собою, несмотря на все на свете. Ничего не получается. Такие вечера ждут меня, видно, только на том свете, а пока что приходится писать тебе так, как голодная собака кусок глотает — вполне судорожно.

Я, помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала ее письма. И в самом деле, жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждешь от нее — причем всегда недаром. Вдруг, среди снегов, снегов, снегов, еще тысячу раз снегов, среди бронированных, как танки, рек, стеклянных от мороза деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда — два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, как сердце, разрывается завеса, потрясенный внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища, как от встречи с твоим «Детством Люверс» там, где никаких Люверсов и никаких детств.

На какой-то промежуток времени — вне времени — жизнь становится сестрою, ну а потом все сначала. Снег, снег и еще тысячу тысяч раз снег. Эта самая белизна иной раз порождает ощущение слепоты, т. е. абсолютно-белое, как и абсолютно-черное, кажется каким-то дефектом зрения. Север раздражает тем, что он такой альбинос, хочется красного, синего и зеленого так, как при пресной пище болезненно хочется кислого, соленого, острого. Раздражает еще чувство неподвижности, окостенелости всего, несмотря на беспрерывный ветер, атлантическими рывками, помноженными на туруханские морозы, бьющий и толкающий тебя то в грудь, то в спину. Дышать очень трудно, сердце с трудом переносит всю эту кутерьму, стискиваешь зубы, чтобы оно не выскочило. Вообще хлопот множество: пока отогреешь нос, замерзает рука, пока греешь руку, смерзаются ресницы. Первый настоящий снег выпал 18 сентября, в день моего рождения. Потом и пошло, и пошло, и дошло пока что до 45°, и это, увы, далеко не предел всех туруханских возможностей.

Весна начнется в июне.

Работа у меня бестолковая и трудоемкая, по 14—16 часов в сутки, я ужасно устаю, совсем мало сплю и далеко не всегда успеваю есть. Живу в избенке, где во все щели дует, у хозяйки, <...>. Она окружена родней и нуждой, и от этого у нас всегда людно, нудно и тесно. Одна бываю только тогда, когда иду с работы или на работу, да и то мороз оказывается таким спутником, при котором не очень-то ценишь свои 15—20 минут одиночества. Есть собака, рыжая лайка с еврейским именем Роза, которое ей никак не к морде. Я, кажется, единственное существо, делающее какие-то попытки ее кормить и гладить. Спит Роза на улице, по утрам у нее вся морда в инее. При виде меня она выплясывает какую-то собачью сегидилью, потом мы с ней идем на работу, каждая на свою (она возит воду и дрова). Так и живем.

В клубе, или «Районном доме культуры», где я работаю, часто бывает кино. Когда-то, девочкой, я очень любила его, сейчас же совсем не переношу. Все его условности — грим, декорации, освещение — угнетают. Никогда ничего не смотрю, некогда и не хочется. На днях, идя с работы, проходя через темный зал, увидела случайно на экране несколько кадров американской картины «Ромео и Джульетта». Джульетта с черными от помады губами, с волосами, взбитыми a la «маленькие женщины» Луизы Олкотт, в кафешантанном дезабилье ворковала на чистейшем американском диалекте с Ромео из аргентинцев — из аргентинских парикмахеров. За сводчатым окном что-то чирикало, какой-то соловьино-жавороночный гибрид. Экран гнулся под тяжестью двуспальной кровати, убранной с голливудским великолепием.

Задерживаться я, конечно, не стала, а придя домой, донельзя усталая и сонная, схватила твой перевод «Ромео и Джульетты». Страшная, страстная, предельно-простая и ужасно близкая к жизни вещь. Современно и архаично, как сама жизнь. Какой ты молодец, Борис! Спасибо тебе за Шекспира, за тебя самого. Спасибо тебе за все, мой родной. Ужасно я бессловесная, а когда словесная, то ужасно косноязычная, — надеюсь, что ты и так все понимаешь, что хотела бы, да не умею сказать.

Книг у меня совсем нет. Я бы очень хотела получить твои «Ранние поезда». Вообще все что возможно твоего. Если нетрудно. Если трудно — тоже.

Крепко тебя целую. Напиши мне.

Твоя Аля

А как чудесно изданы книги!

20 дек. 1949

Дорогая бедная моя Аля! Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся, даже по привычке, по заученному, в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя.

Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елиз. Яковл.[1], и Зин. Митрофановна[2] вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну проницательность! Ну глубина! Ну остроумие — прелесть, прелесть!

О себе нечего рассказывать, все по-старому, пусть они тебе напишут, только милая печаль моя[3] попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше.

Как только будет возможность, пошлю тебе что-ниб. из книжек, или еще что-ниб., если можно будет.

От души всего тебе лучшего.

Твой Б.

5.1.50

Дорогой Борис! Только что получила твое, первое здесь, письмо. Спасибо тебе. Я, кажется, не в первый раз пишу тебе о том, что почерк твой всегда, всю жизнь, напоминает мне птиц, взмахи могучих крыльев. Вот и сейчас, только взглянула на твой конверт и почудилось, что всем законам вопреки все журавли вернулись, и все лебеди. А как было печально,

[1] Е. Я. Эфрон, сестра С. Я. Эфрона, отца А. С. Эфрон.

[2] З. М. Ширкевич, близкая приятельница Е. Я. Эфрон, много лет вместе с ней жившая.

[3] О. В. Ивинская, незадолго до этого арестованная.

когда они улетали, все эти стаи, сложенные треугольником, как солдатские письма! Горизонт сторожили вытянутые в струнку ели, тяжело ворочал свои волны Енисей, воздух пронзали холодные струи. До жути величественная это вещь — север! Много пережила я северных зим, но ни одну так ежечасно, ежеминутно не чувствовала, как эту. Уж очень она тяжело, даже своей красотой, давит на душу. М. б. потому, что красота эта абсолютно лишена прелести. И как к таковой, я к ней была бы равнодушна, если бы не чувствовала ее настолько сильнее себя.

Я не отчаиваюсь, Борис, я просто безумно устала, вся, с головы до пяток, снаружи и изнутри. Впрочем, м. б., это и называется отчаянием?

Твоя печаль очень меня огорчила, из-за тебя, главным образом. Мне хотелось бы сказать тебе, но эти снега так располагают к молчанию! Могу только думать и чувствовать о тебе, тебя и с тобою.

Что могу рассказать тебе о своей жизни? Бесконечно много и беспредельно бестолково работаю, пытаюсь быть художником без красок, кистей, а на это уходит не только все рабочее, но почти и все нерабочее время. Всегда чувствую самую настоящую радость оттого, что работаю под крышей, а не под открытым всем ветрам, метелям и морозам небом. И хоть более или менее по специальности. По данным условиям — это большое счастье.

Жилищные условия неважные, главное — нет своего угла, в редкие свободные минуты я всегда обречена на общество людей, с которыми у меня ни общего языка, ни общих интересов, и, что наименее приятно,— общее жилье. Вечно донимает холод, несмотря на то, что я превращаю в дрова и то, что сама зарабатываю, и то, что мне присылают. Но все это терпимо, все это даже не лишено интереса, лишь бы знать, что короленковские огоньки — впереди, а не позади. Но сейчас, впервые в жизни, у меня совершенно не о чем мечтать, а я только так и могу жить — следуя за мечтой, как осел за репейником, привязанным к палке погонщика.

Ты вот пишешь, что я умница. А я, честное слово, с бо́льшим удовольствием была бы последней дурочкой в Москве, чем первой умницей в Туруханске.

Твоего Шекспира перечитываю до бесконечности. Я им безумно дорожу, и, представь себе, отдала его в руки совершенно незнакомого паренька, который пробовал достать твои стихи в здешней, очень маленькой, библиотечке. Он вернул его в полной сохранности, ему очень понравилось, но он сказал, что ему было нелегко вылавливать тебя из Шекспира, очень просил только твоих стихов, у меня же нет ничего. Я только помню отрывки про море из «1905-го года» и про елку из «Ранних поездов». До сих пор не знаю, что за паренек, видимо, какой-ниб. геолог или геодезист, или еще какой-ниб. «гео». Наверное, и сам пишет.

Пора приниматься за очередное нечто. Крепко тебя целую и люблю. Спасибо за все.

Твоя Аля

19 янв. 1950

Дорогая моя Алечка, спасибо тебе за твое письмо воздушной почтой от 5 янв., родная моя. И опять ничего не напишу тебе не из-за недосуга или какой-ниб. «важности» моих дел, а из-за невозможности рассказать тебе главную мою печаль, что было бы глупо и нескромно и что вообще невозможно по тысяче иных причин.

Но что надо было бы сказать тебе, что было бы радостно и приятно знать тебе, это вот что. Если, несмотря на все испытанное, ты так жива еще и несломлена, то это только живущий Бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще будет с тобой, колдовской и волшебный источник твоей будущности, которой нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся часть.

Если бы речь шла о твоей талантливости, я бы так не распространялся. Но бывает еще дар какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств. То, что ты, как заговоренная, идешь через эти все несчастья, это чудо тоже творческое, твое, от тебя исходящее.

Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаясь влюбить тебя в себя или что-ниб. подобное (я без того люблю тебя) — но смотри, что ты можешь: твое письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь, бедная мученица моя, и, помяни мое слово, ты еще увидишь..!

Я тебе пытался доказать тут что-то, недостаточно оформив это для себя. Такие вещи никогда не удаются... Послал тебе немного денег и две-три книжки. Когда наконец выйдет однотомник Гете с 1-й частью Фауста в моем переводе и если будут оттиски, пошлю тебе. Крепко целую тебя.

Твой Б.

31.1.50

Дорогой мой Борис, это не письмо, а только записочка, через пеньколоду возникающая в окружающей меня суете и сутолоке. Я получила все, посланное тобой, и за все огромное тебе спасибо. Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели — живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех любвей от и до. Помимо того, что они потрясают, всегда, силой и точностью определения неописуемого и невыразимого, неосязаемого, всего того, что заставляет страдать и радоваться не только из-за и не только хлебу насущному, они являлись всегда и всегда являться будут критерием совести поэтической и совести человеческой. Я тебе напишу о них, когда немного приду в себя — от них же.

На твое письмо я немного рассердилась. Не нужно, дорогой мой Борис, ни обнадеживать, ни хвалить меня, ни, главное, приписывать мне свои же качества и достоинства. Этим же, кстати и некстати, страдала мама, от необычайной одаренности своей одарявшая собой же, своим же талантом окружающих. Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя!). Кончалось это всегда одинаково: «О, как ты обидна и недаровита!» [1] — восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше, до следующей смоковницы. От них же первый, или первая, есмь аз. Больше же всего я рассердилась на то, что, мол, я могу подумать о начале какого-то романа или о чем-то в этом роде. Господи, роман продолжается уже свыше 25 лет, а ты до сих пор не заметил, да еще пытаешься о чем-то предупреждать или что-то предупреждать. Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно-близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь.

Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба — самые мои любимые люди и поэты, вы оба — моя честь, совесть и гордость. Что касается романа, то он был, есть и будет, со встречами не чаще, чем раз в десять лет, на расстоянии не меньшем, чем в несколько тысяч километров, с письмами не чаще, чем Бог тебе на душу положит. А то, м. б., и без встреч и без писем, с одним только расстоянием.

Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне. Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие — чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает все внутренности, все entrailles [2], что́ Прометей с его печенью и что́ его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном. Как четко и как страшно думается и вспоминается ночью...

---

[1] Б. Пастернак «Чудо». (Из «Стихотворений Юрия Живаго»).
[2] Нутро (фр.).

Мой бесконечно родной, прости мне мое косноязычие, мое ужасное смоковничье неумение выразить то, что чувствую, думаю, знаю. Но ты, который понимаешь язык ветра, дождя, травы, конечно, поймешь и меня, несложную.

Целую тебя и желаю тебе.

Твоя Аля

19 февр. 1950

Дорогая Аля! Зачем ты называешь свое большое, полное души и мысли письмо короткой временной запиской и собираешься сверх неисчислимо многого, сказанного уже в нем, написать мне еще что-то о стихах, точно я такой ненасытимый вампир,— не надо, Алечка. Эти книжки я послал тебе после твоих слов о «пареньке» в клубной библиотеке, на случай, если кому-ниб. понадобится.

Я долго болел гриппом с очень высокой температурой и чувствую себя еще и сейчас совсем разбитым. Тут было какое-то подытоживающее потрясение всего жизненного существа, и чем-то вроде обвинительного приговора после болезни, как после судебного разбирательства, над душой повисла растерянность и слабость.

Я боюсь заговаривать с тобой на эту тему, потому что каждый такой мой намек будет вызывать бурю твоих возражений, но мое авторское барахтанье в жизни чересчур затянулось, у многих гораздо раньше опускались руки, и ведь это недоразумение, я давно смирился и вообще никогда ни на что не притязал.

Я рад, что я житейски нужен семье и нескольким близким, и хотел бы быть нужным двум-трем людям вроде тебя, которых люблю. Потребность в заработке, которая, Бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод. А об остальном нечего и думать, всему было свое время и надо быть благодарным прошлому.

Мне трудно писать, слабость отражается даже на почерке. Целую тебя.

Твой Б.

Сообщи, пожалуйста, Асе, что я хвораю и не так скоро напишу ей.

22 февр. 1950

Дорогая Аля! Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи,— ты оставь без внимания то письмо.

Мне гораздо легче сейчас, не беспокойся обо мне. Все же одно соображение, высказанное там, остается в силе. Не воображай, пожалуйста, что ты в каком-то нравственном долгу передо мной, что ты меня в чем-то недостаточно убедила, чего-то не договорила или не дописала. Ты всегда исчерпывающе красноречива и сильна, я чувствую и знаю твою любовь и горжусь твоей одаренностью и одухотворением. Я все знаю, не трать времени и сил на меня, они так нужны, так нужны тебе в твоих чудовищных условиях. Говорю не обиняками, это причины прямые, никаких других нет.

Всего тебе лучшего. Будет время и возможность — опять напомню о себе. Спасибо тебе.

Твой Б.

6.3.50

Дорогой Борис! Получила два твоих гриппозных письма, одно за другим. Нет, дорогой мой Борис, я очень далека от того, чтобы «чувствовать себя в долгу» перед тобой, и от мысли, что я могу или должна что-то «доказывать» тебе. Неужели на старости лет мои письма, мои попытки писем, делаются <...> настырными, утомительными и, по долгу человечности, требующими ответа <...>? Прочтя твои отповеди, смягченные неизменным дружелюбием, я почувствовала себя «militante[1] № 2» и ужасно смутилась. Видишь ли, когда мне хочется написать тебе, ну, скажем, о твоих стихах, то это вовсе не по какому-либо долгу службы или дружбы, а просто потому, что это для меня очень большая радость, тем большая, что у меня их совсем не осталось. В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни было все — плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять все стало, потому что в них все, бывшее, будущее, вечное, все, чем душа жива. Вот об этом мне тебе хотелось рассказать, но, видимо, все мое здешнее бытие настолько насыщено тревогой и неустойчивостью, что ничего, кроме тревоги и неустойчивости, я не сумела выразить. По себе знаю, насколько утомительны и лишни такие письма, да и такие люди, как их ни люби, ни уважай, ни сочувствуй им. Во всем этом виноваты мои нелепые обстоятельства больше, чем я сама. Правда, все эти пятидесятиградусные, безысходные морозы, теснота и темнота в избушке, непрочность на работе, угнетенное, неравноправное состояние все делают как-то шиворот-навыворот, как в «Алисе в стране чудес». Я не буду больше тебе писать, чтобы не усугублять твоего гриппа, и такого, и душевного.

Мне хотелось тебе писать еще и потому, что ты сам о себе многого не знаешь, т. е. не о себе, а о своих стихах. Вот на днях я получила письмо от одной молоденькой приятельницы, студентки последнего курса Литфака. Она разошлась с мужем, сдала трехлетнего сына бабке и ушла к какому-то юноше, в пользу которого пишет только четыре слова: «чудесные волосы, ярый пастернаковец». Т. к. она существо не типа Далилы, то дело тут явно не в чудесных волосах. Позабавил и тронул меня этот случай, я так живо представила себе, как обладатель вышеупомянутых волос и нескольких книжек твоих стихов очаровал эту двадцатитрехлетнюю женщину несколькими *твоими* ливнями, грозами, «Вальсом со слезой» и «Рождеством», разбил ее жизнь и умчал ее «на ранних поездах» куда-то под Москву, где она и обретается сейчас, вполне счастливая до той поры, пока не сообразит, что все это — какой-то плагиат. Стихи-то ведь — твои, а что касается волос, то ведь он может облысеть!

Ты их не знаешь, ни его, ни ее, ни многих, многих, для которых твои стихи — та же самая радость, которую мне никак не удается выразить. Да я теперь и пробовать не буду.

На днях к нам приезжал наш кандидат в депутаты Верховного Совета. Мороз был страшный, но все туруханское население выбежало встречать его. Мальчишки висели на столбах и на заборах, музыканты промывали трубы спиртом, а также и глотки и репетировали марш «Советский герой». Рабочее и служащее население несло флаги, портреты, плакаты, лозунги, особенно яркие на унылом снежном фоне. И вот с аэродрома раздался звон бубенцов. Мы-то знали, что с аэродрома, но казалось, что едет он со всех четырех сторон сразу, такой здесь чистый воздух и такое сильное эхо. Когда же появились кошевки, запряженные низкорослыми мохнатыми быстрыми лошадками, то все закричали «ура!» и бросились к кандидату, только в общей сутолоке его сразу трудно было узнать, у него было много сопровождающих — и у всех одинаково красные, как ошпаренные морозом, лица. И белые шубы — овчинные. Я сперва подумала, что я уже пожилая и не полагается мне бегать и кричать, но не стерпела и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышл, лозунгов, перепрыгивала через плетни, залезала в сугробы, кричала «ура» и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены.

Ты знаешь, я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гулянья и даже ярмарки, так люблю русскую толпу, ни один театр, ни одно «нарочное» зрелище никогда не доставляло мне такого большого удовольствия, как какой-ниб. народный праздник, выплеснувшийся на улицы — города ли, села ли.

То, чего мама терпеть не могла.

И опять я написала тебе много всякой ерунды, такой лишней в теперешней твоей жизни. Как я хорошо себе представляю ее, чувствую, да просто знаю!

Крепко тебя целую. Не болей больше!

Твоя Аля

[1] Воительница (фр.).

29 марта 1950

Дорогая Аля! Получил замечательное твое, по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и отвечаю, по обыкновению, коротко и второпях.

Чу́дно ты пишешь о приезде депутата, о встрече его и о себе. Ты сама это знаешь. И на притворную тему «militante № 2» тоже великолепно ломаешься. И тоже все чудно знаешь. Я тебя крепко целую.

Если «Воскресение» с частью отцовских иллюстраций я по забывчивости посылаю тебе вторично, ты меня прости и книгу подари кому-ниб. другому.

В книгу я всунул несколько страниц новых стихов, продолжение прежних (Из романа в прозе), я их написал в ноябре и декабре. Они сразу оттолкнут тебя, покажутся неяркими и чересчур (иехудожественно) личными. Но если, перечтя их, по прошествии некот. времени, ты их допустишь, и если то, что я тебе сейчас предложу, покажется тебе имеющим смысл, исполнимым и удобным, перепиши их (хотя бы от руки) и пошли Асе.

Но вопрос, дойдут ли они вообще по почте, п. ч. я всунул их в книгу и м. б. этого нельзя делать.

Я обрадовался твоему письму еще и оттого, что начал беспокоиться о твоем здоровье.

Твой Б.

У меня ничего не изменилось, но сам я здоров, много и хорошо работаю.

Напиши, когда все получишь и спишешься с Асей.

29 марта 1950

Дорогая Аля! Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтовом отделении я сдавал еще другие отправления, и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень возможно, что оно пропало там среди клоков оберточной бумаги где-ниб. в корзине и не пошло к тебе.

В письме были, немногим подробнее, чем тут (так что ты не жалей), восторги по поводу твоего описания приезда депутата и того, как ты притворно клевещешь на себя (militante № 2), великолепно все зная и понимая.

Кроме того, было несколько просьб:

1) если бы оказалось, что посланное тебе «Воскресение» я уже однажды подарил тебе, чтобы ты извинила мою забывчивость и книгу подарила кому-ниб. другому.

2) Чтобы, в случае если бы ты в конце концов привыкла к нескольким стихотворениям, всунутым в «Воскресение» (продолжению стихов «Из романа в прозе»), и они перестали бы отталкивать тебя и если бы ты нашла это возможным и целесообразным, ты переписала их и послала Асе. Я написал их в начале зимы.

Милый друг, глупо, что, написав с нечеловеческой торопливостью то послание, я ухитрился потерять его, вынудив эту еще более обидную скороговорку.

Прости меня. Целую тебя.

Твой Б.

Окончание следует.

Навстречу XIX Всесоюзной партконференции

УСЛОВИЯ НАШЕГО РОСТА

Василий Селюнин

ГЛУБОКАЯ РЕФОРМА ИЛИ РЕВАНШ БЮРОКРАТИИ?

В июле 1979 года вышло постановление со столь длинным и вычурным названием, что выговорить его одним духом, без перекура, пожалуй что и нельзя. В деловом мире краткости ради его именовали 695-м постановлением, а иной раз и 695-м механизмом, поскольку директива обрисовывала хозяйственный механизм, который предстояло ввести в практику управления. Документ этот мог появиться только в атмосфере, насыщенной густыми застойными миазмами. То была, если совсем уж в двух словах, контрреформа в пику остаткам экономических реформ, начатых в 1965 году и вскоре успешно проваленных.

Легко показывать ум задним числом, однако думающие экономисты (думающие о судьбах страны, а не только о собственной карьере) мгновенно поняли, что ничего хорошего сей механизм не сулит. Ваш покорный слуга сделал тогда для личного потребления анализ этого бюрократического опуса — получилась рукопись в сотню страниц на машинке. Я беспечно давал ее читать друзьям — кончилось тем, что она попала в самиздат и продавалась на черном книжном рынке. Санкций, впрочем, не последовало, однако опубликовать рукопись и думать было нечего. Тем часом печать напропалую превозносила 695-е постановление, отыскивая в нем все новые красоты и умопомрачительные глубины мысли. Я служил тогда экономическим обозревателем в большой центральной газете и мог лишь одно — не писать панегириков мертворожденному дитяти административной системы. Такая позиция сколько-то тешила самолюбие, а на жизнь ничуть не влияла.

Без малого четыре года продолжались заведомо обреченные попытки подогнать хозяйство под унылую управленческую схему, и если мы сегодня говорим, что времени на раскачку с перестройкой нету, что запас времени исчерпан, беспутно промотан в прошлом, то по справедливости к прошлому надо отнести и эти четыре потерянных года. Где бы мы уже были сегодня, начнись перемены в ту пору... После смерти Брежнева «695-й механизм» тихо скончался сам по себе, и теперь только авторы его по привычке нахваливают показатель нормативной чистой продукции и еще кое-какие частности из того отмененного жизнью постановления.

Этот эпизод из недавней истории наглядно показывает связь... нет, не связь даже, а нерасторжимое единство двух сторон перестройки — гласности и глубоких экономических реформ. Единство хотя бы уже потому, что выработать нужный хозяйственный механизм мыслимо лишь в обстановке свободного обсуждения его смысла и особенностей. А дальше опять нужна свобода, чтобы прилюдно сверять с жизнью каждый шаг — туда ли идем, то ли делаем, не пора ли внести поправки.

События развиваются стремительно, и, полагаю, приспело время обсудить эти вопросы. Перестройка оказалась сложнее, чем предполагалось. Первоначально ее рассматривали как первый этап ускорения: мол, проведем экономические реформы, изменим способы управления хозяйством, а следом начнется собственно ускорение, то есть более быстрое развитие экономики.

Можно, пожалуй, сказать, что в основу этой концепции лег несложный расчет, опубликованный академиком А. Г. Аганбегяном и сразу ставший знаменитым. Вот он в теперешних цифрах. За год мы используем примерно 600 миллиардов рублей национального дохода. Три четверти этой суммы идет на потребление (проще сказать, на прожитье), четверть — в накопление. При росте дохода на один процент в год прибавка составит 6 миллиардов рублей. Стало быть, фонд потребления возрастет на 4,5 миллиарда. В этом случае потребление благ в расчете на душу населения останется, однако, на прежнем уровне — ведь и население прибавляется. Чтобы жить богаче, надо получать более значительные прибавки. Второй и третий проценты прироста дохода скорее всего уйдут на то, чтобы заткнуть дыры, которых в большом хозяйстве предостаточно,— желательно, например, поднять минимальные пенсии. Для ощутимого повышения жизненного уровня общий доход страны надо увеличивать на четыре, а еще лучше на пять процентов ежегодно.

Это рассуждение потом многократно повторяли экономисты и политики. На меня лично простые выкладки академика произвели ошеломляющее впечатление. Ведь что выходит? Сейчас годовой прирост дохода — около трех, в удачные годы — до четырех процентов. Допустим, в результате перестройки мы «вырвем» в будущем пятый процент. К тому времени он будет повесомее, но все равно, как показывают несложные расчеты, денежная прибавка составит около полутора рублей в месяц на человека с самостоятельным доходом. В последнее время среднемесячная зарплата рабочих и служащих увеличивается примерно на пятерку ежегодно, а в условиях состоявшегося ускорения ее можно будет поднимать на шесть рублей с полтиной. Нелучезарно, не правда ли? Вряд ли мы станем выкладываться на работе ради такой цели.

Здравый смысл подсказывает: что-то тут не так. Как ни считай — хоть общепринятыми способами, хоть по более осторожным методикам,— трудами поколений у нас создана могучая экономика, вторая, ну пусть третья по мощи в мире. Но получается, даже в будущем, при больших скоростях развития она не способна обеспечить заметное повышение жизненного уровня народа. Да быть того не может!

Поставим для начала простой вопрос: действительно ли ускорение развития — единственный источник роста благосостояния? Можно ведь действовать и иначе: побольше «проедать» из произведенного дохода и поменьше пускать в накопление. На первый взгляд резервы тут невелики. Четверть национального дохода в накопление — по меркам развитых стран это многовато, но доля все же не чудовищная. Однако откуда взялась эта цифра? Фонд потребления и фонд накопления наша милая статистика измеряет разными рублями — в одном случае стоимость товаров исчислена в розничных ценах, в другом — в оптовых. Это все равно, что пользоваться резиновой рулеткой. Разница между теми и другими ценами падает в основном на так называемый налог с оборота. А он составил в 1985 году 97,7 миллиарда рублей, в 1986-м — 91,5 миллиарда. Исключив эти суммы из расчетов, мы убедимся: при измерении в оптовых ценах доля фонда потребления в использованном национальном доходе равна 68—69 процентам.

Дальше выясняется, что оптовые рубли не одинаковы. В 1986 году с каждого рубля производственных фондов работники легкой промышленности «сняли» 23,5 копейки прибыли, а, к примеру, электроэнергетики — лишь 6,6 копейки. Никогда не поверю, будто при круглосуточной эксплуатации электростанций их персонал (люди высокой квалификации) работает чуть ли не в четыре раза менее эффективно, нежели швейники или обувщики. Рентабельность всей тяжелой промышленности вдвое ниже, чем легкой. Объяснение может быть только одно: оптовые цены на продукцию легкой индустрии завышены относительно цен на изделия тяжелой промышленности.

Полезно далее приглядеться, какие товары, поставляемые тяжелой индустрией, особенно прибыльны. Вот лесная отрасль. Считается, что лесоруб работает семь часов в день (там шестидневная рабочая неделя). Но если учесть время на дорогу до делянки и обратно (а это зачастую сотни километров), фактически человек занят десять, а то и двенадцать часов в сутки. Трудится он в нелегких условиях: зимой мороз, осенью и весной грязь до пупка. Лесоруб имеет дело с великолепным естественным полимером — деревом, припасенным самой природой. Казалось бы, при такой раскладке лесозаготовки должны быть очень прибыльными. А на деле они сплошь и рядом малорентабельны и даже убыточны. Но представим, лесоруб перешел на мебельную фабрику, где тепло, светло и мухи не кусают — его труд сразу станет приносить большую прибыль.

Отчего так? Да все очень просто: на древесину установлены низкие оптовые цены, на мебель, напротив того, высокие. Но древесина — это продукция производственного назначения, мебель же — предмет потребления. Сходным образом расслоены цены и во многих других отраслях тяжелой индустрии. А это означает, что в официальных расчетах завышена доля фонда потребления, исчисленного не только в розничных, но и в оптовых ценах.

Есть и другие искажения в цифрах. Если измерить обе части использованного национального дохода в ценах одного уровня (а как же иначе?), то фонд накопления поглотит отнюдь не четверть, а гораздо бóльшую долю дохода. Именно сдвиг в сторону потребления, а не обязательно вздувание темпов роста таит главные резервы повышения жизненного уровня.

Между тем официальная наука настраивает умы на темпы. Ускорение понимается как взвинчивание скоростей развития экономики: мол, в период застоя прирост дохода упал ниже трех процентов в год, этого мало, кровь из носу, а давай больше — тогда и жить станем богаче. Ставем ли? С чего это ученые взяли, будто достаточно поднять доход на лишний процент, как в общем нашем кармане появятся дополнительные миллиарды на личное потребление? Дело обстоит не так, что мы сочли доход за год, а потом разложили на две кучки — это проедим, а это пустим на строительство предприятий, жилья, дворцов, словом, в накопление. В жизни национальный доход каждую минуту создается и каждую минуту расходуется. Деньги есть лишь символическое отображение натуральных благ, и если за стоимостными прибавками — станки, комбайны, ракеты, то их не пустишь ведь в личное потребление. Большая неправда абстрактного научного расчета состоит в том, что в нем проигнорировано вещественное, натуральное наполнение вновь созданной стоимости.

Нельзя этого делать. В течение многих десятилетий неуклонно снижается доля предметов потребления в общем выпуске продукции. Ограничим наши расчеты промышленностью. В 1928 году 60,5 процента всей продукции составляли предметы потребления (группа Б). В 1940 году эта доля упала до 39 процентов. Ладно, то был предгрозовой год, тут не до жиру, быть бы живу. Но как объяснить дальнейшее развитие событий: к 1980 году удельный вес группы Б понизился до 26,2 процента? В 1981—1985 годах промышленное производство прирастало в среднем за год на 3,7 процента. Эта цифра складывалась из 3,6 процента в группе А и 3,9 процента в группе Б. В 1986 году общий темп поднялся до 4,9 процента, в том числе прирост в группе А — 5,3, в группе Б — 3,9. Как видим, все ускорение достигнуто за счет производства средств производства, в производстве же предметов потребления темп нисколько не возрос. А сравнительно с ближайшими предшествующими годами он даже упал: в 1983—1985 годах прибавки в группе Б составили 4,3—4,1 процента ежегодно против 3,9 процента в 1986 году.

В итоге произошло дальнейшее сокращение доли группы Б в общем объеме производства — с 26,2 процента в 1980 году до 24,7 в 1986-м. Если бы соотношение групп А и Б сохранилось на уровне 1980 года, то в 1986 году промышленность дала бы на 12,6 миллиарда рублей потребительских товаров больше, чем фактически произведено. (Укажу для сравнения: общая прибавка фонда потребления, созданная всей экономикой и истраченная не только на личное потребление, составила в 1986 году лишь 9,2 миллиарда рублей.) А если считать по предвоенной «норме» (1940 года), недобор потребительских товаров вследствие сокращения доли группы Б равен почти 120 миллиардам рублей, или около 425 рублей на душу населения. Это в оптовых ценах. В розничных потери много больше.

Колоссальные, поистине тектонические сдвижки в сторону производства средств производства (в сторону первого подразделения) подвели нас к такой па-

радоксальной ситуации, когда ускорение темпов развития, более быстрый рост национального дохода очень слабо влияют на уровень жизни. Экономика во все большей степени работает не на человека, а на самое себя. При теперешней ее структуре она неумолимо воспроизводит совершенно неприемлемую для мирного времени пропорцию между первым и вторым подразделениями общественного производства, причем воспроизводит в ухудшенном варианте: в каждом следующем цикле доля производства предметов потребления ниже, чем в предыдущем.

Эта опасность пока не осознана. Стратегический замысел нынешней пятилетки заключается в том, чтобы перевооружить машиностроение — тогда в следующие периоды эта обновленная и окрепшая отрасль станет в достатке обеспечивать современными орудиями труда все народное хозяйство. Ясно, что гонка в машиностроении потребует подтягивания сырьевых и базовых отраслей, что и запланировано. Но это лишь первый виток развития, снова ориентированного на производство средств производства. За ним непременно последуют другие. Построим простую экономическую модель. Допустим, машиностроительный завод способен за год изготовить оборудование для двух предприятий неважно каких отраслей. За десять лет он оснастит двадцать новостроек. В одиннадцатом году картина, однако, изменится: устареет оборудование на первом и втором предприятии, наш поставщик обязан его заменить. Следом подойдет очередь третьего и четвертого предприятия... Теперь изготовитель оборудования навечно привязан к двадцати заводам, созданным с его помощью. И если мы затеваем еще одну новостройку, прежде надо создать новые мощности в машиностроении. Для этого опять понадобятся металл, энергия, сырье — машиностроение делает новые заказы смежникам. И так до бесконечности.

Фронт капитальных вложений растягивается сверх всякой меры. Сейчас у нас не меньше 350 тысяч строек производственного назначения. Ресурсы размазаны — на один объект в среднем приходится, например, не более 12 строителей. Завершить в разумный срок такое количество строек немыслимо, и при хронической нехватке мощностей приходится сохранять в работе устаревшие предприятия. В итоге безбрежно разрастаются основные производственные фонды. В нынешней пятилетке пришлось пойти на крайнюю меру — впервые за длительный период увеличена доля накопления в национальном доходе. Однако никаких средств не хватает для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии действующие производства и одновременно строить новые. По данным экономистов, владеющих счетом, вводы мощностей сейчас едва покрывают явное и скрытое их выбытие из-за устаревания. Иначе говоря, разбухающий фонд накопления более не накопляет богатств.

Можно, конечно, оспаривать приведенные выше расчеты касательно того, какая доля национального дохода в действительности идет в накопление. Но вот специалисты из Экономического института Госплана СССР сделали сходные расчеты совсем другими способами — общепринятыми в мире. У них получилось, что в 1985 году удельный вес инвестиций в валовом национальном продукте в СССР был в 1,7 раза больше, чем в США, и в 1,5 раза больше, нежели в Западной Европе. Однако эффективность инвестиций у нас вдвое ниже, чем, к примеру, в США. Неслыханное омертвление средств в незавершенном строительстве, растущие расходы на ремонт и восстановление устаревших производственных фондов приходится компенсировать накачкой капитальными вложениями.

В таких условиях дефицит орудий и предметов труда может лишь обостриться. Наша страна далеко обогнала всех по производству металла, тракторов, комбайнов, по добыче топлива, по численности станочного парка, да всего и не перечислишь, и тем не менее не хватает всего-всего и еще чего-то. Где предел этому безудержному росту? В товарной экономике существует естественное ограничение — платежеспособный спрос. Производство не имеет там ни малейшей ценности, если товар не нашел покупателя. В этом смысле даже кризисы перепроизводства небесполезны: они служат сигналом того, что при достигнутом уровне потребления нельзя увеличивать выпуск продукции. Упразднение рынка снимает этот тормоз. Но если ограничения по спросу больше нет, чем лимитировано развитие экономики? Только наличными ресурсами, больше нечем.

А они истощаются неравномерно. У нас первыми кончились трудовые ресурсы — отныне нет прибавок рабочих сил. Собственно, одна из главных целей ускорения — компенсировать нехватку рабочих рук повышением производительности труда. Отсюда, кстати, и приоритет, отданный машиностроению: новая техника поднимет производительность, что в свой черед даст новый импульс росту экономики. До этой цели пока далеко. Но предположим, она достигнута. Тогда все в порядке? Вряд ли. При более продуктивном труде экономика, лишенная тормозов, с новой силой начнет перемалывать другие ресурсы, в том числе и невозобновляемые.

Это не домысел, а вывод из практики. Сейчас модно бранить период застоя. Однако в базовых и сырьевых отраслях никакого застоя не наблюдалось. Обратимся к энергобалансам народного хозяйства. В них все энергетические ресурсы (топливо, электричество с гидравлических и атомных станций) приведены к общему знаменателю — тоннам условного топлива. В 1951—1970 годах среднегодовое поступление увеличивалось на 51 миллион тонн, в 1971—1985 годах — на 69 миллионов. В 1984 году израсходовано энергоносителей на миллиард с лишним тонн больше, нежели в 1970-м. Одна эта прибавка почти равна всему производству энергоресурсов в 1965 году. За те же 15 лет из недр добыто примерно столько топлива, сколько за всю предыдущую историю страны. Если это застой, то что же такое стремительный рост?

Мне довелось поездить по Западной Сибири, когда там начинали поднимать нефтяную целину. Тогда казалось, что запасов хватит внукам и правнукам. Но мы умудрились, посрамляя нефтяных шейхов, при жизни одного поколения вычерпать эту природную кладовую. В 1960 году было добыто менее полутораста миллионов тонн нефти, сейчас вместе с конденсатом берем по 600 с лишним миллионов ежегодно, и все равно топлива не хватает — случается, не летают самолеты, не ходят грузовики. Еще быстрее растет добыча газа — на горизонте маячит триллион кубов в год. Понимающие люди честно предупреждают: «Не станет ли этот «скороспелый» триллион тревожным признаком в экономике?» («Правда» за 17 ноября 1987 года).

Может стать, ох, может! Нет, как хотите, а исправному хозяйственному механизму и тормоза нужны — иначе мы оставим после себя пустыню, так и не насладившись плодами своих трудов праведных. Самоедская экономика навряд ли снизойдет когда-нибудь до человека, до наших с вами нужд.

Мы приближаемся к той последней черте, за которой высокие темпы при сложившейся структуре отраслей вообще невозможны. Да, покамест упор на машиностроение приводил к более быстрому росту национального дохода. Но приглядимся повнимательнее не к стоимостным, а к натуральным показателям ускорения. По статистическим справочникам легко сопоставить количество тракторов и комбайнов в колхозах и совхозах с численностью механизаторов. Если бы цифры совпали, это был бы уже экономический разврат. Действительно, за свою жизнь комбайн убирает семь-восемь урожаев, то есть в работе находится максимум полгода. Как же можно допустить, чтобы в страду его использовали в одну, пусть в удлиненную смену? Точно так же расточительно выдавать каждому механизатору персональный трактор. На деле ситуация еще хуже: в 1986 году 452 тысячи тракторов и комбайнов были «бесхозными», не укомплектованы кадрами.

Не подумайте, будто брошены устаревшие агрегаты: средний срок службы трактора 7 лет, комбайна — 7,5 года. Зарубежный фермер таких сроков обновления парка себе не позволяет. А тем часом выпуск комбайнов нарастает, и сейчас по крайней мере три новые машины из каждых десяти колхозы и совхозы отказываются покупать. И это при условии, что покупатель платит за комбайн меньше половины цены — остальное изготовителю доплачивает казна. Могучий «Дон» продается дешевле легковушки «Волга» и все одно, выходит, не нужен. Сотни тысяч тракторов бездействуют, а, шутка сказать, затеяно строительство громадного тракторного завода в Елабуге.

Кого не убеждают отдельные примеры, тем советуем обратиться к расчетам, которые опубликовал недавно известный экономист И. Мамлыгин. По его выкладкам, 45 процентов рабочих мест в основных цехах машиностроительных за-

водов излишни, для них нет рабочих. В основных цехах всей промышленности таких мест более четверти. Известно, что многими миллиардами рублей измеряется стоимость неустановленного оборудования. К полутриллиону рублей приближаются запасы товарно-материальных ценностей в народном хозяйстве, причем в отдельные годы прибавки национального дохода даже не покрывали роста материальных запасов.

Нам толкуют: нужно снижать расход ресурсов на единицу продукции, уменьшать вес машин, выпускать более совершенные изделия. Но, полагаю, в сложившейся ситуации взвинчивать объемы производства — значит еще энергичнее изводить понапрасну труд, сырье, топливо и прочее добро.

Достигнутое ускорение иллюзорно. Лишние, неиспользуемые машины и оборудование зачтены, разумеется, в национальный доход, как положено. А поскольку эти товары в отличие от сырья дороги, темп развития на короткое время подскочил. Вместе с тем помянутые, например, «бесхозные» трактора и комбайны не создают новой продукции, а стало быть, и национального дохода, потому что бездействуют. Чтобы поддержать темпы, в очередном году предстоит выпускать для счета еще больше машин, которые опять не будут производить продукции. Когда нет естественного роста, экономику приходится подгонять, подхлестывать. Тщетно! Перегруженная лошадь в гору вскачь не побежит.

Есть еще одна капитальная причина, по которой ускорение выдыхается. При росте номинальной зарплаты и одновременном сокращении удельного веса производства предметов потребления в общем объеме производства стремительно увеличиваются денежные сбережения — выплаты нечем отоварить. Вклады в сберкассах к началу 1988 года перевалили за 260 миллиардов рублей. Сколько хранится в чулках, мы не знаем, но, несомненно, общая сумма сбережений близка уже к годовому денежному доходу населения, если не превысила его.

Это буквально подрезает крылья перестройке. Кому не понятно, поясню. За хорошую работу надо бы и платить много, а чем платить, когда и розданные на руки деньги не отоварены? Об этот камень споткнулся в свое время знаменитый щекинский метод. Суть его проста: где работали, скажем, четверо, там стали управляться трое, поделив меж собой ставку высвобожденного. Прибавка зарплаты с лихвой компенсировалась выпуском дополнительной продукции на каждого работника. Но какой продукции? Щекинский комбинат, например, выпускает удобрения, а они населению почти не продаются. На руки раздавали рубли, под которые требовались совсем другие товары, а их-то и не прибавлялось. Тогдашнему Госкомитету по труду не оставалось ничего другого, как пресекать неконтролируемый рост зарплаты у последователей щекинской инициативы. Прекрасное новшество было загублено.

Чтобы и с перестройкой такого не произошло, требуются глубокие структурные сдвиги в экономике: ее надо развернуть от работы на самое себя — к человеку, к его нуждам. Человек — конечная цель экономики, то Солнце, вокруг которого она должна вертеться.

Давно назревшая структурная перестройка несовместима с дутыми темпами. Прекращение выпуска излишних, не используемых средств производства уже поведет к уменьшению суммарных приростов (но одновременно — к экономии ресурсов; я так думаю, что и к неисполнению наметок нынешней пятилетки надо отнестись спокойно — будем считать, что сберегли ресурсы вместо того, чтобы истратить их на выпуск ненужного). Расчеты показывают далее, что разворот в сторону производства предметов потребления займет довольно длительный период, в течение которого общий темп развития будет минимальным, а возможно, и минусовым. Однако другого решения нет. Или ускорение, понимаемое как взвинчивание объемов производства, или перестройка структуры экономики. Третьего не дано, так что выбирать все равно придется.

Читатель, несомненно, заметил, что эти выводы противоположны рекомендациям официальной науки. Делающие погоду ученые советуют ускорить развитие народного хозяйства, не правильнее ли считать, что неизбежно и даже желательно снижение темпов ради структурных сдвигов, что предпочтение следует дать производству потребительских товаров. В нынешней пятилетке доля накоп-

ления в используемом национальном доходе увеличена, на наш взгляд, она и без того чрезмерна. Понимаю, что мысли эти вызовут протест справа, слева, сверху, снизу и вовсе сбоку. Все мы привыкли гордиться высокими темпами, бескризисным, ничем не ограниченным развитием экономики, в нашу плоть и кровь вошла убежденность в том, что производство средств производства безусловно приоритетно — и вдруг эти вроде бы аксиомы поставлены под вопрос. Поставлены, однако, не мною, а ее величеством жизнью. Так будем же послушны жизни, а не схемам.

Предположение о неизбежном замедлении темпов я сделал, не имея еще статистического отчета за 1987 год. Теперь он есть. Прогноз, к сожалению, подтвердился: прирост национального дохода в 1987 году равен лишь 2,3 процента (годом раньше он составил 4,1 процента), промышленное производство увеличилось на 3,8 процента против 4,9 в предшествующем году. Собственная правота меня, конечно, не радует, но и паниковать нет причин: темпы — еще не все, у экономики есть более значимые параметры.

Начиная с 1983 года ускорение достигалось за счет использования ближайших резервов. На первых порах хорошую службу сослужило наведение элементарной дисциплины и порядка на производстве. Затем положительно сказалась на темпах развития борьба с пьянством (немалое и вполне реальное достижение периода перестройки! Каждая невыпитая рюмка — благо само по себе). Но такого рода факторы можно использовать единожды.

А дальше? Приведем простенький расчетец. Годовой фонд рабочего времени трудящегося — около двух тысяч часов. Легко понять, что одна сотая часть годового результата производится за 20 часов. Чтобы обеспечить годовой прирост на 4 процента, надо как-то выкроить 80 часов рабочего времени. Иначе говоря, за 1920 часов работник должен произвести столько продукции либо дохода, сколько получено за весь предыдущий год,— тогда оставшиеся 80 часов он будет работать на прирост. Это удавалось не в последнюю очередь благодаря помянутым разовым факторам.

Но если резервы, лежащие на поверхности, мы слизнули, как дальше поддерживать высокий темп? Какой еще резерв в нашем загашнике? Хотя соответствующие статистические данные пока не публикуются, по живым наблюдениям смею утверждать: в 1986—1987 годах прибавки производства во многом объяснялись вульгарными переработками, то есть сверхурочным трудом. «Черные субботы» вошли в наш быт. А из только что приведенного расчета видно: достаточно сделать десять суббот в году рабочими, как мы получим добавочно 80 часов, потребные для хорошего прироста. Но тогда, чтобы поддержать темпы, в очередном году надо работать еще десять лишних суббот, а всего уже двадцать. Так долго продолжаться не может — будет падать почасовая выработка, поскольку без нормального отдыха человеку трудно восстанавливать силы. Да ведь и вообще переработки — не наша социальная политика.

Нужно включать постоянно действующие факторы высокопроизводительного труда — экономические интересы, внутренние позывы к спорой и доброкачественной работе. Эту цель и преследуют начавшиеся в стране экономические реформы. На январском и июньском (1987 года) Пленумах ЦК КПСС определены контуры нового хозяйственного механизма. В государственном секторе нам предстоит ввести пять крупных новшеств — сделав это, мы сможем сказать: радикальная реформа состоялась.

Первое — планирование производства снизу, по заказам потребителей, как оно и происходит в добротно работающих экономиках мира. Нужна заказчику та или иная продукция — ищи, кто ее изготовит, заключай договор. Сумма договоров (портфель заказов) и станет программой производства, никакого другого плана не нужно. Из принятых к исполнению заказов в натуре просто и логично выводятся стоимостные, трудовые и прочие обобщающие показатели. Перемножьте цены на число изделий, суммируйте по всем заказам — получится выручка. Вычтите из стоимостного объема себестоимость — вы имеете цифру будущей прибыли. Поделите ее на стоимость производственных фондов — выйдет уровень рен-

табельности. И так далее. Значит, не только натуру, но и обобщающие показатели сверху планировать незачем.

В договорах конкретно указано, кому предназначена продукция. Следовательно, сверху делить ее между потребителями больше не требуется. На экономическом жаргоне это называется переходом от распределения продукции по фондам к свободной оптовой торговле. Таково второе новшество.

Третье — самофинансирование, или, что то же, полный хозрасчет. Хозрасчет — это когда доходы больше расходов. До сих пор при сопоставлении учитывались текущие производственные расходы, теперь в расчет берутся и затраты на расширенное воспроизводство. Проще говоря, казна, как правило, впредь не будет выделять денег на строительство новых цехов, на обновление оборудования — такие средства коллектив обязан заработать сам.

Четвертое — оптовые цены на продукцию в основном не назначаются, а устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.

Наконец, пятое — что работник будет иметь от всех новшеств? Рассчитались с казной за платные ресурсы, внесли налог на общие нужды — остальное ваше, решайте в коллективе сами, как им распорядиться. Свобода выбора тут и впредь будет ограничена, но не запретами, а объективными условиями. Раз производство не останавливается, первым делом надо наполнить фонд возмещения. Далее. Пожадничали, не выделили средств на развитие и обновление производства — через считанные месяцы вашу дорогую и устаревшую продукцию, быть может, вообще не купят. Тогда и зарплату неоткуда взять. Нужно, таким образом, предоставить коллективам самостоятельность в использовании хозрасчетного дохода.

Такой механизм не чьи-то фантазии. Все пять основополагающих принципов прямо названы в новом Законе «О государственном предприятии (объединении)», принятом в июне 1987 года. Незадача, однако, в том, что эти прекрасные правила снабжены оговорками, отменяющими или по крайней мере ограничивающими их действие.

Естественно, Закон вообще не мог работать без коренных изменений в сфере хозяйственного управления. Поэтому следом был принят целый пакет постановлений о перестройке экономических ведомств (Госплана, Госснаба, Минфина, Госкомитета по ценам и других), а также министерств. Вкупе с Законом о предприятии эти документы и составили новый хозяйственный механизм. С января 1988 года он введен на предприятиях, выпускающих 60 процентов всей промышленной продукции.

Понятно, лучше бы погодить с оценками, дождаться первых результатов работы по-новому, только нет у нас с вами времени ждать — его и без того потеряно слишком много. Достаточно, впрочем, проанализировать тексты новых хозяйственных правил, чтобы предсказать: особого эффекта они не дадут.

Раньше всего мы не обнаруживаем существенных перемен в планировании. Разумеется, в духе времени в документах немало сказано о самостоятельности предприятий при верстке производственных программ, о заказах потребителей как основе плана. Но тут же вводится институция государственных заказов, обязательных для исполнителей. Вообще говоря, без госзаказов не обойтись. Тонкость, однако, в том, что в директивном порядке следовало бы планировать продукцию, потребную не хозрасчетным предприятиям, а лишь бюджетным организациям (школам, больницам, армии и т. п.)

В самом деле, допустим, что на одну и ту же продукцию претендуют завод и профтехучилище. Завод надбавит цену и перехватит ее, училище же, средства которого жестко ограниченны, останется ни с чем. Торговаться и тут можно — пусть бюджетное учреждение ищет, кто на приемлемых условиях исполнит его заказ. А уж не нашли, не сторговались — тогда договор в приказном порядке. В этом случае государство могло бы так или иначе возмещать убытки, понесенные исполнителем. Экономисты давно посчитали: на первых порах под обязательные заказы достаточно отвести примерно четверть мощностей промышленности, а в дальнейшем их доля в программе станет еще меньше.

Однако эта доля в новых правилах не оговорена, и на подавляющем большинстве предприятий почти вся программа, заданная на 1988 год, состоит из государственных заказов. Выходит, производство в натуре как планировали сверху, так и планируют. Если кое-где и есть пока мизерный резерв под «вольную» продукцию, то я готов поставить ящик коньяку против бутылки боржоми: через год-два ни одного квадратного метра заводских площадей не останется для исполнения договорных заказов.

Такое уже было. По условиям реформы 1965 года продукция тоже делилась на две категории: важнейшую номенклатуру планировали директивно, а второстепенную — по прямым договорам. И вот, скажем, для новой электростанции изготовлены турбины, генераторы, трансформаторы, словом, все важное, а «второстепенные» приборы, без которых объект не пустишь, не сделаны. Дальнейшее ясно: этого впредь мы допустить не можем, приборы тоже надо возвести в ранг важнейшей номенклатуры.

Так было, так будет, тем более что и сами предприятия не больно-то заинтересованы в самостоятельной верстке программы. Вспомним историю с лишними комбайнами. Обяжи сейчас комбайностроителей самостоятельно искать потребителя, они, вероятно, не загрузили бы и половины заводских мощностей. Худо ли им, когда Госагропром разом, на весь год выдает гигантский обязательный заказ. Куда потом деть ненужные машины? А это уж изготовителя не касается: заказали — платите. Аппарат агропрома сам денег не зарабатывает. Он может нажимать на колхозы и совхозы: оплачивайте технику, не в переплавку же ее отправлять. Если у потребителя средств нет, ему автоматически дадут кредит. Скорее всего это будет долг без отдачи — когда-нибудь его спишут. И тоже правильно: покупателю ведь буквально навязали ненужный товар. Словом, все правы, в виноватых выходит одна казна.

Когда производство в натуре жестко задано сверху, тем самым предрешены все обобщающие показатели плана. Не успокоившись на том, сфера управления и в новых условиях будет доводить до предприятий (и уже доводит!) контрольные цифры по объему производства в рублях, по прибыли, производительности труда и еще по четырем показателям. Разумеется, оговорено, что эти цифры вроде бы и не директивные. Моей фантазии, однако, не хватает, чтобы представить себе такую картину: по собственному варианту плана завод не вышел на контрольные цифры, а родимое министерство и местные власти с тем смирились. В жизни так не бывает.

Отчего все-таки сохранен прежний порядок планирования? Писать, так уж правду, всю правду, ничего, кроме правды. Думается, в разработке реформы нет полной определенности, как далеко мы готовы пойти в перестройке. В статье 2 Закона о государственном предприятии сказано: государственный план экономического и социального развития является важнейшим инструментом реализации экономической политики Коммунистической партии и Советского государства. Но государственный план — не пожелание, а закон, то есть приказной, административный прием управления экономикой. Если он служит важнейшим инструментом, то какова роль экономических методов воздействия на производство, которым вроде бы отдается предпочтение? В пакете постановлений из этих конкурирующих принципов определенно выбран первый. Мы толковали уже о производстве излишней продукции, о распылении ресурсов по бесконечному числу строек, об искажениях экономических пропорций. Все это, как известно, сделано по плану. И если плановое управление есть наше важнейшее преимущество, то невольно напрашивается мысль: значит, плановики дурно им распорядились, они никудышные работники. Однако я знаю многих не первый год и могу засвидетельствовать: пожалуй, большинство их — первоклассные знатоки своего дела, в конкретной экономике тайн для них нет.

Нам бы надо быть поосторожнее в суждениях о преимуществах. В работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин объяснил, например, мол, зарубежные монополисты скупают изобретения и кладут их под сукно (им невыгодно переналаживать производство), у нас же это немыслимо.

Бывали такие случаи? Бесспорно. Но теперь мы знаем, что не все новинки

там консервируют, кое-какую мелочишку все-таки и применяют. У нас, как теперь признано, темпы технического прогресса ниже, чем в развитых странах. Опять выходит, будто наши конкуренты лучше использовали весьма ограниченные шансы, нежели мы свои безграничные возможности. Каковы тогда качества наших администраторов?

Или вот предполагалось, что в условиях социализма, когда человек работает в конечном счете сам на себя, а не ради интересов предпринимателя, он будет трудиться много старательнее. Предвкушали уже благословенное время, когда труд станет первой жизненной потребностью, приятной игрой физических и духовных сил. А тем часом дело не шло так, что год от году мы работали все лучше и лучше. Скорее наоборот: долгие десятилетия воспитывался самый настоящий наплевизм, небрежение трудом. Будем честны: сегодня мы не лучшие работники в мире. Скажем, в США ежедневно не выходят на работу 1,8 миллиона человек, у нас — 4 миллиона.

Будь предположение о безграничном рвении к труду справедливо, согласитесь, не очень-то красиво выглядела бы наша государственная администрация: в ее распоряжении массы жаждущих отдать все свои силы на общее благо, а вот нет умения использовать эту ситуацию. Увы, представление о всеобщем трудовом порыве существует разве что в трактатах философов.

Надо четко различать, что в жизни произойдет обязательно, какие события только вероятны, а чего не будет никогда, сколько бы мер ни предпринималось. Уверен, например: труд — вещь дьявольски серьезная, никогда он не станет игрой. Настало время инвентаризировать, в чем мы действительно имеем преимущества перед конкурирующим общественным устройством, а в чем, если позволительно так выразиться, недоимущества. Жить среди мифов, может, и уютно для души, да как-то некомфортно в других отношениях.

В идее, в потенции социализм действительно более подходящ для централизованного управления экономикой, и оно совершенно необходимо, тут и вопроса нет. Но централизм удобнее обеспечить не тотальным директивным планированием, а иначе — косвенными, по преимуществу экономическими приемами. Их широко используют в мире. Приведу пример. Япония первая среди развитых держав приблизилась к экологической катастрофе. Это ведь одна из самых перенаселенных стран, стремительно растущая экономика буквально сживала людей со свету. Дошло до того, что в больших городах полицейские стояли на перекрестках в кислородных масках, случались массовые отравления отходами производства. Сегодня, как утверждают и наши туристы, ничего такого нет. Так что же, население вдруг сговорилось и стало беречь среду обитания? Нет, тут государство взяло дело в свои руки. Допустил предприниматель вредные выбросы — уплатит такие деньги, за которые найдутся охотники убирать грязь. Государство ввело жесткие стандарты на выхлопы из автомобилей и объявило: через пять лет эти нормы вступят в действие. Автостроительные корпорации, хочешь не хочешь, переходят на выпуск машин, отвечающих таким стандартам. Знакомый журналист, побывавший недавно в Японии, говорил: наш «Москвич» там и квартала не проехал бы.

Это и есть централизм управления на деле. А мы все директивы пишем, планы составляем, как спасти Байкал и Ладогу.

В любом случае, хоть у нас, хоть у них, государство является распорядителем огромных средств, полученных в виде налогов или иных поступлений. Оперируя ими, удастся направлять развитие экономики в желательную сторону. Можно на определенный срок уменьшить и даже отменить налоги в казну с предприятий, исполняющих те программы, которые государство поддерживает. Можно давать им более дешевый кредит. Не исключены безвозвратные дотации. Да мало ли примеров централизованного регулирования? Благодаря им в США, Японии, Западной Европе в управлении хозяйством больше реального централизма, чем у нас. При формальной диктатуре плана отечественная экономика развивается, в сущности, анархично. Напомню, что последней исполненной пятилеткой была восьмая, все следующие оказались неудачными, причем степень невыполнения

планов нарастала вплоть до двенадцатой пятилетки. Фактически мы потеряли контроль над событиями.

Не так давно наделала шуму небольшая статья Л. Попковой «Где пышнее пироги?», напечатанная в журнале «Новый мир». Автор доказывает, что план и рынок несовместимы, надо выбирать либо то, либо другое (нельзя, мол, быть немножко беременной). Но суть-то дела не в том. Как мне представляется, вопрос поставлен некорректно, автор сам себя загоняет в угол, предлагая выбор между планом и рынком. В действительности альтернатива иная: совместимо ли централизованное управление экономикой с рыночными регуляторами? Тогда ответ очевиден: весь мировой опыт учит, что эти вещи превосходно совмещаются и наибольших успехов достигают те экономики, где найдена верная мера этого совмещения, где применены способы, обеспечивающие реальный централизм.

В новом хозяйственном механизме ни такой меры, ни таких способов, на мой взгляд, пока не содержится. Тем самым предрешены и другие его изъяны. Когда всю программу производства в натуре по-прежнему задают сверху, изготовители продукции вправе потребовать: раз вы указали, что конкретно надо выпускать, так назовите, кому мы обязаны поставить изделия, с кого получим деньги за них. Тогда сохраняется в неприкосновенности система фондового распределения продукции, для свободной оптовой торговли просто не остается места, сколько бы слов в похвалу торговле ни содержал пакет документов о перестройке экономики.

Впрочем, о перестройке Госснаба в пакете постановлений сказано прямо: «Превратить... планы распределения продукции в главный инструмент организации материально-технического обеспечения в новых условиях хозяйствования». Тут уж ни убавить, ни прибавить — каждое слово будто на граните высечено.

В духе старого доброго времени облюбованы практические приемы, которыми предполагается пресекать расточительство ресурсов. Административной сфере и предприятиям предписано «при разработке планов производства применение научно обоснованных норм расхода материальных ресурсов...». Задача не нова: печально известное постановление № 695 (как уже поминалось, оно принято в 1979 году) тоже требовало разработки таких расходных норм. Из этой затеи ничего не вышло, да и не могло выйти.

Вспоминаю выступление одного из руководителей Красноярского главснаба на коллегии союзного Госснаба. В ту пору начинали освоение Канско-Ачинского энергетического комплекса. Две тысячи специалистов из тамошних строительных организаций готовили заявки на материалы под программу следующего года, и, как заявил снабженец, «все две тысячи хотят нас обмануть — завышают заявки, чтобы потом не бедствовать». В Красноярске не могли даже проверить, насколько точны заказы. Как проверишь — ведь по каждой заявке надо в полном объеме повторить расчеты строителей, а таких штатов в снабженческом главке нет. Приходилось принимать явно завышенные расчеты на веру.

Снабженец просил ускорить разработку научных расходных норм. Следом на коллегии выступил директор научного института Госснаба и доложил: за пять лет удалось составить несколько тысяч таких норм. Это все, чем мог похвастаться Госснаб. Между тем в стране выпускается около 25 миллионов видов продукции и на большинство их идет не один вид материалов. Нужны, следовательно, сотни миллионов расходных норм.

История повторяется: опять понадобились научные нормы. Нереальность замысла еще и в том, что их придется ежегодно пересматривать, ужесточать, чтобы уменьшить расход ресурсов. Но больше всего поражает даже не утопичность затеи, а косность мышления: предполагается, будто люди станут бережливо хозяйствовать не в расчете на собственную выгоду, а потому, что экономить приказано. Трудно себе представить, чтобы, например, правительство Франции предписывало государственным заводам Рено, сколько никеля позволительно расходовать на один бампер автомашины. Да хоть платину используйте, только вот рынок не признает этих затрат общественно необходимыми. А у нас? В конце концов неудачи нас учат чему-то или не учат? Верим мы в экономические приемы управления или нет?

Но если в новой системе опять нет места для оптовой торговли, то автоматически отменяется и следующий принцип реформы — самофинансирование. Мало ли что предприятие заработало деньги на развитие производства и социальной сферы. Деньги — это цифра на банковском счету. Под них нужны цемент, металл, кирпич, оборудование и многое другое, а в вольной продаже ничего этого нет и, как мы убедились, не будет. Опять надо ждать, пока неведомо кто и неизвестно когда выделит фонды под заводские деньги. Получится самофинансирование по особому разрешению чиновников в каждом отдельном случае.

Источником самофинансирования служит прибыль предприятия. Но, к примеру, угольная промышленность сегодня убыточна в целом и потому путь к новой системе хозяйствования ей вообще заказан. Неужто в этой отрасли трудятся сплошь недотепы, вгоняющие казну в убытки? Да нет же! Когда оптовые цены назначаются директивно, одним отраслям на роду написано быть убыточными, другим — высокорентабельными. Раз в пятнадцать — двадцать лет происходит пересмотр оптовых цен, выравнивающий уровень рентабельности отраслей. Цены на топливо, металл, древесину, электричество до очередного пересмотра остаются неизменными, тогда как техника быстро дорожает (по нашим расчетам, примерно на 30 процентов за пятилетие), что опять ведет к расслоению отраслей на убыточные и прибыльные.

В пакете постановлений предусмотрен внеочередной пересмотр оптовых цен в 1990 и 1991 годах — иначе перевод множества предприятий на новые условия работы в принципе невозможен. Однако польза от этой меры будет кратковременной — года через два-три предприятия снова окажутся в неравных условиях.

Законы экономики суровы: или работай, как надо, или разоряйся. Но покамест успех или неудача коллектива зависят не столько от того, хорошо или дурно люди хозяйствовали, а от другого: выгодная или невыгодная цена назначена на их продукцию. Единственный надежный способ определения цены — рынок, ничего лучше человечество не изобрело. Речь не идет, конечно, о гигантски увеличенном Тушинском рынке — имеется в виду установление цены на основную массу товаров по согласованию между изготовителем и потребителем. Между тем в новом хозяйственном механизме предусмотрено обратное — «усиление централизованных начал в управлении всем процессом ценообразования». Тогда конец хозрасчету. Сейчас много говорят об использовании закона стоимости, о переходе к товарному производству. Но в товарной модели столько, так сказать, товарности, сколько в ней свободы ценообразования.

Наконец, о последнем, пятом фундаментальном принципе глубоких реформ — об экономических интересах работника. Предприятие, добросовестно рассчитавшееся с казной, отнюдь не получает права самостоятельно распоряжаться оставшимся доходом. На какие цели и сколько направить средств — это по-прежнему определяют свыше через уйму нормативов. Стало быть, заработки опять-таки будут зависеть не от результатов труда, а от того, выгодные или невыгодные нормативы удалось выхлопотать, выклянчить в верхах.

Таким образом, мы не обнаруживаем серьезных изменений в производственных отношениях. Нет их и в практических приемах управления производством, во взаимоотношениях министерств и предприятий. Да, самостоятельность предприятий прокламирована, права их оговорены законом. Но это материя тонкая, деликатная, малейшая непоследовательность законодателя способна превратить закон в пустую бумаженцию.

Сделаем небольшой экскурс в историю. На сентябрьском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС, как известно, решались два вопроса: об экономических реформах и о воссоздании министерств вместо совнархозов. На мой взгляд, не была счастливой сама идея одновременно проводить эти меры: внедрить экономические методы управления и тут же возрождать министерства, то есть органы, предназначенные для чисто административного, приказного руководства. Должно было победить что-то одно: или реформа вытеснит чиновников, или чиновники свернут шею реформе.

Коллизия проявилась уже в ходе Пленума. А. Н. Косыгин обрисовал довольно стройную новую систему хозяйствования. В ней содержались изъяны, я бы даже сказал, смертоносные гены, но для начала она была совсем неплоха, а там жизнь подсказала бы, что и как нужно поправить. Выступивший следом Л. И. Брежнев больше надеялся на министерства — они, мол, наведут порядок в народном хозяйстве. Ключевой тезис его речи таков: министерства несут всю полноту ответственности за обеспечение народного хозяйства продукцией по закрепленной за ними номенклатуре.

Но раньше, чем обеспечивать продукцией, ее надо изготовить. У себя в кабинетах администраторы товаров не делают. По логике вещей министерства отвечали и за производство, то есть за использование живого труда, материалов, оборудования, за качество изделий, короче говоря, за все сколько-нибудь значимые стороны производственной жизни. Ответственности без прав не бывает. Естественно, министерствам объективно понадобилась и вся сумма прав, отпущенных отрасли. Взять их можно было только у предприятий — больше неоткуда. Так и произошло. Принятое в ту пору Положение о предприятии (формально оно давало «низам» немалые права) так и осталось бумагой. Иначе и быть не могло. Ведь если одно и то же право дано и директору завода, и министру, то вопрос решается принципиально: кто выше по должности, тот и прав.

Сегодня мы буква в букву повторяем старую ошибку. В пакете документов главной задачей министерств и ведомств названо «удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в высококачественной продукции, работах и услугах». И того чище: министерства «несут полную ответственность за безусловное удовлетворение требований потребителя по поставке необходимой для него продукции». Тогда предприятие ни за что уже не отвечает. Одних этих коротких формулировок вполне достаточно, чтобы отменить новый хозяйственный механизм вместе с Законом о предприятии. Бюрократы заложили в механизм мину, которая непременно взорвется.

Им бы ограничиться этим подвигом, да только чиновники — люди основательные. Они предусмотрели ответственность министерств за научно-техническую политику, качество продукции, уровень технологии производства, сроки создания новой техники, экономию ресурсов, использование вторичных ресурсов (мыслимо ли доверить предприятиям свалки?), за незавышение цен и себестоимости, за использование основных фондов и оборотных средств, за сроки строительства объектов и ввод их в действие... Во всем остальном предприятия свободны, как птицы.

Нынешняя сфера хозяйственного руководства в перестройку не вписывается, ее просто невозможно приспособить к новым условиям. Вопрос стоит так: или немощное всевластие администраторов и неизбежный развал экономики — или перестройка с хорошими шансами на спасение.

Боюсь, что опыт внедрения негодного хозяйственного механизма даст козырь в руки противников перестройки. Я говорил уже, что в 1988 году скорости развития могут упасть: разовые резервы ускорения исчерпаны, а постоянно действующие факторы новым механизмом включены не будут. Возникнет, однако, видимость неудачи с перестройкой: мол, худо-бедно, а в лучшие последние годы приросты в промышленности приближались к пяти процентам, но вот начали реформы,— пожалуйста, получили спад. Реформы тут ни при чем — новый механизм не хуже и не лучше старого, он просто старый, и в этом качестве нейтрален к ускорению.

Всем нам надо осознать разумом и пережить болью сердца пороки испытываемого варианта хозяйственных правил. Если мы сделаем это быстро, у нас останется еще небольшой запас времени — 1989 и 1990 годы,— чтобы провести глубокую экономическую реформу. Тогда в тринадцатую пятилетку мы вступим, располагая работоспособным хозяйственным механизмом. Пятилетний план и способы его реализации связаны между собою намертво. Опоздаем с переменами — еще пятилетие будет потеряно для перестройки. Не исключено, что при таком развитии событий реформы не понадобятся.

А какие реформы нужны — это мы знаем. Надо решаться на перемены — время, отпущенное нам историей, истекает, счетчик включен.

Гавриил Попов,
доктор экономических наук, профессор

ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМ

1

В статье В. Селюнина поставлен вопрос особой важности: сводится ли перестройка к изменению механизма управления или она должна затронуть и саму экономическую стратегию нашего развития? Экономическая стратегия претворяется у нас в планах — долгосрочном и пятилетием,— так что поставленный вопрос это и вопрос о централизованном планировании.

Любителям футбола хорошо знакома ситуация, когда игрок, увлекшись финтами и «плетя кружево» в центре поля, теряет из виду чужие ворота. В любом деле есть опасность отойти от главного во вспомогательную, обслуживающую сторону. И в перестройке нашей экономики ее цели, ее стратегия оказались «затуманены» повседневными спорами о госзаказах, нормативах и т. д. Одни удовлетворились общей идеей о необходимости ускорить темпы. Для других главное — механизм управления. Третьи считают, что тактически правильнее сейчас — создать механизм, а уж потом можно будет определить цели.

В. Селюнин полагает, что преобладает первая точка зрения — необходимость ускорить темпы. Тут он и прав, и не прав. Действительно, такое примитивное толкование есть. Оно прорывается в «детском» желании поскорее узнать проценты прироста в очередном квартале и — тут с В. Селюниным можно согласиться — превращается из детской болезни в хронического врага перестройки.

В партийных документах четко определено: ускорение — это качество нашего роста. Вот стартовая позиция для обсуждения стратегии перестройки.

Мне хотелось бы высказать некоторые свои соображения. Для краткости вместо «централизованный план» я буду писать «план», хотя, строго говоря, это слово охватывает все виды планов: и централизованные, и составленные «внизу» на основе централизованных, созданные самими предприятиями и учреждениями.

Я, конечно, не претендую на какую-то систему идей. Но, как и В. Селюнин, считаю, что очень важно обсудить, чего мы хотим. Ибо, не получив точного ответа на этот вопрос, будет все труднее отвечать на усложняющиеся вопросы об инструментах управления.

Поясню эту мысль примером. Новый экономический механизм предусматривает денежные отчисления хозрасчетного звена министерству. Спрашивается, какими должны быть нормативы отчислений? Один процент прибыли, или десять, или сорок? И почему именно столько? Мало, к примеру, десять процентов, или, наоборот, много? К чему надо стремиться в следующем году, в следующей пятилетке?

Сам механизм управления не дает возможности ответа — для этого надо знать стратегию экономического развития. Если она, например, предусматривает ускоренное развитие машиностроения, то отчисления в госбюджет от доходов немашиностроительных предприятий должны быть значительно больше. Если же надо прежде всего в самом машиностроении форсировать станкостроение, то нормативы отчислений станкостроительных заводов министерствам должны быть, возможно, нулевыми. Все, что у вас накопилось, используйте у себя. Более того, еще добавим. Станкостроительное министерство получит дополнительные ресурсы из госбюджета. Это и будет форсирование станкостроения. Если же, как считает В. Селюнин, сама установка на форсирование нынешнего машиностроительного комплекса не безупречна, то должен измениться подход к формированию нормативов отчислений.

Или другой пример. В автомобилестроении основную нагрузку при создании новой модели автомобиля несут объединения ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и т. д. Ясно, что основная часть накоплений должна остаться в этих объединениях. Тогда мы скорее получим новые и более высокого качества модели автомобилей. Но есть отрасли другого типа, где предприятия получают готовые технические решения из своих научно-технических центров. Ясно, что в таких отраслях нормативы отчислений с дохода предприятий должны быть иными.

Если, далее, выявлены отрасли, которые на современном этапе научно-технической революции должны быть свернуты, то тут вообще ничего не надо оставлять не только предприятию, но и министерству.

Словом, нормативы целиком зависят от экономической стратегии, от целевых установок плана.

То, что сказано о нормативах, относится ко всем звеньям экономического механизма: политике цен, нормам амортизации, платежам за ресурсы и т. д. Вот почему, на мой взгляд, В. Селюнин — как бы ни относиться к его конкретным идеям — прав в главном: настало время обсудить сами целевые установки. Иначе мы никогда не создадим эффективные экономические рычаги. Вернее, будем «подгонять» экономические рычаги под прежнюю стратегию, как это и есть на практике.

2

Главной проблемой нынешнего этапа я считаю то, что экономический механизм формируется под пятилетний план, который был составлен административно.

Определение величины экономических нормативов показалось мне чрезвычайно сложным. Но для работников Госплана, Минфина, других центральных экономических ведомств, всех министерств никаких особых трудностей тут не возникло. Нормативы они установили просто: взяли суммы тех отчислений, которые вытекали из существующего пятилетнего плана, и, отнеся их к сумме плановой прибыли, получили величину норматива.

Конечно, на практике эта операция оказалась сложнее — и потому, что в ходе пятилетки многое уже было скорректировано, и потому, что на ряде предприятий сложилась более (или менее) благоприятная, чем ожидалось, ситуация, и потому, что оказывали влияние десятки других факторов — вплоть до субъективного отношения аппарата министерства к данному директору. Но общая идея была именно такой: заложить в нормативы то, что было в плане. Это означает, что предприятия остались во власти волевых «усмотрений» министерства. Только теперь такие «усмотрения» действуют не прямо, как плановые задания, а через устанавливаемую министерством величину норматива. Конечно, нормативное воздействие — вещь существенно более прогрессивная. Например, раньше мои сто рублей дополнительной прибыли могли целиком быть изъяты министерством. Сегодня есть твердый норматив того, как они будут распределены между мной и министерством, и, следовательно, интерес их заработать. Можно привести немало других примеров того, насколько лучше прежнего внедряемый сегодня механизм. Не случайно же многие трудовые коллективы видят в нем возможность работать лучше.

Но нам уже нельзя удовлетворяться критерием «лучше, чем было». Это очень опасный, как показали годы торможения, критерий. Ведь слово «лучше» может означать и «очень мало» и вообще быть временным. Нам нужна **коренная** перестройка — таков логический вывод из **коренной** неприемлемости ситуации в экономике.

А по этому единственному правильному счету картина вырисовывается иная.

Суть прежнего механизма — командное положение министерства, его право административно определять жизнь хозрасчетного звена,— по существу, не изменилась. Как и раньше, судьба завода прежде всего зависит от воли министерства, и только потом — от итогов своей работы. При «доброй» воле дадут низкий норматив отчислений в бюджет и министерству — завод окажется в передовых. Или наоборот.

Как известно, экономические нормативы — один из рычагов нового механизма. Другой рычаг — государственный заказ. Предполагалось, что госзаказ будет дополнительным механизмом, смыкающим прошлое с настоящим. От прошлого в нем — обязательность. От нового — выгодность, ориентировка на самые важные конечные результаты и т. д. Это все в теории. А на практике о выгодности никто не вспоминает, как и об ориентировке только на самое важное. Главным в госзаказе осталась обязательность, к тому же он охватил до 90—100 процентов объемов производства. Так что сохранились все прежние директивные плановые задания, правда, их одели в новую форму с погонами госзаказа.

На деле это означает подрыв главной идеи полного хозрасчета: самофинансирование инициативного научно-технического прогресса. Подрыв идет по следующей схеме. Предположим, завод заработал несколько миллионов рублей в фонд технического развития — на новые станки и новые материалы. Он обращается к двум своим постоянным поставщикам и слышит в ответ: ничем помочь не можем, у нас только госзаказом загружены все мощности. Добейтесь, чтобы ваши просьбы вошли в него.

Приходится заводу, чтобы заказать станки и материалы, направить просьбу в свое министерство. То — в Госплан и т. д. Словом, это будет движение по давно знакомым лестницам парадных подъездов, но разница все же есть: раньше надо было просить на НТП и деньги, и их «отоваривание», а теперь — добиваться только включения в план.

Конечно, наличие денег облегчает переговоры. Конечно, все наверху обязаны рассматривать такие заявки в первую очередь. Но дефицит есть дефицит, и главное решение — кому дать, а кому отказать — принимает «верх». Это не самофинансирование. Это — финансирование своими деньгами принимаемых наверху решений. А идея самофинансирования была иная: завод сам заработал деньги и выбрал вариант НТП. Другой завод сам рассматривает заявки этого и других заводов и принимает заказы у тех, кто ему больше заплатит. Заплатит же по идее больше тот, кто сумел рентабельно использовать свой фонд развития. А в основе того, что мы сейчас внедряем, не объективная рентабельность, а по-прежнему волевое решение центральных органов.

Можно было бы продолжить анализ, рассмотрев лимиты снабжения, фонд оплаты и т. д. Но общий вывод ясен и так: мы сегодня имеем экономический механизм только по форме. На деле за ним стоит наш прежний административно составленный план. Вообще-то с этим выводом все, как правило, согласны. Но говорят: так и было задумано. Сперва экономический механизм будет формой, затем — с новой пятилетки — в нее вольется новое содержание.

Сначала о том, можно ли подготовить заранее форму. Теоретически можно. Но то, что делаем мы, назвать подготовкой формы для будущей пятилетки никак нельзя. Мы создаем форму только для нашего старого плана. И хотя это дает опыт работы с экономическими рычагами новой системы — нормативами, госзаказами и т. д.,— в целом новой формы для новой жизни не получится. Ибо за каждым рычагом стоит старое содержание, которое нас не устраивает. Кому нужно выполнение плана выпуска такой обуви, которую и сейчас не покупают? Кому нужен прирост грузооборота, если он связан с тем, что предприятия разобщены по сотне министерств и каждое министерство организует «свою» кооперацию?

Нынешний план настолько несовместим с новым механизмом, что влияет р е ш а ю щ и м образом на форму, не позволяя появиться ни нужным нам нормативам, ни нужным госзаказам. Словом, мы новую форму настолько подгоняем под старое содержание, что форма получается хоть и новая, но вовсе не та, какая нужна будет в следующей пятилетке. В э т у п я т и л е т к у м ы б у д е м в х о д и т ь, н е и м е я н о в о г о м е х а н и з м а.

Таким образом, игнорирование целей экономического развития, которое проявилось в упоре на существующий план, обрекает нас к началу новой пятилетки на тяжелейшую ситуацию. Причем порой кажется, что это кое-кого из наших явных и скрытых консерваторов устраивает. Они ведь только и умеют, что составлять и выполнять административные задания. И пока план главенствует — прямо ли или как основа экономических нормативов — они на коне. Сегодня этот путь позволяет им остаться на своих постах. В новой пятилетке опять придется начать дело с составления административного плана и опять без него не обойтись. А если итоги будут очень плохие — свалить их не на план, а на перестройку.

Опыт перестройки, таким образом, убеждает нас в следующем: п р и с о х р а н е н и и с т а р о й э к о н о м и ч е с к о й с т р а т е г и и, с т р а т е г и и н ы н е ш н е г о п л а н а, н е л ь з я с о з д а т ь и н о в ы й э к о н о м и ч е с к и й м е х а н и з м.

3

Что такое административно составленный план, какая стратегия заложена в нем? Эту стратегию характеризуют такие моменты. Во-первых, одновременный рост всех участков и некоторое форсирование ряда из них. Во-вторых, упор на обобщенные показатели и недостаточно внимания к реальному удовлетворению спроса — как производственного, так и потребительского. В итоге затоваривание и дефицит. Случайны ли они? Отнюдь нет.

В строго иерархической административной системе все органы одного уровня равноправны. Равноправны между собой и руководители одного уровня: будь то министры, руководители краев и областей, директора предприятий и объединений. При этих условиях распределение ресурсов центром неизбежно подвержено давлению идеи равноправия, точнее уравниловки. Действует прежде всего принцип: всем сестрам по серьгам. Отсюда равномерный прирост в рамках сложившейся структуры. Но эта равномерность все же нарушается. Дело в том, что на деле между министрами, как и между директорами или руководителями областей, различие есть. Большее влияние и больший вес имеют те, кто сегодня руководит участками более объемными по ресурсам, по числу занятых, числу членов партии и т. д. Естественно, что руководители с бо́льшим «весом» и добиваются бо́льшего. А следовательно, в структуре происходят какие-то очень медленные изменения в интересах тех, кто «весомее».

Разумеется, центр, анализируя тенденции развития, пытается форсировать участки, которые признаны отстающими или прогрессивными, закладывая в долгосрочные планы преимущества, положим, для нефтегазового комплекса, АПК или «большой химии». Но задания плана весьма обобщенные. В ходе их конкретизации по части снабжения, финансирования и других текущих корректировок всегда проявляется общая тенденция: тем, чье развитие собирались форсировать, достается меньше, чем намечалось. А в тех случаях, когда удавалось обеспечить курс на структурные изменения, оказывалось, что они происходили не там, где ожидался наибольший эффект, а на тех участках, которые курировал руководитель более высокого ранга.

Итогом такого рода структурной политики (а она единственно возможная в Административной Системе) было постепенное возрастание роли отраслей и регионов, в прошлом относительно более «влиятельных» по удельному весу производства или по рангу руководителей, а чаще в силу действия обеих причин. Тут прошлое диктует будущему.

Стратегия уравнительного распределения ресурсов исключает мобилизацию преимуществ наиболее эффективных отраслей или регионов. Такая стратегия заранее отказывается от крупного экономического выигрыша, так как игнорирует участки, где он возможен. В результате «общий котел» становится все меньше, а «прибавки» — всем поровну — все незначительнее. Причем эти уравнительно распределяемые приросты тем ниже, чем стабильнее становится структура. В итоге она все больше «затвердевает».

В пятидесятых годах это еще было терпимо. Но в шестидесятых — семидесятых развернулась мировая научно-техническая революция, связанная с глубокими изменениями в соотношении отраслей, со стремительным падением роли целых отраслей, кризисом отдельных регионов. В этих условиях утрата гибкости ведет ко все большему отрыву типа структуры нашей экономики от того, что существует в развитых странах мира.

А отсталая структура экономики обрекает на падение эффективности даже грандиозных капитальных вложений. Средства распыляют по сотням участков, в

итоге у всех что-то есть, но всем чего-то не хватает. Например, городу нужны подземные переходы. Почему не закончить один, потом начать другой? Нельзя. Нельзя дать деньги одному «уважаемому району», обделив другой «уважаемый район». По этой логике «удобнее» строить подземные переходы сразу в нескольких районах города, хотя строить придется долго. Иное решение в Административной Системе — случайность, исключение.

Вот почему перестройка экономики у нас не может ограничиться перестройкой механизма управления. Не менее важен вопрос о целях экономической стратегии.

В чем должны состоять цели экономической стратегии перестройки? Этот вопрос и начал обсуждать В. Селюнин. Отмечу ряд моментов и я. Разумеется, кратко.

Прежде всего нужно удовлетворить спрос населения — и на предметы потребления, и на услуги, не забывая при этом об уже накопленных населением деньгах, то есть отложенном спросе. Конечно, его можно на какое-то время и в каких-то формах заморозить. Но решительно неприемлемы предложения о денежной реформе с целью обесценить то, что трудящиеся уже накопили. Это был бы такой политический удар по перестройке, который не компенсировать никакими экономическими выигрышами.

Можно предвидеть, что переориентация на спрос вызовет перегруппировку и материальных, и человеческих ресурсов. Практически это отзовется закрытием многих предприятий. В легкой промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг «сгорят» те, кто не умеет работать; в тяжелой — потребуется закрыть предприятия, созданные сверх реальных потребностей страны. При этом ресурсы искусственно раздутых отраслей перельются в те, которые работают на население.

Говорят: это ослабит мощь страны, ведь перелив пойдет из машиностроения, тяжелой промышленности. По формальной логике — верно. Но лишь по формальной. Если же вдуматься, то тяжелая промышленность — выиграет. Почему? Да потому, что закроются самые неэффективные предприятия — те, что десятилетиями, по существу, жили за счет других, неэффективные филиалы, цеха, участки. А заводы, обеспечивающие или способные обеспечить современное производство, по-настоящему наберут силу, увеличивая свои доходы.

Если бы, однако, проблема сводилась только к перегруппировке средств и сил между секторами нашей экономики, то она была бы не более трудна, чем, например, перевод военной промышленности на мирные рельсы. Но ситуация значительно сложнее. Во-первых, отрасли, ориентированные на социальные цели, у нас невероятно отстали от мировых стандартов. Эти отрасли нуждаются не просто в переливе ресурсов: надо, чтобы ресурсы отвечали современным техническим, технологическим, экологическим, медицинским нормам. Во-вторых, и наша тяжелая промышленность в очень тяжелом положении,— она тоже существенно отстает от мирового уровня.

Вот почему, если смотреть правде в глаза, перестройка не спасет страну, если она не приведет к решительному изменению ситуации на таких ключевых участках, как компьютеризация, робототехника, биотехнология, информатика и т. д. Без этого не решить экологических проблем, проблем безопасности производства, не освободить тысячи людей от отупляющей работы на конвейерах.

Для преодоления отставания есть, как видится, два пути. Первый: ждать, когда под воздействием спроса населения перестроятся легкая промышленность, сфера услуг, сельское хозяйство, а их потребности вызовут и перестройку нашей тяжелой промышленности. Этот путь реален, прочен, но долог. Второй: использовать силу и мощь центра для ускорения технической реконструкции. Уместно напомнить, что Япония, добившаяся наибольших успехов на путях НТП, в наибольшей степени использовала государство как инструмент ускоренного развития; если уж при частной собственности резервы централизма дали такой эффект, то нам, как говорится, и бог велел.

Но возникает такой вопрос. Ведь наша индустриализация тоже исходила из идеи централизованного форсирования технического прогресса. Не повторится ли ситуация — со всеми последствиями для экономики и политики? Не приведет ли попытка активно использовать для преодоления экономического отставания центр к его отрыву от общества, к росту бюрократизации и такой же растрате материальных и человеческих ресурсов, какими было заплачено за административный подход к индустриализации?

Вопрос не пустой. Нынешняя ситуация весьма противоречива. Интересы эффективной структурной перегруппировки требуют устранения волевого вмешательства центра. А необходимость быстрейшего преодоления отставания указывает на необходимость активного использования центра. На мой взгляд, это главное объективное противоречие нашей экономической перестройки. Надо искать такой механизм хозяйствования, при котором удалось бы использовать преимущества централизма и одновременно избежать тех опасностей обособления центра, которые проявились в тридцатые годы в культе личности и породили в конце концов механизм торможения.

4

Задачи структурной перестройки первого уровня — перегруппировка ресурсов, устранение неэффективных предприятий и т. п.— успешно решит рынок, экономическое соревнование, цены соглашения, полный хозрасчет и т. д. Задачи структурной перестройки второго уровня, требующие рывка, коренной технической реконструкции, необходимо решать при активном участии центра. И если проблемы рынка ясны, то вторая задача, с учетом успехов и трагедий прошлого, очень непроста. В самом деле: что такое централизм нового типа — не административный, а экономический?

Видимо, надо сначала освободить центр от обязанностей непосредственно управлять всей экономикой и прямо отвечать за нее. Усилия правильнее сосредоточить только на том, что без центра делается плохо или даже вообще не может быть сделано. Затем нужно роль центра управления ограничить экономическими рычагами. И, наконец, требуется выработать такую политическую систему, при которой сохранение мощных экономических рычагов в руках центра исключило бы его попытки поставить себя над обществом, не привело бы к всевластию бюрократии.

Если с центра не снять прямую ответственность за экономику в целом, его органы будут тратить ресурсы на то, чтобы поправить текущие дела и обеспечивать итоги квартала или года. Отвечать за экономику должны (непосредственно и полностью, своей зарплатой отвечать) хозрасчетные организации. А центр стал бы влиять на общее развитие экономики через свои, централизованные, программы.

Мы должны освободить центр прежде всего и главным образом для того, чтобы он сосредоточил все свои силы на ключевых для будущего страны участках.

Сходство с моделью индустриализации в таком подходе — в упоре центра на главное (в то время это была тяжелая промышленность); сходство и в относительном безразличии центра к другим сферам (тогда — к легкой промышленности, колхозам, кооперативам и т. д.). Отличие же в том, что прежде эта модель была административной (с неизбежными жертвами, потерями и издержками — экономическими и социальными), а теперь мы должны сделать ее экономической (и, соответственно, демократической).

Что означает экономический централизм? Во-первых, право центра распоряжаться лишь теми ресурсами, которые ему отчислены. Только их он может использовать как рычаги влияния. Административные права должны быть сведены к минимуму. Смысл такой меры: властью центра можно делать только то, что укладывается в имеющиеся у него фонды. В этом — первое ограничение опасности отрыва центра от общества.

Во-вторых, необходимо сделать задания центра экономически выгодными: если они самые выгодные, их и выполнят в первую очередь. За заказами нашего правительства отечественные заводы должны гоняться, как гоняются капитали-

стические фирмы за подрядами своего. В этом — тоже большой смысл. Чтобы платить за госзаказы достойную цену, центр должен найти сферы наиболее эффективного приложения усилий. Необходимость действовать с помощью госзаказа, который выгоден,— еще одно ограничение опасности свести централизм к администрированию, к бюрократизации.

Третье ограничение — система оплаты работников центра. Они должны получать, как говорил В. И. Ленин, тантьемы — доход с учетом отдачи своих усилий, централизованных программ.

Четвертое ограничение — создание мощных, самостоятельных, способных экономически противостоять центру предприятий, объединений, кооперативов, региональных экономических комплексов и т. д.

Какой видится схема взаимодействия централизованного плана и экономических рычагов? На первом этапе, при разработке долгосрочной стратегии НТП и всей экономики, определяются задачи развития. Анализируется, какие из них могут быть решены самими предприятиями при помощи прямых рыночных связей. Далее выявляются участки, требующие централизованного влияния, и исчисляются необходимые для их ускоренного развития ресурсы. Сопоставление их с предполагаемой суммой доходов формирует подход к определению базисных нормативов, масштабов изъятия средств у предприятий (отчисления в госбюджет, плата за фонды).

На втором этапе в пределах выделенных центру ресурсов разрабатываются централизованные, а также отраслевые и региональные программы и распределяются фонды для госзаказов — так, чтобы сделать госзаказы наиболее выгодными.

С учетом этих программ и перспектив деятельности хозрасчетных ячеек на третьем этапе формируется план, состоящий из двух блоков — плана госзаказов и обобщенного плана предприятий. На этой основе можно определить главный экономический норматив — нормативную цену, а также прогрессивный налог за отклонение от нее.

Весь этот процесс надо спасти от произвола начальства. Только при демократическом механизме можно правильно решить, какие нормативы будут приемлемы для общества.

Такой, в общих чертах, представляется мне система, которая должна возникнуть в результате перестройки. Она позволит выработать как экономическую стратегию, так и механизм управления — инструмент ее реализации.

В итоге хотелось бы отметить следующее. Поддерживая основные идеи В. Селюнина, я считаю, что не стоит все же представлять оспариваемый им взгляд на темпы как официальную точку зрения. Это точка зрения прежде всего центрального хозяйственного аппарата. Партийная постановка вопроса об ускорении как качестве роста вполне позволяет найти правильные подходы к проблеме темпов.

В отличие от В. Селюнина я считаю необходимым сохранить определенный упор на развитие ряда ключевых звеньев экономики, сосредоточив влияние центра прежде всего на них.

И, наконец, только экономический подход представляется мне недостаточным. Как, скажем, отнесется бригада, освободившаяся от избыточных работников, к директиве райисполкома выделить двух человек на овощную базу? Как отнесется коллектив, избравший директора, к попыткам райкома «задавить» этого руководителя партвзысканиями за «строптивость»? Если райисполком или райком своего добьются — погибнет новый экономический механизм. А если трудовые коллективы хозрасчетных ячеек захотят избрать исполком, способный обойтись без мобилизаций на базы?

Нужны политические гарантии. Политические гарантии — новая всеобъемлющая демократическая система устройства общества. Без них сам по себе механизм управления экономическим не станет. Централизм при социализме объективно необходим. А главная гарантия от бюрократизации центра — демократизация политической системы и внутрипартийной жизни.

Отто Лацис,
доктор экономических наук

УГРОЗА ПЕРЕСТРОЙКЕ

Те мысли, которые В. И. Селюнин подробно обосновал здесь, сначала были кратко изложены в газетной статье в «Социалистической индустрии». Она наделала много шуму. В метро можно было увидеть людей, читающих ее ксерокопии. Мнение об этой статье у меня спрашивали в самых разных аудиториях — от студентов Московского университета до иностранных журналистов. Такой интерес сам по себе — показатель блестящего успеха перестройки: множество «простых людей» стали серьезно и предметно, как о своем близком деле, раздумывать над стратегическими государственными проблемами, о которых, казалось бы, должна голова болеть только у Госплана.

Хотелось бы сразу отодвинуть в сторону несущественные для нашего разговора споры о точности расчетов автора. И не только потому, что индексы макроэкономических величин по своей природе не бывают точными в простом арифметическом смысле, и для их расчета невозможно предписать наилучшую для всех случаев методику. Даже и явные частные количественные просчеты не хотелось бы обсуждать. О тех экономистах, которые, поправляя В. Селюнина, указывают на действительные или (чаще) мнимые ошибки в его расчетах, я бы сказал так: они спорят, на каком делении ему следовало бы установить планку прицела, не замечая, что он предлагает стрелять вообще в другую сторону. Вот об этом — о выборе цели — и надо прежде всего говорить.

Я глубоко убежден, что Селюнин предлагает правильную цель, хотя многое в его анализе нуждается в уточнении. Прежде всего я бы отметил, что он напрасно считает себя оппонентом академика Аганбегяна — на самом деле они оба смотрят на наше экономическое развитие в общем одинаково. Ускорение, о котором говорит А. Г. Аганбегян, нам, несомненно, необходимо, и его демонстрационный расчет, приведенный В. И. Селюниным, бесспорно верен. Другое дело, что есть ошибочные истолкования этого расчета, что привычное бюрократическое приложение идеи ускорения приводит к неверным плановым решениям — но в этом уж виноват не Аганбегян, а те, кто так планирует.

Представим себе, что некий врач говорит: у пациента повышена температура, он болен, надо лечить. А ему отвечают: да, надо запланировать нормальную температуру. «Спускают» план по температуре и начинают трясти градусник, чтобы скорее показал то, что требуется. Так недолго и уморить больного, но разве виноват тот врач, который отмечает повышение температуры и полагает, что у здорового человека она должна быть нормальной?

Конечно, планировать надо не температуру, а лечение — при хорошем лечении экономический «градусник» без специальных усилий плановых органов покажет нормальную температуру. И наоборот: при нынешних попытках «выбивать» из предприятий объемы ради объемов путем извращения идеи государственного заказа и других идей реформы — при таких действиях не будет ни реального оздоровления экономики, ни даже формальных показателей здоровья.

И дело не в конфликте между потреблением и накоплением или между первым и вторым подразделениями общественного производства или группами «А» и «Б» промышленности. Пожалуй, здесь В. Селюнин в увлечении справедливой критикой наших недостатков не заметил, что сам применяет в критическом анализе макроэкономические показатели, то есть аргументы из того же ряда, к которому обращался и А. Аганбегян: эти показатели сигнализируют о болезни, но не указывают прямой дороги к ее излечению. Представим себе, что плановые органы вдруг возьмут сторону Селюнина, но истолкуют свою за-

дачу так же, как они истолковывали ускорение «по Аганбегяну», то есть сведут дело к тому, чтобы желаемые макроэкономические показатели разверстать по предприятиям — лишь бы ответ сошелся с искомым решением. Тогда они примутся «забивать» в планы предприятий первые попавшиеся объемы по группе «Б» точно так же, как сейчас «забивают» по группе «А», не считаясь с реальными потребностями и возможностями.

Все дело в том, что показатели, пригодные для макроэкономического анализа, не могут служить исходной позицией текущего планирования, особенно на уровне предприятий. Изучив эти показатели, можно понять пороки старой стратегии и выработать новую, но правильную стратегию нельзя реализовать напрямую через планирование «хороших» показателей. В конце концов расчет В. Селюнина носит такой же демонстрационный характер, как и расчет А. Аганбегяна. Он отражает нездоровье, но даже не дает диагноза болезни, а тем более не указывает лечение. Ведь настоящая беда не просто в том, что выпускается слишком много средств производства и слишком мало предметов потребления. Беда в том, что изготавливается множество ненужных средств производства, ненужных предметов потребления, а нужных не хватает — и тех, и других.

На уровне анализа сводных показателей можно доказать, к примеру, что у нас не хватает зерноуборочных комбайнов, поскольку уборка длится чрезмерно долго и от этого велики потери хлеба. Между тем мы собираем зерна в 1,4 раза меньше, чем США, комбайнов же производим в 16 раз больше. Неисправных комбайнов у нас в хозяйствах столько, что американской промышленности при ее нынешних мощностях по комбайнам удалось бы произвести такое количество лишь за 70 лет. Выходит, с одной стороны — чудовищное перепроизводство комбайнов, которое могло продолжаться лишь потому, что совхозы при отсутствии хозрасчета получали технику за счет государственного бюджета, а колхозы — за счет периодически списываемого государственного кредита. Такую технику, какую предлагают многие наши заводы, колхозы и совхозы соглашались брать только задаром и очень часто — на запчасти. Как только с началом реформы чуть-чуть проявил свою силу хозрасчет, хозяйства сократили свои заявки на сельхозтехнику на треть, а производитель особо плохих комбайнов — Красноярский завод — оказался перед угрозой остановки из-за отсутствия сбыта. И это при продолжающейся нехватке запчастей, при сохраняющемся монопольном положении плохого отечественного комбайна на нашем рынке и при государственной дотации, делающей новейший и лучший из советских комбайнов — «Дон» — полубесплатным даже при полном хозрасчете хозяйств. За полную цену и его бы не брали. И наряду с перепроизводством — огромная нужда в комбайне такого, скажем, качества, как производимые в ГДР: высокопроизводительные, легкие, надежные, с малыми потерями зерна.

Выходит, вопрос о том, сколько комбайнов нам нужно, неотделим от вопроса о том, какие это будут комбайны, как их будут снабжать запчастями, ремонтировать, хранить. Следовательно, мы не можем определить, что и как планировать, пока не решим, кто планирует. Колхоз на свои кровные закажет одно, министерство на государственные, то есть «ничьи»,— совсем другое.

Нет никаких сомнений, что нам нужен, и очень нужен, рывок в развитии машиностроения. Вполне логичным представляется решение дать в связи с этим повышенные капиталовложения для отрасли. Но в сочетании со старым механизмом планирования этот пункт плана становится самоцелью. Для определенных звеньев государственного аппарата, наделенных немалой властью, задача сводится к этому: затратить такие-то суммы. И тратят. Потрясающий факт сообщил в «Огоньке» генеральный директор знаменитого Ивановского станкостроительного объединения В. Кабаидзе: ему для расширения производства не нужны дополнительные площади, а министерство навязывает сто миллионов рублей и велит строить новый корпус. Гораздо меньшие по объему целесообразные затраты, прежде всего на новое оборудование, директор осуществить не может, а огромные бросовые — пожалуйста.

Еще замечательнее эффект строек Минводхоза. Они уже стали притчей во языцех из-за огромного ущерба, наносимого природе и памятникам культуры, но еще не оценены по достоинству с точки зрения экономической. Принятый у нас нормативный срок окупаемости капиталовложений, отнюдь не жесткий, а скорее вольготный, составляет восемь лет. Фактический срок окупаемости капиталовложений Минводхоза в прошлой пятилетке, по оценкам самого ведомства, превысил двадцать пять лет — этого уже вполне достаточно, чтобы немедленно отказаться от подобных работ. Но, по оценкам независимых от ведомства ученых, реальный срок окупаемости его затрат составил сто лет — величина, можно сказать, иррациональная, по сути равнозначная признанию, что эти затраты не окупятся никогда. А многие объекты орошения имеют отрицательную «рентабельность»: это затраты ради «производства» убытков. От такого орошения плодородие земель не возрастает, а уменьшается либо уничтожается полностью. Это всенародное бедствие — но не стихийное, а плановое бедствие — может существовать лишь по одной причине: оплата объектов орошения идет за счет государства. Будь оно за счет колхозов и совхозов, за счет их хозрасчетного дохода — ни копейки не получил бы Минводхоз на большинство своих проектов.

Таким образом, если мы вполне правильную мысль В. Селюнина об ускоренном увеличении производства предметов потребления попытаемся реализовать через существующий механизм планирования (выделить на эти цели столько-то миллиардов рублей ассигнований, разверстать по соответствующим министерствам, затем по предприятиям), у нас не выйдет ничего, кроме новых бросовых затрат, только в других отраслях. Прошло время, когда нехозрасчетный механизм планирования действовал неэффективно. Сейчас он вообще не действует, то есть не ведет к поставленной цели.

Для излечения от «министерских» болезней предлагаются разные рецепты. Поговаривают, например, о переводе министерств на хозрасчет. Но такие предложения выдают лишь непонимание ключевого слова реформы. Хозрасчет есть метод, основанный на окупаемости всех затрат предприятия выручкой от продажи его продукции или услуг и оплате труда коллектива в зависимости от полученной прибыли. Значит, как минимум необходимы производство и продажа произведенного. Не может быть на полном хозрасчете, скажем, цех — он производит какую-то продукцию, но не продает ее, тут возможен лишь частичный хозрасчет, внутризаводской. Не может быть на хозрасчете и министерство: оно ничего не производит. Оплату труда аппарата министерства можно и нужно ставить в зависимость от результатов работы его предприятий — скажем, перевести на премиальную оплату или на тантьемы (проценты со сделки), как предлагал Ленин. Но, скажем, заключать договор министерства с предприятием с обязательством полного возмещения убытков от ошибок министерства — значило бы, по сути, покрывать эти убытки за счет всех предприятий отрасли. Ведь министерство само ничего не производит, подлинного хозрасчетного дохода иметь не может — оно в состоянии расплачиваться лишь деньгами, отнятыми у тех же предприятий, путем централизованных отчислений. Но ведь оно само же и устанавливает нормативы этих отчислений, и жалоб на произвол в этом деле сколько угодно. Само и транжирит централизованные ресурсы, пример тому — стомиллионный «сарай», навязанный В. Кабаидзе. И если министерству придется из такого же централизованного фонда расплачиваться с потерпевшими в результате очередного бюрократического головотяпства предприятиями — его не убудет. А предприятие успокоится, жалоб не будет — ведь пострадавшим останется только государство. И министерство надежно укроется под защитой централизованных фондов.

Нет, хозрасчетное планирование должно означать другое: нехозрасчетные по своей природе звенья вроде министерств, главков, бывших ВПО или новейших ГПО, не создающие никаких ресурсов, не должны и распоряжаться ресурсами. В документах реформы хозрасчет не зря расшифровывается как самоокупаемость и самофинансирование — это не тавтология, слова эти означают разное. Самоокупаемость означает права и ответственность предприятия в отношении текущих затрат, самофинансирование — в отношении капитальных. Коли станкостроение заработало в свои фонды сто миллионов рублей, приходящихся на долю Ивановского объединения,— они и должны быть в руках коллектива объединения во главе с В. Кабаидзе. Именно здесь сосредоточены и наибольшие знания относи-

тельно целесообразного использования средств и, главное, наибольшая заинтересованность в нем.

Конечно, остается вопрос о необходимой централизации: как быть, когда нужно объединить средства для сооружения крупного объекта, в интересах многих предприятий. Но ведь о создании для такого случая акционерных обществ умели договариваться капиталисты еще в прошлом веке — у нас же, на базе социалистической собственности, добровольное объединение ресурсов можно организовать гораздо проще. Да и был такой опыт в двадцатые годы, есть подобное и сейчас — взять хоть межколхозные предприятия.

Бывает необходимым и финансирование строек за счет государственного бюджета. Но сфера, где оно необходимо и полезно, во много раз меньше той, которая сейчас им охвачена. Такими централизованными в общегосударственном масштабе ресурсами мог бы распоряднться Госплан. В связи с этим пора уже сказать и о том, что с переходом на новую хозяйственную систему большая часть управленческих функций должна переходить от министерств и других органов управления к предприятиям. Зачем же нам тогда столько министерств в промышленности и строительстве? Большая часть из них не нужна, и упразднение их как раз и может стать самым простым и надежным способом избавления от производства ненужного. Ну а те функции совместной деятельности, которые нужны и в новых условиях, можно возложить на создаваемые предприятиями на паях договорные (и добровольные!) фирмы, оказывающие платные услуги по управлению. Сфера управления должна все больше превращаться в сферу услуг.

И еще один вопрос нельзя обойти в связи со статьей В. Селюнина. Предположенный им реванш бюрократии — не какая-то аморфная идея, он имеет вполне реальный и очень сильный механизм. Разрушительное действие этого механизма проявляется независимо от того, направляет ли его кто-либо сознательно или оно разворачивается стихийно под влиянием присущих бюрократической системе свойств и других объективных обстоятельств. Этот опаснейший для судеб перестройки механизм — инфляция, вызываемая чрезмерными расходами государственного бюджета. За последнее время бюджет понес непредвиденные потери из-за сокращения импорта товаров народного потребления (вынужденная мера, вызванная сокращением экспортной выручки после падения мировых цен на нефть), из-за сокращения продажи водки, из-за Чернобыльской аварии. Между тем и до того существовал избыток денежных выплат населению по сравнению с товарным обеспечением рынка. Правда, государственное регулирование цен позволяет создавать видимость их стабильности, но избытка необеспеченных денег оно не снимает. Сейчас давление этого избытка на потребительский рынок видно простым глазом: список товаров, перешедших в разряд дефицитных, ширится неудержимо. Рынок рушится на глазах, несмотря на то, что поставки товаров растут: денежные выплаты растут быстрее. Миллионы людей делают работу, в результате которой не получится никакого товара: строят оросительные каналы, которые не дают прибавки сельскохозяйственной продукции; выпускают станки, для которых нет станочников, тракторы, для которых нет трактористов, комбайны, которые заведомо не будут работать. Еще миллионы людей снабжают эти ненужные производства электроэнергией, металлом, рудой, нефтью, углем и т. д. и т. п. Все они получают зарплату наравне с другими и приносят свои честно заработанные деньги в магазины, но там их не ждут товары, произведенные в результате их труда: чего нет, того нет. Если так продолжать — либо полки в магазинах опустеют окончательно, либо повышение цен станет неизбежным.

Я говорю здесь не о том повышении, необходимость которого существует давно, о чем и я писал во втором номере «Знамени» за 1988 год. То повышение ради изменения устаревшей структуры цен, оно может быть проведено с полной компенсацией населению в виде повышения зарплаты и пенсий на ту же сумму, на какую повысятся цены на отдельные товары. Это неизбежное и достаточно сложное, болезненное для многих мероприятие при общем товарно-денежном равновесии могло бы нормализовать рынок. Но когда к структурному неравновесию добавляется общее неравновесие — тут дело хуже, и само изменение структуры цен едва ли может дать полезный результат в таких условиях.

Срочного и придирчивого пересмотра требуют прежде всего крупнейшие проекты, перешедшие в наши планы из времен застоя. Пока из их числа отменена лишь пресловутая переброска части стока северных рек — отменена благодаря протестам общественности против ее экологических последствий. Экономическая же катастрофа, которой грозит нам масса проектов такого рода, еще недостаточно осознана. В этом отношении, скажем, строительство крупнейшего тракторостроительного комплекса в Елабуге вызывает не меньше сомнений, чем проект переброски. 3,8 миллиарда рублей предстоит отдать на сооружение тракторного суперзавода, потом еще сотни миллионов ежегодно на его работу — и все это дополнительные рубли, которые будут предъявлены в магазинах без всякого покрытия, потому что завод в Елабуге не будет производить товаров для населения. Более того — и с помощью выпускаемой им продукции тоже не будет получена прибавка в выпуске товаров для населения, потому что для уже действующих тракторных заводов не хватает рынка сбыта, для уже имеющихся в хозяйствах тракторов не хватает трактористов, не хватает и работы. Такой комплекс, который запланирован в Елабуге, способен только расширять брешь на товарном рынке.

А ведь это стройка, сопоставимая по масштабам с ВАЗом или КамАЗом. Пока еще не поздно перепрофилировать ее: можно поставить вместо тракторного, например, завод для массового производства микролитражки «Ока», которую сейчас негде делать в экономически эффективных масштабах. Такой завод смог бы ежегодно уменьшать на несколько миллиардов рублей брешь на рынке товаров народного потребления. Уменьшать, а не увеличивать. Подобным же образом можно пересмотреть целесообразность некоторых других строек, да и действующих производств.

А главное — нужно быстрее двигать вперед экономическую реформу. Распространять ее не только на предприятия, но и на сферу отраслевого и народнохозяйственного планирования, финансов и кредита, оптовой торговли, менять все экономические отношения так, чтобы не осталось ни одного уголка, где рубль народный можно транжирить как ничей.

Николай Шмелев,
доктор экономических наук, профессор

ЭКОНОМИКА И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Начну с того, что я полностью поддерживаю и анализ, и выводы статьи В. Селюнина. Он говорит не о мелочах, не о второстепенных проблемах и трудностях нашей экономической жизни — он говорит о главном. Не надо иллюзий, вопрос сегодня действительно стоит так, как пишет В. Селюнин: «...или немощное всевластие администраторов и неизбежный развал экономики — или перестройка с хорошими шансами на спасение». Нам жизненно необходимо, чтобы и руководство страны, и среднее звено, и все население в полную меру осознали критический характер нынешнего этапа нашей истории: либо мы пойдем вперед как великая, мощная и динамичная держава, либо мы в самом скором времени (думаю, не позже конца этого — начала следующего века) превратимся в отсталое, застойное государство, являющее всему миру пример того, как *не надо* строить экономическую жизнь.

И дело здесь — по крайней мере сегодня — отнюдь не в темпах экономического роста, не в вале, не в количестве производимой продукции. Нам пора изба-

виться от «религии темпов», от почти мистического ужаса перед возможным их снижением. Мы сами себя загнали в угол, в тупик: в неизбежном, неотвратимом выборе между религией и экономической рациональностью мы все еще продолжаем выбирать религию, жертвуя ради нее будущим страны.

Высокие, если хотите, «надрывные» темпы роста нам нужны сегодня лишь в суперновых отраслях — так называемых отраслях «высокой технологии». Но эти отрасли даже в США дают сейчас 8—9 процентов валового национального продукта, все остальное приходится на долю обычных, традиционных отраслей производства и сферу услуг. Нам не нужно больше металла: во всем индустриальном мире происходит сокращение производства рядового металла, и лишь одни мы, ослепленные лозунгами еще первых пятилеток и связанные по рукам и ногам затратным механизмом, продолжаем бездумно наращивать его производство, даже не спрашивая самих себя — зачем? Нам не нужно наращивать вал по станкам (в подавляющем своем большинстве давно уже устаревших по техническому уровню): большая часть наших станков либо вообще стоят, либо заняты в одну смену, либо ремонтируются, либо работают при таких допусках, что лучше бы они вообще не работали. Нам нужны станки иного качества. Мы производим около 800 миллионов пар обуви в год (и еще около 100 миллионов импортируем) — никто в мире не производит столько ни по валу, ни в расчете на душу населения. Зачем нам в этой отрасли вообще какие бы то ни было темпы роста? Не ясно ли, что надо просто производить другую обувь, а не наращивать производство нынешней — никудышной?

Даже в агропромышленном комплексе нам сегодня не нужен рост по валу: мы губим, портим, гноим, теряем не меньше 20 процентов годового производства зерновых, 60—70 процентов фруктов и овощей, 10—15 процентов мяса. Нам не нужно больше минеральных удобрений, тракторов, комбайнов: мы производим минеральных удобрений в два раза больше, чем США, тракторов — в 6—7 раз, комбайнов — в 14—16 раз, а хлеб, как известно, мы покупаем у них, а не они у нас. По тракторам, например, реальный спрос уже на 1/3 меньше производства. Согласен с В. Селюниным: откажись от насилия, «обяжи сейчас комбайностроителей самостоятельно искать потребителя, они, вероятно, не загрузили бы и половины заводских мощностей». И в этих условиях мы еще вкладываем миллиарды рублей в строительство нового тракторного завода в Елабуге! Что нам — не на что другое потратить средства? Или это просто всенародная дань упрямству и бездумным ведомственным амбициям Минсельхозмаша, на которое нигде, как видно, управы нет?

Нельзя, не нужно, неэффективно ускоряться везде и во всем. Такое ускорение действительно «иллюзорно». Не в «валовом ускорении» сегодня главные проблемы страны, не здесь лежат основные силы и основные источники нашего движения вперед. Нам нужен иной экономический механизм, иное качество роста, то есть иное качество нашей продукции, иной научно-технический уровень производства, наконец (и это, убежден, самое главное), иная социальная обстановка в стране, раскрепощающая творческие силы человека, задавленные многодесятилетним прессом чудовищно разбухшей административной пирамиды. Обстановка «всеобщего надрыва», вала любой ценой (так сказать, «из кожи вон»), заложенная в XII пятилетний план,— это не та обстановка, которая может позволить нам не на словах, а на деле добиться прогресса в экономической реформе. Это не парадокс, это реальность нашей жизни. Прав В. Селюнин: «К неисполнению наметок нынешней пятилетки надо отнестись спокойно — будем считать, что сберегли ресурсы вместо того, чтобы истратить их на выпуск ненужного».

Более того: именно обстановка «всеобщего надрыва», ориентация на вал объясняют тот печальный и в высшей степени тревожный факт, что новый Закон о предприятии, на который мы все возлагаем такие надежды, фактически парализован. Почему? Потому что министерства тихо, без шума, не обращая внимания на стенания и вопли печати, фактически душат его еще в колыбели. Госзаказ на 100 и более процентов продукции, отчисления от прибылей предприятий в пользу бюджета и министерств на уровне 85—95 процентов, невозможность распоряжаться фондами без визы сверху, невозможность ни продать свою продукцию, ни потратить свои рубли вне системы «карточного снабжения», рост обязательных к исполнению директивных показателей, спущенных сверху под лицемерным названием «контрольных»,— много ли надо, чтобы Закон превратить на деле в пустой звук? Благо техника дела давно известна и давно отработана — именно так хозрасчет (то есть самостоятельность, самоокупаемость, самофинансирование) уже был задушен однажды в 1965 году. Опять согласен с В. Селюниным и тоже готов заключить пари: если все будет так, как оно есть сегодня, «через год-два ни одного квадратного метра заводских площадей не останется для исполнения договорных заказов». И о каком хозрасчете, рынке, свободе предприятий, раскрепощении творческих сил производственных коллективов можно будет тогда говорить?

Я далек, конечно, от мысли, что в министерствах сегодня сидят одни злодеи, неисправимые бюрократы, готовые на все, лишь бы не потерять власть, люди, полностью безразличные к судьбе страны, к судьбе нации. Нет, уверен, что в большинстве своем наши бюрократы — неглупые, порядочные люди. Но пока министерства о т в е ч а ю т за производство, за выполнение заданий XII пятилетнего плана, пока еще ни одна из их функций в реальности не передана вниз, самим предприятиям и объединениям,— рынок, самонастройка, договорные отношения, деньги, полновесный рубль — это все теория, дискуссия, мечтания людей, получивших наконец право говорить, но по положению своему лишенных возможности влиять на события.

Уберите давящую, нерассуждающую силу произвольных, взятых с потолка плановых заданий, уберите строжайшую ответственность министерств за выполнение этих заданий, лишите ведомства и местные партийные, советские и хозяйственные власти их нынешней главной функции — во что бы то ни стало «выколотить» план. Тогда и можно будет сказать, кто же он в действительности такой — наш бюрократ. Согласен: устранение функций — это задача намного более трудная, чем механическое сокращение аппарата на треть или даже наполовину. Но не устранив функции, нам никогда не сломать (особенно в деревне) сопротивление ведомств и местных властей экономической реформе: у них в реальности не будет никакого другого выбора, кроме именно сопротивления ей.

Здесь же, думаю, лежит выход и из другого тупика, из другой огромной проблемы, поднятой В. Селюниным: как добиться заметного улучшения жизненного уровня населения, как изменить нынешнюю социальную обстановку, чтобы люди поверили в перестройку, в экономическую реформу, чтобы они преодолели свою пассивность, к которой их приучали десятилетиями. Здесь существуют огромные возможности.

В. Селюнин, например, совершенно справедливо указывает на неоправданно высокую норму накопления в нашем народном хозяйстве (порядка 40 процентов, если устранить искажения нашей статистики), которая, по существу, все более и более обслуживает своего рода «вечный двигатель», «дурную бесконечность» — производство ради производства, без малейшего конечного эффекта ни для массового потребителя, ни для решения общих социальных проблем страны и расширения ее социальной инфраструктуры. Добро бы хоть для производства средств производства эта, вероятно, самая высокая в мире норма накопления давала бесспорный эффект: если не сейчас, тогда, может быть, лет через 20 или 50 она сказалась бы и на уровне жизни простого человека. Но в действительности огромная часть этого накопления тратится впустую, идет лишь на поддержание «холостого хода» нашей хозяйственной машины. Товарные запасы у нас сейчас, например, растут в 5 раз быстрее, чем в США, а общая их величина по отношению к национальному доходу более чем в 3 раза выше, чем у них. Фондоотдача у нас в последние 25 лет снизилась в 2 раза, в том числе в строительстве — в 3 раза. В мире завод любого профиля и любой мощности строят обычно за 1,5—2 года, у нас — за 11—12 и более лет. Мы до сих пор позволяем себе, например, такую роскошь, как держать целое министерство — Минводхоз — с годовым бюджетом около 11 млрд. рублей и 2 млн. работников, которые делают только вредную (уже всем, кажется, доказавшую свою неэффективность) работу. А если бы оно строило дороги, элеваторы, мосты, жилье?

Причина всех этих явлений — в порочности самой системы всеохватывающего директивного планирования, тормозящего «прокручивание колес» в нашем экономическом механизме. И выход здесь лишь один — самонастройка, хозрасчет, рынок. Тогда и на накопление мы сможем пустить много меньшую долю национального дохода, чем сейчас. Полностью хозрасчетное предприятие не сможет и не будет (чтобы не разориться) держать у себя чудовищные запасы материальных ценностей, иметь такие незагруженные производственные мощности, строить «египетские пирамиды», которые никому в стране не нужны.

А это лишь один из источников повышения жизненного уровня и развития отраслей экономики, работающих на конечного потребителя. Существуют и многие другие. Пора, например, по-деловому обсудить реальные наши возможности улучшения жизни населения за счет сокращения армии и оборонных расходов, системы государственной безопасности, разнообразных правоохранительных органов. Всем также ясно, что управленческий аппарат во всех звеньях и на всех этажах нашей экономики неимоверно раздут и во многом приобрел уже чисто паразитический характер. Мы рекордсмены мира по доле управленцев во всем населении. Даже следующий за нами Китай по нашим «нормам» должен был бы иметь сегодня не 27 млн. «ганьбу» (и это считается у них слишком много), а 70—75 млн. Возможности здесь видны, что называется, невооруженным глазом. Например, если считать одних только водителей персональных автомашин, то мы, социалистическое государство, занимаем сегодня, наверное, первое место в мире по численности профессиональной прислуги. И опять выход один — устранение ф у н к ц и й ненужной административной надстройки, хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование производственных коллективов.

А такой фундаментальный факт: не менее 20—25 процентов занятой сегодня в промышленности рабочей силы является излишней для процесса производства даже по нашим техническим нормам. Они либо излишни абсолютно, либо содержатся лишь затем, чтобы было кого посылать на сенокос, на уборку урожая, на овощные базы и пр., т. е. для нужд, которые в условиях разумного хозрасчета могли бы удовлетворяться на порядок меньшим числом рабочей силы. Разве это не резерв загрузки простаивающих производственных мощностей (В. Селюнин говорит, что в промышленности их более четверти), расширения производства и соответственно роста жизненного уровня населения?

Однако на данном этапе решающее значение имеет, мне кажется, иное. Рубль не работает — в этом главное. Экономические стимулы не действуют или действуют из рук вон плохо потому, что ни основную зарплату, ни различные дополнительные доходы не на что реализовать. Даже существующий жизненный уровень, существующая средняя зарплата — это во многом фикция, и она останется таковой, пока нам не удастся насытить рынок продовольственными и промышленными товарами, и не вообще товарами, а именно теми, которые пользуются спросом у населения. Убежден: сегодня это главная задача перестройки, имея в виду настроение, жизненный тонус населения и его заинтересованность в успехе начатой экономической реформы.

Боюсь, что под этим углом зрения сегодня выбрана не самая лучшая последовательность мер по проведению реформы, не самый лучший ее «алгоритм». Наиболее быстрой отдачи в деле насыщения рынка (думаю, в течение 2—3 лет) можно было бы ожидать от подъема нашего сельского хозяйства и повсеместного развития индивидуально-кооперативной деятельности.

Никаких сложных построений и перестроений здесь не надо: надо только убрать, разорвать все искусственные административные путы, которые продолжают связывать наше сельское хозяйство и индивидуально-кооперативный сектор. На селе не нужны никакое (именно никакое!) администрирование и соответственно никакие административные органы с хозяйственными функциями. Не нужно никаких — ни прямых, ни скрытых — форм продразверстки, то есть обязательных плановых поставок, ибо вся продукция села никуда из нашей страны не денется и даже в порядке чисто коммерческих отношений никуда в массе своей мимо государственных элеваторов и мясокомбинатов не пойдет.

В индивидуально-кооперативном же секторе следует, убежден, отказаться от присущей сегодня всей нашей административно-финансовой системе привычки считать прежде всего деньги в кармане мелких производителей и кооператоров, а уж потом считать (если вообще считать) то, что они дают государству, рынку, всем нам. Дайте сначала развернуться, проявить себя этому сектору — шесть десятилетий его душили всяческими способами. И он нуждается сегодня в льготах, в стимулах к решению производства, а не в запретительных мерах, которые в зародыше давят любую инициативу, если она чуть выбьется за пределы, произвольно установленные в каком-то кабинете, где уже давно потеряли всякое представление о том, что такое есть реальная жизнь.

Но все же в одном вопросе я с В. Селюниным не во всем согласен. Это вопрос о реформе цен.

В реформе цен должны быть, как известно, решены две главные задачи: во-первых, полностью устранены накопившиеся с конца 20-х годов деформации в ценовых пропорциях, прежде всего искусственная заниженность цен на топливо, сырье, продовольствие, услуги и столь же искусственная завышенность их на машины, оборудование и все промышленные товары народного потребления; во-вторых, определен новый порядок, кто же в действительности будет устанавливать цены в стране — Госкомцен, или министерство, или сам рынок в порядке договорных отношений между покупателем и продавцом. В. Селюнин (говоря, что эффект от первой меры будет кратковременным и потому незначительным), мне кажется, недооценивает абсурдность того искаженного мира, тех ценовых условий, в которых пока живет наша экономика: упрощая, мы сегодня действительно не знаем, что у нас в реальности дороже — золото или кирпич. Прежде всего нам надо установить реальные ценовые пропорции, приближенные к тем, по которым сегодня живет весь мир. Сделать это можно и административным порядком, прямым указом сверху, разумеется, обеспечив соответствующую денежную и иную компенсацию населению, для которого отмена государственных ценовых дотаций будет означать прямой ущерб. А сделав этот административный шаг, установив объективные, реалистические ценовые пропорции, можно и двигаться дальше.

Куда? Это непростой вопрос, и, судя по просочившимся на страницы печати намерениям Госкомцен, вполне возможно, что мы опять пойдем не туда, куда нужно.

Пока, по-видимому, Госкомцен придерживается традиционных, кабинетных позиций: дескать, придумаем «умную», «хорошую» цену, тщательно обсчитанную комитетскими девочками на ЭВМ, а потом навяжем, спустим ее как директиву в реальную жизнь, т. е. в промышленность. Эта «нормативная цена» будет учитывать средние издержки, средние условия производства того или иного товара (с некоторым тяготением к лучшим условиям), а промышленность вся безоговорочно должна принять ее и действовать по ней. На мой взгляд — опаснейшая иллюзия! Опять не реальная жизнь, а религиозная вера в организацию, в то, что сверху виднее, что не «умные головы» должны подчиняться реальной экономической действительности, а реальная экономика им.

Сколько цен председатель Госкомцен и его сотрудники могут «обсчитать» более или менее тщательно, более или менее объективно? При любой ЭВМ? Десятки цен, сотни цен? Вряд ли больше, потому что тысячи и десятки тысяч цен (при связи фактически каждой цены со всеми пропорциями и отношениями в народном хозяйстве) физически не могут быть объективно «обсчитаны» на любой мыслимой ЭВМ. А сколько в действительности нам нужно цен? Мы производим в стране 25 миллионов видов изделий, и, следовательно, нам нужно столько же цен. Никакая организация, никакие ЭВМ исчислить их не могут. Я не говорю уже об обязательной в предусматриваемых реформой условиях (состязательность, инициатива предприятий, борьба за научно-технический прогресс) гибкости, подвижности цен, их тяготении к состоянию равновесия между спросом и предложением.

Нет, не надо иллюзий, не надо обманывать самих себя — эта задача не по силам никакому Госкомцен, даже если мы увеличим штат его в десятки и сотни

раз. Это может сделать только рынок, только свободное движение спроса и предложения, только прямые договорные отношения между поставщиком и потребителем. Тем более что мы поставили перед собой задачу избавиться от монополии производителя в нашем народном хозяйстве, а отсутствие монополии — это и есть подлинный, ничем не стесняемый рынок. Не барахолка где-нибудь в Малаховке, как у нас еще по безграмотности своей понимают это слово многие, а именно рынок, т. е. нормальное состояние всякого процесса воспроизводства, основанного на глубоком общественном разделении труда и специализации производства.

Грустно, дорогие товарищи! Когда же наконец мы вернемся к простому здравому смыслу, к тому, на чем веками строилась экономическая жизнь, и перестанем в кабинетах придумывать всякие «умственные» конструкции, одна другой сложнее и одна другой нежизненнее? Справедливо спрашивает В. Селюнин: «В конце концов неудачи нас учат чему-то или не учат? Верим мы в экономические приемы управления или нет?»

Иногда мне кажется, что именно в этом и есть главный философский вопрос всей перестройки. Продолжать насиловать жизнь или помогать жизни, помогать тем здоровым, естественным силам, которые заключены в ней? Мы еще в полный голос не ответили на этот вопрос. А отвечать надо, ибо на карту поставлена судьба страны, судьба народа. А значит, и судьба каждого из нас.

«АФГАНЦЫ»

О ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ, О ТОВАРИЩАХ, О ВРЕМЕНИ РАССКАЗЫВАЮТ МОЛОДЫЕ МОСКВИЧИ, БЫВШИЕ ВОИНЫ, ВЫПОЛНЯВШИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН

Авторский гонорар за эту повесть, выходящую также в издательстве «Московский рабочий», передается в фонд клуба бывших воинов-интернационалистов «Долг» на строительство памятника погибшим в Афганистане советским солдатам и для оказания помощи инвалидам и семьям погибших (счет № 700216 в Перовском отделении жилсоцбанка г. Москвы).

«Я РОС, КАК ВСЕ МОСКОВСКИЕ РЕБЯТА...»

Князев Сергей Николаевич, 1960 года рождения, военнослужащий, капитан. Служба в ДРА с августа 1983 по июль 1984. Тяжелое ранение, инвалидность. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Место работы — Перовский райвоенкомат. Начальник штаба клуба «Долг».

Родился я и вырос в Москве, в семье рабочих. Как и все нормальные дети, в войну начал играть с трех лет. Знал бы я, что это такое... Любил фильмы и книги про войну, романтические детективы, фантастику. Зачитывался Конан-Дойлем, Александром Беляевым. Любимый фильм детства — «Неуловимые мстители» — смотрел около двадцати раз. Огромное впечатление — военные песни Высоцкого. Это на всю жизнь. Слушал и думал, как мало знаю о моих близких, прошедших через войну. У меня воевал дед по матери, военный врач. Он умер в 1967 году от ран, поэтому воспоминания о нем почти не сохранились. Пообщаться бы с ним, когда я стал чуть взрослее, на пороге армии, уже с пониманием, что такое борьба жизни и смерти... Самые светлые воспоминания детства связаны все же не с Москвой, а с деревней Покровка, что в Липецкой области. Выезжал туда, вернее, вывозили, каждое лето, начиная с пятилетнего возраста. Поражало истинное раздолье, было где разгуляться, помериться силой. Работящие, простые деревенские мальчишки учили меня, маленького горожанина, быть настоящим мужчиной... На виду у всех прыгать с вышки в пруд вниз головой; скакать галопом на лошади без седла — не раз падал, но снова забирался, чтобы не отстать от друзей, привыкших к этому чуть ли не с пеленок... Сколько я потерял бы в жизни без этой науки! Незабываемые ночные набеги на соседские сады с проблесками «военных моментов»: отвлечение внимания — охранение — быстрый и дерзкий рейд под яблоню по намеченному маршруту — отход. В самые трудные минуты вспоминались и первая детская любовь в 7-м классе, и мальчишеская верность слову — переписка «от лета до лета»... Рано подружился со спортом. Благодаря отцу первым моим «букварем» стала газета «Советский спорт». И по сей день не могу лечь спать, если не прочитаю свежий номер. Перепробовал многое: футбол, хоккей, баскетбол, гимнастика... В седьмом классе серьезно увлекся боксом, тренировался в «Трудовых резервах» у Николая Дмитриевича Хромова. Бокс — вид спорта для настоящих мужчин: один на один, все честно, третий раунд через «не могу». Был чемпионом города среди юношей, в десятом классе выполнил норму кандидата в мастера спорта.

Серьезно готовился к армейской службе. При любой погоде бегал по утрам. Сначала один, потом с другом. К концу десятого «подбил» на это полкласса, в том числе и девчонок. Бегали, купались, играли в футбол и бадминтон. В армию хотелось, но представления о службе были в основном по передаче «Служу Советскому Союзу» — розовые, смутные. Учился в школе № 911 Волгоградского района. Военруком у нас был полковник запаса Анатолий Семенович Семин, и не без его влияния я решил поступать в военное училище. Но тут барьер — в военкомате

документы не приняли, потому что на 1 сентября мне не хватало до семнадцати полных лет 25 дней. С другом, которого не брали по той же причине, написали письмо министру обороны СССР. В виде исключения сдавать экзамены разрешили. Поступил сразу. Учился хорошо, без троек. До «красного диплома» не хватило чуть-чуть.

Когда наши войска вошли в ДРА, я был на третьем курсе. По скупым газетным строчкам мы, курсанты, постоянно обсуждали все то, что там происходит. Сперва смутно, а потом все уверенней зрело решение побывать там — испытать себя в тяжелых условиях, понять, чего я стою. Была возможность уехать в ДРА сразу после выпуска, но, если честно, тогда не решился. Хотелось все-таки накопить опыт работы командиром взвода, проверить на практике свои знания. Направили служить на территорию Монголии. Место во всех отношениях отнюдь не «тепленькое». Там я приобрел верных друзей. Александр Солодов, Олег Киселев, Евгений Орлов, Юрий и Владимир Щепилины... Четверо из них служат сейчас в ДРА, и этих ребят я вспоминаю с особым чувством.

В конце 1981 года я твердо решил попасть в Афганистан. Точно помню, когда это решение созрело окончательно. Под самый Новый год получил оттуда горькое известие — погиб мой друг по взводу лейтенант Володя Порохня, первый из нашего выпуска. В начале марта всем взводом гуляли у него на свадьбе, а тут... Володя прикрывал со своим взводом отход роты, попавшей в окружение. Уже раненный, видя, что нет возможности его эвакуировать, он приказал всем отойти, а сам продолжал вести бой до последнего патрона. Подоспевшее подкрепление отбило его у душманов, но было уже поздно. Посмертно его наградили орденом Красного Знамени.

Короче, написал я рапорт, но прошло еще долгих полтора года, прежде чем получил приказ о назначении в Афганистан. Все это время я собирал газетные и журнальные материалы про ДРА, а чего нельзя было прочесть, узнавал от кого-то,— не из первых уст, правда, а через «третьи руки». Набиралось много противоречивого и непонятного, хотелось разобраться во всем самому. И лучше раньше, чем позже — пока молодой, здоровый, холостой. В начале 1983 года в отпуске я познакомился со своей будущей женой. И хотя мы с ней уже тогда заводили разговоры о свадьбе, но решили не спешить. Она меня поняла и обещала ждать.

Родителям решил ничего не говорить. Готовил их полгода к тому, что меня должны перевести в другую часть там же, в Монголии, поэтому будет небольшой перерыв в письмах. Да простят меня ребята-«афганцы», что раскрываю наш «фирменный» секрет, но многие из них в письмах домой сообщают, что служат они в МНР. Не хотят тревожить своих близких...

Заехал в Москву на шесть дней. Жил у друзей. Два раза позвонил родителям якобы из Читы, где опять же якобы нахожусь в командировке. Они ни о чем не догадывались. Вечером 17 августа 1983 года вылетел в Ташкент...

Антонов Иосиф Геннадьевич, 1961 года рождения, сборщик Служил в ДРА с 1981 по 1982 год. Награжден медалью «За отвагу».

Я рос, как и все московские ребята. В семнадцать волновало лишь одно. будет ли «Спартак» чемпионом? Ездил на каждый матч, был «фанатом». В любое время дня и ночи, разбуди меня и спроси, пойдешь играть в футбол или нет, я, не раздумывая, побежал бы и был бы счастлив. Короче, жил — не тужил.

О войне знал только по фильмам и рассказам фронтовиков. У нас в доме, в соседнем подъезде, жил ветеран войны дядя Сережа. Он иногда рассказывал, что испытал за четыре года Великой Отечественной. Он всегда говорил: не дай бог вам, ребята, испытать, что выпало на нашу долю. Это был откровенный разговор. Правда, когда к нам в школу приходили ветераны и рассказывали о патриотизме советского народа в годы войны, до меня и моих друзей не очень-то доходило все это. Даже не знаю почему. Может, из-за того, что каждая такая встреча была похожа на предыдущую. Все одинаково говорили, что надо любить Родину, учиться хорошо, быть примерными и так далее. Как-то не рвались мы на такие встречи.

В семье я был единственным ребенком, но жил с бабушкой. Отец нас бросил, когда мне было три года, мать после этого запила. Так что воспитала меня бабуля, которую я очень любил. У нее осталось единственное и последнее письмо моего деда. Он погиб в сорок первом. Письмо я в первый раз прочитал, когда мне было уже 18 лет, раньше бабушка мне его почему-то не показывала. Наверное, боялась, что не пойму всего, что она пережила. Написано оно карандашом, половину слов не разобрать, но, когда читаешь, берет за живое. Видно, как дед любил свою жену и свою Родину, как верил, что победа будет на нашей стороне. Может, после этого письма у меня и открылись та самая любовь к Родине и чувство патриотизма, к которому призывали фильмы и книги.

Я мог и не пойти в армию, мог взять отсрочку по семейным обстоятельствам, так как у меня на руках была старенькая бабушка. Но ни она, ни я об этом даже не говорили, я считал и считаю, что каждый мужчина должен обязательно отслужить в армии. Тогда я еще не знал об Афганистане. Меня призвали в апреле 1980 года, когда сведений об афганистанских событиях было очень мало. Попал в воздушно-десантные войска. Совершил первые прыжки, принял присягу, и отправили нас в наш родной полк. Там-то и стало известно о назначении в Афганистан. Ребята у нас отнеслись к этому известию по-разному, но большинство туда просто рвалось — поскорее бы...

Увы, мне не пришлось лететь вместе со всеми. Командование узнало то, что я тщательно скрывал,— мою гражданскую профессию. Я ж до армии окончил кулинарное училище и работал в столовой поваром. Как ни заметал следы, начпрод меня «вычислил» и оставил на зимних квартирах. Это для меня была каторга. Слезы стыда и обиды душили меня, когда уезжали наши ребята. Они, правда, поняли мои чувства, шутили, подбадривали: не горюй, Еська, со следующей отправкой попадешь. Пошел к командиру полка с рапортом. Думал, он обрадуется, что нашелся герой, и сразу же пошлет в ДРА, но он в ответ ка-ак закричит: «Антонов, я тебя еще шпантом по горбу не охаживал?!» Скоро я понял, почему подполковник Резник ответил именно так. У него в полку оставалось несколько десятков человек, не больше, и от каждого уже по 5—6 рапортов. А здесь ведь тоже служба была.

Так я горевал возле котлов и сковородок, прислушиваясь к советам: чтобы попасть «в Афган», надо что-нибудь учудить. Вот я с горя и учудил: на пасху наварил яиц, выкрасил их и подал на завтрак личному составу. Шум, конечно, поднялся, стали прорабатывать, но потом махнули рукой: пока еще что-нибудь не натворил, пусть отправляется. И первым самолетом — в Афганистан...

Мифтяхов Ринат Рафикович, 1965 года рождения, плотник РСУ, служил в ДРА с 1984 по 1986 год. В армии был старшиной, заместителем командира взвода. Награжден медалью «За отвагу», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», знаком «Гвардеец пятилетки» I и II степени, Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

В Великую Отечественную у меня воевал дед, был он артиллеристом, прошел войну командиром расчета. Про войну он мне ничего не рассказывал. Думал, наверное, что внукам воевать уже не придется, а пришлось.

До службы я учился на столяра-краснодеревца. Учился без троек, был комсоргом группы. Проводил с друзьями дискотеки, любил повеселиться, часто ходил на концерты, особых забот и трудностей не знал. Когда на танцах, скажем, вызывали подраться, никогда не отказывался, несмотря даже на физические данные «противника». Очень слабых, конечно же, жалел, их не задевал. Занимался вольной борьбой, самбо в спортивно-патриотическом клубе «Люблинский самбист». Спорт, музыка, литература, техника — все увлечения, короче, как у многих. Думал об институте. В военкомате сперва записали меня в морфлот. Три года служить не очень-то хотелось, хотя если бы и стал моряком, служил бы добросовестно, но попал в воздушно-десантные войска, потому что на «гражданке» через Люблинский РВК занялся я парашютными прыжками. Когда прыгнул с парашютом в первый раз, понял, что ВДВ — мое призвание...

На последней медкомиссии мы с другом попросились в Афганистан. Нам пообещали, но друг попал служить в Якутию. После очередной комиссии нашу группу собрали, и перед нами выступил гвардии майор Долгополов. Он сказал, что почти все из нас после «учебки» попадут служить в Афганистан. Услышав это, один тут же сбежал...

В учебном подразделении я попал в роту, где готовили гранатометчиков. Но после четырех месяцев службы нам сообщили, что в ДРА больше нужны снайперы, чем гранатометчики. Мы тут же начали изучать снайперскую винтовку. Все чаще и чаще мы встречали офицеров, которые прошли Афганистан. Они старались передать нам свой боевой опыт. Мне больше всего запомнился рассказ про старшего лейтенанта Гайнуллина, с которым я познакомился в роте. Его ранили в живот, и он, одной рукой сжав рану, чтобы кишки не лезли наружу, взвалил на спину раненого командира батальона и нес его около трех километров, пока не потерял сознание...

...Проверку боевой и политической подготовки наш взвод прошел на «отлично», и вот в один прекрасный день мы приземлились в столице Афганистана Кабуле...

Локтионов Сергей Владимирович, 1960 года рождения. Секретарь Перовского райкома ВЛКСМ. Служба в ДРА с февраля 1980 по май 1981 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Комиссар клуба «Долг».

До службы многое волновало. Как стать сильным, как нравиться девчонкам, как нормально учиться, ну и все остальное, что может волновать ребят в 16—17 лет. О войне знал из книг, по фильмам, по рассказам деда. Причем источники были не равноценные. Если в книгах или фильмах говорилось в основном о правильности действий советских военачальников и армий, то по рассказам деда, очень, правда, скупым (он не любил много рассказывать о войне), я узнавал о том, что часто люди гибли зря, по глупости, «окопную правду», короче говоря...

Когда учился в техникуме железнодорожного транспорта в Курске, увлекался в основном спортом. Получил права на вождение мотоцикла, прыгал с парашютом, занимался тяжелой атлетикой. Читал о приключениях, фантастику... Но, с другой стороны, были и пьянки, что же теперь скрывать, и драки... Сейчас, да и тогда в общем-то тоже, стыдно об этом говорить...

Об Афганистане в те годы ничего не знал. Слышал, что бывает там ветер песчаный — «афганец». Естественно, и думать не мог, что попаду туда служить. Я понимал, что за словами Россия, патриотизм, интернационализм, друг, мужество, любовь, традиции кроются большие, хорошие понятия, но не скажу, чтобы тогда я мог проникнуться их глубоким смыслом.

О том, что нас направляют в ДРА, узнал, когда в части объявили приказ...

Ерин Игорь Григорьевич, 1962 года рождения. Слесарь-сборщик завода имени 50-летия СССР. Служил в ДРА с 1982 по 1984 год в звании старшего сержанта на должности заместителя командира взвода. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Как и все ребята, о войне я знал из книг, фильмов и по рассказам фронтовиков. Наша школа № 480 носила имя Героя Советского Союза В. В. Талалихина, который когда-то здесь учился... К нам часто приходили те, кто знал Героя, и по этим встречам складывались мои представления о войне. После окончания школы я поступил учиться в ПТУ № 148, потом окончил досаафовские курсы шоферов и по своему желанию сделал три прыжка с парашютом, надеясь, что после этого смогу попасть в престижные воздушно-десантные войска. Об Афганистане слышал мало, так как печать и телевидение редко упоминали те события. По скупым сообщениям понимал, что наши войска ведут боевые действия, оказывают помощь местному населению. Но думать не думал, что я и сам буду там служить, а узнал я об этом на призывном пункте, где сказали, что сперва нашу команду направят на учебу, а после подготовки — в ДРА. Никто из нас не мог тогда представить, что завтра придется идти не в учебный, а в самый настоящий бой...

Кузнецов Сергей Викторович, 1963 года рождения. Слесарь-вентиляционщик 2-го разряда СУ-126. Служил в ДРА с июня 1982 по ноябрь 1983 года.

В школе я увлекался музыкой. Хотелось поскорее окончить школу и пойти служить в армию. Учился я неважно: прогуливал, хулиганил. На выпускном вечере директор школы, выдавая мне аттестат, сказал: «Наконец-то школа от тебя отдохнет». Друзей было много, даже после школы мы встречались всем классом, а в школе всегда помогали друг другу.

В годы войны у меня погиб дедушка, я про него почти ничего не знаю, знаю только, что был он сапером. Представления о войне я, как и все, черпал из рассказов ветеранов Отечественной. На службе в Афганистане эти рассказы и помогли и не помогли. Там было одно, здесь — другое. Что-то проще, что-то сложнее...

Левшунов Владимир Николаевич, 1963 года рождения. Служба в ДРА с июня 1982 по ноябрь 1983 года.

Трудно теперь вспомнить, о чем я думал перед уходом в армию. Одно могу сказать точно: твердо знал, что служить пойду. Но что мы, семнадцатилетние мальчишки, знали об армии? Как могли подготовиться к службе? Уроки начальной военной подготовки в школе, телевизионная передача «Служу Советскому Союзу» да рассказы старших братьев и товарищей о службе, в которых встречались — нередко! — сюжеты с выпивками и самоволками. Вот и вся наша «школа будущего солдата». Складывалось довольно-таки романтическое представление о службе, хотя мы и понимали в глубине души, что не все так гладко и красиво пойдет, как по телевизору показывают. Правда, это не уменьшало желания стать солдатом, защитником Родины.

В начале восьмидесятых про Афганистан писали мало, и, что там конкретно происходит, никто из нас не понимал. На полосах газет печатались коротенькие заметки о том, что наши войска находятся для оказания помощи ДРА, а из уст в уста передавались рассказы о погибших ребятах, о подвигах наших солдат в этой чужой, далекой стране. Угнетало чувство несправедливости. Почему там гибнут наши ребята, а мы не знаем за что? Почему наши ровесники умирают героями и остаются неизвестными солдатами? Откуда на кладбищах могилы с фотографиями юных ребят в солдатской форме? Никто из нас не мог ответить на эти вопросы. Да и вообще мало кто хотел отвечать...

О том, что едем в Афганистан, нам объявил командир взвода на вечерней поверке. Сказал, что наш взвод будет проходить ускоренный курс обучения, после чего все мы будем направлены в Афганистан. Трудно словами выразить те чувства, которые каждый испытал в тот момент. Но, по-моему, одно было у всех одинаково: это чувство гордости за то, что тебе доверено идти на передовую. Не все, правда, мы умели, многому надо было еще учиться.

Вспоминаю начало своей службы. Я призвался в армию первого ноября и был направлен в учебное подразделение. Нас привели в казарму, где мы оставили свои гражданские рюкзаки и отправились получать обмундирование. Ну, с «хабэ» я справился, а вот когда дошло дело до портянок и сапог, тут-то и начались приключения. С меня сошло не семь, а, наверное, сто семь потов. Без сапог портянки на ноге выглядели вполне «прилично», но, когда попытался надеть сапог, ничего не вышло. Снова и снова портянку перематывал, но безуспешно. В конце концов я, как Максим Перепелица, запихал все свисающие части портянок в сапоги и пошел. Но как пошел, нетрудно представить...

Галактионов Виктор Алексеевич, 1966 года рождения. Проходчик СМУ-14 «Мосметростроя». Служба в ДРА с 1984 по 1986 год. Награжден двумя орденами Красной Звезды.

До службы я только слышал о тех ребятах, которые были в Афганистане. По газетам был в курсе, что в Афганистане произошла революция и что наши войска были введены туда по просьбе афганского правительства. Чем ближе подхо-

дил призыв в армию, тем сильнее хотелось попасть именно туда. Семья у нас дружная — мама, младшие мои брат и сестра. Часто к нам приезжала бабушка, она у меня ветеран войны. Когда она рассказывала о своих боевых друзьях, об их мужестве и стойкости, я думал, что уже не будет обстоятельств, где могут проявиться такие замечательные человеческие качества. Выходит, ошибался...

Волгунин Валерий Александрович, 1964 года рождения. Студент экономико-технологического техникума общественного питания. Служба в ДРА с ноября 1982 по ноябрь 1984 года. Замкомвзвода, сержант. Тяжелое ранение, контузия. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Председатель клуба «Долг».

В войну у меня погиб дед, но где и как — никто не знает. А знать, конечно, надо. И про Афганистан я ничего не знал толком. Знакомых ребят, которые там служили, у меня не было, но боялись мы его, конечно, как чумы. Потому что про него только и было слышно: там из Афганистана гроб пришел, тут родители плачут, что не дай-то бог и моему чаду туда попасть...

В ноябре началась моя служба. Попал в Литву. Там узнал, что идем в Афганистан. Но приняли это уже нормально: надо так надо. В «учебке» получил специальность командира боевой машины десанта...

Муслвев Андрей Борисович, 1965 года рождения. Профессия слесарь-ремонтник. Служба в ДРА с августа 1984 по май 1986 года.

Хотелось побыстрее окончить ПТУ (хотя сейчас о годах учебы вспоминаю с удовольствием), «заколачивать» деньги, только не «левым» путем. С детства презирал «фарцу» и им подобных. Учился посредственно, хотя мог бы намного лучше, но лень-матушка не давала. Увлекался спортом, особенно футболом и хоккеем. Перед самой армией решил немножко подкачаться, занялся штангой. В январе восемьдесят четвертого сделал три прыжка с парашютом, направили от военкомата. Об Афганистане услышал еще в начале восьмидесятых. У друга брат пришел оттуда. Было по-ребячески интересно слушать его рассказы. Ближе к армии стал подумывать: а вдруг и сам туда попаду? Но честно скажу, страха перед этими мыслями никогда не было. Если выжи ву — хорошо, а если нет — значит, судьба.

В Великую Отечественную войну у меня погиб дед, отец моей матери. Похоронен он под Новгородом. Помню, когда мы ездили к нему на могилу, я был потрясен увиденным. Сколько видел братских могил, но, когда видишь в их списках своих близких, это совсем другое. У меня даже дрожь по всему телу пробегала, когда стоял возле дедовой могилы, никогда не забуду этого. Дед по отцу тоже воевал, был ранен и не один раз, награжден. Умер он, когда я был еще совсем маленьким. В лицо его помню, а вот, что он говорил, вспомнить не могу...

Чем больше узнавал об Афганистане, тем больше уважал служивших там сверстников. Когда собирались с ребятами выпивать, а перед службой это почему-то участилось, каждый раз произносил тост за отважных парней, которые воюют там, в ДРА. И всегда меня в этом поддерживали, хотя и не все понимали, о чем я...

Газизуллин Рашит Махмутович, 1962 года рождения. Строитель. Служба в ДРА с июня 1981 по октябрь 1982 года.

Родился и учился в городе Мензелинске Татарской АССР, близ Набережных Челнов. Небольшой районный город, население которого уместится в большом московском доме. Я в семье единственный сын, отец — главбух в СУ, мать — главбух в аптеке. Отказа в просьбах не знал. До 9-го класса был примером в уче-

бе, поведении. Занимался волейболом, баскетболом, футболом. Как и многие ребята — «качался». Увлекался художественной литературой, читал, правда, то, что попадется под руку, без разбора, потому что не было рядом человека, который помог бы в выборе книг. Читал запоем и доходило до того, что родители проверяли по ночам, не читаю ли под одеялом при свете фонарика. Про войну много читал. Печатная правда сильно отличалась от правды непечатной, от того, что слышал я от своего деда, инвалида войны. В его рассказах куда меньше, а точнее совсем нет восклицательных знаков...

Что меня тогда волновало, какие были стремления? Получить хорошую отметку, нравиться девочкам. Хотелось быть сильным. Несправедливость меня задевала, но сделать попытку изменить хоть что-то в ком-то или в себе самом — этого не было.

Призвался в армию в октябре 1980 года. Попал в учебное автомобильное подразделение. После его окончания получил звание сержанта. Думал остаться в роте, но, когда узнал, что нас отправят в ДРА, свое решение изменил и отправился со всеми...

Титов Олег Викторович, 1961 года рождения. Профессия — связист. Служба в ДРА с 1980 по 1982 год. Рядовой. Представлен к медали «За боевые заслуги», но по неизвестным причинам ее не получил.

В детстве каждый мальчишка хочет быть летчиком, пожарным или милиционером. Насколько себя помню, я не хотел быть никем. Поэтому еще в те юные годы задавался вопросом, что из меня получится. Окончил восьмилетку, а учиться дальше желания не было. Мой дружок с первого класса Лешка Алексеев предложил пойти в училище связи № 14. Пошел. Понравилось. Остался. Прошло три года, и я стал специалистом 4-го разряда. Работать остался там же, где проходил практику,— на местной телефонной станции в учреждении с громким названием Президиум Академии наук СССР. Каким я был? Да, наверное, таким же, как и тысячи других ребят того времени. Увлекался игрой таких рок-групп Запада, как «Слэйд», «Дип пепл», «Лед зеппелин». Носил модные в то время, в меру длинные волосы. Если честно, то такие слова, как «патриотизм», «Родина», «долг», для меня существовали лишь в кино и книгах, а в жизни мы называли их «громкие слова», которые произносить в своем кругу считалось дурным тоном. Конечно, все оттого, что эти понятия были для нас лишь «словами». Если коротко, я был таким же подростком, о которых говорят с неодобрением: «Не та нынче молодежь пошла»,— хотя уверен, что о молодежи 40-х говорили так же. Увлечений было много: марки, значки, монеты. Все было и все прошло, остались лишь три сокровенных желания: играть в ансамбле, рисовать, писать книги. Наметки и попытки были. В школе даже места занимал на конкурсах. Сначала третье, потом второе... До первого не дошел, кончились уроки рисования. И хотя учитель советовал не бросать это дело, я его не послушал. Когда поступил в училище, то иногда, сбегая с уроков, собирались с ребятами у меня и на своих плохоньких инструментах пытались копировать некоторые рок-группы.

Писать тоже пробовал — и стихи, и прозу. Напишешь стихотворение, прочтешь — нравится. Проходил день, два, перечитываешь, и кажется, что можно хуже написать, но не напишешь. Проза тоже получалась скудноватая и обрывалась недописанной.

Об Афганистане я услышал от отца. Передавали по радио сообщение о том, что наши войска по просьбе правительства ДРА вступили на территорию Афганистана для оказания военной помощи. Отец тогда, войдя в комнату, как-то вопросительно сказал: «Война?!» Мне это слово сильно врезалось в память. Ведь там были наши ребята. Но на этом радио и пресса замолчали.

Афганские события были от меня далеки, как и сама эта страна. Конечно же, я и думать не мог, что познакомлюсь с ней куда ближе, чем мог себе представить. И что пройдут годы, и я с уверенностью скажу: «Был и видел».

1980 год. Повестка. Медкомиссия. Проводы. Городской сборный пункт, или сокращенно ГСП. Попадаю в учебную танковую часть. Бытует такое изречение: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Мне оно чем-то понравилось. Так вот, не обошла судьба и меня своей фантазией. «Будешь командиром танка»,— сказала она мне. «Хорошо»,— ответил я. «Нет, наводчиком». «Тоже неплохо»,— отвечаю. «Слушай, давай поваром!» «Ну, ты даешь! Ну что же, давай поваром...»

Так и не окончив одну «учебку», еду в другую. Причем в каждой «учебке» успеваю пройти курс «молодого бойца». Кто служил, знает, что это такое... Однажды по казарме стал витать слух, что тех ребят, которых собирают с вещмешками на плацу, отправят служить в Москву. О, какое далекое и родное название! Какой же москвич не захочет в Москву!.. В электричке по разговорам я понял, что в город мы попадем лишь на пункт сбора, а через неопределенное время прямым ходом — в Демократическую Республику Афганистан. Честно говоря, такой оборот меня не обрадовал, но в общем-то и не огорчил. Привык в командировках к смене мест, да и к путешествиям тоже пристрастился. А тут — заграница. Восемь дней мы отдалялись от Москвы в трясущихся вагонах, груженных новой промасленной техникой и людьми. Пункт прибытия — город Термез. Сейчас я уверен, что никто из нас не задумывался всерьез над тем, что нас ждет в ДРА, какие силы поломают в один миг все представления о жизни, накопленные за 18—20 лет. Над тем, что в руках у нас грозное, безжалостное оружие, предназначенное убивать. И что мы будем решать чьи-то судьбы, и что наши судьбы может решить кто-то другой. Первое эхо войны прокатилось навстречу в виде составов, груженных искореженными мертвыми танками и БМПешками...

НА РУБЕЖЕ ОГНЯ

Сергей Князев. Даже после Ташкента 40-градусная кабульская жара переносилась очень тяжело, хотя Кабул — самое прохладное место страны. Ташкент и Кабул находятся в одном часовом поясе, но по сравнению с московским временем разница в первом случае — 3 часа, во втором — 30 минут. Поэтому сначала было непривычно, что вся жизнь и деятельность начинается в 5 утра, когда уже печет вовсю, а заканчивается в 18.00, когда уже начинает темнеть и спадает жара. 29 августа прибыл в свою часть на севере страны. Встретили лучше некуда, хотя встречать... было некому. Батальон находился на выезде, мой заменщик, старший лейтенант Юрий Шкарупа, лежал в медбате. Из всей роты на месте были только старшина и наряд из нескольких солдат. Сразу повели в медбат, представиться заменщику. Тот долго тискал меня в своих объятиях, а затем целый день вводил в курс дела — ходили с ним по расположению роты, в парк. В конце дня, зайдя в комнату, где нам предстояло жить, обнаружил, что для меня было приготовлено все необходимое: комплект новой формы, ботинки, маскхалат, бронежилет, заправленная койка, укомплектованная тумбочка с туалетными принадлежностями... Это была одна из маленьких «афганских хитростей», традиция. Таким образом и мы всегда встречали вновь прибывающих. С третьего дня начал ходить по нарядам и караулам. Через неделю с боевой операции вернулись наши, и Юрий Шкарупа, узнав об этом, сбежал из медбата, зашел за мной и потащил встречать роту. Она как раз спешилась с боевых машин и построилась перед ними. Представился командиру роты, он меня представил взводу. Первое впечатление: почувствовал себя «белой вороной» — такой чистенький, свеженький, а солдаты — до черноты загорелые, покрытые толстым слоем пыли, усталые, но глядят все весело, на груди у многих планки боевых орденов и медалей. Задача для меня стала вполне ясной: быстро войти в курс дела и быть готовым действовать. Уже на следующий день рота выехала на сопровождение колонны...

Скажу, не стесняясь, что очень многому научился от своих солдат, а особенно от командира отделения гвардии сержанта Александра Ткачева. В ДРА при ведении боевых действий очень много особенностей, понять которые помогают не только знания, но и опыт, тем более, что часто приходится действовать самостоятельно, в составе взвода. В суть дела, в обстановку я вник очень быстро — сама жизнь заставила. Солдаты у меня были золотые — другое слово и подобрать-то трудно. В роте у нас была почти полная взаимозаменяемость. Каждый третий мог уверенно вести БМП, 75 процентов — стрелять из ее вооружения. Я уже молчу о том, что почти каждый в совершенстве знал и использовал все стрелковое оружие роты. За время службы большинство получили боевые ордена и медали, из них половина — дважды. С приездом в роту молодых солдат их сразу закрепляли за старослужащими, и во всех операциях они действовали в паре, отвечая друг за друга.

Солдаты понимали все с полуслова — без всяких лозунгов и призывов. Даже в самых сложных ситуациях каждый четко знал свой маневр. Не боюсь высоких слов, но почти всех отличало прямо-таки обостренное чувство ответственности за порученное дело. Примеров тому — множество. Если накануне выезда на операцию была неисправна одна из машин, то ремонтировало ее полроты — все механики-водители, сержанты, весь взвод. Все прекрасно понимали, что такое нехватка в боевой обстановке даже одной единицы техники. Когда к нам на вооружение поступили новые БМП, то, помню, что все мы — офицеры, сержанты, наводчики-операторы — двое суток не выходили из парка, пока не довели свои навыки в обращении с этим вооружением до автоматизма, пока не разобрались в устройстве машин до последнего винтика. Механиков-водителей приходилось буквально выгонять из парка боевых машин — постоянно они что-то регулировали, совершенствовали. Лучшие из них, такие, как рядовые Александр Гончаренко, Александр Гаврилов, Александр Здоровенко, просто «чувствовали» машину, творили чудеса, а, например, наводчики-операторы — тоже Александры — сержанты Ткачев, Петров умудрялись вести огонь из движущейся БМП... пальцами ног. Старшина Анатолий Циркунов пришел рядовым, стал командиром отделения, затем замкомвзвода. Лучше всех в роте научился водить и стрелять из БМП и в разные моменты боевых действий ухитрился всем офицерам роты спасти жизни. Сейчас работает экскаваторщиком, член Минского обкома ЛКСМ Белоруссии. Единственный раз воспользовался своим высоким общественным положением, когда добивался права принять участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И добился, хотя, по всем законам, мог туда не ездить.

Что наиболее ценилось у нас? Дружба, надежность во всех отношениях, единство слова и дела. Примером для нас был наш командир роты — гвардии капитан Николай Дмитриевич Изместьев. Сейчас он майор, слушатель военной академии имени М. В. Фрунзе. Когда он уезжал в ДРА, в Горьком у него оставалась семья — жена и трое детей, младшему из которых, Саньке, было тогда всего 8 месяцев. Пробыл в ДРА 2 года и 3 месяца. Дважды ранен, контужен, награжден орденами Красного Знамени и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. До самой замены ходил с ротой на все задания. Никогда не прятался ни за спины солдат, ни за наши, молодых командиров, за что мы все ему, нашему дорогому «бате», глубоко благодарны.

Служить в Афганистане было тяжело. Однажды утром, выдвигаясь на блокирование кишлака, попали в засаду и все светлое время дня пролежали в болоте рисового поля под сильным огнем душманов, не поднимая голов... Был и ночной рейд в горах, когда 6 часов подряд в кромешной тьме спешили на помощь соседнему подразделению, окруженному душманами... Как-то раз трое суток провели под проливным дождем, промокли до нитки, а никто не сумел развести костер, чтобы просушиться... И не все среди нас были, как обычно пишется, героями и отличными ребятами. Были, пусть и в ничтожном количестве, и свои трусы, и свои мелкие душонки. Хотя по-человечески понять можно каждого. Я, как командир, выезжая на операцию, ставил перед собой 3 цели: вы-

полнить боевую задачу, сохранить подчиненных и остаться живым самому. Конечно, всем нам иногд было страшно, ведь не страшно, говорят, только дураку. О смерти старались не думать, пусть это и жестоко, но рассуждали примерно так, что если и убьют, то мне будет уже все равно, я про это не узнаю. Жаль мать, отца, родных. Во всех других случаях, будь то контузия, ранение, пусть и тяжелое,— будем жить!

Причин трусости, а вернее малодушия (непосредственно в бою проявлений трусости не было даже у молодых солдат — разве что только минутная растерянность) было несколько. Это и страх погибнуть, и боязнь за больную мать, у которой ты единственный сын, или за своих младших братьев и сестер, оставленных на «гражданке». Как правило, солдаты сами подходили и говорили об этом. В таких случаях старался все спокойно обсудить, разобраться. Разговоры эти держал в тайне от всех, чтобы не усугублять и без того тяжелое состояние человека. Но надо было и как-то помогать, поднимать настроение. Временно переводили такого солдата в спокойное место — в клуб, скажем, в баню или столовую, но не упускали его из виду, часто с ним беседовали. Обычно человек больше двух-трех месяцев спокойной жизни не выдерживал. Глядя на своих товарищей, которые переживали все тяготы и лишения службы, человек морально перерождался и сам рвался в бой, просил забыть минутную слабость. За все время службы в ДРА в роте только один человек так и не смог пересилить себя. В батальоне сложилась такая обстановка, что самым тяжелым наказанием для солдата было то, что его не брали на операцию. Обычно кого-то оставляли в роте — наряд, ремонт палаток, и тогда надо было видеть их глаза — в них был какой-то стыд, что ли, перед теми, кто шел в бой, хотя никто их упрекать и не собирался: приказ есть приказ.

Афганистан подарил мне много настоящих, преданных, верных друзей. Про каждого из них можно было бы написать целую книгу. Командиров взводов лейтенанта Валентина Севостьянова и старшего лейтенанта Рината Зарифова мы называли душой батальона. Прекрасные офицеры, оба отлично играли на гитаре. На привале, у костра, за ужином, после операций собирали вокруг себя солдат и устраивали маленький концерт. Пели в основном «наши» самодеятельные афганские песни, песни бардов — Высоцкого, Окуджавы, Никитина.

Старший лейтенант Александр Васильев — кавалер двух орденов Красной Звезды. Приехал в ДРА командиром разведывательного взвода, а стал начальником штаба батальона. Человек просто-таки отчаянной храбрости и превыше всего ценящий дружбу.

Здорово мне помогли по приезде прапорщики Юрий Беляков и Рафаэль Мурсалимов. Оба награждены орденами Красной Звезды и медалями «За отвагу», оба были несколько раз ранены, оба переболели гепатитом, малярией. Прослужив тут более 2-х лет, оба снова поехали в Афганистан. Юра вернулся в свой батальон командиром пулеметного взвода, Раф, прослужив 2 года в Новосибирске, теперь техник разведроты. Зачем они вернулись? Если честно, то даже среди нас, «афганцев», немногие поняли и оценили их поступок. Ответ у них прост: «Там мы нужнее». Не отсиживаться они уехали, не за деньгами, не за модными вещами. Вещи, конечно, они привезут, но почти все, как уже бывало, раздарят друзьям и родителям погибших. В этих их поступках и проявляется отношение к Родине, настоящий патриотизм. Оба знают, что, обладая богатым боевым опытом, быстрее научат всему необходимому солдат, спасут, возможно, не одну человеческую жизнь. У нас от частого употребления высоких слов теряется порой их первоначальный смысл, но про этих ребят хочу сказать громко: «Корчагины наших дней». Юра Беляков, вернувшись в Афганистан, создал музей боевой славы батальона, наладил переписку с офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами, служившими там раньше. Многие машины в роте стали «именными»: «За Маркина!», «За Калинина!», «За Савельева!». Так сохраняют память об отважных воинах. Прапорщик Анатолий Савельев погиб в марте 1984 года в горах под Файзабадом, эвакуируя раненых, рядовой Гена Калинин погиб в апреле 1985 года, прикрывая в критический момент боя растерявшегося молодого солдата...

А сколько примеров дружбы и взаимопомощи ребят-«афганцев»! Привезут раненого, понадобится кровь нужной группы — от желающих нет отбоя. Многие за период службы отдавали свою кровь по 6—8 раз. Каждому заменщику, раненому, не говоря уже о семьях погибших, сбрасывались «всем миром» и покупали подарки — это традиция батальона. Лично я привез себе из ДРА две пары джинсов и джинсовую рубаху. Все остальное, в том числе магнитофон «Шарп», подарили друзья. Когда меня ранило, на обоях модуля, где жила рота, ребята написали мой адрес и телефон. Из девяти месяцев, что я лечился и ожидал протеза, только два рядом не было кого-нибудь из моих друзей — рядовых Олега Бочарова и Юрия Растворова, сержанта Александра Петрова, медсестер Фанны Исаевой, Полины Перевиной, Нины Седовой... И сейчас, когда прошло уже больше трех лет после моего возвращения из ДРА, редко выпадает месяц, чтобы кто-нибудь из наших не побывал у меня или проездом, или не погостил хоть несколько дней — друзья, их родные, друзья друзей...

Теперь о самом верном друге и самой тяжелой потере — замполите роты гвардии старшем лейтенанте Сергее Игоревиче Маркине. Любимец всего батальона. Никогда в жизни не встречал человека, так ценившего дружбу, так бескорыстно отдававшего свои силы и душу другим людям. На всех операциях был «на самом острие», любил повторять: «Это мое дело, комиссарское». Самое тяжелое, самое опасное всегда брал на себя. Когда после недельного пребывания в горах в условиях плохой погоды у нас были на исходе продукты и боеприпасы, он вызвался спуститься за ними в долину, взяв с собой самых надежных. Когда к утру они вернулись обратно, он лишь сумел выдавить: «Серега, мы дошли!» — и упал без сил. Мало кто знал, что был он почти слепой,— скрыл в свое время близорукость и от врачей, и от друзей. Предельно собранный в критических ситуациях, он был немного рассеянным в повседневной жизни, в быту. Из отпусков мы привозили ему 3—4 пары очков, которых ему хватало едва ли на месяц. Прекрасно рисовал, пел, фотографировал, был неистощимым на выдумки. Сам «заводился» с пол-оборота и заводил других, будь то выпуск стенгазеты или какое мероприятие. Заступает рота в караул на Новый год — требует, чтобы начальником караула назначили именно его. Обладал настоящим мужским характером. По возвращении с операций, когда все падали от усталости и засыпали, едва коснувшись головой подушек, садился за стол и работал ночами — писал наградные листы на солдат, проявлял и печатал фотографии. Частенько так и засыпал за столом. К утру на его столе — гора окурков и куча фотокарточек. Раздавал почти все, оставляя себе самую малость. «Ладно,— говорил,— себе еще успею». Не знаю, почему, но так уж получилось, что в критических ситуациях, когда у кого-нибудь счет жизни шел на секунды, рядом оказывался именно он и такие люди, как А. Циркунов, Ю. Беляков... Приехав осенью 1984 года в отпуск, Сергей из полутора месяцев только две недели пробыл дома, а так — навещал в госпиталях больных, раненых, семьи офицеров и солдат роты. Не забыл никого, а маршрут у него получился такой: Ташкент — Одесса — Полтава — Москва — Калинин — Брянск — Новосибирск — Рига — Москва. Когда я был в госпитале, только ко мне он ездил неделю подряд, сидел рядом с 10-ти до 22-х. Мог каждого приободрить, поддержать, выполнял с удовольствием многочисленные просьбы и поручения, и все быстро, с улыбкой. Он спешил жить, словно бы чувствовал, что погибнет. Как у Высоцкого — «смерть самых лучших выбирает...». Он просто обязан был жить, потому что столько хотел сделать для других! Погиб он через полтора месяца после возвращения из отпуска, 29 января 1985 года. Батальон накануне вернулся из операции. Сергей остался за командира роты, который был в отпуске. Утром рота была поднята по тревоге: один из взводов соседнего батальона, возвращаясь из засады, столкнулся с крупной бандой и был вынужден занять круговую оборону в одном из кишлаков. Придя на подмогу, наши подразделения блокировали кишлак. Несколько часов не могли пробиться к своим. Тогда Сергей, возглавив группу из четырех БМП, ворвался в кишлак, прорвав кольцо душманов. Организовал эвакуацию раненых, а сам до последней минуты прикрывал отход наших. Когда казалось, что все завершится успешно, когда укладывали в десантное отделение

БМП предпоследнего раненого, из-за дувала выбежал вооруженный душман. Все решали секунды. Автомат Сергея стоял рядом, прислоненный к двери БМП, но дотянуться до него он уже не успевал. Последнее, что сделал Сергей,— закрыл собой раненых... Пули попали Сергею в спину, шею, голову. Прожил он еще минут десять, так и не приходя в сознание... На похоронах Сергея нас, его товарищей, было около двадцати человек. Приехали со всей страны. Были сильные морозы, но мы очень долго стояли с непокрытыми головами. Вся могила была усыпана красными гвоздиками. На памятнике Сергею так и выбили: **«КОМИССАР»**. Это высокое звание он заслужил всей своей жизнью. Теперь у нас традиция: каждый из нашего батальона, кто прибывает в Москву, первым делом посещает могилу Сергея на Николо-Архангельском кладбище...

29 июня 1984 года я был тяжело ранен в горах в районе кишлака Дахан, что в 15 километрах западнее города Пули-Хумри. За три дня до этого батальон высадился вертолетным десантом на гребне широкого ущелья с задачей блокировать его сверху и обеспечить прочесывание афганскими подразделениями кишлака в долине. На другой стороне ущелья закрепиться не удалось, так как горы были почти отвесные, а огневые точки душманов сильно укреплены. Подавив их огнем вертолетов и артиллерии, мы обеспечили выполнение задачи. Помогая афганцам, захватили несколько складов с оружием. Командный пункт находился примерно в 10 километрах от того места, где мы вели бой, недалеко от входа в ущелье. Резерв батальона вышел нам на помощь, но на пути в каждом доме, за каждым дувалом был враг. Дороги заминированы, поля затоплены. К концу третьего дня только четыре БМП смогли пробиться к нам. Прикрыв нас огнем, они помогли нам более-менее спокойно занять позиции. Когда до гребня оставалось всего около десяти метров, с противоположной стороны ущелья вдруг «заработал» не обнаруженный ранее пулемет душманов. Двое солдат были ранены. Я исполнял тогда обязанности командира роты. Приказал вынести раненых из-под огня и всем укрыться за обратными скатами. Самому до безопасного места оставалось сделать всего три шага. Успел сделать лишь один... Последняя очередь душманского пулемета была скорее жестом отчаяния. Огромная сила подбросила меня вверх и швырнула на землю. Боли не чувствовал, было недоумение: «Неужели и меня?» До сих пор, вспоминая тот момент, ощущаю досаду. Из таких заварушек выбирался без единой царапины, а тут — чистая случайность, пуля срикошетировала от борта БМП. Какие-то сантиметры и мгновения решили все. Подбежали замполит Сергей Маркин, санинструктор, солдаты, вынесли, перевязали меня и еще двоих ребят. Я стал оценивать обстановку. Правая нога, хоть и с трудом, но «работает», в левой входное отверстие — с ноготь, а выходное — с кулак. Снял маскхалат, отдал автомат, карту. Положение усугублялось тем, что мы все трое потеряли много крови. Начинало быстро темнеть, и на помощь вертолета надеяться не приходилось. Прапорщик Рафаэль Мурсалимов на боевой машине пехоты решил доставить нас в батальон. С точки зрения тактики это было почти безрассудством — на одной машине прорваться там, где за три дня не смог пробиться целый батальон. Но это был последний и единственный шанс спасти нам жизни. Загрузив раненых в десантное отделение, мы тронулись, но через сотню метров БМП заглохла. Раф сам сел за рычаги, а механик-водитель, спрыгнув на землю, поскользнулся и, случайно упав на колени перед машиной, от досады и бессилия, со слезами на глазах закричал: «Дорогая, заведись!» Чудес, как известно, не бывает на свете, но тут машина завелась, и мы продолжили путь. Я лежал в левом десанте. Боли не чувствовал, страшно хотелось пить, но пить было нельзя, и я обошелся сигаретой. Спустившись с горы и подъехав к первому кишлаку, Раф сел на место наводчика-оператора и крикнул: «Мужики, держитесь!» Мы мчались на огромной скорости, башня поворачивалась то вправо, то влево, и Раф постоянно вел огонь. Слышались гулкие удары душманских пуль о броню. Не хотелось даже думать о том, что с нами будет, если БМП вдруг снова заглохнет. Десять километров преодолели за считанные минуты. Возле командного пункта перевели дух, и оказалось, что в машине не осталось ни одного выстрела к пушке, ни одного патрона к пулемету...

Небольшое лирическое отступление — о наших девушках в ДРА. Хотя о них и пишут в газетах, считаю все же, что мало, потому что заслуживают гораздо большего. И повара, и официантки в столовых, а особенно медсестры. Как правило, это совсем молодые девчонки 17—20 лет, и было им намного труднее, чем нам. Каждый день видеть страдания раненых, кровь неимоверно тяжело... В нашем батальоне сложились хорошие, чистые отношения с операционными сестрами медбата — Фанной Исаевой, Полиной Перервиной, Ниной Седовой, Машей Грицко... Перед каждой боевой операцией по традиции хоть на несколько минут, но заходили к ним. По возвращении вместе пили чай, слушали музыку. Перед последним выходом девчонки сделали мне «фирменный» маскхалат — подогнали его по фигуре, нашили кучу карманов. И вот меня в этом маскхалате доставили в наш медбат. Прибежали девчонки, а у меня в душе все перевернулось. От злости, от своей беспомощности. Стали готовить меня к операции. Ножницами разрезают маскхалат, а я им: «Снимите, пригодится». «Молчи,— говорят,— каждая минута дорога». Главная мысль у меня была — только бы оставили ногу, чтобы потом вернуться в строй. Операция длилась четыре часа, я потерял много крови. Группа оказалась редкой — третья, отрицательный резус. Понадобилась кровь, и Маша Грицко дала свою. Из операционной после этого ее выгнали буквально силой. От жары у меня начиналась гангрена, в конце операции пропал пульс — еще бы минут 20, и все... Ногу пришлось ампутировать... Очнулся утром — страшная слабость, нет сил подняться, накрыт простыней. Пошевелил правой ногой — чувствую, цела. Попробовал левой — ничего не понял. Рядом медсестра отделения реанимации Нина Седова. Спросил у нее, что со мной, а она отвернулась, тогда-то я все понял... В тот день на несколько часов с операции прилетел ко мне замполит Сергей Маркин. Минут десять мы молчали, глядя друг другу в глаза. Сергей встал, крепко пожал мне руку, сказал: «Тезка, я верю, что ты останешься в строю, будь мужчиной». Во многом благодаря ему я остался в рядах Вооруженных Сил. Написал письмо Министру обороны СССР... Но это было потом, а тогда шесть дней провалялся в медбате. Девчонки, сменяя друг друга, постоянно были рядом — перевязывали, протирали, подмывали, кормили с ложки манной кашей. Через неделю меня ждало самое тяжелое испытание — момент прощания. Спросите любого офицера или солдата, уезжающего в Союз, каково это? Хотя все с нетерпением ждут этого момента, но настает он — и в душе все переворачивается. Такое ощущение, будто предаешь тех, кто остается... Старшина помог собрать вещи, оформить документы. С нетерпением ждал дня, когда рота вернется, но вдруг команда на вылет в Кабул, в госпиталь. Оттягивал время как мог, ждал наших, но всему есть предел. Проезжая мимо полка в последний раз, увидел контрольно-пропускной пункт, палатки, столовую, клуб. В душе все оборвалось — я окончательно понял, что сюда уже не вернусь. Ощущение такое, что оставил в ДРА не кусок ноги, а кусок сердца. На аэродроме, у вертолета, тоже ждал до последней секунды — думал, что вот-вот появятся ребята. Опять не хватило нескольких минут. Уже после взлета, когда делали прощальный круг над частью, медсестра Полина Перервина, сопровождавшая раненых в Кабул, вдруг крикнула: «Сережа, наши!» Меня поднесли к иллюминатору, и я все-таки их увидел! Рота во главе с замполитом, слегка растянувшись, бежала к аэродрому, до которого от полка было всего несколько сотен метров. Не успели... До боли стиснул зубы — понял, что окончился самый прекрасный период моей жизни...

Иосиф Антонов. Как только сошел с самолетного трапа, сразу почувствовал нехватку кислорода и резкий запах колючки. Нас привезли в полк и начали распределять, кого в какую роту. Стою, жду своей очереди. И тут меня словно ударило током 380 вольт: я увидел того злосчастного начпрода, лейтенанта Шаповалова, который в свое время оставил меня в Союзе поваром. Все, думаю, крышка тебе, Антонов. Там не захотел у плиты стоять, здесь как пить дать будешь. Тут подошли ребята, которые раньше меня знали, кому привез привет от друзей из Союза, начали здороваться, обниматься, а у меня уже настроение упало. Рассказал им, что меня тревожит, стали вместе думать, как из-

бавить меня от поварской жизни. Тут Серега (фамилию не помню), который служил писарем в штабе полка, решил мне помочь и предложил «авантюру». Нам, говорит, нужен художник, пойдем сейчас к начальнику штаба и скажем, что ты хорошо рисуешь и пишешь. Я отвечаю: да что ты, из меня художник, как из балерины токарь! А он говорит: ничего, сейчас майор Чиндаров твои способности проверять не будет, а когда он тебя разоблачит, то попросту отправит в роту, чего ты и добиваешься...

План был извилистый, но привлекательный. Так почти оно и вышло, с той лишь разницей, что начальник штаба не проверял меня несколько дней, и за это время я все-таки повстречался с начпродом. Так наша авантюра и закончилась. Майор Чиндаров раскусил меня и отправил на кухню. Правда, с кухонными делами было покончено по той простой причине, что я заболел желтухой, потом вылечился, но для кухни уже был непригоден, и меня отправили во второй батальон.

Первый свой бой я принял где-то уже месяцев через 4—5 в управлении батальона, в расчете автоматического гранатомета. На вертолетах нас доставили на аэродром. Там пересадили на другие «вертушки», и мы полетели на задание в кишлак Дарзап. Я летел в четвертом вертолете и, когда подлетали к назначенному месту, увидел в иллюминатор, что первый вертолет валяется на камнях перевернутый. Когда мы делали круг перед посадкой, второй вертолет, задев лопастями первый, тоже перевернулся. Было видно, как наши ребята вели бой, но наш летчик повернул вертолет обратно, крикнув, что в таких условиях он высаживать десант не будет. Можно представить наши чувства, когда видишь, что твои ребята ведут бой, а ты ничем не можешь им помочь. У нас было желание разорвать пилота, который отказался садиться, но до него мы не добрались: дверь была закрыта.

Нас десантировали в другом месте. До основных сил километров 40—50, так что передвижение к ним было нереально. Мы окопались и получили приказ блокировать местность. Ночь провели в засаде. Был очень сильный туман, мне не терпелось встретиться с душманами, но не пришлось. Только утром мы увидели «духов» — они были далеко. Мы вели дальний обстрел. Я стрелял с одним желанием — не дать уйти банде. Но, увы, они ушли, и мы вернулись на базу.

Настоящее боевое крещение я получил позже. Мы блокировали город. На окраине получили приказ комроты окопать технику и быть готовыми ко всему. Когда вышли из боевых машин десанта, то увидели в окопах какие-то мешки. Решили посмотреть, что там такое. По траншее приблизились к ним. Первым бежал артиллерист Сергей, за ним я, потом Михеев Игорь. Сергей добрался до мешков и достал оттуда какой-то комок. Потом я узнал, что это был фруктовый сахар. Он передал его мне, и я, в свою очередь, повертев комок в руках и ничего не поняв, протянул его Игорю. Игорь дотронулся до моей руки, и, что было дальше, я не понял... Очнулся на обочине траншеи, а Игорь лежал рядом без ноги. Оказывается, он наступил на противопехотную мину, а по этому месту только что пробежали мы с Серегой... Я не знал, что делать, был в каком-то замешательстве. Но что-то надо было делать, ведь Игорю требовалась помощь. Обколов его промедолом, что выдавался нам в аптечки на боевых действиях, стали делать перевязку. На ноге болтались какие-то ошметки, я подумал, что это остатки обмундирования, а когда дотронулся, то оказалось, что это была кожа... Не помню, как перевязал, как вытащили Игоря из этой траншеи и как отправили к вертолету. Только помню, что тут и понял по-настоящему, что такое Афганистан, что не в казаки-разбойники мы здесь играем...

На следующий день был приказ прочесывать кишлак. Броня (боевые машины десанта) шла за нами. Когда входили на территорию кишлака, нас встретил буквально шквал огня. Мы отступили на свои прежние позиции, понимая, что без брони нам не пройти. А броня перед самым въездом в кишлак никак не могла форсировать глубокий и широкий арык. Огонь продолжался. И тут кто-то крикнул, что впереди, где располагался наш головной отряд, ранен солдат. Это был С. Субботин. Его вытащили, я помог переправить его через арык, а он все твердил: «Ребята, отомстите за меня». Тут меня охватила такая ярость и злоба, что, попадись в тот момент «дух», я бы ему глотку зубами перегрыз...

Решили перебраться на другую позицию и вести оттуда огонь. Получив добро от командира роты, мы расположились на бугорке, откуда местность лучше просматривалась. Но не успел я произвести и шести выстрелов, как поблизости раздался взрыв. Мне словно обожгло ногу, а секунд через 30 я почувствовал боль в колене. Это случилось так быстро и неожиданно, что ребята даже не поняли, что же произошло. Саша Шимшин стянул с меня сапог, разрезал комбинезон, и я увидел, что у меня в левой ноге, справа от чашечки, торчит черный осколок. Вытащить его мы не решились, и перебинтовав ногу, отошли к роте. Командир роты старший лейтенант Менгалиев предложил мне отправиться в госпиталь, но я ему объяснил, что ничего страшного не произошло, и остался с расчетом.

Когда броня переправилась через арык, мы начали повторное наступление. За этот день прошли всего километр, не больше. Стало темнеть, и мы начали разбивать лагерь. Расположились в одном из пустых домов, поставив вокруг сигнальные мины. Стали устраиваться, хотя спать никто не хотел. Нашему расчету дали приказ занять второй этаж дома и поставить наготове гранатомет на случай нападения «духов». Мы поднялись на второй этаж, осмотрели помещение. Там не было ни рамы, ни окна, один проем. Установили гранатомет так, чтобы просматривались подходы. Я высунулся в оконный проем, но тут к нам поднялся офицер. Попросив меня отойти от окна, он сам в него высунулся, и в этот момент раздался выстрел. Я даже вздрогнул от неожиданности. Офицер упал на мой гранатомет, из головы у него текла кровь. Я сообразил, что его надо вытаскивать вниз, но тут нас стали обстреливать. Под огнем я подполз к нему, мы с Трошиным оттащили его и стали перевязывать. Пули свистели над головой, не давая даже приподняться. По-пластунски мы его подтянули к лестнице, где передали подошедшим к нам ребятам и командиру роты. Врач батальона перевязал офицера, уложил на носилки и стал ждать машину, которая отвезла бы его к вертолету, а потом в госпиталь. Мы с ребятами хотели ответить за раненого товарища огнем по «духам», но они не давали нам поднять головы. Нас они видели, а мы их нет, в этом было их преимущество. И все-таки мы этот кишлак взяли. Сопроводив около полутора тысяч пленных душманов в тюрьму, отправились в свое расположение... Так прошло мое боевое крещение. Осколок из моей ноги мы с ребятами вытащили сами...

Мне всегда везло на хороших командиров. Был у нас отличный прапорщик Эрик Коваленок. Я и сейчас с ним переписываюсь. Прекрасным командиром роты был старший лейтенант Мингалиев. Когда бывало трудно и казалось, что уже нет сил идти, он всегда мог поднять настроение, поддержать. Песни петь любил, и, слыша его твердый, спокойный голос, солдаты верили, что в самых сложных условиях их командир не растеряется, не раскиснет, как тряпка, найдет выход.

Службу я закончил командиром расчета, в звании гвардии рядового. Наверное, потому, что не мог терпеть тупые приказания командира нашего взвода прапорщика Сороки. Человек, который, испугавшись солдатской службы в Афганистане, уехал учиться на прапорщика, не вызывал уважения. Вот и трудно было найти нам общий язык.

Ринат Мифтяхов. В середине апреля в самолете ТУ-154 мы пересекли границу СССР — ДРА. Где-то около полудня приземлились в Кабуле. Встретили нас офицеры. Была жара, над головой кружили вертолеты. Все было как-то непривычно. Потом я попал в батальон, которым раньше командовал Герой Советского Союза гвардии майор Солуянов. Командир роты распределил нас по ротам и должностям. Назначили меня во второй взвод третьей парашютно-десантной роты, старшим стрелком, начали усиленно готовить к предстоящим боевым действиям. Со стрельбища возвращались до такой степени усталые, что валились с ног. Старослужащие объясняли нам, что и как делать, как готовить рюкзак десантника к боевым действиям, как употреблять местную воду, как маскировать костер...

За неделю до боевых командир роты гвардии капитан Новожилов (кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды) устроил молодому пополнению кросс на шесть километров. Условия были такие: трое последних на боевые не идут, а я попал в эту тройку. После кросса подошел к командиру роты и попросил, чтобы меня взяли, но он ничего не ответил. Когда начали комплектовать РД, у нас дело плохо шло, половина боеприпасов и сухих пайков в мешки не входила. А у меня еще три сухих пайка и две фляжки воды. Тут-то мне и пришел на помощь мой командир отделения младший сержант Виктор Гермаш, которому до дома оставалось всего пять месяцев. Он мне посоветовал пришить к РД дополнительные карманы, сшить карманы для магазинов и гранат — по-нашему, «лифчик»,— который надевается на грудь. В нем удобно носить магазины и быстрее доставать их при обстреле. Я так и сделал, и у меня все уместилось. Хотел поднять рюкзак, но он оказался тяжелым, весил около 60 килограммов, и это не считая бронежилета и автомата. Я еще подумал, как я в горы пойду, если на плацу стою еле-еле, и, чтобы не опозорить себя перед ребятами, старался изо всех сил, доказав, что я не «чадо», как называли старослужащие маменькиных сынков, и что по горам ходить смогу.

В мае начались боевые действия в провинции Кунар. На место мы прилетели на АН-12. Здесь в течение трех дней проходили акклиматизацию, ведь жара была около 70 градусов. Командир роты вызвал сержантов и предупредил, что температура в тени плюс 76 и чтобы солдаты как можно меньше находились под солнцем, не то получат солнечный удар.

Через три дня мы разбились по кораблям и десантировались. Десантирование прошло успешно. В первый день мы прошли по карте 37 километров. Шли с шести утра до двух часов следующего дня, устали, но поспать в ту ночь довелось не более трех часов. В этот день не выдержал марша рядовой Воронин. Сержант Имаев донес его поклажу до взвода. После чего рюкзак Воронина разукомплектовали и раздали взводу. Но и без рюкзака его самого приходилось тащить. Вот тогда я понял, кто такие «чада», что из-за них подрывается боеготовность подразделений, страдают люди...

К 12 дня мы вышли на свои рубежи. Батальон пошел дальше, а наш взвод остался на прикрытии. Отдохнули немного, пообедали, я отстоял час на посту, а вернее отлежал, ведь службу на посту днем несли лежа, чтобы нас не заметил противник. Передал свой пост и лег отдыхать. Где-то около 16 часов проснулся от выстрелов. Оказалось, душманы подошли вплотную и начали нас обстреливать. Я даже не заметил, как оказался в бронежилете и каске. Понять сразу, откуда стреляют, я не смог. Пришлось выпустить магазин по вероятному местонахождению противника, но затем я увидел одного, он лежал в метрах тридцати за камнями и вел огонь. Вот тяжело раненный упал Боря Панаркин, пуля попала ему в голову. Через минуту убили приданного нам химика, который хотел перевязать Панаркина. В ярости я выпустил целый магазин по душману, который начал стрелять в меня. Командиров, как назло, рядом не было, и я, молодой солдат, взяв командование на себя, приказал забросать противника гранатами. Лежа его было не достать, да и кусты мешали. Вдруг что-то меня ударило в каску, я подумал, что осколок, но, потрогав, нащупал сквозную дыру. Пуля пробила каску, прорезала панаму, но голову не задела. Я овладел собой, затаил дыхание, прицелился и стал ждать. Когда показалась голова душмана, я хладнокровно нажал на спусковой крючок, увидев первый раз в жизни, как разлетается человеческий череп. Сказал про себя: «Первый!» — а тут ко мне прибежал Витя Куриленко и стал похваляться двумя дырами на панаме. У Димы Глотова пули пробили гранатомет... Вот так мы получили боевое крещение. Командир взвода старший лейтенант Горелов вызвал вертолеты огневой поддержки. С помощью вертолетов мы уничтожили банду и в темноте начали выходить к своим. Я взял снаряжение Панаркина, и мы стали спускаться вниз. Меня назначили в дозорную группу вместе с младшим сержантом Рахубиным. Я шел впереди, Олег Рахубин за мной. Мы указывали взводу самую удобную и самую безопасную дорогу, и вот тропинка, по которой мы шли, уперлась в куст. Я раздвинул его, но из-за темноты ничего не было видно. Я сделал шаг и куда-то провалился. Падал, наверное, секунд пять и, к счастью, сделав сальто, упал на ноги. Увидев это, Олег крикнул: «Ринат, ты жив?» Я сказал, что жив, целехонек, только чуть ногу подвернул. Дальше пошел сам, без чьей-либо помощи. Рахубин мне говорит с удивлением: «Как же так, ведь ты метров десять падал...» Сначала идти было трудно, но затем даже километра четыре помогал нести раненого. Около четырех утра вышли к своим. Отправили раненого Бориса Панаркина, который через четыре дня скончался. Когда возвратились в часть, командир роты гвардии капитан Новожилов объявил мне и сержанту Николаю Заморскому благодарность как самым волевым и смелым из нашего призыва, а через три месяца поставили меня на должность командира отделения. Еще через три — на должность заместителя командира взвода, присвоив воинское звание младший сержант. Личный состав роты выбрал меня секретарем комсомольской организации подразделения.

К нам во взвод пришел новый командир взвода гвардии лейтенант Бурдо Юрий Леонидович, который окончил с отличием воздушно-десантное училище. Личный состав взвода и роты буквально с первых же дней его полюбил и зауважал. Он был строгий, но в то же время мог войти в положение любого солдата, объяснить, показать, утешить, если что не получается, а самое главное, был грамотным офицером. В период его командования взвод стал отличным. Он многому научил меня. Ориентироваться по карте, разбираться во всех узлах боевой машины, что мне в будущем очень помогло при исполнении обязанностей командира взвода. И я его полюбил, как родного брата. Через год он получил орден Красной Звезды и досрочно звание — старший лейтенант. Нам жаль было расставаться с командиром, но служба есть служба...

В июле мы прибыли на Пандшер, в район, где, по разведданным, находилась группировка Ахмад-шаха. Всегда было тяжело, но на Пандшере тяжелей и трудней во много раз! Группировку Ахмад-шаха можно назвать регулярной армией: она, по рассказам, хорошо подготовлена, в группировке соблюдался полный распорядок дня... Выйдя на указанный рубеж, расставили посты и начали наблюдение. Командир взвода дал мне группу, указал сектор обстрела... Ночью услышал взрывы. Подбежав, я увидел, как младший сержант Гермаш вытаскивает с минного поля рядового Николая Белова. Ночью, неся службу на посту, Коля наступил на мину, которая была связана детонирующим шнуром еще с шестью минами, и ему оторвало обе ноги, вырвало на руке клок мяса. А ведь мог подорваться и весь взвод. Так я потерял своего однопризывника и друга. В первый раз за мою службу у меня на глазах появились слезы. У десантников была такая пословица: «Если мужчина плачет, значит, боль сильнее мужества». Николай Белов скончался от ран и большой потери крови.

Два дня мы не ели, потому что нам не доставили сухие пайки. Спали по 3—4 часа в сутки, а потом роте поставили новую боевую задачу: помочь одному из наших подразделений, на которое сильно давила бандгруппировка мятежников. Командир роты гвардии капитан Новожилов ночью построил роту и сказал: «Гвардейцы-десантники, кто не может идти — два шага вперед!» Ничего обидного в этом вопросе не было — люди не ели двое суток, все время были в движении, но этих двух шагов не сделал никто... Потом этих боевых ребят представят к наградам, и меня тоже к медали «За отвагу». Только я ее не получил, как, впрочем, и некоторые другие. Еще дважды представляли меня к ордену Красной Звезды, но наградные опять не прошли. Когда в четвертый раз представили к ордену, я получил медаль «За отвагу».

В конце июля 1986 года наш взвод участвовал в боевой операции в ущелье Санглах с новым командиром взвода гвардии лейтенантом Галкиным. Мне уже до дома оставалось два с половиной месяца. Нашему взводу командир роты гвардии капитан Петр Васильевич Шапошников доверял самые трудные задания. Выходя на свой рубеж, мы обнаружили противника, обстреляли его и захватили трофеи — ЗГУ (зенитно-горную установку), много цинков с патронами к нему, автоматы... Вскоре командир взвода Александр Галкин получил тяжелое увечье и передал командование взводом мне. Это был не первый случай, когда я командовал взводом. Три месяца у нас не было командира, и мне доверили командо-

вать взводом на боевых операциях и на месте постоянной дислокации нашей части...

...Девушка моя перестала писать, когда я из «учебки» полетел в ДРА. Этих писем мне очень не хватало в течение полутора лет службы в Афганистане. У меня к ней была совершенно чистая любовь, но она этого не поняла. От родных и близких приходило мне по 4—5 писем в неделю, ребята даже завидовали, но не хватало писем от Тани...

Пришло время уезжать, и перед этим меня единогласно приняли в ряды Коммунистической партии Советского Союза. За два дня до отправки я получил партийный билет. Наступило 19 октября, мы начали прощаться с ребятами и командирами. У тех, кто уезжал и кто оставался, на глазах были слезы. Секретарь комитета комсомола части гвардии капитан Сергей Яровой (кавалер ордена Красной Звезды) со слезами на глазах подошел к нам, бывшим секретарям комсомольских организаций, поблагодарил за службу и сказал: «Вряд ли будут у меня еще такие боевые секретари». Мы все стояли и плакали. Жаль было расставаться с боевыми друзьями, которые были нам братьями, с командирами, с нашей частью. Ведь мы здесь столько пережили тяжелого и радостного.

И вот Кабульский аэропорт, самолет, взлетная полоса, и мы делаем прощальный круг над Кабулом. Курс на Ташкент. Криками: «Ура! Дома!» приветствовали пересечение границы СССР — ДРА.

Приземлившись, я не верил, что это Советский Союз. Мне казалось, что мы перелетели в другой город Афганистана. Но это был Ташкент.

Сергей Локтионов. Служил в должности командира танка. На третий день марша нас обстреляли. В тот же день увидел убитого душмана. Кровь, труп — тяжело. Все время в голове крутилась эта картина. Пейзажи перестали удивлять, стали, наоборот, раздражать. До боли в глазах смотри, чтобы увидеть вспышку выстрела, кругом одни горы... Сопровождение колонн, рейды, операции, дежурство... Наш танк часто ходил первым и ни разу не подорвался на мине. За нами взрывались, а мы нет — везло. Я и домой писал: «в рубашке» родился, все будет хорошо.

Четыре человека экипаж — это одна семья. Без громких слов... Особенно я породнился с наводчиком нашей машины Юрой Акатовым из Воронежа. Очень много времени провели с ним в ночных дежурствах, ведь дежурили каждую ночь. О чем только ни говорили, и больше всего, конечно, о том, как вернемся домой, как будем жить дальше. После одного из рейдов командир роты сказал, что представляет весь экипаж к орденам Красной Звезды, а наградили лишь меня одного, хотя эта награда их тоже. Было бы справедливо весь экипаж наградить — ведь наша машина чаще других принимала участие в рейдах и операциях. Дружба часто спасала. Был такой случай: я подхватил какую-то бациллу, к вечеру начало бросать то в жар, то в холод. Зуб на зуб не попадает, хотя в землянке тепло. Ребята меня комбинезонами накрывали, а снимали их мокрыми.

Потерь в нашей роте, к счастью, не было. Только помню такой тяжелый случай. Мы стояли у дороги, прикрывали гору, с которой часто обстреливали колонны. Прошло около недели, и вот днем механик-водитель Володя Целуйко с соседней машины и мой заряжающий Леша Наумкин решили посмотреть, что находится на вершине. Там стояла отметка геологов, тренога такая. И вот, когда они были почти у цели, начался обстрел. Володю ранило в голову. Леша спустился к нам, сообщил об этом. Мы стали подниматься с плащ-палаткой, чтобы снести его на ней. Он лежал вниз головой, впереди автомат, шапки на голове нет, весь в крови, рана кровоточащая. Опираясь руками о землю, полз к автомату, не сознавая, кто мы. Я послал Наумкина вниз сообщить, что здесь произошло, и попросить БМП для доставки раненого. Сделали укол промедола, потом еще. Наводчик моей машины Юра и командир взвода Владимир Николаевич Журавлев перевязали Володе голову. Я не мог смотреть. Володя пришел в себя, узнал нас, а когда его уже грузили в БМП, улыбнулся и говорит: «Ну, что грустите, еще на свадьбе у меня погуляете, если приглашу...» А нам не до смеха,

конечно. Леша Наумкин долго потом не мог в себя прийти. Начнет рассказывать и останавливается на словах: «Я смотрю, у него из головы кости торчат...»

Вообще тяжело переносить такое, но еще тяжелее, когда ранят парня, которого ты знаешь. Потом, как это ни страшно, начинаешь привыкать к крови, к виду убитых. В Афганистане я часто ловил себя на мысли, что наш русский человек, в какие бы экстремальные условия он ни попал, быстро к ним привыкает, причем остается место шуткам, песням, анекдотам...

Мы жили в землянках. Никто не умел их рыть, не знали даже, с какого края подступиться. Одну соорудили с трудом, а вторую уже запросто. Внутри землянки все самодельное — нары, столик, несколько стульчиков,— у нашего наводчика раскрылся талант плотника. В углу — печка, естественно, не электрическая, а на солярке. Источник света — расплющенная гильза, в нее вставлен фитиль из брючного ремня. От светильника постоянная копоть. Рядом с землянкой, буквально в шаге, наш танк. Когда мотострелки или разведка шли в рейд, мы выезжали из окопа и поддерживали их огнем...

Был однажды с землянкой такой случай. Я, как мы говорили, «тащил» службу на танке, и вдруг начался обстрел — прямо напротив меня. Я прыгнул в танк, достал снаряд, который находился на лотке, и по ориентирам, которые наносили днем, выстрелил. Потом еще и еще. Все стихло, я вылез наружу. Вижу, весь экипаж в трусах подпирает землянку, которая наклонилась от ударной волны. Ну, обменялись мнениями, посмеялись, покурили махорки. Кстати, о махорке. Сначала тоже не умели сворачивать «козьи ножки», потом научились... В свободное от дежурства время мы пели песни, в основном русские народные, эстрадные. «Афганских» еще не было, хотя ребята из роты писали стихи. Особенное отношение было к книгам. Их было мало, и поэтому, когда офицеры уезжали в Союз, им заказывали чемоданы книг. На книги записывались в очередь.

Не забыть, как встречались со знакомыми ребятами. Перед службой я окончил Курский техникум железнодорожного транспорта, получил диплом техника-электрика. Призывались вместе — я и ребята из моей группы, даже из одной комнаты в общежитии. Попали сначала в Кантемировскую дивизию, но, прослужив две недели, Вася Нагорных, Коля Кузнецов и я попадаем в одну «учебку», а Семенихин — в другую «учебку». Стали младшими сержантами, и все оказались в одной части. Встретились там с Виктором Семенихиным, а затем вчетвером, «комнатой», выдвигаемся прикрывать южные рубежи нашей Родины, как звучало в приказе. В Афгане нам редко приходилось видеться, хотя трое служили в одном батальоне, а один из нас — в разведке. Но друг друга всегда старались найти. Бывало, на рассвете наша рота идет мимо какого-нибудь кишлака, и вдруг вижу: у обочины стоит Виктор — их разведрота охраняет школу. Сразу прыгаю в танк, достаю письма (у нас была традиция давать друг другу письма читать, ведь друзья у всех общие, и дома знали, что мы вместе, и девчонки наши писали общие слова, так что таить друг от друга было и нечего) и вот, на ходу, держась за поручень танка, передаю ему свои письма, он мне — свои... Кричать бесполезно, рев танка все заглушает, только улыбнемся друг другу, подмигнем — держись, мол, я рядом! Потом еще неизвестно, через сколько встретимся. Иногда удавалось провести вместе день или несколько дней, говорили обо всем, в основном о том, что «на гражданке» были глупыми, делали то не так, это не так, рассуждали, как будем все восполнять после службы.

О многом заставляли задуматься встречи с афганцами. Первое, что бросается в глаза,— это бедность, даже нищета. Мы входили в феврале, сами были одеты в теплые комбинезоны, а людей встречали одетых по-летнему. На босую ногу резиновые галоши, из тонкой белой материи штаны, и самое, наверное, теплое — это чалма. Увидели деревянную соху, в Союзе они только в музее. Жилища афганцев — это грубое, иногда непонятной формы творение из глины, камня и немногих бревен. Промышленного пейзажа вообще не видал. Сам народ очень любознательный, причем от мальчишек до стариков с седыми бородами... Есть такой город — Пули-Хумри. Там у нас была вынужденная остановка, меняли ведущее колесо. Собралось немало народу, глаза у каждого горят, смотрят, где у нас

что плохо лежит. Потом мы уже узнали, что у них с металлом туго, вот и «промышляли». Освоившись, начали предлагать сделки, показывая то на одну деталь, то на другую, предлагать взамен афгани. Когда каток заменили и старое колесо пустили под горку, вся толпа бросилась за ним... Потом мы встретили двух парней в национальной одежде. Я сидел на машине, и вдруг один из них на чистом русском языке говорит: «Командир, водку будешь?» Я, естественно, удивился, но не столько предложению, сколько родной речи. Слова не могу сказать от неожиданности, потом пошутил: «Я за рулем не пью»— и похлопал по башне. Второй предлагает коньяк, а я в ответ: «Я же сказал, ребята, что за рулем». Потом спрашиваю: где русскому-то научились? Говорят, в школе. Позже я узнал, что есть тут русские поселения, эмигранты живут, дети тех, кто бежал из России после революции... Вот и сейчас не могу совместить в воображении русскую речь, эту обстановку, одежду...

Однажды посреди белого дня на дороге появился душман с автоматом в руках. Глаза остекленевшие, весь, как стена, белый, идет, будто никого не видит. Подошел к командиру, бросил автомат и начал говорить, вернее, так говорить нормальный человек не может — мычит, заикается! Часа через два по обрывкам фраз поняли, что душманы, узнав о том, что он не хотел воевать, издевались над его семьей, а затем зверски убили всех. Он и рассказывал, как их убивали. В этом же месте пришел к нам старик с трехлетним мальчиком. У мальчишки была разворочена нога. По-моему, заражение было — посинела вся, опухла, кость виднелась, в общем, ужас. Старик перепуган, ведь мы неверные, а он к нам за помощью. Раньше надо было прийти, парню потом ногу отняли... Оказалось, душманы заминировали у дороги виноградник: мол, рано или поздно мы к нему подойдем попробовать винограда. Но первым подошел этот парнишка... Командир роты вызвал «вертушку», хоть это было запрещено. Но она пришла и забрала старика с внуком...

На той самой горе, где был ранен Володя Целуйко, как-то на рассвете, отстояв положенные свои часы на танке, я стал разогревать «сухпай». И вдруг спиной почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. С меня пот холодный льет, а что делать, не знаю... Автомат висит за спиной, ребята спят в танке. Резко упав, схватил на лету автомат, изготовил для стрельбы. Вижу — никого, а впереди небольшое ущелье, и что-то мне подсказывает, что там не то... Встаю, иду, затвор передернул. Главное, думаю, успеть дать длинную очередь, пусть попадут и в меня, но я должен разбудить ребят. Много мыслей в голове, и вдруг у края ущелья между двумя камнями вижу — маленький мальчишка! У меня пот по спине, руки дрожат. Хочу ему махнуть рукой: иди, мол, ко мне,— и не могу. Потом что-то похожее изобразил. Смотрю, он встал, на вид ему не больше пяти лет, щупленький, рубашка и штаны насквозь светятся, а холодно было, около нуля... Стою и думаю: ведь мог бы случайно, ненароком по нему дать эту длинную очередь, если бы он побежал или что-нибудь в этом роде... Лицо у парня все заплаканное, подвел я его к танку, ребят разбудил. Механик у меня был узбек Доноджан, мы его Димой звали. Дима спросил мальчика, откуда он, как сюда попал. Оказывается, еще вечером родители отправили его искать овец, он всю ночь их искал, плакал. Не знаю, какое сердце должно быть у тех родителей... Тут я вспомнил, что этих овец мы видели прошлым днем. Сел в башню, через командирский прибор глянул на горы: овцы были недалеко, чуть повыше нас. Дали парнишке «сухпая», галет, сахара, а у него ручонки маленькие, обхватил все, то одно выпадет, то другое. Но все собирает снова. Показали ему, где овцы... Мы от этой встречи были в оцепенении, никто и не додумался завернуть ему подарки во что-то. Теперь вспоминаю его — и мне не нужна никакая пропаганда и контрпропаганда о том, как и где живут дети. Я знаю, как они живут в Союзе, я видел, как они живут в Афгане.

Отчетливо, до мелочей помню, как начиналась наша отправка домой. Мы возвращались из рейда, вели колонну. Много случайностей по какому-то непонятному закону спасло мне жизнь. Позади нас взорвалась БМПешка, а мы нет. Взяли ее на буксир. Когда уже подъезжали к расположению, нас обстреляли. Командиру танка Бирюкову Коле пуля всю спину по диагонали прочертила. Жив остался, повезло парню. Добрались до роты, а там нас встречают ребята, кричат, прыгают. Когда заглушили машины, узнали: замена пришла. Всю ночь мы не спали. Пришел экипаж молодых. Они на нас смотрят, а мы на них. Говорим им: давайте в танк, посмотрим, чему научили вас в «учебке». Знали они свои обязанности, но у меня появилось такое чувство: надо еще учить, а времени нет. Скороговорками мы начали передавать им премудрости, которых нет в книгах и уставах. Каждый сдавал свое хозяйство: механик — механику, командир — командиру, наводчик — наводчику. Под утро я в первый раз вынул из коробки медаль, приколол ее к кителю. Вижу, молодые ребята глаз с нее не сводят. Я им сказал: служите хорошо, у вас тоже будут награды, и не подводите нас, наша машина всегда должна быть первой... Потом я пошел к вертолетчикам, там служил мой земляк из Курска Тончкин Толя. Он и в техникуме учился в том же, что и я, только позже. Он работал на кухне, и здорово меня выручал, когда мы из рейда возвращались ночью. Бывало, поесть нечего, и мы прямиком к нему на кухню, и он нам всегда подбрасывал поесть... Пришел я к нему и говорю: «Толя, земляк, держись, я свое «отпахал», заеду в Курск, передам привет...»

Потом нас построили на аэродроме. Начальник штаба батальона сказал очень сердечные слова, мы никогда от него таких не слышали. Не вся рота тогда уходила, на каждой машине оставался один старослужащий. И вот стоим мы друг против друга, ком в горле, невозможно слезы удержать. Начали прощаться, а тут еще кто-то крикнул: «Будем жить, ребята!» Вертолетчики смотрят на нас — все мы с орденами и медалями, и у всех слезы... Потом — вертолет. Поднялись, летим. Все молчат, смотрят в иллюминаторы... В Союзе приземлились, вышли из вертолета — Родина! Хоть и далеко еще до Курска, все вокруг какое-то родное. Люди, деревья, дорога. Тогда понял, что Родина — это место не где родился, это вся страна, весь народ.

Игорь Ерин. Мой самый первый бой произошел в одном из кишлаков провинции Баглан. Наш взвод под командованием старшего лейтенанта А. А. Жукова находился на блокировании кишлака. По связи поступил приказ: две машины должны прорваться в кишлак и забрать раненых из минометной батареи капитана Царева, которая вела там бой. Трудно описать, что чувствуешь, когда вокруг свистят пули. Помню, что наша машина подъехала к одному из глинобитных домов и взяла в десант раненых. Один из них был тяжело ранен в голову, другой в ногу. Лиц ребят я не видел, перед глазами промелькнули бинты на голове у одного из них. На большой скорости мы выехали из кишлака и понеслись на площадку, где нас ждали вертолеты. Раненых пересадили и отправили в полк. Когда вернулись на позиции взвода, узнали, что тяжелораненый минометчик скончался в вертолете.

Дальше было много операций, засад, но первый бой, он и есть первый. Поменялись командиры взводов и роты. Ушли ребята на «дембель». О каждом парне из роты можно написать отдельно. Например, об экипаже машины 148, который подорвался на мине, но чудом оказался жив. Это механик С. Васелишин, наводчик В. Мандебура и замполит Ю. Макаров. Когда машину пригнали в парк, на месте старшего стрелка, которое находится сзади сиденья механика, зияла огромная дыра, рваные края которой были загнуты внутрь машины. Сиденье механика оказалось в осколках, но сам он чудом уцелел, только немного контужен.

В одном из сопровождений колонны нас обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Машина была старой, и басмачи надеялись подбить ее прежде, чем она успеет сделать выстрел. Но промахнулись. Мотострелки заняли позицию около дороги, в машине остался механик и вместо наводчика старший лейтенант Жуков. Мы не видели противника, он был в зеленой зоне, а наша машина стояла на открытом шоссе. Второй снаряд из гранатомета разорвался рядом. Мы связались с командиром роты, тот выслал на помощь БМП, и под ее прикрытием мы смогли сесть в свою машину. Отошли к колонне, которая остановила движение, и уже на стоянке увидели, что гранатометные осколки пробили борт нашей БМП и зацепили старшего лейтенанта. Солярка залила весь десант... На той машине, которая нам помогла в трудную минуту, наводчиком был мой друг

Филипюк Владимир. Он считался лучшим оператором в роте. Это замечательный человек, отзывчивый, добрый, в критическую минуту готовый пожертвовать собой. Мы с ним и сейчас поддерживаем дружбу. Он работает в Кировском РУВД в звании лейтенанта, окончил среднюю школу милиции. Афганистан проверил нашу дружбу, и нет никакой силы, которая могла бы ее прервать.

...Наша рота получила приказ занять один из перевалов. Целый день мы шли под проливным дождем и под вечер наконец-то достигли вершины. Заниматься рытьем окопов не было смысла: земля от снега и дождя раскисла, превратилась в месиво. На высоте мы нашли воронку, вырытую басмачами для пулеметного расчета, а также два небольших окопа. Тут мы и разместились. Ночь вошла в свои права, и можно себе представить, что испытывали мокрые, промерзшие солдаты нашей роты. Сейчас все это вспоминается как сон. Руки и ноги онемели от холода, но у всех была только одна мысль: как сохранить в готовности свое личное оружие, уберечь его от дождя и грязи? И все-таки задачу мы выполнили, перевал был перекрыт, и путь басмачам мы преградили... Не будь в роте прапорщика Р. Мусалимова, неизвестно, дошли бы мы до той вершины или нет. Это он вел нас на перевал, вдохновлял, был примером. Таким, как он, и должен быть командир — честным, смелым, досконально знающим обстановку, в которой могут оказаться его подчиненные; без такого командира трудно, потому что никто из нас не имел специальной горной подготовки, многие в глаза не видели гор, а приходилось подниматься на них с тяжелыми вещмешками под обстрелом басмачей...

Но наступил день, когда и наш призыв дождался «дембеля». Смутное чувство было у меня. Рота должна идти на операцию, а мы, десять человек, впервые за все время остались в полку и ждали отправки домой. Через несколько дней нас посадили на вертолет и отправили к границе, к тому знаменитому мосту, который, как ажурная цепочка, перекинулся через Амударью. Вот здесь, в ожидании оформления документов и таможенного досмотра, я и понял, что такое Родина. До нее было каких-нибудь 600 метров.

Сергей Кузнецов. Когда сошел с трапа самолета, впечатление было, что попал в пустыню, в пекло. Это впечатление очень трудно описать. Но со временем привык ко всему. Самый запомнившийся день — восьмое августа, когда группа нарвалась на засаду. Первые две машины с ребятами приняли бой, а третья выехала в безопасное место, высадила людей и пошла за подмогой. Бой был нелегким, а для нас, тогда еще «салаг», первым. Было страшно, не страшно только дуракам. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто меня многому научил. Это сержант Агапов, капитан Скутин, старший лейтенант Гинда. Настоящий командир должен хорошо относиться к солдатам, не кричать, а говорить по-человечески. Голой командой ничего не добьешься. Был у нас еще старший лейтенант Турсунов, с солдатами говорил на равных, никогда не кричал, понимал, помогал. Конечно, были и «плохие», которые все делали только по уставу, от корки и до корки, а это не всегда верно...

Самая тяжелая потеря у меня в то время — смерть отца. Я еще ничего не знал, а ребята уже узнали и старались меня как-то поддержать, успокоить. А когда утром и мне сообщили об этом, то я не остался один, был с друзьями. Каждый хотел отдать мне самое лучшее, может, даже последнее. Командир батальона предоставил отпуск, чтобы я улетел, хотя был тогда приказ никого не отпускать. Помог и начальник штаба — никто не смотрел на мое горе как на чужое.

Вообще связь с домом была очень дорогой. Дорогой потому, что сбивали почтовые самолеты, и письма приходили к нам раз или два в месяц. Любимая девушка не дождалась меня из армии. Объяснила потом, что я очень долго не писал...

Владимир Левшунов. ...Всего сорок минут назад ты был еще в Ташкенте, и вдруг под ногами чужая земля, чужой аэродром с разукрашенными «боингами», вокруг горы с белыми шапками еще не стаявшего снега... Все как будто застыло в каменном спокойствии и величии. Но вот нарастает оглушительный шум. Это пара МИГов уходит в очередной раз выполнять задание. И все сразу встает на свои места. Проходит первое оцепенение, и осознаешь, где находишься.

Потом все было первое: первый рейс, первый перевал, первая боевая операция. «Боевая операция» — как странно слышать эти слова в наше мирное время. Афганистан дал возможность понять чувства и мысли солдат последней мировой войны. Каждый из нас знал, что может не вернуться с задания, ведь война есть война. Каждый день вдоль трассы Саланга прибавлялись обгоревшие, искореженные афганские «татры», «форды», наливники, БТР. На полуразрушенных домах читали предупреждения: «Осторожно, мины» — и вспоминали фильмы про войну — все так же, правда, это не кино, это сама война... Однажды мы с ребятами прочли в «Красной звезде» заметку об учениях в Группе советских войск в Германии. Автор описывал эпизод воздушного боя, как вертолеты огневой поддержки с первого захода мощным огнем уничтожают батарею «противника». Осталось чувство чего-то ненастоящего: буквально накануне пары вертолетов МИ-24 и МИ-8 пытались на наших глазах уничтожить зенитную установку душманов. Ни со второго, ни даже с третьего захода это не удалось, и к тому же сами летчики, у которых боевой опыт, оказались на грани гибели. Вот что такое не условный, а реальный противник...

Принято считать, что если настоящий друг, то обязательно один. Вышло по-другому: у меня было пять самых верных друзей. Мы живем в разных концах страны: Федоров Валерий — в Волгограде, Сажин Павел — в Кунгуре, Сергей Жижин и Сергей Суханов — из Сарапула, Чернышев Александр — из Ростовской области. Сейчас мы далеко друг от друга, но связь поддерживаем, переписываемся, созваниваемся.

...В тот день колонна должна была вернуться в расположение. И вот к полудню километрах в тридцати по трассе появился клуб черного дыма, затем еще один — горели бензовозы. Я вызвал по рации подразделение, которое стояло недалеко, и предчувствия не обманули: в районе Чарикара, проходя «зеленку», наливники попали под мощный обстрел душманов. Те ждали колонну уже четвертый день... Очень больно и тяжело было сознавать, что ребята, твои друзья, с которыми не раз ездил в рейсы, были там, на трассе, а ты здесь, в батальоне, и ничем не можешь им помочь. Зато когда колонна вышла из-под огня и вернулась в батальон, радость была необыкновенная: я увидел друзей невредимыми.

Виктор Галактионов. Наша группа вылетела ночью, а утром мы были в Кабуле. Прибыли представители воинских частей. Предстояло выбирать: разведка или мотопехота? Многие выбрали разведку, но желающих было больше, чем нужно, поэтому предстояло пройти еще одно испытание — на выносливость. Подтянуться, отжаться и т. д. В разведку попало всего девять человек. Остальные не прошли «по конкурсу». Нас посадили на БТР, и через полтора часа мы были на месте. Первое, что меня поразило,— как навстречу нам бежали ребята-«дембели», как они рвались домой.

Через неделю был мой первый бой, который больше всего и запомнился. Рота понесла потери, и поэтому на операцию шло много новичков. Нашей задачей было установить пост в зеленой зоне. В 23 часа отошли от БМП. Плутали всю ночь. Утром были на месте. Когда начали закрепляться в кишлаке, в заброшенном доме, нас заметили душманы и стали обстреливать из автоматов и минометов. Мы растерялись, не могли ничего понять, а когда раздалась команда «Всем открыть огонь!», помню, что стрелять начал лишь после вторичного окрика старшины. Когда у нас ранило парня, таджика, появилась злость, осмысление того, что здесь происходит. Перестреливались мы до вечера, потом все вроде утихло. Ночь была более или менее спокойная, но никто не спал. На следующее утро, когда пришел нам на смену взвод, снова начался обстрел. Теперь была проблема, как отсюда выбраться. Старшина принял решение всем зажечь дымовые шашки и уходить под прикрытием дымзавесы...

При блокировании кишлака мы заняли вершину горы. Когда начали его прочесывать, по нашим открыли огонь. Мы ответили своим огнем сверху. Душ-

маны заметили нас и открыли огонь с противоположной горы, ранили командира роты, но подойти к нему, чтобы оказать помощь, возможности не было, мешал сильный шквал огня. Когда я подбежал к ротному, он перевязывал себе ногу. Я попытался ему помочь и был ранен сам.

Самым трудным испытанием был переход по горам. Это мне пришлось испытать на Пандшере. Вышло так, что мы находились в горах в движении больше суток. Тут всегда важен друг, с которым делишь все пополам. В Афганистане у меня было много друзей, но самый верный друг — Ринат Тухватулин, с которым делили буквально все и даже вместе читали письма от любимых.

Командир у нас был в меру строгий, но справедливый. Больше всего мне запомнился такой случай. После трех суток похода у нас кончилась еда. Оставалось у кого одна, у кого две банки консервов. Командир приказал выложить все, что осталось, и разделить поровну. И первым выложил свои запасы.

Часто вспоминался дом, друзья, хотелось всех увидеть, чтобы поскорей прошла служба. В редкие вечера отдыха писали письма, пели песни о службе, о доме, слушали «Маяк», смотрели телевизор, читали газеты. Как и везде на службе.

Поражали своей жестокостью зверства душманов. Их действия приводили нас в ярость. Но в глубине души мы понимали, что это не ответ, что на жестокость нельзя отвечать жестокостью...

Валерий Волгунин. ...В июле 83-го выполняли боевую задачу. Наш взвод старшего лейтенанта Пузанова шел по ущелью первым, за ним две роты афганцев, а замыкал взвод старшего лейтенанта Злобинского. Только вышли на развилку двух ущелий, как с горы заработал пулемет. Мы залегли, а Пузанов приказал отходить. Мы с рядовым Лункиным взяли огонь на себя. Когда весь взвод вышел из-под обстрела, сами еле вылезли. Потерь не было, за что меня и Лункина наградили медалями «За отвагу».

За тридцать четыре дня до приказа на «дембель» попали в открытом поле под обстрел в упор. Стал вытаскивать тяжелораненого — ранили меня самого. Его все же вытащили, правда, он потом умер. Дальше «вертушка» — Кабул, Ташкент, Ашхабад, три госпиталя. Из Ашхабада писал письма нашим ребятам и командирам. Хочу назвать друзей — самых близких, потому что в Афганистане каждый каждому друг. Николай Горелов, Витек Волостнов, Николай Дунайцев — настоящие ребята... Однажды получаю письмо от командира роты капитана Чумичева, которое, скажу честно, с первого раза я не смог прочитать. В глазах потемнело, потекли слезы. Даже сейчас я не могу пересказать его, я просто его переписал.

«21.09.84 г. Валерий, здравствуй!

Получили твое письмо, за которое огромное спасибо. На твое первое письмо мы отвечали вместе с замполитом, а это я пишу уже один. За свои документы и комсомольский билет ты не волнуйся. Их тебе перешлют специальной почтой. Сразу хочу сообщить тебе печальную весть. То, что после тебя у нас на втором десантировании ранили Петрова Игоря и Третьякова, ты уже знаешь. 30 августа скончался Кондратьев, которого ранили вместе с тобой... Но самая большая утрата постигла нас на следующей операции в том районе, где мы были весной полтора месяца (на Пандшере). Наш первый взвод действовал в боевом разведывательном дозоре и наткнулся на засаду. Смертью храбрых погибли Мальцев, Ивашутин, Иснюк, Климов, санинструктор Кузьмин и двое саперов, которые были приданы нам. Тяжело были ранены Меньшиков и Кулясов, но вчера нам сообщили, что Кулясов тоже умер. Бой они вели более трех часов и не дали «духам» напасть на наши основные силы. Можно смело считать, что они спасли нам жизнь. Все это произошло 7 сентября во второй половине дня. Очень жалко ребят, но что поделаешь — война. А 13-го числа наскочил на противопехотку наш замполит ст. лей-т Трофимчук. Ранило его точно так же, как и Авхимовича. Оторвало ступню правой ноги и раздробило голень левой. Сейчас пока он лежит в медбате, но скоро отправят в Союз. Вот такие наши невеселые вести. Очень тяжело, но нужно думать о живых. А в остальном у нас все нормально. Я с 25 августа исполняю обязанности командира батальона, а ротой командует ст. л-т Савочкин. А у вас во взводе на замену ст. л-ту Пузанову приехал новый ком. взвода ст. л-т Климов. Сегодня ночью уходим на очередную операцию. Так я буду заканчивать. Ты уж извини. От всех ребят тебе большой привет, и все желают скорейшего выздоровления. Пиши.

До свидания. Гв. к-н Чумичев».

Андрей Муслаев. Когда выходил из самолета, был ослеплен синевой неба. Никогда в жизни не видел такое синее небо. С нами на борту везли продовольствие, курево в полк. Когда все это разгружали, раздалось несколько разрывов. Нам сказали, что это «духи» бьют из минометов. Представляете, что у нас было в душе. Стреляли ведь в нас — это было еще так непонятно.

...Трудностей было много. Ночью по 5—6 часов стояли в боевом охранении, днем работали... На сон уходило часа 3—4 в сутки. Часто были перебои с водой и продуктами. Без воды сидели по несколько суток. Спали под открытым небом, укрывшись бушлатами. Мучили насекомые. Иной раз опускались руки, но ребята-старослужащие говорили: «Если сейчас выдержите, дальше будет намного легче». Потом я заболел. Отлежал в госпитале, вернулся в батальон, а потом перевели меня в разведвзвод. Ребята там отличные, с такими только в разведку. «Корешок» — Игорек Киреев, не раз с ним были под обстрелом, прикрывали друг друга, когда уводили свои БМП из-под огня. Один раз Игорек вывозил нас на своей 26-й «ласточке», так он называл свою БМПешку, из кишлака, занятого душманами. Меня и друга «духи» отрезали от брони. Лежали мы с ним за кладкой и думали, как выкарабкаться из кольца. Шуре Тонкогласу, который остался со мной, в тот день исполнилось 20 лет. Вот тебе, думаю, и день рождения!.. Услышали звук приближающегося мотора. Кирюха — так мы звали Игорька — прорвался через обстрел, чтобы забрать нас! Когда приехали к себе, оказалось, что его машина была в нескольких местах прострелена и обожжена... Отважный паренек Кирюха! А ведь в Туле у него остались жена Лариса и дочка Кирочка. Позже Игорек был награжден медалью «За отвагу». Наш любимый взводный, капитан Соломенцев, неоднократно хвалил его. Взводный всегда был с нами и на боевых, и во время отдыха, всегда находил, о чем с нами поговорить, хотя был по натуре своей человеком молчаливым. Нам с ним было всегда спокойно. 14 марта 86-го года мы нарвались на засаду. Обстреливали нас почти в упор из развалин близлежащего у дороги кишлака, и одна из бандитских пуль его смертельно ранила...

Ближе к «дембелю» погиб друг Дмитрий Нерезьков, он был тоже москвич. Представляли мы с ним, как погуляем по вечерней Москве, но этому не суждено было сбыться. Диму накрыло миной, когда он стоял возле своего орудия. При минометном обстреле на боевых позициях оставались только артиллеристы. Они вели ответный огонь... Так не стало еще одного москвича. Он погиб как герой. И его мать должна гордиться своим сыном. Диму мы вспоминаем и сейчас добрым словом. Тогда нам оставалось служить пять месяцев. Ближе к «дембелю» чаще и чаще вспоминаешь дом, и если честно, нарастает страх. Если раньше было все равно, то теперь начинаешь побаиваться. Никому это не показываешь, хотя никто ведь не может осудить за это «дембеля» там, в Афгане. Хотя и страх в душе, все равно идешь со своими ребятами в бой, потому что иначе нельзя. Покажешь, что боишься,— ты уже не мужик.

Домой старался писать чаще, чтобы успокоить своих, а прежде всего мать. Сначала писал, что служу в Монголии, но потом не захотелось врать — вдруг что случится. Пойдут слухи, что запрещают писать о службе в ДРА. Девчонка писала, что ждет, но чем так, как она ждала, лучше совсем не ждать... Жалею, что матери уделял мало ласки. Писал, что все нормально, что служба идет — вот и все. Коротко писал, скупо. Понял это только теперь, а там — лишь бы время побыстрей шло, ближе к дому, хотя и не думал, что будет так тяжело расставаться со своими ребятами. Не хочу скрывать — у меня текли слезы, а ребята стояли, смотрели на нас так, как будто хотели запомнить наши лица на

всю жизнь. Казалось, что мы предаем их. А когда нас подняли «вертушки», наши оставшиеся там ребята дали такой незабываемый салют...

Рашит Газизуллин. «Начнут стрелять,— сказали нам перед отъездом в часть,— всем лечь на пол кузова!» Меня зачислили в автороту. Через неделю получил машину «Урал-375», 23-59, с наказом беречь ее, как любимую девушку.

В роте было много земляков, среди них будущий и настоящий мой друг — Володя Трубачев. Однажды у него на руках умирал раненый товарищ, а в него в это время, держа автомат на вытянутой руке, почти в упор стрелял душман. Из всех, кто ехал с Володей в «уазике», в живых, отделавшись ранением, остался лишь он один.

Если бы я был художником, то написал бы такую картину. Стоит «Урал» с помятым буфером и поднятым капотом, а рядом — мы. У нас давно кончилась вода, и, нацедив из радиатора в кружку горячую муть темно-коричневого цвета, пускаем ее по кругу. Картина без подписи, но всем, кто был в Афганистане, она была бы понятна и близка...

Когда едешь в одной колонне, разделения на «своих» и «чужих» нет. У кого-то кончилось масло для движка, и ты отдаешь свое. Встала машина — взял ее на буксир, потянул дальше, несмотря на то, что обе загружены до предела. Грузовик ревет, рвет внутренности, но едет. В Союзе он такого бы не вынес — сломался, а тут как будто все понимает и терпит. Помню, надо было проехать через перевал. На спуске такой крутой поворот, что прошибает пот. Один раз на подъеме заглох движок, второй. На спуске еле вписался. Едешь и думаешь: ведь в этом месте сорвался Руслан из соседней роты. Сколько раз задавал себе вопрос: почему он из кабины не выпрыгнул? Не успел? Не смог? Вспоминаешь, как накануне вечером пили мы с ним из одной кружки, ели из одного котелка... До сих пор мурашки бегут по коже, когда вспоминаю убитого мальчишку, лежащего на дороге. Мальчику было лет пять... Дети ни в чем не виноваты, и, глядя на них, я действительно прочувствовал, какая же это страшная штука — война, понял, что люди, желающие войны,— это животные или существа без ума и сердца...

Олег Титов. 14 часов 35 минут московского времени. Пересекли Государственную границу СССР. Короткое построение. С прибытием нас поздравляет какой-то подполковник, произносит длинную речь. Из всего сказанного понимаю лишь одно: живым сдаваться не советуют, рекомендуют приберечь для себя один патрон или одну гранату. Колонна разделилась, так безопасней. Поддерживая связь по рации, двинулись в глубь Афганистана. Навстречу едет афганская грузовая машина с высокими бортами, как их здесь прозвали — «бурбухайка». Такую вижу впервые, она до того пестрая от различных картинок на бортах и навешанной мишуры, что я даже подумал: не местный ли это цирк «шапито»? По краям дороги валяется брошенная битая техника. Чаще попадаются обгорелые бензовозы. Впечатление от увиденного такое, что ты на съемочной площадке, снимается фильм о войне, и что вот сейчас из-за поворота вынырнет кинооператор и кто-то крикнет: «Отснято»... Но нет, мы продолжаем движение, встречая все новые приметы войны.

Словно через базарный ряд проезжаем мимо какого-то селения. Здесь оживленно. После гнетущей картины гор и дорог поднимается настроение. Кручу головой во все стороны. Дуканщики зазывают к своим товарам. Хочется посмотреть поближе, потрогать руками. В дуканах можно увидеть почти все — от мелких безделушек до современных зарубежных магнитофонов. За машинами бегут дети. Кто постарше, те впереди. На ходу протягивают зажигалки, сигареты, даже карты с порнографией, выкрикивают цены. Чуть отставая, бегут те, кто помладше. Им предложить нечего, они протягивают худенькие ручонки, кричат: «Шурави, бакшиш!» — «Русский, подари!» Грязные, босые, голодные. Их бы накормить, приласкать... Наши ребята высовываются из машин, раздают хлеб, сахар и сгущенку. Глаза детей светятся искренней радостью...

Привал. Позади изнурительный день ожидания опасности. Пока все тихо. Здесь переночуем и с рассветом двинемся дальше. Мимо проходит колонна десантников, машин в сорок. Слышатся выкрики — это каждый ищет земляка... Пройдет день, и мы нагоним эту колонну на ее привале. Только вместо сорока машин останется тринадцать. И небольшая горсточка людей у костра. Когда подойдем ближе, кто-то, раскуривая сигарету непослушными, подрагивающими пальцами, коротко обронит: «Засада. Били с трех сторон. Били так, что, падая на землю, хотелось зарыться». А еще через день разведка доложит: «Засада ждала вас»...

Наконец, прибыли на место. Провинция Соруби. В задачу нашего батальона входит охрана жизненно важной дороги между двумя крупными городами Кабул — Джелалабад. Батальон разделился на группы и вдоль всей дороги занял «точки». Центральной «точкой» и штабом оказалось тихое, красивое местечко, где до революции жили иностранные специалисты. После них остались полуразрушенные коттеджи, которые мы занимаем. Забегая вперед, скажу, что через несколько месяцев нас из этих коттеджей выселил приехавший из Кабула офицер. Он постановил, что здесь будут лечиться военнослужащие после ранения...

Не выходит у меня из головы такой эпизод. Однажды ночью по горной дороге ехали в БТР два офицера, стрелок и водитель. Одиночные поездки категорически запрещались, а тем более ночью, и на этот раз проскочить не удалось. БТР подбили. Стрелку оторвало правую руку. Выскочив из машины, все кинулись к небольшому мостику через реку. Раненого, который даже не потерял сознания, офицеры положили под мостом и, оставив с ним водителя, побежали вдоль реки дальше...

Что должны были чувствовать безоружные солдаты под мостом, когда через несколько минут над ними прошли «духи»? Хотя нет, это были наемники, или, как их еще называют, «инструктора»; они говорили по-английски, громко смеялись, свистели и стреляли вслед убегавшим, выкрикивая на ломаном русском: «Иди к нам, русский, имеешь много женщин и деньги»...

Когда мы прибыли к одиноко стоящему на дороге БТР, все было тихо. Лишь где-то вдали изредка постреливали. Раненого отправили в Кабул. Водитель все время молчал и только нервно курил. Да мы и не приставали с вопросами... Вокруг БТР были разбросаны газеты — все что осталось от нашей почты. Письма наемники прихватили с собой, захватили и все оружие, оставив нам сюрприз, о котором мы узнали, когда попытались оттащить танком БТР,— взорвалось заминированное колесо, но по счастливой случайности никто не пострадал. Когда офицеров спросили, почему они оставили ребят, те ответили, что таким образом отвлекали «духов». Что ж, логика в словах есть, хотя и сомнения берут...

Зима прошла более-менее тихо. Стреляли мало. В основном тишину нарушали разрывы мин. С весной пришло не только тепло, но и «духи», которые стали спускаться с гор. Все чаще по ночам слышны крики: «Тревога!» Хватая на ходу оружие, мы прыгаем в БТР и летим туда, где, прижатые к земле или камням, гибнут наши ребята, потому что слишком неравные силы, слишком мало двадцати парней против банд, численность которых доходит иногда до трехсот. Все чаще, где-нибудь в ущелье, душманы зажимают колонну с продуктами или горючим. Пользуются тем, что дороги слишком узки для маневров — справа скалы, слева пропасть, выждут момент, ударят по головной машине, затем по замыкающей... Ловушка захлопывается, и ливневый огонь обрушивается на технику и людей. «Дорогой жизни» называли мы эту трассу...

Первый мой бой был ночью. Обстреливали нашу «точку». Когда говорят, что кому-то не было страшно, я в это не верю. Страшно всегда, особенно в первый раз. Тем более что бой проходил в темноте, и видно было, как светятся, пролетая над головой, трассеры. Может быть, позже чувство страха отходит на задний план, да и то, наверное, потому, что некогда думать о смерти. О ней, как ни странно, вспоминаешь лишь в минуты затишья, когда кто-нибудь из ребят затянет под гитару «Бьется в тесной печурке огонь...» или «Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь...»

Ну, а первый бой, он и есть первый. То пустой рожок не хочет отделяться от автомата, то новый не вставляется. Или автомат вдруг заклинит и не стреляет,

сколько бы ты ни жал на курок, а все потому, что ты, оказывается, забыл передернуть затвор...

На нашей «точке», как и на многих других, вода была привозная. Ездили мы обычно втроем. Для этого была специально выделена машина ГАЗ-66 с резиновой емкостью почти во весь кузов. В тот день выехали рано утром. Набрав воды, тронулись в обратный путь. По дороге в том же направлении ехал БТР. Мы пристроились сзади. Где-то на середине пути грохнул взрыв, и на бронике полыхнул мотор. Не успев затормозить, мы налетели на него. Я сидел между кабиной и кузовом и от удара вылетел на дорогу. Сверху застучали пулеметы, раздались одиночные выстрелы. Мы заняли удобную позицию и отстреливались как могли, но нам не очень-то давали высовываться. Нашего водителя ранило в руку. Мы знали, что нас наверняка будут окружать, если уже не окружили, и единственная надежда, что недалеко была наша «точка» и бой будет услышан. Так оно и вышло... После этого боя увидел свою фамилию в списках на представление к медали «За боевые заслуги». Эти списки отправили в Кабул, и мне оставалось только ждать вручения награды...

Однажды нас подняли по тревоге. Группа отправилась в рейд и нарвалась на засаду. Били с трех сторон. Понесли потери, пришлось отступить. Залегли. Через некоторое время выяснилось, что нет командира, старшего лейтенанта. Организовать поиск возможности не было. «Духи» наступали с упорством. Вдруг где-то выше оставленного участка мы услышали одиночные пистолетные выстрелы. Затем то ли послышалось, то ли действительно раздался крик: «Прощайте, ребята!» — который захлебнулся от взрыва гранаты. Через несколько минут подошла помощь. Появились «вертушки». Собрали убитых и раненых, а старшего лейтенанта так и не нашли...

Было и такое. Очередью прошили кузов машины, в которой ехали впятером — четыре солдата и командир взвода. Как ошпаренные вылетели мы из машины, залегли, стали отстреливаться. Колонна наша, взревев, пошла вперед, сбросив с дороги подбитую головную машину. Еще миг, и мы останемся одни. На размышление — считанные секунды. Первым вскакивает наш водитель Васька и, невзирая на стрельбу, прыгает за руль. «66-й» несется вперед, и мы уходим из-под обстрела, повиснув на бортах машины...

Всякое бывало в Афганистане. Ночью я стоял в карауле, и вдруг где-то совсем рядом стали стрелять. Редкие выстрелы перешли в захлебывающуюся перестрелку. Вздрагивала земля, и эхом прокатывался гул — это открыл огонь танк, единственный на нашей «точке». Началось! Хотя что началось, представления еще не имею. Ясно одно: рядом «духи» и, чувствуя свое превосходство, навязывают бой... Хочется бежать туда, где бьются наши ребята, но понимаю, что нельзя. В любую минуту можно ожидать нападения. Глаза привыкают к темноте. Канонада боя мешает сосредоточиться. Справа, в метрах двадцати, мелькнуло что-то белое и затаилось. С этой стороны наших нет. Даю длинную очередь и прыгаю в сторону за кучу угля. Ожидаю ответного огня, но его нет. Движения прекратились. Ну, что ж, придется полежать. Мне спешить некуда. Светает. Бой давно затих. Перебежками передвигаюсь к тому месту, где был ночной гость. А вот и он... От злости и досады сплевываю и матерюсь: на земле лежит белая с рыжими пятнами собака.

...Теперь расскажу о Коле. Он был высок и широкоплеч. С первых же дней поставил себя так, что слабые его боялись, подхалимы перед ним лебезили... Меня в нем раздражало все: поведение, жесты, поступки и, главное, двуличность. А еще он был трус. Трус в самом прямом смысле этого слова. Мне даже в какие-то моменты становилось его жаль. По ночам стреляют часто, к этому привыкаешь и даже не обращаешь внимания, тем более что часовой не бьет тревоги. Зато Коля, заслышав выстрелы, с неимоверной быстротой одевался, хватал автомат и подолгу сидел на кровати, вслушиваясь. В такие моменты с него слетала маска повелителя, и он превращался в шута. Первое время над ним смеялись, а он говорил так: «Вы — дураки. «Духи» нападут, я спасусь, а вы — нет»... Однажды ночью стреляли в часового, завязалась перестрелка. Мы вскочили и в темноте стали хватать оружие и одежду. Свет не зажигали, было опасно. В темноте натыкались друг на друга. Два раза я наступил на что-то мягкое. Вдруг кто-то, не то случайно, не то не найдя в темноте своего оружия, включил свет. И тут все увидели Колю, который забрался под стол, но из-за своего роста весь под ним не уместился, и на него-то я и наступал в темноте. Мы думали, он сделает вид, что случайно упал, но он только поднял голову и крикнул: «Гаси свет, дурак, заметят!»... Таким был наш Коля. Уверен, что, вернувшись домой, он будет рассказывать о боевых подвигах, бывают и такие...

В нашем московском батальоне было трое саперов. Точнее, сначала двое, а через полгода прислали третьего. Из нас он был самый «молодой», но не по возрасту, а по сроку службы — всего полгода. У этой троицы был свой, так сказать, ритуал. Собирали колечки от запалов поставленных ими мин и соединяли их в одну длинную цепочку. Установил мину — получи колечко в свою цепочку жизни. У самого «молодого» цепочка оборвалась уже на пятом кольце, а погиб он, взорвавшись на мине, установленной собственноручно, шестой по счету. Оставил автомат на минном поле, пошел за ним, надеясь, что запомнил, где расставлены мины, а память подвела...

Самым старшим из этой троицы был Павел, и о нем надо тоже рассказать. Однажды трое парней из соседнего подразделения зашли на минное поле. Один наступил на мину и погиб сразу. Двоих, покалечив, отбросило, но их еще можно было спасти. Попросили помощь у наших саперов. Павел молча собрался... Мы не спали, ждали его возвращения, но он не вернулся... Нашли его только утром. Слишком далеко его забросило взрывом. А тех двоих он все-таки спас. Вынесли их ребята, которых он провел по минному полю туда и обратно. Вот только сам задержался, попытался мину разминировать.

...Запас продовольствия подходил к концу. Надо было снаряжать колонну. Машины были, водителей не хватало. Зотов, или, как мы его звали, Зот, был водителем БТР. Он мог не ехать, никто его не осудил бы. Но когда комбат спросил: «Ребята, нужен один водитель на «66-й». Кто поедет?» — он сказал: «Я»... Прошла неделя. Ждали колонну обратно. Беспокоило, что «духи» притихли. И вдруг тревога: наша колонна попала в засаду. С бешеной скоростью мчимся им на помощь. Опять горы, дорога, крутые обрывы. Любое неправильное движение водителя — и мы в пропасти. Но нет, погибать мы не имеем права, там впереди гибнут наши ребята, мы им нужны, мы их последняя надежда. Вот уже совсем близко слышны разрывы. Впереди подбитый ЗИЛ. Водитель его не успел спастись. Под прикрытием танка мы подбираем с дороги раненых. Наконец бой затих, прилетели «вертушки». И только тут мы увидели наш «66-й», точнее то, что от него осталось. Он был переломан почти надвое, а водитель Зотов был мертв. Его машина везла сахар и сгущенку. Вместе с ним ехал прапорщик, который позже рассказал, как все произошло. Когда началась стрельба, Зотов решил на скорости проскочить участок обстрела. Две пули попали ему в живот. Стиснув зубы, он продолжал движение, и тут еще две пули попали в голову. Машина потеряла управление, а мчавшийся за ней БТР врезался в нее со всего маху... Следующий день был его, Зота, днем рождения, до которого он не дожил. Всего 16 дней оставалось ему до конца службы...

Вспоминаю, как мы возвращались домой в Союз. До Кабула добрались спокойно. Нас было 13 человек. Прошли в аэропорту таможенный досмотр, и тут диспетчер сообщает, что самолетов нет. Что ж, придется заночевать здесь. Всю ночь пролежали на голых, скрипучих кроватях, подложив под голову свои «дипломаты». К неуюту нам не привыкать, тем более что мысленно мы уже дома. Правда, от голода сосало под ложечкой, а еды никакой... На следующий день нам снова сказали, что самолетов нет, и это было странно, ведь мы видели, как офицеры, иные с женами, произвели посадку и улетели. Кто-то даже предложил взять самолет штурмом... Хотелось есть. Вот так мы тут и сидели, вспоминая, как на «точках», когда не было у нас сахара, в кружке с чаем или кофейным напитком разминали сухой кисель, размешивали и пили. Назвали напиток «Роза ветров». Кстати, придумал его я... Сели перекурить. Тут подкатывают несколько машин с молодыми ребятами. Это те, кто «служил» при штабе: каптерщики, водители, переводчики. Все как на подбор одеты в новенькие джинсовые костюмы, и в

каждой руке по увесистому тюку с магнитофонами «Сони» или «Шарп», дубленками и другим барахлом. Расположившись в курилке рядом с нами, стали доставать иностранные сигареты, чиркать музыкальными зажигалками, сравнивая мелодии... Видя все это, наши ребята приуныли и сидели подавленные. Я чувствовал, что некоторые еле сдерживаются: в то время, когда там, на «точках», наши погибают, эти барахлом похваляются... Настроение у нас было испорчено. Молча встали и побрели к аэропорту...

«МАТЬ СПРОСИЛА О КАЖДОЙ ЦАРАПИНЕ...»

Сергей Князев. После службы в ДРА человек становится совсем другим. Лично я стал непримирим к несправедливости, равнодушию, бюрократизму. Органически теперь не перевариваю пустобрехов, тех, кто, пообещав, не сделал, забыл, а также предателей, неважно, кого и что они предали — друзей, жену, идею. Стал более «сентиментальным», что ли: не могу спокойно смотреть военные фильмы. И буквально все преломляю сквозь призму Афганистана. Постоянно в мыслях образ Сергея Маркина, каждый месяц бываю у него на могиле. Часто мучаюсь над вопросом: почему теряются друзья? Каждый, наверное, испытал это. Сужу по себе: были у меня многочисленные друзья и знакомые по двум дворам, двум школам, секции, училищу, Монголии, а где они сейчас? Только ли годы и расстояния разлучили нас? А ведь было очень много общего: цели, интересы, трудности, казалось, что дружба наша — на века. Были вместе и в праздники, и в тяжелые минуты. А сейчас живут на одной улице, но годами — ни звонка, ни визита. В день рождения звонков от них уже не жду. Когда три месяца лежал в госпитале, только один и навестил за все это время, да и то после телефонного звонка — просьбы перевезти домой вещи...

В госпитале к нам в палату случайно зашел какой-то старший лейтенант. Разговорились. Он считал себя неудачником — надоело служить в Московском военном округе, не было особых перспектив в службе. В заключение он выдал нам, шестерым офицерам, у которых на всех не хватало четырех ног и трех рук: «Ребята, я вам завидую. У вас теперь спокойная жизнь, служба в РВК, в крупном городе, без нарядов, учений. Я бы, пожалуй, тоже махнул свою ногу на теплое местечко...» Мы были ошарашены. После секундного замешательства несколько пар костылей и все попавшееся под руку полетело в его сторону. Он испарился... Другой знакомый по телефону сообщил мне о гибели капитана Лукьянчикова. Первым из батальона он получил капитанское звание, еще при жизни был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, стал начальником разведки полка. В конце разговора звонивший сказал: «Жаль парня, так хорошо шел!» Меня буквально взорвало: «А если бы «шел» не так хорошо, было бы не жаль?» А он даже и не уловил смысла: «Жаль, но все же...» Спрашиваю себя: почему некоторые панически боятся Афганистана? Придумывают тысячи причин: маленькие дети! жена учится! теща болеет и т. д. Но ведь кто-то должен туда ехать, и кто-то поедет. Когда у меня спрашивают совета в этом вопросе, если человек «наш», если он простой и надежный,— советую ехать, испытать себя, проверить в настоящем деле. Если же человек «не того замеса» — от поездки его отговариваю. Сволочи и люди с «гнильцой» там не нужны. Остальным легче будет...

Когда мой друг Сергей Маркин был в отпуске и возил меня, тогда еще без протеза, по друзьям, у нас постепенно созрела идея — собрать всех служивших с нами вместе. День встречи определил командир батальона майор Александр Васильевич Царев — 9 мая. В 1985 году нас было 20, в 1986-м — 35, в 1987-м — 57! Целых четыре поколения батальона! Начиная от Героев Советского Союза Наби Акрамова и Игоря Плосконоса, командиров полка и батальона, кончая рядовыми и медсестрами. Приезжали с семьями, с женами и детьми. Со всего Союза — Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь, Урал, Украина, Закавказье. Офицеры шли в наряд в праздники, бывшие солдаты и сержанты отрабатывали выходные ради одной цели — буквально на сутки, но приехать 9 мая в Москву... Мы встречаемся, вспоминаем, поем наши песни, посещаем могилы друзей. Все между собой равны. Когда мероприятия завершены, часами не можем разойтись. Для всех нас теперь этот день — главный в году. Полгода после встречи живешь воспоминаниями, следующие полгода — ожиданием новой встречи. Я думаю, что клубы ветеранов потому и создаются, что возникает дефицит общения со «своими» людьми. Ждать встречи целый год трудно, а потребность общения постоянная. Хочется сказать всем «афганцам» — и тем, кто служит сейчас там, и тем, кто вернулся: «Ребята, больше всего на свете цените дружбу. Берегите себя и своих детей, берегите в хорошем смысле этого слова. И не теряйте друг друга. Помогайте друг другу, поддерживайте связь, создавайте свои клубы. Мы нужны друг другу!» И еще: «Не забывайте родителей и близких своих погибших товарищей». У нас в батальоне была традиция: после окончания службы солдаты и офицеры обязательно заезжали проведать осиротевших родителей и до сих пор поддерживают с ними связь. Ко мне часто обращаются родители, учителя погибших друзей и подчиненных с просьбами рассказать о службе и последних днях своих детей и учеников. Как нелегко это сделать! Надо вспомнить, еще раз пережить все случившееся, подобрать нужные в таких случаях правдивые слова, чтобы не было в них высокопарной фальши... Про Сергея Маркина я писал его учительнице две недели подряд, писал по ночам. Это — святое дело...

Хоронили Сергея 9 февраля, а 16-го у меня должна была состояться свадьба. Все было готово, ребята уже начинали съезжаться — и вдруг весть о Сереге... Хотел свадьбу перенести, но друзья отсоветовали. Из 80 гостей «афганцев» было двадцать. Что у нас творилось в душах — описать трудно. С одной стороны — счастье и веселье, с другой — слезы в глазах, огромное чувство вины друг перед другом, перед сестрой Сергея — Ниной. Зная, как любил Сергей жизнь, всех нас, как хотел и ждал он этой свадьбы, мы веселились. Сквозь слезы, но веселились. Заказывали его любимые песни...

Хочу рассказать, с каким бездушием приходится сталкиваться нам, бывшим воинам. Когда я был в ДРА, умерла моя мать и меня выписали из нашей квартиры. Пять раз я ходил в милицию, просил восстановить прописку и каждый раз встречал возражения. Не забуду и то, как из-за отсутствия той же прописки лишь с третьего раза приняли документы в загсе, ведь для всех инстанций я перестал быть москвичом... Когда оформлял инвалидность, собрал все справки, прошел всех врачей, и вдруг — «не та» формулировка в истории болезни. Вместо короткого: «Ранение получено при исполнении обязанностей воинской службы» — было более литературное: «В спецкомандировке в ДРА, в бою по ликвидации бандформирований мятежников, получил тяжелое огнестрельное ранение...» Согласен, непорядок, но ведь было же после той записи свободное место, куда можно вписать требуемую формулировку. В кабинете сидели три женщины, у каждой значок «Отличник соцобеспечения», и сделать запись они отказались. Предложили послать четыре запроса в места, где лечился. По времени это заняло бы в лучшем случае три месяца. А иначе — «3-я группа вследствие общего заболевания». Как это услышал, в глазах потемнело. «Так что же получается? — говорю.— Поехал я по льготной профпутевке на курорт в Афганистан и там в нетрезвом виде попал под трамвай? Так, что ли?» В ответ: «Да, примерно так. Это ваши трудности». Каюсь, не выдержал, ударил по столу тростью с такой силой, что все эти тетеньки попадали со стульев и залезли под столы. На следующий день в Мосгор-ВТЭК поехала жена и... все уладила. Просто допечатали нужные строчки — и никаких проблем... Главный урок для себя — в подобные учреждения хожу теперь без трости. От греха, как говорится, подальше.

Или вот еще пример бездушия. Полтора года не могли установить памятник на могиле Сергея Маркина — говорили нам, что якобы из-за отсутствия черного камня. Сколько пришлось ходить по разным конторам! Даже письмо в «Красную звезду» не помогло. А, как оказалось, надо было сделать самую малость — дать «сотню сверху»... Мы дали бы в десять раз больше, но опять же, зная характер Сергея, сознавали, что он никогда не простил бы нам этого. Сделали

иначе — дружно нагрянули в тот гранитный цех, пригрозив его разгромить, и это все решило...

Есть люди, для которых Афганистан — боль памяти и сердца. А есть и такие, для которых он пустой звук, которые не знают и не хотят про него знать. Выступали мы как-то в Доме политпросвещения. Беседовали с молодежью, рассказывали о клубе, пели свои «афганские» песни. Девизом клуба мы взяли строчку из военных стихов Ю. Друниной «За тех, кто в полный поднимался рост». Сергей Кузнецов написал музыку, и свои выступления мы начинали с этой песни, в которой есть такие строчки: «Давайте в кружки разольем вино, мой первый тост и мой последний тост за тех, кто в полный поднимался рост!»...

Завершился вечер, и вдруг к нам со сжатыми кулаками подбегает средних лет солидный мужчина и буквально набрасывается на нас: «Как вам не стыдно! Вы, «афганцы», уважаемые люди, пропагандируете перед молодежью употребление спиртных напитков!» Оказалось, активист Общества трезвости...

Как мы создавали свой клуб? Идея принадлежала секретарю Перовского РК ВЛКСМ Сергею Локтионову. Мы встретились по счастливой случайности, потом пригласили ребят-«афганцев», побеседовали. Кто-то честно сказал: мне это не надо. Кто-то считал, что создание такого клуба лишь в интересах райкома комсомола или райвоенкомата... Решили все испытать на себе: откликались на любые предложения...

Клуб мы назвали «Долг». В этом слове для нас соединилось несколько понятий. Выполненный воинский и интернациональный долг. Долг перед нашими погибшими друзьями, перед получившими увечье и инвалидность, перед их родными и близкими. Долг перед молодыми ребятами, которых хотим подготовить к службе в армии, научить преодолевать трудности...

Иосиф Антонов. Когда наш поезд подъезжал к Москве, меня охватил озноб. Прибыли на Белорусский вокзал, но я не мог никак поверить, что наконец-то дома. Минут пятнадцать искал метро. Наконец доехали до Новогиреева. Со мной было еще четверо ребят, они через Москву ехали дальше, и я пригласил их погостить у меня. Ну, а когда подходил к своему дому... С тех пор прошло пять с половиной лет, но такое ощущение, что вернулся только вчера. Мы встречаемся с однополчанами, а 2 августа, в День воздушно-десантных войск, идем в парк Горького отдать долг нашим погибшим...

Тяжело терять друзей на войне, еще тяжелее — в мирной жизни. У меня был отличный друг, Игорь Никитин, с которым прошли огонь Афганистана. Как-то получилось, что не виделся с ним долго, месяцев пять. Оба люди семейные, забот хватало. Потом случайно встретил Женьку Павлова, и он мне рассказывает, что Игорь... погиб. Он был таксистом, не справился с управлением и вылетел в Москву-реку. Помог пассажирам выбраться из машины, а сам утонул...

Сергей Локтионов. Дома, в деревне, я долго не мог найти себе места в прямом смысле слова. Выхожу на улицу, а что-то мне не нравится, а что, не могу понять. Сам какой-то стал не такой, раньше веселый был, балагурил, а тут — в себя ухожу. Вокруг музыка другая, мода изменилась. Иду домой, сажусь телевизор смотреть. Полтора года не смотрел телевизор, отвык от него... Некому было излить душу. Хотелось иногда закричать: послушайте, все, что я вам скажу, правда! И стал бы я рассказывать все, что пережил в Афганистане от первого дня до последнего... Пробовал несколько раз, но когда видел, какими глазами на меня смотрят — как на больного или как на вруна,— останавливался. Очень обидно было. Родители меня тоже не понимали. Они не верили, что их сын участвовал в боевых действиях. Единственный, кто меня понял, был дед. Посмотрел на мою медаль, сказал, что у него такая же, за Великую Отечественную... Похлопал по плечу, держись, говорит. У меня изменилось отношение к войне. Трудно это описать, но я стал понимать, что за оружие надо браться лишь в крайнем случае, и то для защиты. Сейчас, встречаясь на «гражданке», парни из Афгана друг друга понимают с полуслова. И держатся друг за друга особенно как-то. Цели в жизни у меня — чтобы больше стало таких людей, как Князев Сергей, Антонов Иосиф, Галактионов Виктор и другие «афганцы» из нашего клуба. Пусть молодые парни вырастают похожими на них... Вырастить дочь... Учиться... Хотя, конечно, катастрофически не хватает времени.

Игорь Ерин. За два долгих года здесь все очень изменилось... Сам я по-другому стал смотреть на многое. Уже не волнуют те книги и фильмы про войну, которые читал и смотрел до службы. Наверное, потому, что сам видел войну... Мне кажется, что там мы выполняли тяжелую и трудную работу, которая нужна народу Афганистана. Все это не может забыться. Уже прошло четыре года, как я вернулся, но до сих пор еще тянет в свой полк. И очень хочется увидеть всех тех, с кем свела служба...

Сергей Кузнецов. Первое, что поразило в Союзе после возвращения из Афганистана,— тишина. Очень непривычно... Сразу же пошел учиться на подготовительное в МИСИ. На отделении у нас собрались те, кто отслужил армию. Когда уходил служить, в моде были брюки «клеш» и только начинали входить «дудочки». А пришел — они уже на последней стадии. И на дискотеках танцуют не то, что мы танцевали. Первое время меня совершенно не понимала мама, потому что я говорил на «афганско-украинском» языке. До сих пор мелькают у меня такие слова, как «бакшиш», «хануум», «шурави», «хуб», «хорон», «дуктар». Это ходовые слова в Афганистане. Мама сейчас уже некоторые понимает... Очень хочется, чтобы побыстрее все разоружились, чтобы не было войн, потому что видел и знаю, что такое смерть. И не хочу, чтобы моя дочь видела это. Лучше стал понимать ветеранов Отечественной войны. Они же тоже молодыми возвращались после войны... Не могу слышать, когда плохо говорят о Родине, о России, хотя и сам сознаю, что не все у нас пока хорошо. И не всем хорошо. Это я о семьях погибших. Мы к ним ходим, спрашиваем, чем нужно помочь. Многие даже не знают своих прав и льгот. Заказы, например, им положены, а их не дают. Кто-то обирает на крохах. Одной семье дали тысячу рублей на памятник сыну, а у них такое чувство, что как будто откупились, потому что на этом все и кончилось. Ордена его лежат, фотография висит на стене, а сына нет, и никакими деньгами его не вернешь...

Я был бы рад, если парням, которые едут служить в Афганистан, не пришлось бы слышать грохот разрывов, видеть раны или смерть товарищей. Но служба есть служба, и ее основные законы остаются в силе. Что бы я им пожелал? Во-первых, не быть «стукачами», а такие есть. Во-вторых, всегда помогать товарищам... Слушаться старших... Никогда не падать духом. Вот и все...

Остальное досказал бы в песне, которую сам написал и назвал коротко: «Сон».

Я ночью видел ту войну,
Что девять лет идет в аду,
Как БМДешки там горят,
Что о засадах говорят.
Сквозь сон я слышу: «Шурави!
А ну давай сюда иди!»
И встать хочу, но не могу,
И все как будто наяву.
Затем мне снится перевал.
Не знаю, как сюда попал.
Туннель Саланга, Чарикар,
Дворец Амина, Кандагар,
Газни, Фарах, Джелалабад,
Потом вдруг — я стою один,
Среди друзей и их могил.
Во сне увидел я Москву
И дембель свой, клуб и жену,
Как родилась в июне дочь,
Вдруг пустота — срываюсь в ночь.

В поту проснулся утром я,
Не знаю, что со мной, друзья,
И вот я песню написал,
Куда и как во сне летал.

Владимир Левшунов. ...Потом был Ташкент. Скорее хотелось попасть домой, но билетов на Москву не было. Взял билет на ближайший рейс в Омск. Из Омска в Москву тоже вылететь не удалось, полетел в Горький. А уже из Горького поездом в Москву... В первые дни трудно было охватить разумом, что служба уже окончена, что ты гражданский человек. Многое изменилось в моем восприятии окружающего. Дико смотреть на нескончаемые очереди за джинсами, кроссовками, на радостные лица обладателей только что купленного дефицита. У нас теперь другая радость — встречаться с друзьями, вернувшимися из госпиталя. После Афганистана начинаешь четко осознавать, где в жизни истинные, где ложные ценности. Песни самых модных групп не могу сравнить с песнями, которые мы пели с ребятами в Афганистане в свободные минуты. Много времени прошло с тех пор, как уволился в запас, и многое стало обыденным — работа, учеба. Но постоянно живет в душе чувство ответственности за порученное дело, когда сознаешь, что должно быть именно так, а не иначе, и что перед памятью тех, кто погиб, ты не имеешь права пугаться трудностей. В людях начинаешь ценить не внешнюю сторону, а их духовную сущность. Сразу же после армии встретил свою одноклассницу. Она стала моей женой, и я бесконечно благодарен ей за то чистое и светлое чувство, которое она мне подарила. Почти четыре года нашей семье, растет сын. Без ее помощи и поддержки я бы сейчас не учился на четвертом курсе Московского энергетического института, духу не хватило бы...

Виктор Галактионов. Я вернулся домой в то время, когда в стране началась перестройка. Многое изменилось, но многого еще надо добиваться. К семьям погибших, я считаю, должно быть особое отношение. Не так заботливо и внимательно относятся к инвалидам, хотя на этот счет много разных инструкций и разговоров. Тем, кто идет служить в армию, надо рассказывать не о подвигах, которых от них ждут, а о трудностях, с которыми они встретятся...

Валерий Волгунин. Когда вернулся домой после госпиталя, долго чего-то не хватало. Ребят, службы... Ночью в снах все воюешь и воюешь... Помог наш клуб: стали собираться ветераны, обсуждать свою жизнь, встречаться с людьми, ездить в госпитали. Самое трудное — поездки к семьям погибших. Все время кажется, что вот сейчас они тебя спросят: а почему пришел ты, а не мой сын?..

Андрей Муслаев. Дома в Москве встретили со слезами радости. Конечно, сначала все приставали: как там? Рассказывал, но только потом стал понимать, кого мои рассказы волнуют, а кто просто делает вид... Мать меня всего осмотрела, спросила о каждой царапине и шраме, которых у меня, кстати, хватало и до службы — и в уличных драках заработал, и на хоккейной площадке... Сейчас могу сразу понять, кто действительно переживает за наших ребят, которые там, а кому нет никакого дела до них. К примеру, дома, когда собираются родственники и друзья, смотришь, как берут они мои боевые фотокарточки. Кто пробежит глазами и отложит, а кто каждую рассматривает долго-долго и все спрашивает, спрашивает... Сначала хотел забыться, уйти в себя, потому что мало кто нас понимал. Запил. Наверное, от обиды. Все-таки заметна несправедливость. Одним все, а кому-то ничего. А там у нас все поровну было. Здесь и народ злой какой-то. Друг на друга кричат, неуважение к старшим. И это не в единичных случаях, к сожалению. Спекуляция процветает, везде нужны деньги, а где их взять? Не воровать же, а заработанных не хватает... А что творится в магазинах? Везде очереди, если что-то хорошее выбрасывают. Хватает несправедливости, и часто кулаки чешутся, когда это видишь. Влезешь в драку, так и сам виноват будешь, и заберут тебя в милицию, как уже было, когда хотел правду найти... Обидно становится за нас всех. Ездил в одну семью, у них сын погиб в Афганистане, они рассказали, что в военкомате выдали им деньги—и все, слова доброго не сказали. А ведь это так страшно, когда родители переживают своих сыновей... Ночью по сей день хожу с ребятами в засады, сопровождаю колонны. Капитан Соломенцев опять жив и снова с нами вместе. Но просыпаешься, и ничего этого нет...

Рашит Газизуллин. Что изменилось? Иногда мне кажется, что мне не 25, а гораздо больше. Наверное, потому, что Афганистан стал вроде катализатора: взрослеешь, зреешь быстрее, чем в нормальной жизни. В Афгане легче распознать, чего в каждом из нас больше — хорошего или плохого. И память о хорошем бунтует, когда соприкасаешься с нынешней жизнью здесь, в Союзе... Я вышел, что называется, сухим из воды. Не контужен, не ранен, и, может, поэтому есть чувство вины перед ребятами-инвалидами, получившими ранения в бою. Или перед теми, кто в мирных условиях был ранен равнодушием. Может быть, это комплекс? Не знаю. Однозначно, что для решения наших проблем нам надо быть вместе. Вместе думать, обсуждать, помогать друг другу. Вместе мы сила. Вместе будет легче и каждому осуществить свою цель. Для меня это — поступить в МИУ. Получить знания, работать, приносить пользу обществу. Это не просто высокие слова, для меня в них большой смысл...

Олег Титов. Прошло уже пять лет, как я переступил порог родного дома. Женился. Растут две девочки. Старшая Оксана, ей 4 года, младшая Алена, полтора года. Теперь думаем о мальчике. Хотя жена боится, что придет время и он тоже может попасть в Афганистан. Уже можно сказать — боялась... Но как будут переживать матери нынешних «афганцев» эти месяцы вывода наших войск, как будут считать они дни и часы!.. Первые дни меня очень тянуло обратно. Туда, где настоящая дружба и друзья. Туда, где нет бюрократизма и лицемерия, с которыми приходится сталкиваться здесь. Но после свадьбы и рождения детей начались семейные будни... Уже не так рвусь в Афганистан, потому что раньше я был один, а теперь у меня семья. И что самое страшное, стал втягиваться в обыденную жизнь, где нет никакого дела до того, что происходит там... Первое время я шарахался от таких вопросов: «Ну, как там, стреляют? А ты хоть раз стрельнул?» Ну, а те, кто хоть немного просвещенней, спрашивали: «Ранения есть? Награды?» И когда я отвечал: «Нет» — теряли интерес. Я пытался рассказывать о том, что там пережил, но, видя, как недоверчиво на меня смотрят, замкнулся. Где-то вычитал или услышал такую фразу: «Они туда едут, чтобы привезти побольше шмоток». Очень хотелось бы отправить говорившего за этими самыми шмотками в Афганистан... Нас часто спрашивают про клуб «Долг» — что нас объединяет? Это, конечно, общность памяти, ответственности, интересов. И желание быть вместе. Устраиваем встречи с призывниками, со школьниками, с рабочими, служащими. Рассказываем правду об «афганцах», о службе, о ребятах, которые не вернулись. Показываем песни, которые поют наши ребята в минуты отдыха. Песни, сочиненные там, в Афганистане. Наш бард Сергей Кузнецов пишет прекрасные песни и сам исполняет их... Для меня клуб, как спасательный круг. Я чувствую, что он поможет вспомнить, каким я был, вытащить таких же, как и я, из трясины обыденности, пока она не затянула с головой. А значит, мы еще повоюем — с бюрократами, очковтирателями, всяческой нечистью — всеми теми, кто занимает не свои места в этой жизни...

Сергей Чупринин

ВАКАНСИЯ ПОЭТА

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И ЕГО ВРЕМЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Тургенев, как известно, считал, что в стихах Некрасова поэзия и не ночевала. Зато, когда Достоевский на похоронах поэта поставил Некрасова вровень с Пушкиным и Лермонтовым, из толпы раздались молодые голоса: «Он выше их, выше!»

История, похоже, повторяется — если судить по тому, что пишут в последние годы о Владимире Высоцком, как, говоря разное и по-разному, с одинаковой энергией противятся любому соотнесению его с поэтами-современниками, любой попытке определить место и роль «неистового барда» в литературе 60—70-х годов.

Высоцкий — больше чем поэт,— твердят одни,— или, во всяком случае, больше, крупнее, «выше» каждого из своих современников. Высоцкий вообще не поэт, настаивают другие, соглашаясь, кажется, нехотя, через силу,— признать, что «это был талантливый актер», но вот беда: «актерский дар его замалчивают, активно делают из него большого поэта» («Наш современник», 1988, № 3, стр. 182)...

Пересмотрите все, написанное о Высоцком в дни его шумно отмеченного 50-летия, и вы увидите, что за вычетом лаконично-емкого эссе Д. Самойлова в «Неделе» и глубоких, пронизанных «теоретическим темпераментом» статей Вл. Новикова в сборнике «Четыре четверти пути» («Физкультура и спорт», 1988), в журналах «Октябрь» и «Русская речь» разговор идет по-прежнему почти исключительно о *личности* или в самом лучшем случае о *феномене* Высоцкого, но никак не о его произведениях. Сказано-то и превозносителями и отчасти хулителями много дельного, это так, и все же, думаю, именно юбилейные торжества показали, что фаза экзальтации, чисто эмоциональных, как правило, риторических и публицистических оценок уже пройдена, психологически изжита.

Спорить о Высоцком, о том, подлинная он величина или мнимая, стало уже скучно. Следовательно, нужно приближать время, когда — процитирую Вл. Новикова — «появятся точные филологические чертежи дома, который построил Высоцкий». Нужно, давно пора — самечу уже от себя — говорить о Высоцком не только как о «неповторимом феномене», «десятиборце» и уникальной натуре, но и как о поэте, как о *профессиональном* литераторе, множеством нитей связанном и с реальностью современной жизни, и с реальностью современной поэзии.

Тут бездна трудностей.

Хотя бы даже чисто аналитических: живое на магнитофонных пленках творчество Высоцкого, может быть, действительно несколько обесцвечивается на бумаге. Оно не вмещается в строгие контуры письменности, так что недаром «подходившие с меркой обычной отступались...», небезосновательно боясь подвергнуть «суженью после смерти» и этот «отчаяньем сорванный голос», и эту вызывающую самобытность, этот — как в «Песенке про прыгуна в высоту» — отказ поэта ради удобства комментаторов «свою неправую правую» сменить «на правую левую».

И все-таки главная трудность, на мой взгляд, не в гитаре и не в «менестрельстве», а в том, что в отличие от, допустим, Б. Окуджавы или Н. Матвеевой Высоцкий с самого начала был воспринят публикой как «беззаконная комета в кругу расчисленном светил», как антипод, противовес, как, наконец, *альтернатива* всей нашей поэзии 60—70-х годов.

В нем нуждались и его ценили до обоготворения не только стихолюбы и даже не столько они, сколько те, кто к поэзии в общем-то равнодушен или более чем равнодушен. В его песнях и видели не стихи, заждавшиеся встречи с печатным станком, а нечто совсем иное, в принципе непечатное, близкое, может быть, не современной литературе, а современному городскому фольклору: анекдотам, «блатным» романсам, «скоромным частушкам», эпиграммам в стиле «черного юмора». Соединительный союз «и», во всех других случаях уместный («Имярек и поэзия наших дней»), тут чаще прочитывался как разделительный «или» («Высоцкий или поэзия наших дней»).

И корень разлада, конечно же, не в том, что Высоцкий, случалось, рифмовал «кричу-торчу» или отступал от канонической метрики и нормативного

словоупотребления. Виртуозность Высоцкого даже как просто версификатора очевидна, и ясно, что сказать:

> Горы спят, вдыхая облака,
> Выдыхая снежные лавины,—

или:

> Штормит весь вечер, и пока
> Заплаты пенные латают
> Разорванные швы песка —
> Я наблюдаю свысока,
> Как волны головы ломают,—

мог только истинный поэт. Ясно, думаю, и то, что, аукаясь со многими и многими современниками, откликаясь поющей строкой на импульсы классики, «своей» Высоцкий считал — и вполне осознанно, оправданно считал — так называемую «эстрадную поэзию», которая усилиями А. Вознесенского, Евг. Евтушенко, Б. Окуджавы, Р. Рождественского взойдя на гребень к середине 60-х годов, жестоко испытывалась застоем как раз в те дни, когда срывал свой голос Владимир Высоцкий.

Он полемизировал, спорил с этими поэтами. Он, бывало, вышучивал и пародировал их манеру, их образы в своих песнях, что высвечено и, как мне кажется, даже утрировано в мемориальном — прекрасном, впрочем,— представлении Театра на Таганке. Но он у них и учился, так что внимательный глаз обнаружит не одни лишь реминисценции и переклички (особенно, кажется, с А. Вознесенским), но и единство во взглядах на поэзию, совпадения в принципах работы как со словом, так и с тысячеглазой, доверчиво затихшей в ожидании чуда аудиторией.

Если не бояться невольной иронии, то можно в этом смысле заметить, что мечты А. Вознесенского о «поэтическом сыне класса «Ан» и «707-Боинга», равно как и надежды Евгения Евтушенко на «мальчика», что «встанет, узнанный, над миром и скажет новые слова», сбылись раньше, чем задумывалось, и сбылись они, реализовавшись в голосе и судьбе не «сына», правда, а «младшего брата», «последыша» в славной некогда семье.

Но лучше все-таки сказать, что многое, как бы «паспортизированное» Высоцким, сросшееся с ним (например, многомасочность и контактность лирического героя, стремление — и умение — сплавить жаргон с высоким штилем, пафос с сарказмом, речевые и идеологические штампы с их пародийным отрицанием, а также демократизм, отчетливая социальность стиха, когда даже интимное признание звучит как публицистический выпад), поэтом было не открыто, а перенято у старших его современников.

Перенято — и многократно усилено: гитарой, хриплым баритоном, чисто актерским «протеизмом», когда исчезает всякий зазор между певцом и разыгрываемой им ролью, а главное, усилено совершенно фантастическим, тут уж поистине феноменальным даром Высоцкого каждую песню проживать вот именно что «на разрыв аорты».

Итак, перенято, многократно усилено, освобождено от случайных примесей — и брошено в страну, в народ, только-только начинавший опоминаться от лихорадочного возбуждения, вызванного и надеждами на дальнейшую «десталинизацию и демократизацию», и верою в то, что, глядишь, и в самом деле «нынешнее поколение советских людей» заживет в беспечальном раю.

Так что не только в личных качествах «неистового барда», не только в его таланте, но и в свойствах времени, общественного сознания существо мучающей нас загадки. И мы, я уверен, не стронемся с места, пока не скажем просто и ясно, что стихи и песни Владимира Высоцкого явились наиболее концентрированным и ярким *ответом* русской поэзии на все то, что ныне принято называть «застоем», «предкризисными факторами», «нарушением принципов гласности и социальной справедливости».

Перерастая, как и всякий подлинный поэт, рамки своей эпохи, «прописан» Высоцкий все-таки именно в этой. И всенародный — причем, если можно так выразиться, «всеслойный», объединивший самые разные социальные группы — размах его популярности не будет объяснен, если мы не оглянемся на те настроения тягостной, обезволивающей смуты, разочарованности и «в чужом пиру похмелья», которые захватили общество на добрые двадцать лет да и по сей день еще, кажется, не вполне изжиты.

Что с нами происходит? — спрашивал, как помните, Шукшин, ужасаясь тем, что в наших душах социальная апатия совмещается с социальным же раздражением и едва ли не озлоблением, а духовная жажда сплошь и рядом утоляется либо жутковатыми «забегами в ширину», либо не менее жуткими попытками построить то ли коммунизм, то ли «общество изобилия» в одной, отдельно взятой семье. Что с нами происходит? — допытывался и Высоцкий, и не случайно народная любовь соединила эти два имени, увидев в них тех, кто и впрямь не смог жить без идеалов, кого — по классической формуле — убило отсутствие воздуха.

Удушье-то, в том числе и удушье от комфорта, от комфортного безделья и комфортной безответственности, чувствовали многие. Может быть, даже все чувствовали, и в этом смысле «Охота на волков», к примеру:

> Рвусь из сил — и из всех сухожилий,
> Но сегодня — опять как вчера:
> Обложили меня, обложили —
> Гонят весело на номера! —

сходную реакцию вызывала и у люмпенов, скрывающихся от семьи, производства и милиции, и у «больших людей»,

каждый из которых мог бы тоже, пожалуй, «об стакан бутылкою звеня», выпалить в минуту душевной расхристанности: «Да это ж про меня! Про нас про всех — какие, к черту, волки!» Возникал пусть краткосрочный, обманчивый, ни к чему решительно не влекущий момент социально-психологического единения, или, лучше сказать, социального взаимопонимания между «верхами» и «низами»: все, мол, мы люди, все человеки, все под богом ходим и в себе не вольны; сегодня я, мол, тебя, а завтра...

Эту способность поэзии Высоцкого порождать чувство единения, пусть иллюзорного, стоит запомнить. Но мы пока о другом. О том, что все-таки именно у Высоцкого и только у Высоцкого ощущение удушья стало, во-первых, господствующим тоном судьбы и стиха, а во-вторых, связалось «с гибельным восторгом», с чувством физической невозможности и дальше существовать вот так — без воздуха и вне воздуха:

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше.
И ужас режет души
Напополам...

И именно Высоцкому и в полной мере только Высоцкому, если говорить о поэтах, не удалось совладать с собственной природой и осуществить заветнейшую мечту человека эпохи застоя: «Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать...»

И тут самое время вспомнить, что на воцарение застоя, поначалу осознанного многими как благодетельная стабильность, едва ли не вся поэзия ответила резким понижением гражданственного тонуса, отказом не только участвовать в имитации общественной жизни, но даже и задевать те социальные, социально-нравственные проблемы, о которых нельзя было высказываться свободно.

Речь, понятно, сейчас не о присяжных одописцах, в которых недостатка, само собою, не было и в годы застоя, но что ж о них-то говорить?.. Речь и не о тех публицистически раскаленных стихах, что, как выяснилось впоследствии, все-таки писались и тогда, но по причинам, от поэтов, как правило, не зависящим, своевременной огласки не получали и потому для широкой читательской аудитории как бы не существовали вовсе.

Речь о шедших в печать и к читателям книгах, публикациях, среди которых было немало замечательных, но которые на разный манер и с разными, возможно, целями, с разным, во всяком случае, уровнем осознанности формировали этику *неучастия* и стоического *терпения*, «тихого, окопного героизма», как выразился один из критиков.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке, поменять»,— писал Александр Кушнер в минуты, когда жизнь казалась и была особенно гадкой, утешая и себя, и читателей тем, что выпадали и худшие ведь времена:

Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?

«Замри на островке спасенья в резервной зоне, посреди проспекта — и покорно жди, когда спадет поток движенья»,— твердил Александр Межиров, и свой «Островок безопасности» искал Александр Аронов, а Давид Самойлов будто подытоживал:

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.

Так — в одной линии движения российского стиха. Но так же и в другой линии, недаром принявшей самоназвание «тихой лирики».

«По холмам задремавшей отчизны» туда, где высится, «как сон столетий, божий храм» и где «в избе деревянной, без претензий и льгот», живет бессловесный и безропотный «добрый Филя», умчалась муза Николая Рубцова. «Гигантское забытье», «кондовой сон России» пригрезились Юрию Кузнецову. «Как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле», склонился над милой красотой природы и культуры Владимир Соколов. «Предосенний свет», скудные краски увядания несла в себе лирика Анатолия Жигулина. Подалее от событий, поближе ко «дну» и «истоку» лирических воспоминаний и интимных переживаний, натурфилософских и историософских откровений увели читателей Алексей Прасолов и Анатолий Передреев, Олег Чухонцев и Василий Казанцев, Николай Тряпкин и Глеб Горбовский...

Говоря все это, я никоим образом не хочу задеть честь или умалить достоинство поэтов-современников Владимира Высоцкого. «Каждый выбирает по себе» (Ю. Левитанский), и незачем — даже во имя благих побуждений — навязывать, скажем, поэту-философу несвойственную ему роль «агитатора, горлана, главаря», как незачем от Тютчева и Фета, Майкова и Щербины, Полонского и Мея требовать того, что было присуще Некрасову. Это во-первых. А во-вторых, в позиции, основывающейся на неучастии во лжи и на упрямом, хотя и терпеливом несогласии с кривдой, много благородства. И много правды, отражающей, надо думать, важные стороны характера, души, натуры наших соотечественников; не случайно ведь в национальном пантеоне такое почетное место занимают образы праведников и смиренников, миротворцев и утешителей народных...

Это так, и весь вопрос лишь в том, что одним смирением и долготерпением натура русского человека, по-видимому, не исчерпывается. Были ведь на святой Руси и смутьяны, и бунтари, были Разин и Пугачев, Радищев и Рылеев, Некрасов и Маяковский. Даром, что ли, Белинский утверждал, что уже «в удельный период» русскому народу были свойственны «скорее гордыня и драчливость, нежели смирение»? И даром ли он же, Белинский, писал, что даже «грусть русской души имеет особый характер: русский человек не расплывается в грусти, не падает под ее томительным бременем, не упивается ее муками... Грусть у него не мешает ни иронии, ни сарказму, ни буйному веселию, ни разгулу молодечества: это грусть души крепкой, мощной, несокрушимой».

Вот почему мы вправе сказать, что в литературе застойного времени, изобильной талантами, все-таки «оставленной» оказалась «вакансия поэта» — поэта «буйного веселия» и «молодечества», поэта социального протеста и неусмиренного гнева.

Взять на себя эту «вакансию», что, по определению, «опасна, если не пуста», суждено было Высоцкому. В этом «ролевом» предназначении и именно в нем главная разгадка. Здесь он — так, во всяком случае, казалось — не имел соперников и один — как опять-таки казалось — тянул бурлацкую лямку прямой гражданственности...

А что же, спросят, поэты «эстрадного призыва», «старшие» — хотя бы по выслуге лет — в родной для Высоцкого «семье»?

Я ни полусловом не хочу задеть честь и этих поэтов. Тем более что они действительно били в одну с Высоцким точку. Стоит сравнить стихотворение «Время на ремонте», написанное Андреем Вознесенским еще в 1967 году:

Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье, не слишком
ли ты подзатянулось?
. . . .
Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки!
. . . .
И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт,—

с «Песенкой об обиженном времени», созданной Высоцким в 1975 году для диское спектакля «Алиса в стране чудес»:

И колеса времени
Стачивались в трении —
Все на свете портится от трения.
И тогда обнищалось время,
И застыли маятники времени.
. . . .
Смажь колеса времени
— Не для первой премии —
Им ведь очень больно от трения.
Обижать не следует время.
Плохо и тоскливо
жить без времени,—

чтобы увидеть единство социальной позиции этих поэтов. Стоит и многочисленные выпады Евгения Евтушенко в сторону «лжевозвышенного фетства, мурлыканья с расчетом на века» сопоставить с характерным для Высоцкого неприятием «мелкой философии на глубоких местах»:

Иные — те, кому дано,—
Стремятся вглубь — и видят дно,—
Но — как навозные жуки
И мелководные мальки...—

чтобы увидеть единство их литературной позиции. Но — и об этом тоже нужно сказать с нестеснительной определенностью — единые в посыле, в «строчечной сути», стихи поэтов «эстрады» и песни Высоцкого подавляющим большинством публики были восприняты совершенно по-разному, как явления из абсолютно несовместных литературных и нравственно-гражданских рядов.

Корень здесь — повторю для ясности — именно в восприятии. В том, что поэтическая «эстрада» в годы застоя оказалась до известной степени скомпрометированной.

И критикой: тут, в клеймении «эстрады» тавром «массовой культуры» и «стихотворной беллетристики», соединили свои усилия ни в чем остальном, кажется, несогласные меж собою Ст. Рассадин и В. Кожинов, Б. Сарнов и М. Лобанов, В. Кардин и Т. Глушкова.

И тем, что поэзия «эстрады» осознавалась как своего рода литературный эквивалент и даже отчасти символ тех оказавшихся беспочвенными надежд и того быстро выдохшегося социального оптимизма, что владели умами на рубеже 50—60-х годов. Люди, составлявшие аудиторию Политехнического и Лужников «в те баснословные года», равно как и их «младшие братья», а позже и «дети», почувствовали себя вправе предъявить счет тем, кто от имени будущего обещал им столь многое и обещал столь громогласно.

Счет был предъявлен, а в ответ... А в ответ либо вздох о нежданно быстром «конце прекрасной эпохи»:

Вахту я нес на рассвете вчера.
Сколько мной было загадано!
Ну а сегодня иная пора.
Вахта моя закатная.
(Евг. Евтушенко),—

либо покаяние, рискованно смешанное с попыткой самооправдания:

Мы рано родились,
желая невозможного,
но лучшие из нас
срывались с полпути,
мы — дети полдорог,
нам имя — полдорожье,
прости.
(А. Вознесенский)

Есть и еще одно обстоятельство, о котором при всей его щекотливости не упомянуть нельзя.

«Опальные» и «полуопальные» в пору общественного возбуждения 50—60-х годов, поэты «эстрады» были в годы застоя скомпрометированы вот именно что тиражами, изданиями и переизданиями, собраниями сочинений, престижными премиями, частой и широко афишируемой «ездой в незнаемое» зарубежье. Внутренняя, глубинная драма этих поэтов была сокрыта, и в глазах публики (во всяком случае, «просвещенной», падкой на пересуды) их смелость казалась, увы, поощряемой начальством; обычная сдержанность выглядела непростительным осторожничаньем; а «опалы» (например, «опала» А. Вознесенского после скандала с альманахом «Метрополь») представлялись шутейными уже ввиду их скоротечности...

Высоцкий — и здесь одно из важнейших, ничем не заменимых условий его популярности — был надежно предохранен от подобного рода подозрений. И тем, что ие был при жизни удостоен наград. И тем, что успел увидеть напечатанным лишь одно-единственное свое стихотворение. И тем, наконец, что нет в его наследии вещей, про которые можно было бы, глумясь, сказать, что они написаны в видах корысти или конъюнктуры.

Слабые есть. Конъюнктурных нет. А такое в России испокон веку ценится. И ценится даже теми, кто по долгу ли службы, по гнусности ли натуры соблазняет поэтов корыстью или толкает их на путь карьерной конъюнктурщины.

Вот почему в Высоцком увидели единственного мужчину среди «обабившихся». Единственного бунтаря в кругу законопослушных. Единственного, кто все — от Марины Влади до оглушительной славы — добыл себе сам, а не по протекции. Единственного, кто в отличие от писавших и певших «не про то» и «не так» стал писать и петь, во-первых, «так» (то есть понятно для слушателей с любым уровнем подготовленности), а во-вторых, «про то».

Про войну — какой она предстает не на казенной встрече ветерана с пионерами, а в «расконвоированных» воспоминаниях за кружкой пива. Про то — здесь и намека довольно,— как неправедно часто казнили в «сороковые, роковые», и прилегающие к ним десятилетия. Про то, что и сейчас, будь ты хоть семи пядей во лбу, а от тюрьмы да сумы в России не зарекайся. Про то, что, если уж гибнуть, то погибнуть хочется не «от водки и от простуд», а в бою за святое Дело, но где оно теперь, это Дело?.. И про то, наконец, что хоть и мало от нас зависит, но стыдно и обидно все-таки век свой единственный прожить в мерзости запустения, пусть даже и сравнительно комфортного:

Кто ответит мне — что за дом такой,
Почему во тьме — как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился...
Али жить у вас разучилися?

Шестьсот с лишним песен и стихотворений Высоцкого — энциклопедия русской ж и з н и времен застоя? Да, конечно. Но это и энциклопедия н а с т р о е н и й современного человека с его бунтарством и многотерпеливостью, с его тяготением к порядку размеренного существования и его же нежеланием удовольствоваться сытым прозябанием, когда каждого — едва ли не каждого — греет мечта, чаще несбыточная, в одночасье переменить жизнь, вырваться из наезженной колеи, а там уж как бог даст!..

В персонажах «театра Высоцкого» человек эпохи застоя опознал самого себя, чему, надо сказать, немало способствовала художественная безбоязненность поэта, его — если позволительно так выразиться — эстетическая и психологическая небрезгливость.

Для него не было «низких» тем и «подлых» жанров, поэтому критика (смотри, в частности, богатую наблюдениями статью А. Чаплыгина в январском номере «Подъема» за 1988 год) верно указывает, что, оттолкнувшись в своем творчестве от блатного фольклора, Высоцкий его же и «снял», эстетически «уничтожил». Он, очистив блатные песни от пошлой романтики и безвкусицы, возвел их в своего рода перл творения и тем самым интегрировал в «легальную» культуру. (Особая, конечно, тема, но можно вообще заметить, что, ударяя прежде всего по «плебейским», «простонародным» струнам в душе своих слушателей, Высоцкий и тут оказался чуток. Плохо ли, хорошо ли, но в стране с повыбитой «аристократией крови», в стране, где десятилетиями не было и нет условий для возникновения слоя «аристократов духа», едва ли не в каждом из сограждан найдется то, что родственно откликается на импульс «улицы», барака или коммуналки.)

Это так. Но, сказав, что это так, надо тут же сказать и о том, что небрезгливость в выборе тем, сюжетов, жанров и ракурсов всегда соединялась в Высоцком с точностью эстетических и нравственных оценок. Он понимал героев своих сатир — от забулдыг до «больших людей»,— но не льстил им. Он, что называется, входил в положение, но не поэтизировал то, что воспрещено десятью классическими заповедями. Он задолго до журналистики рассказал о людях, составляющих «придонный слой» общества (и тут в плане открытия темы особенно выразителен «Роман о девочках», напечатанный «Невой» в январе 1988 года), но, рассказывая — без всяких притом надежд на скорую публикацию,— ни в чем опять-таки не оскорбил нравственное чувство своих читателей и слушателей. Сюжетно раскованные и подчас рискованные, как бы «беззапретные», его песни, скажем, о любви отмечены безусловным целомудрием, его моральные оценки — однозначностью, отсутствием какой бы то ни было модной «амбивалентности», а его ориентиры — основательностью и незыблемой прочностью, внутренне враждебной любому релятивизму и цинической вседозволенности.

Тут такт, конечно,— примета подлинно народного художника, работающего «и не под чуждым небосводом, и не под защитой вражьих крыл».

Такт и речевой,— дав простор просторечию, языку «улицы», Высоцкий удержался от употребления слов и выражений, маркируемых обыденной моралью как «зазорные». И художественный — его песни можно слушать в кругу семьи, не боясь испортить вкус детям. Тут и политический такт,— с жестокой прямотой говоря о несовершенствах нашего общественного уклада, ядовито вышучивая клишированные лозунги и идеологические предрассудки, Высоцкий не задевал того, что для подавляющего большинства сограждан остается святыней. Национальная самокритика, столь свойственная его песням (как свойственна она же прозе и фильмам Шукшина), никогда не отнимала у наших соотечественников права на национальное самоуважение, а его политические суждения при всей их резкости никогда не носили «диссидентского» оттенка.

Допускаю, что эти соображения вызовут протест как, условно говоря, «справа», так и, условно говоря, «слева». Что делать? «Какое время на дворе — таков мессия» (А. Вознесенский). Написанного и пропетого Высоцким не переменить, да и переменять незачем, так как именно тождественность позиции поэта с господствующими в обществе, в народе понятиями, убеждениями и настроениями обусловила то, что Высоцкий был услышан как поэт, всем и каждому близкий и родственный.

«Шибко культурного» могли бы не принять. «Сильно умному» могли бы не поверить. От чересчур «смелого» могли бы отшатнуться. А к Высоцкому прильнули — именно потому, что он виделся таким же, как каждый из нас, и не лидером, далеко оторвавшимся от большинства, а центром, вокруг которого можно объединиться.

И объединились. «Он,— рассказывает сын поэта,— войну сделал понятной для циников, так что у тех слезы выступали на глазах. Он летчикам объяснял про спортсменов, а спортсменам — про моряков. Он интеллигентам рассказал о жуликах, а жуликам — про интеллигентов. Он принес такое взаимопонимание в нашу жизнь, которого не добиться никакому документальному кинематографу, никакими популярными лекциями не добиться».

Он — продолжим уже от себя — песнями, хриплым выкриком, рыдающим звуком гитары противостоял силам разъединения, возобладавшим в нашей общественной и культурной жизни последних десятилетий. Он возвращал людям из самых разных социальных слоев, самых разных уровней и «языков» культуры чувство большой семьи, или, как предпочитал выражаться сам Высоцкий, чувство дружеской компании («у меня единственная задача, когда я выхожу к вам,— хоть немножечко вернуть атмосферу нашей компании, когда я только начинал писать свои песни»).

И тем самым он возвращал надежду. На то, что взаимопонимание все-таки возможно. На то, что беды преходящи, и в обществе, в каждой, самой заблудшей, самой отчаявшейся или самой, напротив, зачерствевшей в сытости и скверне душе есть живое, человеческое, подлинное, и нужно лишь до него достучаться. На то, наконец, что:

Под визг лебедок и под вой сирен
Мы ждем — мы не созрели для
оваций,—
Но близок час великих перемен
И революционных ситуаций.

В борьбе у нас нет классовых
врагов,
Лишь гул подземных нефтяных
течений.

Но есть сопротивление пластов
И есть, есть ломка старых
представлений.

Время все расставит — уже расставляет — по своим местам. Улягутся страсти. Усовестятся, я надеюсь, и те, кто занят оскорбительными для памяти поэта дележом его наследия, и те, кто пока еще — с остывающим, впрочем, ввиду бесперспективности, жаром — пытается опорочить, скомпрометировать и имя поэта, и его дело.

Произведения Владимира Высоцкого войдут — уже входят — в антологии русской поэзии XX века, а сам он — в ее историю. Выяснится и подлинный масштаб его литературного дара.

Все будет. Но, как бы ни распорядилось «верховное правосудие потомства», нам — современникам и соотечественникам Высоцкого — должно низко поклониться человеку, взявшему на себя оставленную на время русской литературой «вакансию поэта» — поэта прямой гражданской чести.

Он знал, какой ценой будет оплачена служба обществу в трудные для общества десятилетия.

И об этом уже не забыть.

В мире журналов и книг

Человек со стороны

По-разному входят в литературу. Бывает, врываются со скандалом, эпатажем, с пощечинами общественному вкусу; бывает, мнутся в прихожей, оттаивают и обвыкают, все набираясь решимости заговорить своим голосом.

Татьяна Толстая вошла твердо, независимо и спокойно. Как, по идее, и полагается входить самостоятельному писателю. Но то — «по идее». На практике случай был воспринят как уникальный. Чтобы два-три рассказа сделали писателю имя — такого давно не наблюдалось.

В чем же дело? Откуда этот шум вокруг прозы, скажем так, достаточно камерной? В суждениях и «противников» Толстой, и ее «сторонников» есть сближающая их черта — некоторая, что ли, растерянность перед самим фактом появления такого писателя в нашей литературе. И если «противников» то непривычное, что есть в рассказах Толстой, дразнит, раздражает, то у «сторонников» нет-нет да и прорежется вдруг нотка эдакой странной нетвердости, неуверенности — так, словно говоря о «мастерстве», «совершенстве», с каким «выполнены» рассказы, они все же не целиком убеждены в отсутствии здесь «мякины».

И правда: откуда у человека, взявшегося за перо в недавние времена, такая свобода, такая спокойная независимость?

Не знаю, как для кого, а для меня интересны обе стороны «феномена Толстой» — и сама она, то есть ее проза, и мы, озадаченные столь необычным явлением.

В самом деле: что нас так изумило в Толстой? Ее своеобразие? Неприятно-яркая, «нескромная» манера письма? Выбор тем, сюжетов, героев? Или, скажем, странности авторского к ним отношения, когда сострадание вовсе не отменяет иронии, даже ехидства, а жесткая (чуть не сказал: «жестокая») трезвость — романтической приподнятости?.. Все так, но главный «ошарашивающий» эффект произвело, я думаю, то обстоятельство, что человек, явившийся в литературу «на новенького», не стал ни принимать чужих правил, ни воевать с ними — просто взял да и начал играть по своим. Так, словно иначе и не бывает. Внутренняя свобода — вот в чем, оказывается, увиделось нам качество, едва ли не сверхъестественное в современном писателе!

Странно? Увы, не так уж. Толстая в известном смысле сыграла роль «человека со стороны», чье неожиданное вторжение заставляет увидеть вопиющие аномалии в том, что казалось естественным и нормальным, и прежде всего — в нас самих. Да, в эффекте, произведенном Толстой, как в зеркале отразилось состояние наших умов: зашоренных, закрепощенных, воспитанных на усеченных представлениях о культуре и на бесчисленных разговорах о множественности традиций — при стыдливом умолчании важнейшей: «Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум». (Не успел написать — и вот уже почувствовал сосущее желание как-нибудь скорректировать великие, но легкомысленные слова, ограничить эту слишком уж беспредельную независимость.)

Мы разучились видеть во внутренней свободе писателя н о р м у — отсюда, по-моему, все наши сомнения, восторги, негодования — страсти, каких, ей-богу, не смог бы возбудить никакой модернист-авангардист, ниспровергатель основ. От нашей привычки видеть в художнике личность беспрестанно оглядывающуюся, п о к а п л е выдавливающую из себя раба.

Впрочем — стоп! Все сказанное относится к восприятию, строго говоря, не книги Толстой, а ее рассказов, читавшихся вроде бы только что, но все-таки вчера. А как бы читались они сегодня, в контексте произведений Набокова, Замятина, Пильняка...— всех тех имен, с которыми, волею судеб, соседствует ныне Толстая в реестре «новинок» литературы? Вернее, как бы они воспринимались, выйди эти подзадержавшиеся публикации к читателю в свою пору?

Не знаю. Но думаю, что реакция прежде всего была бы спокойнее. Потому что в таких, н о р м а л ь н ы х, условиях было бы куда легче увидеть, что внутренняя свобода Толстой держится, по сути, на самых обычных, простых и даже, я бы сказал, тривиальных представлениях о смысле работы писателя и писательском мастерстве. Что сама ее творческая смелость есть не что иное, как смелость наследования широкой культурной традиции, а не только ее близлежащей части.

Взять, например, отмеченную уже яркость повествовательной манеры Толстой — качество, прямо скажем, не слишком типичное для текущей прозы. Многое роднит слово Толстой со словом поэзии: его образность, метафоричность, его красочность (подчас избыточная), тот налет легкости, иронии, игры, что лежит и на самых точных, «снайперских» деталях и характеристиках. Отсюда, мне кажется, ощущение какой-то даже «легковесности», «недостаточности» этой прозы — оттого, что видно, как поражается цель, но не видно работы прицеливания. «Вот, может быть, если бы тогда она решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамой в турнюре, задавлен какими-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны»,— пишет Толстая, замещая как ни в чем не бывало человека его фотографией,— прием точный и художественно выверенный. Состояния, чувства, движения души своих персонажей Толстая не столько описывает, сколько живописует, используя, так сказать, не понятийный, а предметный, образный ряд. «А после войны вернулись — с третьим мужем — вот сюда, в эти комнатки... Все позади. Умерли нарядные гости. Засохли цветы. Дождь барабанит в стекла» — так рисуется безнадежность, тоска, утекание жизни...

Иной раз, как и при чтении стихов, возникает впечатление, будто автором движет не сюжет или мысль, а образ, метафора — хотя бы образ глухой стены, загородившей вход в прошлое: «Может быть, если узнать волшебное слово... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; все закрыли, ну, а хоть щелочку-то зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кирпичной стене...» Но в том-то и дело, что мысль в этих рассказах неотделима от образов и метафор, что слово здесь обретает особое качество: не инструмент, не строительный материал, а само в е щ е с т в о этой прозы, ее с о д е р ж а н и е. И что такое рассказ «Милая Шура», из которого взяты все эти цитаты, как не пронзительно развернутая, «реализованная» метафора о поезде, который ушел?

Такое отношение к с л о в у может, конечно, показаться и новшеством. Только для этого надо забыть очень уж многих писателей — целые литературные школы.

Или: темы, среда, герои — что в этом нас так удивило? Допустим, такие персонажи, как Петерс («Петерс») или «безумная Светлана по прозвищу Пипка» («Огонь и пыль»),— допустим, они и правда не избалованы вниманием литературы. Но ведь в жизни-то, в жизни редко кто из нас не может сказать, что не встречал подобных людей, их даже с т р а н н ы м и не назовешь, настолько они знакомы, узнаваемы в рассказах Толстой. Они сами, их заботы, озабоченности, реалии быта — короче, тот мир, в котором они (мы) живут.

Так откуда же удивление? Неужели мы все еще не оправились от завороженности категорией «типического»? Похоже, что так. Хотя были же «чудики» Шукшина, маканинские «антилидеры»...— случались в нашей литературе «неположенные» герои и в самые застойные времена... Мы, я так думаю, все еще с трудом привыкаем к изображению жизни ч а с т н о й, той, в которой социальные закономерности проявляются подчас в весьма редуцированном, зашифрованном виде. Особенно же непривычной такая еще не узаконенная направленность внимания показалась у писателя, так сказать, начинающего, не нюхавшего пороху,— ему бы прежде побродить по исхоженным тропам! Хотя в сущности-то внимание к ч а с т н о й жизни, к ч а с т н о м у (по-старинному: «маленькому») человеку — как и вообще поиск нового героя, новых областей жизни — это же важнейшая демократическая традиция отечественной литературы! Которая, кстати, никогда не меряла «феномен жизни» одной лишь категорией «социального».

«Жил человек — и нет его. Одно имя осталось» — вот с чем не может смириться Толстая, вот почему она шарит в тех уголках, куда не часто заглядывает литература. Вот откуда ее сострадательный интерес к таким людям, как дядя Паша («На золотом крыльце сидели»), Александра Эрнестовна («Милая Шура»), Соня («Соня»), и многим другим. Что с того, что фатальное одиночество Петерса вызвано причинами нетипичного, камерного, «домашнего» свойства? От этого он не достоин нашего с вами внимания? И пусть Толстая подчас иронизирует над своим персонажем (как, впрочем, и он сам над собой), но кто виноват, что детство его прошло среди «старых запахов», в комнатах, где «по углам сидели тряпичные куклы», а со стены глядел портрет «строгого, оскорбленного старика с усами, как длинная спица», в то время как «румяные дети», его сверстники, виделись лишь сквозь загороженное зарослями алоэ оконное стекло,— поскольку «гулять его не пускали»? И почему бабушкой был избран именно такой режим воспитания? Не потому ли, что в том заоконном мире все идет наперекосяк, мать Петерса «сбежа-

---

Татьяна Толстая. На золотом крыльце сидели... Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1987.

ла в теплые края с негодяем», папаша проводит время «с женщинами легкого поведения» и она, бабушка, панически хочет уберечь мальчика от безумства наружных ветров? Вот, кстати, и вожделенная «социальность»...

Верная все той же демократической традиции, Толстая не склонна сентиментальничать по поводу «маленького человека», ее *частные* люди могут быть и агрессивны, и эгоистичны, и погружены в мелкие страсти, выявляющие болезненно знакомый нам дефицит духовности. Ах, как понимаешь Галю («Факир»), измордованную бытом огромного города, дичающую в своем волчьем углу, у самой окружной, где «густая, маслянисто-морозная тьма», «полярный мрак», где «пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно». И как сочувствуешь ее подчас остервенелым попыткам вырваться из унизительного круга «третьесортного бытия». И как понимаешь придыхание, с каким она тянется к Филину с его коллекционными чашками, экстравагантностями, со «свежим, только что изготовленным снежком», вьющимся за окнами его сказочной квартиры на Садовом кольце. Сгинь, сныть окраинная,— вот она, жизнь!.. Но когда выясняется, что Филин вовсе не тот, за кого себя выдавал, что он «ничем не лучше их (Гали с мужем.— Л. Б.), он такой же... клоун в халате падишаха», то зарвавшийся (или завравшийся) лгун вызывает сочувствие едва ли не большее, чем столь *понимаемая* жертва обмана. Не потому ли, что в его *театре*, в его способе вырваться из «трехмерности бытия» живого, человеческого все-таки больше, чем в Галиной упертости в эту самую «трехмерность»? Впрочем, оба они, по сути, жертвы — жертвы самообмана, самоиллюзии, что собственную жизнь можно перехитрить, одолеть предназначенное тебе за чей-то чужой счет.

Иллюзии, самоиллюзии... Где же она, подлинная «правда жизни»? В высоком чуде сценического действа? Или в том, что на самом-то деле на сцене «никакие... не лебеди, а члены профсоюза» с «желтоватыми трудовыми лицами, рабочими шейными жилами», какими видит их терзающаяся от недавнего унижения героиня «Факира»? Какова реальность на самом деле?

Вопрос, знакомый литературе со времен Сервантеса, а может, и того раньше. Но «вечность» вопроса не отменяет его терзающего, злободневного смысла — недаром мы нынче с такой истовостью принялись постигать реальность, отскабливать ее от всевозможных мифов и украшений. Противоречие, конфликт между реальностью и ее в той или иной мере искаженным оттиском в нашем сознании — сквозная тема, «движитель» большинства рассказов Толстой. Отсюда, мне кажется, и ее трезвая ирония, тяга к гротеску, отмеченный уже критикой «перебор» по части красочных метафор и сравнений или частое обращение к такому способу «остранения», когда известный предмет обозначается не своим именем, а рядом признаков («ледяная витрина ларька, где зима торгует снежным, облитым шоколадом мякишем на занозистых щепочках» — вместо того, чтобы просто сказать: «эскимо») — прием, используемый, увы, не всегда по делу.

Толстая рисует сознание современного человека, пытается понять существо его разлада с действительностью — поэтому она так внимательна к тому, что можно назвать мечтой, фантазией, надеждой. Как правило, все это не выдерживает поверки жизнью, мечты или не реализуются вовсе или исполняются как-то не так. Но, не скрывая своего иронического отношения к донкихотам (не к их благородству, а к возвышенно-романтизированным представлениям о действительности), Толстая не оставляет последнего слова и за Санчо Пансой. Ах, как хорошо было бы отшелушить жизнь всех этих надежд, мечтаний, *театра* и, познав ее подлинную суть, уберечь себя от грядущих ушибов! Только это ведь невозможно. Да и не нужно — «материя жизни» включает в себя не одну лишь голую правду, но и наши с вами иллюзии.

«Что же ты такое, жизнь? — спрашивает Петерс, уставший ушибаться.— Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика?.. А счастье-то?.. Неблагодарный, ты жив, плачешь, любишь, рвешься и падаешь, и тебе этого мало?..» Рассказы Толстой — это рассказы о мужестве проживать *свою* жизнь — с ее ушибами и разочарованиями, крушением одних иллюзий и обретением новых. О мужестве искать опору *внутри* себя — и тем самым противостоять превратностям судьбы, глухим временам и безвременью.

Толстая появилась в литературе на самом рубеже времен, когда «каноны» были еще тверды и незыблемы, когда даже малейшее отступление от стереотипов если и дозволялось, то лишь писателям именитым, признанным, да и то давалось ох как нелегко. Каждый сверчок знай свой шесток! До сих пор еще раздаются недоуменные вопросы: как же так, шлюзы открыты, а потока молодых талантов что-то не видно? Но откуда, спрашивается, ему взяться? Да, потока, как это ни горько, нет. Но есть немногочисленные единицы — Толстая в их числе. Каков истинный масштаб ее дарования — это, как говорится, решит будущее. Как мне кажется, самая серьезная опасность для автора книги «На золотом крыльце сидели» — это опасность пробуксовки, самоповторения. Что ж, пожелаем писателю, имевшему мужество явить независимость от догм и стереотипов, остаться независимой и от собственных, уже наработанных шаблонов.

Леонид Бахнов

Преграда бегущей воде

Роману «Долг» казахский писатель Абдижамил Нурпеисов предпослал эпиграф, взятый из древнего египетского папируса:

«Я не чинил людям зла...
Я не убивал...
Я не преграждал путь бегущей
воде...»

Преграду бегущей воде далекий автор приравнивал к злу и убийству. Эпиграф как нельзя более точно выражает замысел романа. Конечно, плотины, преграждающие реки, давали людям энергию — тепло и свет,— но не всегда были благом. В центре писательского внимания судьба Аральского моря, кормильца и защитника от засушливых ветров и пыльных бурь, еще не так давно дававшего жизнь огромному региону страны.

Человек же в течение последних десятилетий бездумно преграждал путь впадающим в Арал двум большим рекам — Амударье и Сырдарье.

Здесь, как, впрочем, и на Байкале, Севане, в Поволжье, на Днепре и Дону (увы, примеров можно привести немало), «милостей от природы» не ждали, их добивались любой ценой, руководствуясь принципом: после нас хоть потоп, хотя применительно к Аралу уместнее было бы, наверное, сказать: «после нас хоть пустыня». И, действительно, нынче пустыня наступает на море, отвоевывая все новые и новые пространства, прежде принадлежавшие Аралу.

Человек и море — главные герои романа А. Нурпеисова. Характер их взаимоотношений становится как бы камертоном, настраиваясь на который, писатель раскрывает перед читателем духовный мир действующих лиц, определяет развитие сюжета произведения, охватывающего период 60—70-х годов XX столетия,— время от первых тревожных симптомов «болезни» нерукотворного моря, вызванной вирусом человеческого бездушия и безразличия к окружающей среде, до трагического умирания «батюшки Арала».

И если море воспринимается писателем однозначно, как великое творение природы, испокон веков верой и правдой служившее человеку, то сам человек предстает на страницах «Долга» в разных ипостасях.

Это и председатель рыболовецкого аула, уроженец Арала Жадигер Амиржанов, искренний, беспокойный, тяжело переживающий за судьбу Арала и родного края. Не случайно роман построен в форме исповеди-монолога Жадигера, где важны его раздумья и о прошлом, и о тревожном настоящем Приаралья.

Это и антипод Жадигера, его бывший школьный друг, «уважаемый» академик Азим, своего рода наследник Лысенко, обрекающий Арал на гибель.

В борьбе и спорах бывших друзей, а ныне непримиримых врагов,— не только отношение к судьбе моря; обнажается нравственная, гражданская, социальная позиция каждого.

Для Жадигера море — святая святых, завещанная предками. Он понимает, что воды Амударьи и Сырдарьи, которые, «как две материнские груди, испокон веков питали» Арал, ушли не в песок, а на водохранилища, «рукотворные моря», но главное — на чрезмерно щедрые и хозяйственно-нерасчетливые поливы хлопковых полей, плодородие которых истощается из-за варварского водоземлепользования. Стоило ли это такой великой жертвы, как Арал, усыхание которого обрекает на гибель целый регион? И какова судьба целого народа — каракалпаков, ставших, по недавнему признанию узбекского писателя Тимура Пулатова, «жертвой крупнейшей экологической катастрофы нашего века»? (МН, № 14, 88 г.). Что получат в наследство потомки? — «...Оставим мы после себя выжженную дотла солончаковую пустыню, где птицам крылья опаляет, а зверю ноги жжет... где даже верблюжья колючка из-за оставшейся соли расти не будет — а дальше что?». Эти вопросы мучают Жадигера, непрестанно ищущего пути спасения родного моря и края.

В противоположность Жадигеру, не вникая серьезно в суть разыгравшейся трагедии, в своих псевдонаучных изысканиях Азим ратует за скорейшее осушение Арала. Через каких-нибудь 20 лет, прогнозирует он, используя илистую почву морского дна, люди добьются «наконец желанного изобилия: будут выращивать хлопок, рис, кукурузу, строить белокаменные агрогорода...»

Как давно слышатся эти посулы и как дорого приходится расплачиваться за «прожекты» Азима и ему подобных! А ведь совсем недавно, каких-нибудь 20—30 лет назад «море было в силе. Какая-то несказанная, неуемная мощь распирала его изнутри». Морские волны подступали к домам рыболовецкого аула, казалось, «что солнце поднимается из морских глубин», а в горячую путину люди сетями и неводами буквально вычерпывали неисчислимые вроде бы косяки рыб.

Нынче же «обмелело море, далеко ушло от изначальных своих берегов, непри-

---

А. Нурпеисов. Долг. Роман. Авторизованный перевод с казахского Герольда Бельгера и Петра Краснова. Алма-Ата. Жазушы, 1987.

глядно обнажив дно заливов и бухт». Там, где когда-то стояли на якоре пароходы, работяги-катера, теперь виднеются лишь проржавевшие, вросшие в песок останки рыболовецкого флота, напоминающие туши гигантских, выброшенных на песок и задохнувшихся рыбин.

Люди, гонимые бедой, покидают веками насиженные, родные места, песни-плачи прощания несутся над аральскими селениями. Земля, на которой еще совсем недавно шумели камыши, колыхалось разнотравье, покрылась коркой «вездесущей азиатской соли» и стала напоминать «просоленную затвердевшую верблюжью шкуру».

Идет цепная реакция: мелеет море, истощается земля, все солонее вода, в усыхающем море исчезает рыба.

В романе немало эпизодов, повествующих о прежней «райской» жизни аральской рыбы, нынче же, «точно скот в годину бескормицы», она стала пугливой и строптивой, «шарахается от гибельной соли заливов и мелководья».

Следствием бездумного, хищнического отношения к природе, как убедительно показывает А. Нурпеисов, становится и гибель животного мира. Измученные жаждой и голодом, бегут к морю косяки сайгаков, мчатся навстречу «черной напасти», которую несет им соленая вода. «Ископыченная за лето земля превратилась в горячую золу. Даже птицы не летели в дневной зной. Сайгаки, одурев, метались по степи в поисках тени, скрываясь в лощинах, оврагах, прибрежных чахлых зарослях... Смерть настигала их повсюду».

Как неминуемое следствие нарушенного равновесия и гармонии в природе рассматривает А. Нурпеисов тревожную закономерность: мельчает море — мельчают души людей. Экологические, народнохозяйственные, экономические, социальные, морально-духовные проблемы для казахского писателя — это неотъемлемые звенья единой цепи. Обмельчание души, мучительно тревожащее и его главного героя Жадигера, проявляется не только в том, как относится человек к живой природе, но и во взаимоотношениях самих людей. «Словно сорная трава на заброшенном поле», оживают в романе, казалось, давно забытые, родовые страсти, племенные распри. Пробуждаются темные инстинкты. Поднимают головы, пытаются диктовать собственные законы жизни ничтожества, вроде «скорпиона» Сары-Шая. Растет недружелюбие, а порой открытое озлобление и в среде рыбаков. Пробивается в академики псевдоученый Азим, уверенный в том, что в скором будущем человеку «будут чужды такие понятия, как родной край, отчий промысел, дедовские обычаи и тому подобные сантименты...» Бездарный «чугунный» толстяк Жаке становится зам. директора по науке в одном из ведущих институтов республики — как же, ведь он земляк «одного из...»

Море, мир животных, души людей, их нравы и совесть — все взаимосвязано в романе А. Нурпеисова. Писатель предупреждает: экологическая катастрофа приводит не только к хозяйственному, экономическому тупику, но, что не менее опасно и тревожно, к падению духовно-нравственных устоев общества. Кто виноват? Почему гибнет море, целый край? Есть ли пути спасения? В чем истоки морального, нравственного возрождения человека?.. Автор романа «Долг» не находит исчерпывающих ответов на эти вопросы. Но сама их постановка, сам факт обращения к актуальной теме — разве это не свидетельство честности и мужества писателя?

Т. Лобанова

г. Ташкент

Каша, в лапти обутая

Современный читатель знает имя писателя и этнографа Сергея Васильевича Максимова (1831—1901). Недавно переизданы его очерки «Год на Севере», «Куль хлеба...», литературные воспоминания, фрагменты сборников «На Востоке», «Нечистая, неведомая и крестная сила», «Лесная глушь»... Не забыта и книга «Крылатые слова», где автор, в частности, признается: «Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке».

Пример кропотливого, взыскательного труда С. В. Максимова, увы, не стал добрым предостережением его биографу Антонине Мартыновой. Вот с каким текстом встречается читатель, едва раскрыв книжку:

«...книга «Год на Севере» является своеобразной антологией различных жанров народного поэтического творчества. Своеобразие этой книги, как и всех предыдущих и последующих работ С. В. Максимова, заключается в том, что фольклор в ней представлен в живой обстановке своего бытования»,— констатирует А. Мартынова, а через несколько страниц пытается заглянуть и в

Антонина Мартынова. Бытописатель земли русской. Культурно-исторический очерк о писателе, ученом-этнографе Сергее Васильевиче Максимове. М., Молодая гвардия, 1987.

творческую лабораторию фольклориста: «От своих собеседников *писатель записывает* (здесь и далее разрядка моя.— **С. Д.**) также предания и рассказы о разбойниках... Видимо, первым из этнографов С. В. Максимов *описал обряды* проводов поморов на летние промыслы и встречи их осенью на берегу моря. В *описание обрядов* включены тексты причитания, заговоров. *Описание* свадебных *обрядов* С. В. Максимов производит.., попутно сопоставляя их с *обрядами* других поморских сел и городов. В *описание обряда* он включает фрагменты песен...» — и это на одиннадцати строчках!

Подстать анализу и терминология: сборник «Сибирь и каторга» «*зафиксировал* состояние тюремной песни...», «С. В. Максимов сумел заметить и *зафиксировать* сложный процесс ломки сложившегося тюремного репертуара...», «...он с присущей ему добросовестностью *зафиксировал* определенный «момент», этап в развитии группы народной поэзии, которая, сопровождая социальную жизнь народа и участвуя в ней, отражала движение времени»...

С обезоруживающей уверенностью пишет исследовательница об эмоциональных переживаниях своего героя, обращаясь и к такой деликатной сфере, как психология творчества: «Много раз замечал на обочине лесной дороги бродягу с котомкой за плечами, готового в любую минуту исчезнуть в таежной чащобе. Глядя на него, писатель размышлял об истории бродяжничества»; «и не однажды на палубе шхуны мысленно прощался писатель со всем, что ему дорого, не видя ничего вокруг, кроме огромных вспененных волн, и слушая только тоскливый вой ветра»; «С похолодевшим сердцем стоял С. В. Максимов перед тяжелой дверью нерчинского каторжного рудника, где работа считалась высшей мерой наказания...».

Но, может быть, научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом), хранитель фольклорных фондов Рукописного отдела института, о чем мы узнаем из биографической справки к исследованию, пусть с многочисленными стилистическими огрехами, но вводит в широкий оборот неизвестные доселе научные сведения, иными словами, закладывает фундамент современной максимовианы?

При чтении «культурно-исторического очерка» кандидата исторических наук А. Н. Мартыновой возникает еще и досадное ощущение, что автор плохо владеет материалом.

Судите сами. По мнению А. Мартыновой, рецензию на книгу С. В. Максимова «Лесная глушь» М. Е. Салтыков-Щедрин напечатал в декабрьской книжке «Современника» за 1871 год. К сведению исследовательницы: журнал был закрыт в 1866 году.

«В 1900 году... Максимов был избран почетным академиком по отделению русского языка и литературы Российской Академии наук»,— сообщает далее А. Мартынова. Но ведь высшее научное учреждение России, как нам известно, стало называться Российской Академией наук лишь в 1917 году. В свое время существовала гуманитарная Российская Академия, которая в середине XIX века была преобразована в Отделение русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Там на состоявшемся 1 декабря 1900 года соединенном заседании Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности С. В. Максимов был возведен в звание почетного академика по разряду изящной словесности, учрежденное в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина.

А вот невинная на первый взгляд фраза: «...литературные заработки не позволяли ему обеспечить безбедное существование довольно многочисленной семье (у Сергея Васильевича было трое детей: два сына и дочь)».

Однако, как выяснилось, в отношении количества детей Максимова существует и другое мнение. В биографическом романе Сергея Плеханова «Охота за словом» (М., Советская Россия, 1987), также посвященном писателю-этнографу, сказано, что у С. В. Максимова их было четверо: Иван, Александр, Георгий, Елена...

Недоумение возникает и по многим иным поводам. Скажем, исследовательница упоминает о том, что Максимов редактировал газету «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства». А в романе С. Плеханова речь идет о «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и городской полиции». Это же название находим в его книге «Земля помнит» (М., Молодая гвардия, 1984) и в его же послесловии к «Кулю хлеба...» С. Максимова (М., Молодая гвардия, 1985). Плеханов, стало быть, точнее? Нет, точнее он лишь в сборнике «Выбор пути» (М., Молодая гвардия, 1986) и в предисловии к «Избранному» С. Максимова (М., Советская Россия, 1981), где говорится о «Ведомостях Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции». Еще у одного литературоведа, Ю. Лебедева, обнаруживаем четвертый вариант названия этой газеты: «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции»...

Нет согласия у «максимоведов» и относительно многих других фактов биографии автора «Нечистой, неведомой и крестной силы». По сравнению с иными их «открытиями» мелочью покажется, что у А. Мартыновой дата рождения писателя приведена по новому стилю (7 октября 1831 года), а смерти — по старому (3 июня 1901 года).

С. Плеханов же продлил Максимову жизнь по меньшей мере на месяц — до 16 июля 1901 года (предисловие к Избранному и сборник «Выбор пути», 1986). Столь же «милосерден» по отно-

шению к С. Максимову и В. Гуминский (статья «Судьба писателя — слово народное», «Литературная учеба», 1981, № 5, она же перепечатана в книге «Открытие мира, или Путешествия и странники»). А волею В. П. Астафьева (очерк «Радетель слова народного», Наш современник, 1987, № 8) авторами статей на смерть Максимова стали Н. А. Некрасов (скончался в конце декабря 1877 года — по старому стилю) и Н. С. Лесков (год смерти 1895-й!). Из этого же очерка узнаем, что Максимов «пишет воспоминания о поэте Мее, Островском, о декабристах Дмитрии Иринарховиче Завалишине и о Николае Александровиче Бестужеве, более известном под псевдонимом Марлинский, вроде бы приходившемся автору двоюродным братом» (псевдоним Марлинский взял себе, как мы знаем, младший брат Николая Бестужева, Александр).

В послесловии к книге «Куль хлеба и его похождения» С. Плеханов приписал К. Батюшкову классические строки Е. Баратынского: «Предрассудок! он обломок давней правды». Цитата же эта дана в связи с развернутым авторским заключением: «Этнография как наука и возникла из потребности в точном знании того, каким было прошлое».

Вот этой потребности в точном знании, к сожалению, мы не обнаруживаем у исследователей творчества русского писателя С. В. Максимова. А литературоведение требует точности и не меньше, чем любая другая наука, взыскует к добросовестности.

Даже опечаткам в таком деле нет оправдания. Иной исследователь может попытаться собственный недосмотр или небрежность свалить на типографские огрехи. Если подобные аргументы и возникнут у пишущих о С. В. Максимове, напомню факт его же биографии: редактору «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства...» (надеюсь, что уж здесь-то А. Мартынова достоверна?) «не однажды приходилось за опечатки попадать на гауптвахту».

Подчеркну: сотни тысяч читателей сохранят признательность С. Плеханову и Ю. Лебедеву за их усилия по переизданию наследия С. В. Максимова (в восьмидесятые годы ими подготовлено и выпущено семь книг писателя). Никто не ставит под сомнение вклад ученых в развитие отечественной культуры. Речь о частностях, о торопливости, смешении популяризаторских и собственно научных целей. Все это, к сожалению, распространено в нашем литературоведении и присуще не только упомянутым здесь работам.

Понятно благородное стремление литературоведов сделать творчество давно ушедших от нас писателей достоянием современного читателя. Но, увы, не обходится здесь без досадных издержек. Кстати, книжка А. Мартыновой «Бытописатель земли русской», напоминающая что-то среднее между школьным сочинением и производственной характеристикой, пришла к читателю тиражом в 75 тысяч экземпляров!

Остается надеяться, что очерк «Бытописатель земли русской» не отвратит интерес читателя от книг С. В. Максимова, а уж коли попадется ему в руки редкая и по нынешним временам книжка «Крылатые слова», не без интереса прочтутся и такие строки: «Лапти плести в иносказательном смысле собственно значит путать в деле... Так по крайней мере разумеет сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обувает»). В городах применяют это выражение к тем, которые... плохо работают...»

Сергей Дмитренко

Что скрывала деревенская тайна

Очнувшись после мрачного периода «культурной революции», Китай стремительно наверстывает упущенное, ищет собственные пути экономического и культурного развития. Чуть более десятилетия назад казалось, что духовная жизнь многомиллионного народа замерла. С рубежа 70—80-х годов началось возрождение культуры. Появились социально-критические произведения, названные китайскими критиками «литературой шрамов». Проза этих лет — правдивый, горький рассказ о преступлениях левацкой клики, погубившей, исковеркавшей тысячи жизней.

Многие рассказы и повести этого направления были переведены советскими китаистами В. Аджимамудовой, А. Желоховцевым, Б. Рифтиным, В. Сорокиным и другими и вышли в сборниках «Люди и оборотни», «Человек и его тень», «Средний возраст», «Встреча в Ланьчжоу», «Память», «Повести и рассказы» Фэн Цзицая. Опубликован роман Гу Хуа «В долине Лотосов». Однако китайская литература последнего десятилетия еще мало известна в нашей стране. Вот почему, думаю, появление повести Шэнь Жун в русском переводе не может не вызвать интереса советского читателя.

Творческая биография китайской писательницы началась в 1975 году, а литературная слава пришла к ней в конце семидесятых. Немалый успех имела повесть «Средний возраст». В этом и других произведениях («Правда и фальшь», «Вечная весна», «Белый снег», «Хвалебные песни») речь идет о судьбах людей, пострадавших в период «мрачного десятилетия» (во время «культурной революции» Шэнь Жун тоже была сослана в деревню). Писательница обращается к социально-психологическим проблемам, возникшим и после 1976 года, который в Китае принято считать точкой отсчета «нового этапа» истории. «Деревенская тайна» Шэнь Жун признана в КНР лучшей повестью 1982 года.

Шэнь Жун. Деревенская тайна. Повесть. Перевод с китайского В. И. Семанова. Москва, № 8, 1987.

В уездный комитет партии, рассказывается в повести, приходят анонимные письма. В них сообщается, что секретарь партбюро деревни, название которой в переводе с китайского означает Наследниковка, Ли Ваньцзюй, человек хитрый, как говорится, себе на уме, обманывает народную коммуну и ЦК партии. Авторы анонимок ссылаются на то, что в годы «культурной революции» хунвэйбины, бесчинствовавшие в округе, не тронули деревню. Когда власти приказали ликвидировать приусадебные участки и даже кур не разрешали держать, Ли ухитрился построить сыроварню. Теперь же, после разгрома «банды четырех», секретарь снова на коне — его деревня числится в передовых. Не иначе, «...среди работников укома у Ли Ваньцзюя есть покровители. Без них он не мог бы набрать такую силу!».

Уком шлет в Наследниковку проверяющих, но они не обнаруживают никаких серьезных проступков секретаря. Однако кое-какие «неблаговидные» моменты все же всплывают: Ли помог сыну помещика (в китайской деревне 60—70-х годов потомки эксплуататоров продолжали считаться классовыми врагами) жениться; более того, он пошел на прямой «сговор» с бывшим кулаком. Очевидно, жители деревни, единодушно защищающие своего секретаря, что-то скрывают...

Деревенская тайна Ли Ваньцзюя оказывается простой. В трудные годы, когда сельским хозяйством руководили «по радио», он действовал по принципу «верхи прижимают — низы привирают». «В наше время то, что соответствует разуму, не всегда соответствует закону»,— решил секретарь и сделал выбор в пользу здравого смысла. Вынужденно откликаясь на многочисленные псевдоидеологические кампании, он в то же время успевал заниматься главным крестьянским делом — землей. Секретарь Ли оставил полоску земли вдоль дороги для отчетов перед начальством, которое нынче требовало сажать батат, завтра—повсеместно уничтожать гаолян; на других полях сажал и убирал, что и когда считал нужным. Излишки продовольствия раздавались крестьянам. Ли твердо следовал принципам, вынесенным из горького опыта трехлетних бедствий, голода 1959—1961 годов, который начался после авантюристического «большого скачка»: никогда не обманывать ни человека, ни животное, иначе они не смогут работать; не обманывать землю — иначе не родит; не обманывать крестьян — иначе лишишься опоры.

Казалось бы, трудно оспорить эти с виду нехитрые заповеди, однако в Китае тех лет они считались крамольными — на все, что оправдывало материальный стимул, навешивался ярлык «буржуазной морали». Вот почему так тщательно скрывал секретарь свои заботы о хозяйстве, потел на трибунах, повторяя дежурные лозунги на собраниях и митингах, писал «критические материалы», стараясь доказать, что в Наследниковке неустанно борются с «классовыми врагами». Разумеется, никто не позволил бы секретарю в годы «великой пролетарской революции» заниматься в деревне подсобным хозяйством. Что же делает находчивый Ли? Он велит «классовому врагу», из «кулаков», болтливому и никчемному старику, выступить против строительства сыроварни. Так возникает «новое направление борьбы». А в то время безошибочно действовало правило: «раз враг против, значит, мы — за». Тем самым получило оправдание строительство сыроварни, спасшей крестьян Наследниковки от голода.

В «Деревенской тайне» Шэнь Жун действуют и другие достаточно колоритные персонажи: завканцелярией Цю, наловчившийся в смутное время предугадывать повороты политического флюгера; второй секретарь укома, чудом удержавшийся на плаву до 1976 года, и теперь каждую минуту ждущий разоблачения «связей» с «бандой четырех»; неугомонная тетушка Лю, беззаветно преданная секретарю Ли: наезжающее начальство обычно определяли на постой к ней в дом, и, усыпляя бдительность гостей ароматными пельменями, тетушка выведывала намерения непрошеных гостей.

В событийную канву повести «Деревенская тайна» органично включены разного рода документы, письма, протоколы заседаний, и они создают эффект достоверности.

В русском переводе повесть Шэнь Жун сохранила приметы национального колорита: характерные, образные выражения, самобытный юмор китайских крестьян.

З. Ягудина,
кандидат филологических наук

Из почты «Знамени»

Добрый день, уважаемая редакция!

Июнь 1987 года был для меня знаменателен вдвойне: у Вас и в «Новом мире» опубликованы многострадальные повести М. Булгакова и А. Платонова. Наконец-то! Едва получив эти номера, я сел за письмо в Прокуратуру РСФСР. Дело в том, что в апреле 1986 года я был осужден по статье 190^1 к 2 годам лишения свободы. Наряду с «Воспоминаниями» Н. Мандельштам, «Лебединым станом» Цветаевой (всего 10 названий) мне инкриминировали и распространение «Котлована» и «Собачьего сердца».

В марте этого года я был освобожден. В письме в Прокуратуру РСФСР я просил исключить из приговора распространение «Котлована» («автор клевещет на строительство социализма в СССР» — таково заключение неизвестного литературоведа) и «Собачьего сердца» («автор клевещет на вождей революции»). Кроме этого, я просил вернуть мне ряд «идейно-вредных» (кто придумал эту формулировку?) книг. Среди них: Ф. Искандер «Сандро из Чегема», В. Набоков «Другие берега», «Лолита», «Приглашение на казнь» и ряд других. Письмо мое переслали в Прокуратуру ЧАССР. И вот он, долгожданный ответ! Судите сами (высылаю вам копию).

По профессии я журналист. Бывший, конечно.

С уважением —

Галочкин Ю. В.

8. 9. 87 г.
г. Чебоксары

ПРОКУРАТУРА СССР
Чаваш АССР ПРОКУРАТУРИ
ПРОКУРАТУРА ЧУВАШСКОЙ АССР
30. 08. 87 г. № 12-155-86
г. Чебоксары

г. Чебоксары, просп. Мира,
дом 22, кв. 12
гр. Галочкину Ю. В.

Ваша жалоба, адресованная в Прокуратуру РСФСР, по поводу осуждения рассмотрена.

Вина Ваша в систематическом распространении в письменной, печатной и иной формах книг и журналов с произведениями, содержащими заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй с 1981 по 1985 гг., установлена собранными материалами дела. Сами Вы в суде не оспаривали, что знали о клеветническом характере большинства указанных книг, распространяли их и раскаялись в содеянном.

Суд Вашим действиям дал правильную юридическую квалификацию.

Доводы о том, что книги Платонова «Котлован» и М. Булгакова «Собачье сердце» не являются антисоветскими, а поэтому необходимо провести повторную искусствоведческую экспертизу, не состоятельны, т. к. антисоветское содержание их налицо. Вы сами понимали антисоветский характер этих произведений и, зная, что эти произведения не подлежат распространению, сознательно их распространяли среди знакомых.

Перечисленный Вами ряд изъятых книг, признанных идейно-ущербными, уничтожены 21. 03. 86 г. в присутствии понятых Денисовой М. С. и Куклиной Е. А. Какого-либо нарушения закона при этом не допущено.

Оснований для пересмотра приговора не усмотрено.

Прокурор отдела по надзору
за рассмотрением уголовных
дел в судах
мл. советник юстиции

В. Н. Занина

Генеральному прокурору СССР тов. Рекункову А. М.

Многоуважаемый Александр Михайлович!

В редакцию журнала «Знамя» обратился Ю. В. Галочкин, осужденный по статье 190^1 за распространение книг и журналов антисоветского характера. Среди этих книг фигурировали повесть А. Платонова «Котлован» и повесть Мих. Булгакова «Собачье сердце». В середине 1987 года эти вещи крупнейших советских писателей одна за другой были напечатаны в журналах «Новый мир» (№ 6) и «Знамя» (№ 6), на основании чего Ю. В. Галочкин обратился с просьбой о пересмотре его дела. Ответ Прокуратуры Чувашской АССР, утверждающей, что для пересмотра дела нет оснований, так как «антисоветский характер» указанных сочинений Платонова и Булгакова «налицо», принадлежит, на наш взгляд, к числу тех бюрократических бумаг, которые В. И. Ленин определял как «по существу издевательство».

Просим Вас поручить тщательно разобраться в этом юридическом казусе.

Копию ответа Прокуратуры Чувашской АССР прилагаем.

Главный редактор журнала «Знамя»

Г. Я. Бакланов

25. XI. 87 г.

Главному редактору журнала «Знамя» тов. Бакланову Г. Я.

Сообщаю, что уголовное дело в отношении Галочкина Ю. В. Прокуратурой РСФСР проверено.

На приговор Верховного суда Чувашской АССР, которым осужден Галочкин Ю. В., Прокуратурой РСФСР принесен протест в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

В протесте поставлен вопрос об изменении приговора, исключении из обвинения осужденного эпизодов, связанных с распространением произведений А. Платонова «Котлован» и М. Булгакова «Собачье сердце», как «идейно-ущербных», и прекращении дела за отсутствием в действиях Галочкина Ю. В. состава преступления.

О результатах рассмотрения заявления Галочкину Ю. В. сообщено.

Первый заместитель прокурора РСФСР

Н. С. Трубин

Эта переписка уже была подготовлена к печати, когда пришло еще одно письмо на ту же тему. Судя по письму, здесь не требуется вмешательство органов правосудия. Надежда — на здравый смысл.

Уважаемая редакция!

В 1982 году по моему указанию было снято три копии с повести «Собачье сердце» М. Булгакова. За это Мордовский обком КПСС объявил мне строгий выговор с занесением в учетную карточку с формулировкой «за тиражирование политически вредной литературы» и освободил от работы.

В январе с. г. обратился в парткомиссию с просьбой изменить формулировку взыскания, но в ответ от меня потребовали документ о том, что повесть не является политически вредным произведением.

Прошу Вас, очень прошу, прислать мне краткую характеристику повести.

Кратко о себе. Родился в 1927 году, в 17 лет был на I Белорусском фронте, демобилизован (со срочной службы) в 24 года. Уехал на строительство Куйбышевской ГЭС, здесь, работая, окончил техникум и институт. С 1960 года в Мордовии. 10 лет — начальник домостроительного комбината и столько же директор проектного института. За эти годы в Мордовии награжден двумя орденами: Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», двумя Почетными грамотами Верховного Совета Мордовской АССР, присвоено звание «заслуженный строитель Мордовской АССР». За 32 года в партии (на момент преследования) не имел партийных взысканий.

С уважением и надеждой, член КПСС с 1950 года

Бликдер Леонид Борисович

Саранск.

Как я добивался справедливости

С большим трудом я достал журнал «Знамя» № 8 и № 9 за 1987 год (в библиотеках на него очередь в 150—200 человек), где прочитал замечательную повесть Ю. Аракчеева «Пирамида», в которой мастерски описаны беззакония правоохранительных органов, уводивших от ответственности перед народом идеологов и практиков застоя, тех самых, кто сделал многих людей беззащитными перед лицом произвола бюрократов и прочих любителей потешиться властью.

Нам с женой пришлось пережить нечто подобное тому, что описывает Юрий Аракчеев. Мы прошли все инстанции, которые должны были помочь нам восстановить справедливость, но ничего не добились, потому что жалобы, которые мы направляем в верхние инстанции, приобретают форму шара и катятся вниз к тем, на кого жалуемся, а начальство у нас строгое, оно не любит, когда на него жалуются, и знает, что нужно ответить верхам и как разобраться с жалобщиками, чтобы другим неповадно было.

Работал я на Кировоградском заводе «Красная звезда» электромонтером 6 разряда, бригадиром. Занимался рационализаторской работой, внедрил более 300 рацпредложений. Имел непрерывный трудовой стаж 30 лет, а за хороший труд мне присвоили звание ударника коммунистического труда. В общем, жил полнокровной жизнью, как всякий нормальный человек. В 1979 году от цеха № 18 был избран в комитет народного контроля. Исполняя эти обязанности, обнаружил факты приписок и махинаций в поставках потребителям непригодных запчастей и оборудования к сеялкам. Только прямые убытки от таких «операций» обошлись государству в сотни тысяч рублей. Изложил я все это в парткоме завода, но никто никаких мер принимать не стал, а когда мне сказали: «Не суй нос не в свое дело»,— я обратился в райком партии, где услышал: «Разберемся...»

И так «разобрались», что пошла наша жизнь в тартарары... На заводе на меня началась травля, пошли в ход угрозы, а потом меня отстранили от работы, но трудовую книжку не выдавали девять месяцев, потому что приказа об увольнении не было. На мои неоднократные просьбы выдать трудовую книжку никто не реагировал, и только когда я написал в газету «Труд», тогда выслали.

Я сразу обратился в нарсуд, но в иске мне отказали, и тогда я обратился в областной суд, где представил неопровержимые свидетельства о неправомерных действиях администрации завода. Судебная коллегия облсуда решение нарсуда оставила без изменения, а на второй день, 1.XI.80 года, меня без предъявления обвинения арестовали и посадили в тюрьму, где держали без суда и следствия более 5 месяцев. Шантажировали, требовали, чтобы я отказался от поданных мною заявлений и обвинений в адрес администрации. В знак протеста я объявил голодовку, и тогда за меня взялись парни из обслуживающего персонала. Они сказали: «Мы тебе с голоду умереть не дадим», и методы убеждения у них были такими внушительными, а «аргументы» такими вескими, что хотя по главным вопросам мы и не пришли к единому мнению, от голодовки пришлось отказаться «по собственному желанию».

Чтобы не было у жены времени для обжалования этих беззаконных действий, против нее возбудили уголовное дело по обвинению в антисоветизме. За «дело» взялись сотрудники КГБ Кировограда, но скоро из КГБ УССР и СССР им разъяснили, кого нужно обвинять в антисоветизме, а кого нет, и дело это было прекращено. Сотрудники облуправления КГБ принесли извинения, и тогда нами начала заниматься милиция. Заходили без спроса, а если было закрыто, ломали дверь, делали обыски «без санкции и понятых»; то, что им нужно, забирали, актов на конфискацию не составляли, а затем подключили и медицину. Не выдержав этих издевательств, умерла мать, с работы выжили жену, и семью полностью лишили средств на существование.

Тем временем Прокуратура СССР, рассмотрев нашу жалобу, принесла протест на незаконные действия администрации и на отмену принятых судебных постановлений по моему делу. Однако местные власти и правоохранительные органы к этому времени собрали нужный им материал и объявили меня недееспособным, а чтобы прикрыть протест прокуратуры СССР, приняли решение о выплате мне денежной компенсации за 9 месяцев вынужденного прогула. На работе хотя и восстановили, но в приказ намеренно вписали, что я недееспособен, тем самым затушевав свое беззаконие. В общем, с 10 апреля 1984 года меня признают «дураком», **но не настолько, чтобы платить мне пенсию, однако вполне достаточно для отписки в верха на наши жалобы и вполне достаточно, чтобы не допустить меня к работе.**

Сейчас мы оба с женой без работы. Я лишен конституционных прав. Часть сбережений, которые у нас были, забрали при «обыске», а остальные мы израсходовали. Что нам теперь делать? Как жить дальше? С началом перестройки мы обрадовались, думали, что теперь-то все станет на свои места, но увы! Главные виновники, инициаторы и организаторы столь жестокой расправы над нами — прокурор области Легун и его заместитель Потопальский хорошо себя чувствуют по сей день. Нельзя сказать, что перестройка к нам еще совсем не дошла — о ней много пишут и еще больше говорят, но на деле? Вот один пример. На заседании бюро обкома партии 14 апреля 1987 года слушали вопрос о грубых нарушениях в деятельности прокуратуры области. Отмечен был ряд случаев нарушения соцзаконности и демократии. Должностные товарищи «делали дураками» не только отдельных граждан, но и целые коллективы, как это было с парторганизацией колхоза «Россия».

Так вот, бюро обкома признало, что за свои действия прокурор области Легун заслуживает исключения из партии и увольнения с работы. Но в решении указали, что, учитывая его «заслуги», ему разрешено уйти на пенсию, с выговором по партийной линии... И это — человеку, который своими действиями подрывал авторитет Советской власти, веру в справедливость советских законов? Разве это справедливое наказание?

Мне, рабочему человеку, такая «перестройка» и такая «справедливость» не понятны, и вовсе не потому, что меня официально признали «дураком». Хуже всего то, что мой пример стал не вдохновляющим, а предостерегающим — «не суй нос не в свое дело», то есть рабочий в дела государственные не вмешивайся! Значит, рабочему нет дела до государства? А как же перестройка? И как быть с определением Ленина, что для рабочего политика — это участие в делах государства, ведь началась моя трагедия не с того, что я потребовал для себя каких-то личных выгод или привилегий, а с того, что стал на защиту государственных интересов, защитив которые я сам потерял все, а меня защитить некому.

Василий Мостовой, г. Кировоград.

P. S. Когда эта публикация готовилась к печати, В. А. Мостовой получил из Прокуратуры Союза ССР официальное письмо за номером 13/305-87 от 3 февраля 1988 года, где сообщалось:

«Ваши жалобы, адресованные в ЦК КПСС и Прокуратуру Союза ССР, рассмотрены.

В настоящее время заместителем Генерального прокурора СССР внесен протест в Верховный Суд Украинской ССР об отмене всех состоявшихся в отношении Вас судебных решений о направлении на принудительное лечение и прекращении дела производством за отсутствием в Ваших действиях состава уголовно-наказуемого деяния.

А. И. Врублевский

Помощник Генерального прокурора СССР, старший советник юстиции

Советуем прочитать

Встреча на Эльбе. Воспоминания советских и американских участников второй мировой войны. М., АПН, 1988.

«Сейчас нет иной альтернативы как жить в мире! Поэтому мы, американские и советские ветераны войны, во имя памяти павших на полях сражений и ушедших из жизни и от имени их потомков призываем сегодня всех честных людей преградить путь войне!» Это слова из Клятвы ветеранов встречи на Эльбе, в чьей памяти она осталась одним из самых незабываемых событий второй мировой войны.

Книгу, вышедшую на русском языке в АПН и на английском — в американском издательстве «Капра-пресс» (под названием «Янки встречают красных»), иллюстрированную множеством фотографий, составили воспоминания бывших солдат и офицеров советской и американской армий. В ней звучат и голоса тех, кого уже нет в живых: Маршала Советского Союза И. С. Конева, писателей К. Симонова и С. Крушинского. Среди американских авторов — водитель такси, страховой агент, писатель, владелец магазина.

Книга посвящена памяти бывшего сержанта американской армии Джозефа Половски, завещавшего захоронить его прах в Торгау, где произошло соединение двух союзных армий. В приветствии ветеранам, собравшимся в Торгау в день 40-летия этого события, М. С. Горбачев сказал: «...Советские люди убеждены, что могучим фактором оздоровления международной атмосферы может и должно стать конструктивное взаимодействие между бывшими союзниками, между всеми государствами в борьбе за сохранение мира».

Чингиз Айтматов. Статьи, выступления, диалоги, интервью. М., АПН, 1988.

Сборник составили публицистические работы и выступления писателя (1964—1987 годы): статьи о литературе, воспоминания о деятелях мировой культуры, размышления о творчестве Шекспира и Достоевского, Шостаковича и Твардовского...

«...Эта книга не задумывалась заранее — она сложилась как бы сама собой. Но случайно ли? Смею думать,— нет,— пишет Чингиз Айтматов в предисловии.— Видимо, прежде чем выразить свою мысль в форме и образах художественного произведения, писатель ощущает потребность как можно более остро и полно уяснить ее, утвердиться в ней. И в этом случае жанр так называемой писательской публицистики играет неоценимую роль».

Сегодня как никогда стоят перед нами острейшие социально-нравственные проблемы, в том числе и такая, как угроза миру, существованию человечества. Что можно противопоставить этой угрозе, что требуется от каждого человека, чтобы предотвратить ее? От искусства и литературы зависит очень многое, утверждает Ч. Айтматов, они призваны тревожить совесть, воспитывать гражданское мужество.

Михаил Булгаков. Роковые яйца. Повесть. Литературный Киргизстан. № 1, 1988.

Когда в 1925 году в альманахе «Недра» впервые была напечатана повесть Михаила Афанасьевича Булгакова «Роковые яйца», все обещало автору успех. Фантастический сюжет давал читателям обильную пищу для размышлений об опасности, само существование которой в то время предвидели лишь немногие. «Луч жизни», открытый профессором Персиковым, героем повести, словно высветил проблему, злободневную и теперь: в руках безнравственных администраторов блестящие открытия ученых могут стать величайшим злом.

Высоко оценил повесть М. Булгакова В. В. Вересаев. А. М. Горький в письме к одному из своих корреспондентов отмечал: «Остроумно и ловко написаны «Роковые яйца»...» В 1926 году повесть была опубликоваиа в сборнике «Дьяволиада». Впоследствии, как известно, для писателя наступили трудные годы, когда путь его произведениям в печать надолго оказался закрытым.

И вот теперь, спустя более шестидесяти лет, повесть «Роковые яйца» вновь пришла к читателям.

Переписка между Ф. Д. Крюковым и А. С. Серафимовичем. Вступительная статья, подготовка текста и комментарий В. М. Проскурина. Волга, № 2, 1988.

Писателей Ф. Крюкова и А. С. Серафимовича соединяли дружеские и творческие отношения, что отражает их переписка: 27 писем охватывают период с февраля 1912 по март 1917 года. Оба были земляками, «коренными» донскими казаками. Оба печатались в журнале «Русское богатство», где Крюков стал и соредактором В. Г. Короленко по разделу художественной литературы.

Для Серафимовича донская тема была эпизодична. Для Ф. Крюкова, писателя дооктябрьской эпохи, тема повседневной жизни, быта, истории, судеб казачества — основная в творчестве, хотя при жизни писателя вышло всего две его книги («Казацкие мотивы» и «Рассказы. Том 1»); о значении творчества Ф. Крюкова сохранилось множество высказываний людей, близко знавших его, ценивших его незаурядный талант. «...Крюков... первый дал нам

настоящий колорит Дона» (В. Г. Короленко); «... Он был до Шолохова самым ярким бытописателем казачества» (Д. И. Заславский). Высоко оценивал все, им публиковавшееся в «Русском богатстве», и А. М. Горький.

Жизненный путь Ф. Крюкова оборвался весной 1920 года: он умер от сыпного тифа на Кубани, находясь в обозе отступавшей Донской армии.

Юхан Пеэгель. Беглецы. Рассказ. Перевод Анны Тулик. Таллин, № 1, 1988.

Юхан Пеэгель известен в Эстонии как один из самых значительных мастеров малой прозы. Его рассказы отличают лаконичность, точность и выразительность языковых средств, глубокая человечность.

В «Беглецах» писатель обращается к исторической теме, пишет о мужестве и терпении народа, пережившего горе и тяжкие лишения во время войны Швеции с Речью Посполитой.

Итог повествования — в мудрых простых словах Хэди, женщины, у которой война отняла дорогих ей людей: «Наверное, так и должно быть: одни, умирая, спасают других...» В этом — главный смысл истории двух дезертиров, бежавших из армии короля Карла.

Вильям Александров. Улица детства. Повесть. Звезда Востока, № 12, 1987.

Четверть века назад написана биографическая повесть «Улица детства». Тогда же она была прочитана и горячо одобрена Валентином Владимировичем Овечкиным: в январе шестьдесят шестого он, как член редколлегии «Нового мира», рекомендовал ее главному редактору журнала А. Т. Твардовскому. Но, несмотря на доброе отношение многих писателей, повесть, как и другие произведения, воссоздавшие трагические события середины тридцатых годов, не могла тогда увидеть свет.

Десять лет было герою, родители которого главным в своей жизни считали служение людям и которых не миновал удел миллионов. Оставшись сиротой, мальчик в полной мере испытал на себе трагедию времен культа личности.

Любопытная деталь: в июньской книжке «Нового мира» 1969 года напечатана рецензия Камила Икрамова на роман «Чужне — близкие» — о том, как во время войны осиротевший подросток нашел приют и тепло в далеком среднеазиатском городе. Бережно хранит В. Александров этот номер журнала с автографом А. Т. Твардовского: «Дорогому Вильяму Александрову с пожеланием занять место на страницах «Нового мира» по более непосредственному поводу».

Теперь повесть опубликована в «Звезде Востока». А скоро в ташкентском издательстве имени Гафура Гуляма выйдет трилогия В. Александрова, куда войдут и «Улица детства» и «Чужие — близкие».

Филипп де Коммин. Мемуары. Вступительная статья Ю. П. Малинина. М., Наука, 1987.

Исследователи считают, что с «Мемуаров» де Коммина началась во Франции подлинно историческая наука.

Филипп де Коммин — выходец из Фландрии, дворянин, смолоду служил при бургундском герцоге Карле Смелом. Там его посвятили в рыцари, он стал камергером и выполнял важные дипломатические поручения. Затем перешел на службу к Людовику XI, сделавшись одним из ближайших советников короля. Коммин был участником и свидетелем многих значительных событий в истории и политической жизни Франции второй половины XV столетия. «Мемуары» выдержали более ста двадцати изданий во всех европейских странах. На русском языке публикуются впервые.

Н. М. Никольский. История русской церкви. М., Политиздат, 1988.

«История русской церкви» Николая Михайловича Никольского (1877—1953) переиздана в преддверии тысячелетия «крещения Руси» по многочисленным пожеланиям читателей.

Впервые книга увидела свет в 1931 году, однако интерес к ней не ослабел и сегодня. Ее научный редактор доктор философских наук, профессор Н. С. Гордиенко подчеркивает, что работа Н. М. Никольского — единственная марксистская монография по истории русской православной церкви, старообрядчества и русского сектантства. Он считает, что пришла пора советским исследователям и популяризаторам науки подумать о создании обстоятельной истории русского православия XX столетия, продолжив дело, успешно начатое Н. М. Никольским 50 лет назад.

Лайош Мештерхази. Беру слово. Перевод с венгерского. М., Прогресс, 1987.

Серия книг, выпускаемых «Прогрессом» под рубрикой «Зарубежная художественная публицистика», насчитывает почти три десятка изданий и представляет писателей Европы, Америки и Азии. В этом ряду — сборник публицистики венгерского писателя и общественного деятеля Лайоша Мештерхази (1916—1979), ставшего известным в нашей стране после выхода его романа «Загадка Прометея».

«Моему поколению довелось пережить два незабываемых события: эпохальные перемены сорок четвертого — сорок пятого годов и год пятьдесят шестой»,— пишет автор. Страницы истории Венгрии 40—50-х занимают в книге значительное место, но большая часть материалов посвящена демократическим преобразованиям в стране конца 50—60-х годов. «Школа демократии», «Молодежь и политика», «Догнать, а не подражать» (о социалистической экономике) — характерные темы статей этого периода.

Книжные страсти. Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках. М., Книга, 1987.

Давно кипят книжиые страсти!.. Еще бы, но и сами писатели подливают масло в огонь. В XVIII столетии — А. Кантемир, В. Пушкин, Я. Княжнин, И. Крылов. В прошлом веке — И. Дмитриев, П. Вяземский, О. Сенковский, М. Салтыков-Щедрин, А. Чехов. На заре нынешнего — Саша Черный, А. Аверченко. Вслед за иими — М. Зощенко, И. Бабель, М. Булгаков, М. Цветаева, М. Кольцов, И. Ильф. И даже наши современники — А. Арканов и Л. Лиходеев. Сатирические произведения этих и других отечественных авторов о писателях и читателях, об издателях и книгопродавцах, о библиотекарях и коллекционерах книг составили этот небольшой сборник.

Читая его, убеждаешься в том, что злободневность «библиосатиры» не утрачена до сих пор. Но не потому только, что никак не утихнут книжные страсти. А оттого, что сатира помогает нам взглянуть на себя со стороны, задуматься, порой опомниться и сделать свой выбор между чтением и библиоманией, между коллекционированием и накопительством, между Книгой и чтивом.

Лариса. Воспоминания. Выступления. Интервью. Киносценарий. Статьи. Книга о Ларисе Шепитько. Составитель Э. Г. Климов. М., Искусство, 1987.

«Жизнь Ларисы, пусть и короткая, явила собой пример того, как человек может сам сотворить свою судьбу и эта судьба станет возвышенной и прекрасной, если, говоря ее словами, «живешь жизнью людей»,— пишет Элем Климов. Лариса Ефимовна Шепитько (1938—1979), кинорежиссер, автор острых и ярких фильмов «Родина электричества» (по рассказу А. Платонова — он выходит на экраны только сейчас, спустя двадцать лет), «Зной», «Крылья», «Ты и я», «Восхождение».

Книга эта — коллективный портрет Ларисы, созданный людьми, хорошо ее знавшими и высоко ценившими ее творчество. Писатели Василь Быков, Валентин Распутин, Чингиз Айтматов, Алесь Адамович, кинорежиссеры Элем Климов, Сергей Герасимов, Глеб Панфилов и другие, актеры Владимир Гостюхин, Юрий Визбор, поэтесса Белла Ахмадулина, критики Виктор Демин, Георгий Капралов вспоминают о Ларисе. И для каждого, кто пишет о Шепитько, личность ее открывается какой-то новой гранью.

С многочисленных фотографий Николая Гнисюка и Игоря Гневашева на читателя смотрит сильный, талантливый, красивый человек. И будто слышится ее голос: «...Если мы какую-то часть нашей энергии оставляем на благо людей, значит, мы уже не умерли, уже не напрасны...».

Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР. Составители: С. М. Горбачев, С. В. Ямщиков. М., Изобразительное искусство, 1987.

Альбом «Русский акварельный и карандашный портрет...» составлен на материале выставки русского портрета, прошедшей в 1978 году в Москве, а затем в Париже и Флоренции. В книгу включены репродукции ста тридцати восьми портретов из музеев России: изыскаииые, изящные акварели и тонкие карандашные рисунки. Здесь воспроизводятся портреты, исполненные русскими мастерами — Орестом Кипренским, Александром Орловым, Карлом и Александром Брюлловыми...

В альбоме представлена лишь часть работ, восстановленных мастерами-реставраторами. Некоторые из людей, изображенных на портретах, неизвестны, но о многих приведены биографические справки и почти о каждом хочется сказать словами В. К. Кюхельбекера из его письма к В. Ф. Одоевскому: «Ты перед потомством и отечеством представитель иашего времени, нашего бескорыстного стремления к художеству, красоте и к истине безусловной».

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор В. В. Семенычев.

Сдано в набор 11.05.88. Подписано к печати 07.06.88. А 05383. Формат 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27. Тираж 510 000 экз. Заказ № 2440.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.